

ИВАНОВ — РАЗУМНИК

М.Е.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

I

ФЕДЕРАЦИЯ
1930



ИВАНОВ-РАЗУМНИК

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1826 — 1868

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»

МОСКВА

1 9 3 0

Обложка работы Б. В. Титова.

«Мосполиграф» 14-я тип.
Варгункина гора, д. 8.
Главлит № А 43894.
Тираж 3 000 экз.
З а к. 3028.
фосц № 295.

О П Е Ч А Т К А

на стр. 4-й (оборот титула)

<i>напечатано:</i>	<i>следует читать:</i>
обложка работы	обложка работы
Б. В. Титова.	А. П. Радищева.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В кругах революционно настроенной молодежи — и народнической, и социал-демократической — произведения Салтыкова-Щедрина перед 1917 г. и, особенно, накануне 1905 г. пользовались большим вниманием и любовью. Для многих беспощадная щедринская критика глуповского головотяпства, безудержного творчества больших и малых администраторов была исходным моментом критического отношения к действительности. Картины дворянского оскудения, материального и духовного, развеселого чавканья торжествующей буржуазии, народного горя и страдания настойчиво влекли молодежь к вдумчивому анализу общественных отношений. Горький смех сатирика над «карасями-идеалистами», «премудрыми пискарями» призывал к откровенной критике собственной личности, к борьбе с общественной дряблостью, сантиментальным прекраснодушием и рабьим непротивлением злу.

Начинающим пропагандистам произведения Салтыкова, как и произведения Г. Успенского, давали богатейший иллюстрационный материал для критики русской социально-экономической и политической действительности. Смех салтыковской сатиры был конкретен, неотвратим, неотразим в своей точной направленности. Живая действительность, с ее очередными вариациями мотивов из эпопеи города Глупова, новыми выпусками портретной галереи помпадуров, ташкентцев, с неожиданными повторениями «современной идиллии», — освобождала читателя от необходимости реального комментария к щедринским образам, к его изощренной, эзо-

повской форме выражения; сама жизнь давала исчерпывающий комментарий.

В наши дни Салтыков-Щедрин — уже «история»; у современного читателя часто нет ключей к пониманию образов, картин, волновавших великого сатирика; больше того — часто нет и способности к восприятию его смеха, нет готовности разделить с суровым критиком и судьей его затаенную, конфузливую, но горячую любовь к страдающим, измученным людям, к людям, обиженным историей. А это жаль...

Здоровый, с разумом согласованный смех, смех от глубокого возмущения нелепостью общественных отношений, социальной неправдой, горький смех, идущий от великой любви к людям, это такой учитель, который нам нужен и теперь. Создавать анекдоты, скользящие по поверхности явлений, часто неумные и пошлые, мы умеем, ошеломить и друга своего тяжелой дубиной также сможем; но посмеяться творчески, посмеяться победно, с пользой — этому мы должны научиться. И забывать Щедрина нам еще рано. Революция ликвидировала щедринских помпадуров, буржуазных апостолов словоблудия, ташкентцев, администраторов-прожектеров разных мастей и рангов. Но горе в том, что глуповским головоотяпам, рукосуям, чужеядам присуща удивительная способность к воскресанию, возрождению в новых формах и оболочках, поскольку не устранены все предпосылки их бытия. И наше советское головоотяпство еще не нашло своего Щедрина.

Нужно приблизить к современному читателю Щедрина, сделать его более близким, доступным и понятным; нужно также изучить его жизнь, его творчество в их исторической обусловленности. Сделано в этом направлении пока еще очень мало.

Если дореволюционная буржуазная публицистика и наука посвящали мало внимания Салтыкову-Щедрину, — это вполне естественно и понятно: Щедрин — не Достоевский и не Толстой. И Толстой, и Достоевский содержанием своего творчества, его направленностью давали возможность буржуазным публицистам подняться на высоты религиозной и философской абстрактной мысли, «общечеловеческой» морали, помо-

гали отрешиться от презренной действительности, от реальных общественных отношений; Щедрин и его сагира все время на земле; его злой критической осведомленности нельзя было преодолеть ни в каком философском или этическом плане; буржуазной мысли он не дал в своем наследии ни Платона Каратаева, или Нехлюдова, ни кротких и смиренных Алеш и Зосим; его нельзя было превратить в учителя непротивления злу, в проповедника «русского» нравственного христианского социализма. Буржуазная мысль находила в Щедрине только своего злого, беспощадного критика, вооруженного знанием мельчайших изгибов блудливой совести и трусливой мысли хозяев жизни. Вокруг имени Щедрина не создавали «легенд», его не превращали в «пророка» революции. И его мало изучали.

Задачей советской науки, ее моральным долгом и является изучение Щедрина и как публициста, и как художника. То, что мешало буржуазной мысли назвать Щедрина до конца своим, — его беспощадная критика умирающего феодализма и торжествующей буржуазии, его туманные социалистические мечтания, утопические, но честно и ярко выраженные, — делают его для нас особенно ценным и значимым. Вместе с изучением должно притти и воскрешение Щедрина для широкого читателя наших дней.

* * *

Работа Р. В. Иванова-Разумника о Салтыкове-Щедрине и является одним из первых этапов в этом направлении.

В своем исследовании Иванов-Разумник ставит себе скромные задачи; он хочет написать «жизнь Салтыкова, как сплошной литературный труд, и «комментарий» к этому труду, как подробную историю творчества Салтыкова в его социально-бытовом окружении». Так поставленная им задача выполнена автором с привлечением широкого до сих пор или мало использованного, или нового, еще совсем неиспользованного материала. Уже одно это делает работу ценной и весьма своевременной. Пользуясь новым материалом, Р. В. Иванов-Разумник установил ряд фактов из истории жизни и творчества Щедрина; им поставлен ряд частных конкретных тем

для дальнейшего изучения. И если в настоящее время еще рано говорить о каких-либо завершенных моментах в изучении Салтыкова — сам Иванов-Разумник неоднократно говорит в своей книге об отсутствии подготовительных исследовательских работ, необходимых для исчерпывающего решения того или иного вопроса, — то в монографии Иванова-Разумника, во всяком случае, мы имеем уже ценный опыт построения биографии великого сатирика.

Задачи Иванова-Разумника — задачи биографа и комментатора, задачи историка общественной мысли по преимуществу. К такой постановке проблемы вынуждает его и отсутствие подготовительных историко-литературных работ и вся предшествующая его практика публициста и историка общественной мысли, а не литературоведа в тесном смысле слова. И для правильной оценки выводов и обобщений автора исследования о Салтыкове чрезвычайно важно посмотреть, каковы принципиальные методологические установки, положенные им в основу своей работы. В развернутом виде в данной работе мы их не найдем. Автор, очевидно, полагает, что скромная задача биографа-комментатора освобождает его от этого развертывания.

Но Р. В. Иванов-Разумник человек далеко не новый в области истории русской литературы и общественности. Его книги до революции пользовались широкой известностью, особенно «История русской общественной мысли», выдержавшая несколько изданий. Полемизируя с Г. В. Плехановым по поводу только что названной книги («Ист. рус. общ. мысли» вышла 3-м изданием в 1911 году), Иванов-Разумник писал: «Чего же не могут понять могиране ортодоксального марксизма? Они не понимают, что их социально-экономический критерий бессилен проникнуть вглубь явлений...», «что сверх него и за ним неизбежен другой критерий — этический, философский, религиозный». «Поймите же наконец, что как подробно вы ни измерили бы... социально-экономическим аршином Толстого, Чехова, Ибсена — вы все же еще не проникли вглубь их творчества, вы еще не сделали для этого ни одного шага. Ряд глубочайших философских проблем поставлен Толстым в «Войне и мире», Достоевским в «Братьях Карамазовых»:

как вы подступите к ним со своим экономическим критерием?» «Социально-экономический критерий законен как методологический прием при объяснении общественных явлений; но рядом с ним и под ним должен стоять критерий философский и этический, без которого и общественность, и индивидуальность равно непонятны». И другое положение выдвигал тогда Иванов-Разумник, как «коренное непримиримое противоречие», разделяющее его от ортодоксального марксизма: «кроме социально-экономических групп-классов,— с которыми только и оперирует марксизм,— мы устанавливаем некоторую социально-этическую группировку не по внешним, а по внутренним признакам. Мы говорим о внеклассовой и внеслововой интеллигенции, изучаем ее отношение к личности, ее индивидуализм, ее борьбу с этическим мещанством, мы не останавливаемся на убогом утверждении, что Достоевский был «мелкобуржуазный разночинец», но стремимся подойти к самой сущности его гениальных откровений, его философии» (Иванов-Разумник, сб. «Литература и общественность», в. I, Спб. 1910 г., статья «Марксистская критика», стр. 114—116).

Этот круг мыслей, характерный в таком четком оформлении и заострении для дореволюционной народнической идеологии Иванова-Разумника, не развит в его работе о Салтыкове-Щедрине. Благодаря отсутствию в ней общих теоретических принципиальных высказываний мы не знаем, насколько эти методологические формулировки вообще приемлемы для него в настоящее время. Вся книга о Щедрине задумана и выполнена в скромных линиях биографического изучения; никакой полемики в ней с «ортодоксальным» марксизмом нет. Даже более того: по поводу ранней повести Салтыкова («Противоречия») Иванов-Разумник ссылается в примечании на «подробное исследование... повести... с социологической точки зрения», признавая его, очевидно, вполне возможным и плодотворным. Правда, в этом «социологическом» исследовании (в книге Сакулина «Русская литература и социализм», стр. 359—374) марксистского социологизма весьма мало, но факт остается фактом: «социально-экономический критерий» признается допустимым и целесообразным в изучении литера-

турных явлений. И в своем «предисловии» к работе Р. В. Иванов-Разумник обещает «понять художественное творчество и социальное мировоззрение Салтыкова из изучения его произведений в их динамическом развитии и на фоне социально-политических событий эпохи», «связать единой нитью социологической мотивировки все разрозненные его циклы».

Но, разумеется, «динамика развития», «социологическая мотивировка», «единая нить» могут быть найдены, раскрыты и изучены по-разному. Сказать, что данная работа Иванова-Разумника не стоит ни в какой преемственной и методологической связи, с его прежними работами, у читателя исследования о Салтыкове-Щедрине нет решительно никаких оснований.

Чтобы понять «динамику развития» какой-либо идеологической линии, нужно взять ее в аспекте общего исторического развития, конкретной расстановки социальных групп, определенного оформления их взаимоотношений, выражением и продуктом которых и является данная идеология. Тенденции к такой постановке вопроса в книге Иванова-Разумника имеются. Но какова методологическая четкость этих тенденций, каковы результаты их проявления?

Сдвиги во взглядах и настроениях Салтыкова-Щедрин дают Ивановым-Разумником на фоне изменения общественных отношений, связанного с так называемой крестьянской реформой. Но характеристика этих отношений дается совершенно внешняя, поверхностная, типическая буржуазно-либеральная, в духе архаических характеристик Пыпина. Так в начале V главы идет речь о «Николаевской системе», о «пышном развитии бюрократизма», о «диком гнете цензуры», о «свободе слова» только для «прихвостней правительства», о «системе сыска и доноса», высказывается утверждение, что «даже слепым из бюрократических верхов стало видно, что от окончательного разгрома страну может спасти только перемена существующей системы» и т. п. Нет, в сущности, даже и намек на попытку понять действительную «динамику развития» общественных отношений, на фоне и под влиянием которых слагались воззрения Салтыкова.

В описании хода самой крестьянской реформы (гл. V)

автор не пошел дальше традиционного буржуазно-либерального празднословия. Это сказалось даже на терминологии, на стиле изложения: «дело освобождения крестьян началось известной речью Александра II 30 марта 1856 г.», «крымская война вскрыла всю гниль Николаевской системы вплоть до ее фундамента», «знаменитые рескрипты... на имя Назимова», «знаменитое положение 1861 г.» и т. п.

Желание понять глубже сущность исторического процесса, взаимоотношения движущих его сил в эпоху крестьянской реформы свелось, в конечном счете, к комичному открытию в той же главе «парадоксального обстоятельства, с тех пор не повторявшегося в истории русского государственного и общественного развития». «Парадокс» следующий: «бюрократия в эти годы (крестьянской реформы) была «либеральной», а обычно либеральное земство — консервативным». На конкретном материале это «парадоксальное обстоятельство» для новообращенного социолога, не чурающегося «социально-экономического критерия», раскрывается в следующих курьезных примерах, не представляющих ничего «парадоксального» даже для школьника наших дней. «... И лучшие из... дворян-либералов не могли стать выше своего времени. Так, например, либеральный князь Черкасский, много сделавший для крестьянской реформы, в 1859 г. выступал защитником сохранения розги, как орудия управления крестьян дворянами; наиболее левый представитель дворянского либерализма, тверской губернский предводитель дворянства А. М. Унковский (вскоре высланный правительством в Вятку и впоследствии ближайший друг Салтыкова) — в очень радикальном всеподданнейшем адресе 1859 года, содержащем в себе требования общественных свобод, все же (разрядка моя. В. Д.) боролся в этом же адресе за уменьшение крестьянского надела и повышение крестьянских повинностей, а значит был, при всем своем либерализме, более реакционным в крестьянском вопросе, чем Н. А. Милютин». И как конечное достижение этой архаической наивной историософии: «в этом парадоксе крепостнического либерализма и либеральной бюрократии — узел решения вопроса крестьянской реформы первой половины шестидесятых годов».

Ни малейшей попытки подойти к исследованию и пониманию реальных классовых интересов, полное отсутствие учета других, кроме «крепостнического либерализма» и «либеральной бюрократии», общественных групп и их настроений (социальные группировки в среде самого поместного дворянства, различные группы торговой и промышленной буржуазии, крепостное крестьянство), а ведь только при анализе реальных соотношений общественных классов, противоречия их экономических и иных интересов и могут быть поняты всякие действительные и воображаемые «парадоксы» идеологического порядка.

Мы не должны удивляться, что Р. В. Иванов-Разумник так и не преодолел «социологически» комических открытий им «парадоксов», якобы «не повторявшихся» более никогда в русской истории. В той же VI гл. в примечании он предупредительно сообщает нам, какие «из громадной литературы по вопросу об освобождении крестьян...» «немногие основные работы» дали ему «материал для предыдущих страниц», т.-е. для тех откровений, которые мы выше цитировали. В этом перечне вы не найдете ни одной марксистской работы, нет указаний на общие курсы М. Н. Покровского, Н. А. Рожкова, не упомянуты даже статьи Чернышевского, самого остроумного и близкого к нам свидетеля-современника и судьи крестьянской реформы. А между тем ни для Покровского, ни для Рожкова «парадоксы» Иванова-Разумника таковыми ни в малейшей мере не являются, а служат, как раз, ценнейшим показателем реальных классовых отношений эпохи, двигавших и оформлявших события и идеологию.

Такая неглубокая «социология», по существу своему идеалистическая, обусловила внесение в работу Иванова-Разумника ряда понятий и терминов, характерных для эпохи 60-х годов, как ясных и точных, имеющих один смысл («власть» и «народ», «земство» и «бюрократия» и т. п.); между тем в устах представителей отдельных общественных группировок они звучали совершенно по-разному. Традиционное пользование терминами из времен полемики западников с славянофилами приводит Иванова-Разумника и к тому, что в славянофильстве конца 50-х годов он безоговорочно нахо-

дит «социалистические и анархические элементы». Этим наличием «социалистических элементов» в миросозерцании славянофилов он и объясняет славянофильские симпатии Салтыкова, подготавливая тем читателя к восприятию Щедрина, как определенного народника, в миросозерцании которого «славянофильские» направления были только временным скоропроходящим моментом.

Думается нам, что это помешало Иванову-Разумнику правильно понять настроения Салтыкова конца 50-х и начала 60-х годов. Не вскрывши реального содержания «славянофильства» и «либерализма» Салтыкова, Иванов-Разумник, в сущности, и не мог решить вопрос о возможном направлении неразрешенного Салтыкову журнала «Русская Правда». Поставивши вопрос — «действительно ли журнал «Русская Правда», часть редакции которого принадлежала к «тверским либералам», судя по программе своей, собирался быть органом земского либерализма» и, согласившись попутно, что «смешно (при наличии программы? В. Д.) говорить о направлении несостоявшегося журнала», Иванов-Разумник, правда, с некоторыми оговорками (если считать крайним левым флангом либералов того времени... «тверскую оппозицию», то журнал Салтыкова мог отчасти быть выразителем и ее мнений») приходит к желанному для него выводу, что в программе намечалась та линия, «которая окончательно выявилась в «Отечественных Записках»; это и дает ему основание «протянуть нити от прежних взглядов Салтыкова до его будущего социалистического народничества эпохи «Отечественных Записок».

Не ставя и не решая здесь вопроса о «социалистическом народничестве» Салтыкова вообще и в данную эпоху (начало 60-х годов) в частности, мы все же должны отметить, что аргументация Иванова-Разумника программой «Русской Правды» мало убедительна. Для подтверждения своего положения он нашел «один пункт» в программе («народ и его интерес»): главную цель нового журнала программа ставила «утверждение в народе деятельной веры в его нравственное достоинство и деятельного же сознания естественно проистекающих отсюда прав», его главная задача — «иметь постоянно

в виду своем народ и его потребности». Почему под этими формулировками не могли подписаться не только левые «либералы», а и правые, и даже совсем не «либералы», едва ли ясно и самому автору. Но ему это нужно для оформления основного положения своей работы.

По мнению Р. В. Иванова-Разумника, наиболее четко оформленному в X главе, Салтыков 60-х годов является одним из ранних представителей народничества. Полемизируя в значительной мере с самим собой (см. «Историю русской общественной мысли», 3-е изд., т. II, стр. 322, где Иванов-Разумник говорит о влиянии Михайловского на Салтыкова в 70-е годы, в пору их совместного редактирования «Отеч. Записок»), он утверждает: «Считалось, что Салтыков примкнул к народничеству «Отеч. Записок» семидесятых годов, как к сложившемуся уже течению, основы которого были заложены сперва Герценом и Чернышевским, а потом Лавровым и Михайловским. Если речь идет о теоретическом, социально-экономическом и философском фундаменте народничества, то такое мнение является неоспоримым, если же говорить о народничестве, как общем мировоззрении (? В. Д.), то Салтыков... должен считаться одним из его основоположников, работавшим на этой почве как раз между Герценом и Чернышевским, с одной стороны, и Лавровым и Михайловским — с другой».

Читатель сам убедится, насколько основательна или спорна аргументация Иванова-Разумника. Мы отмечаем только, что и здесь исследователю мешает правильно подойти к разрешению проблемы его терминология, отражающая определенное миросозерцание: поставить за одну скобку (для 60-х годов) Герцена и Чернышевского, как представителей одного «общего мировоззрения», значит заранее закрыть себе возможность правильно понять и миросозерцание Салтыкова.

Условность и относительность «социологизма» Иванова-Разумника сказывается и на рассмотрении частных вопросов биографии Салтыкова. Так, никакого внимания не вызвала у биографа-комментатора попытка Салтыкова стать помещиком после уничтожения крепостного права. Автор нашел возможным в конце VI главы только «кстати упомянуть», что в 1861—1862 годах Салтыков приобрел под Москвой на имя

жены небольшое имение Витенево (в 680 десятин), в котором попробовал хозяйничать, применяя «вольный труд и новейшие способы обработки земли». Мы не будем выражать недоумение по поводу квалификации подмосковного имения в 680 десятин, как «небольшого» (Л. Толстой писал Фету о помещичьем хозяйстве в новых условиях на 60 десятинах), но обратим внимание на следующее. Биограф Салтыкова тщательно изучает его перемещения по службе, этапы его движения по бюрократической лестнице, его деятельность как чиновника; здесь же, где Салтыков столкнулся лично с реальной экономической действительностью, с ее «парадоксами», Иванов-Разумник ограничился простым упоминанием «кстати». Между тем он и сам отмечает, что возня с имением... вплоть до курьезных мелочей отразилась впоследствии в «Благонамеренных речах» и в «Убежище Монрепо».

У нас нет ни малейшего желания заставить уважаемого биографа «социализировать» жизнь и творчество Салтыкова, оперировать «социально-экономическим критерием», отправляясь именно от этого факта (покупка имения), но отметить такое равнодушие к фактам «житийного» порядка все же следует. Предоставил вниманию других исследователей Иванов-Разумник и любопытную тему от отношении Салтыкова к крупному и мелкому землевладению, материал же для разрешения ее указан им самим.

Это равнодушие производит тем более странное впечатление, что в других случаях автор поступает совершенно иначе, даже из мелких фактов житийного порядка дает очень серьезные, широкие и ответственные выводы. Цитируя воспоминания Салтыкова по «Пошехонской старине» (по художественному произведению!) о его впечатлениях от чтения Евангелия в детские годы, Иванов-Разумник решительно умозаключает: «позднейший фурьеризм и утопический социализм Салтыкова вырос из этого зерна, заброшенного еще в детскую душу». Если усвоить давнее положение Иванова-Разумника о необходимости применения в исследовании не только социально-экономического критерия, а еще и «этического, религиозного, философского», то, очевидно, можно будет тогда и «социалистическое народничество» Салтыкова

возвести к этому же источнику, к этому «зерну». А вот «ни средняя школа, ни лицей не могли посеять в душе Салтыкова никаких зерен, которые могли бы дать ростки по выходе его из-за школьных стен»; и от евангельского зерна, минуя всякую «социологию», Иванов-Разумник прямо переходит к влиянию на Салтыкова Белинского. И едва ли это соответствует действительности: достаточно, хотя бы, указать несомненное наличие влияния Петрашевского на лицейстов времени пребывания в лицее Салтыкова. Это влияние было отмечено и на процессе. Знает о нем и сам Иванов-Разумник. Очевидно, желание выдвинуть более четко «религиозный фактор» привело к столь категорическому суждению о лицейских годах Щедрина. Ведь и сам биограф все же отмечает влияние школьных товарищей, участие ряда их в кружке Петрашевского (Европеуса, Спешнева, Кашкина), указывает на многочисленные свидетельства о знакомстве Салтыкова с самим Петрашевским, которое и по словам Иванова-Разумника «началось еще в лицее».

На ряду с учетом «религиозного фактора» Иванов-Разумник не чужд в своей работе и «этических» оценок, при том там, где требовался бы внимательный анализ фактов и отношений. Так, повествуя о следовательских подвигах Салтыкова по делам раскольников-старообрядцев периода его вятской ссылки, Иванов-Разумник считает своим долгом дать им моральную оценку: «Роль его (Салтыкова), как следователя, по делу о расколе не делает ему чести. Исполнительный чиновник, делающий карьеру (по его же выражению), взял здесь верх над человеком и заслонил собой писателя, которым Салтыков втайне продолжал оставаться и в вятской ссылке». И все.

Между тем вопрос весьма интересный и для Иванова-Разумника, и для его исследования отношений Салтыкова к слагающейся идеологии народничества.

Дело в том, что вопрос о расколе-старообрядчестве, как историческом факте, как явлении культурном и социально-политическом, именно в эту пору начал ставиться совершенно по-иному, не с точки зрения церковно-православной и полицейской, которая видела в нем только суеверие и вар-

варство, неразумное уклонение от государственности и культуры. Правда, бакунинская оценка раскола, как явления оппозиционного, даже революционного, противогосударственного — пришла позднее, одновременно с народническими поисками опорных географических и исторических центров, наиболее пригодных для пропаганды и для подготовки организационных баз восстания (местности широких народных движений в прошлом, развития разбоя, как социального явления, казачьи районы, раскольничьи, сектантские). Но научная и публицистическая подготовка шла уже и в эти годы (Щапов, Кельнев, интерес к расколу у Герцена); наблюдалось оживление и в самих старообрядческих кругах, в связи и под влиянием создания новой третьесословной общественности. И простая «этическая» отписка — «не делает ему (Салтыкову) чести» — не делает чести и исследователю чутью Иванова-Разумника.

Нужно было поставить вопрос, не изменилось ли у самого Салтыкова в результате его следовательской работы понятие об «истине», которую он так старательно разыскивал в качестве исполнительного чиновника. Надо думать, Иванова-Разумника смутила мало соблазнительная в «этическом» плане однотипность работы Салтыкова с работой знаменитого гонителя раскола, разорителя заволжских скитов, Мельникова-Печерского, даже их некоторое сотрудничество. Но испуг этот совершенно напрасен. Ведь в лице автора «В лесах» и «На горах» мы знаем не только исполнительного чиновника, но и идеолога того дела, которое он охотно и старательно выполнял. Для него казенное православие было далеко не так безразлично, каким оно было для Салтыкова, во имя этого православия Мельников не только за страх, но и за совесть зорил скиты, запечатывал иконы, выгонял с насиженных мест скитников и скитниц. Более того, в свою работу он вносил и некоторые начала административного восторга, если не сказать более. Мне в начале XX в., в моих скитаниях по Руси после 1905 г., пришлось слышать на Керженце о двух «святых» подвижниках лесного, скитского старообрядческого благочестия, которых обратил на путь «истины» «старой веры» не кто иной, как сам П. И.

Мельников. Крестьяне, православные, они возили Мельникова по скитам во время его работы. И метод действия Мельникова произвел на них такое потрясающее впечатление, что они перешли в раскол и в лесном отшельничестве, на местах разоренных скитов, дошли до «святости». Полагаю, нет никаких оснований беспокоиться за моральный облик великого сатирика только потому, что однажды его жизненные пути перекрестились с путями одного из наиболее ярких представителей казенной идеологии православия, самодержавия и «народности» середины XIX века. Нужно было внимательнее исследовать и в этой области сдвиги настроений, возможные изменения в миросозерцании Салтыкова, посмотреть, не происходило ли и здесь оформление его, допустим, как «народника», а не спешно спасать снисходительным осуждением от осуждения сурового.

Стремление к этическим суждениям и оценкам абстрактного порядка, вне серьезного изучения реальных исторических отношений, приводит и в других случаях Иванова-Разумника к таким выводам и заключениям, которые являются только помехой к правильному истолкованию тех или иных явлений. К таким «этическим» суждениям относится, например, его конечное заключение о ранних повестях Салтыкова-Щедрина («Противоречия», «Запутанное дело»): «В этих социально-психологических повестях отражалось определенное мировоззрение, основы которого прошли через все творчество Салтыкова. Пусть это были лишь «дворянские мелодии»..., но и в дворянских мелодиях этих была общечеловеческая правда (курсив мой. В. Д.), которую проявлял в своих произведениях Салтыков до конца своего творческого жизненного пути».

На счет повышенного интереса к этическому критерию нужно, вероятно, отнести и своеобразный чрезмерный биографизм в понимании отдельных моментов творчества Салтыкова. Сам Салтыков говорит об одном из ранних вариантов своего образа женщины-кулака (Марье Ивановне Крошиной из повести «Противоречия»): «такой тип женщины-кулака встречается весьма часто и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких

рамках фамильных ее отношений»; а Иванов-Разумник неоднократно и настойчиво повторяет, что «женщина-кулак» (и в «Пошехонской старине», и в «Господах Головлевых») списана с Ольги Михайловны Салтыковой, матери сатирика.

Биографизм нужен автору монографии о Салтыкове. «Детство Салтыкова было темное и беспросветное», «мрачные сцены крепостного права», «дикое семейное воспитание», «темнота и безмолвие» детских лет и т. д.— все это дает возможность Иванову-Разумнику ставить проблему жизни и творчества Салтыкова, как проблему исключительной личности, как проблему совести, искания общечеловеческой истины и справедливости (евангелие — «первый луч света»), облегчает ему отход от изучения ее в зависимости от сложной истории изменения экономических отношений, классовых передвижек и классовой борьбы, находившей себе отражение в области идеологии вообще и литературы в частности.

Можно было бы отметить в работе ряд частных суждений, которые, не будучи в тесной связи с общими принципиальными предпосылками автора, все же в некоторой связи с ними находятся. Таково, например, объяснение Ивановым-Разумником интереса Салтыкова к Миллю (его «Система логики») в сороковые годы тем обстоятельством, что, якобы, «Милль был близок к целому ряду идей французских социалистов в области социально-политической».

Отметив эти отражения в книге о Салтыкове народнических идей и исследовательских приемов автора «Истории русской общественной мысли», мы считаем нужным повторить, что эти поражения не заострены, не сведены в законченную методологическую систему, не на них теперь сосредоточено внимание Иванова-Разумника; они не лишают большой значимости его работы о Салтыкове. Разумеется, было бы неизмеримо лучше и для читателя, и для самой книги о Салтыкове, если бы эти методологические отзвуки давней эпохи напряженной борьбы с «ограниченностью» «экономического критерия» ортодоксального марксизма совсем не нашли себе места в книге Иванова-Разумника. Но его прежняя методология была органическим элементом, выражением целостности законченного мирозерцания, которое и ликвидировать, и

смягчить, даже при наличии искреннего желания, весьма трудно, особенно на таком соблазнительном для старого народника материале, как жизнь и творчество Салтыкова.

Изучение Салтыкова только еще начинается, и книга Иванова-Разумника в этом изучении является значительным моментом. Правда, предстоит еще громадная подготовительная черновая работа установления текста щедринских произведений, накопления материалов для его биографии; намечается ряд задач частных исследований, несколько таких тем указано и Ивановым-Разумником в его книге. Самим Ивановым-Разумником работа в том плане, в каком она им задумана, далеко еще не доведена до конца: «жизнь и творчество» Салтыкова описаны им только до 1868 г., времени окончательного выхода Салтыкова в отставку.

Но и в выполненной уже им части работы привлечен к делу обширный, нередко свежий, литературный и биографический материал, разрешен и намечен ряд частных проблем истории салтыковских текстов, отдельных моментов биографии Салтыкова.

И, наконец, в работе особенно ценно горячее устремление воскресить к жизни одного из величайших русских писателей XIX века, может быть, наиболее близкого к нам из классиков по социальной направленности своего творчества.

В. А. Десницкий

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

«...Нет конца моей работе. Месяц кончается — начинается другой, и в то же время кончается и начинается моя работа, точно проклятый, заколдованный круг меня окружил. И всё это имея в примете, что лет через двадцать меня или забудут, или будут читать с комментариями, как уже читают теперь «Губернские очерки» (я сам почти так читал их недавно, выпуская новое издание)».

Так писал Салтыков А. М. Жемчужникову 25 января 1882 г. — и в словах этих как нельзя ярче освещены именно те два основных факта, которые определяют собою содержание настоящей книги, первой большой монографии о Салтыкове. Первый факт: вся жизнь Салтыкова заключена в его творчестве; непрерывная, безостановочная литературная работа в течение десятков лет заполняет собой всю его жизнь, и говорить об этой жизни — значит говорить об его литературном труде. Факт второй: говорить об этой его литературной работе в настоящее время, через сорок лет после его смерти, — значит в первую очередь вскрыть всё то забытое, а порой и загадочное для современного читателя, что составляет содержание решительно всех циклов произведений Салтыкова. Недаром сам он говорил, что его придется читать с комментариями. Месяцем раньше цитированного письма к Жемчужникову Салтыков сказал об этом и в печати, в четвертом (по журнальному тексту) из знаменитых своих «Писем к тетеньке». Говоря о тяжелом удушьи реакции восьмидесятых годов, о «необъяснимой путанице», составлявшей содержание общественной жизни той эпохи, Салтыков иронически заключал:

«Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту

историю, во всех подробностях, на страницах «Русской Старины» прочту. Я-то впрочем, пожалуй, и не успею прочитать, так всё равно дети прочтут. Только любопытно, насколько они поймут ее и с какой точки зрения она интересовать их будет?

Впрочем дети еще туда-сюда: для них устные рассказы старожил подспорьем послужат; но внуки — те положительно ничему в этой истории не поверят. Просто скажут: ничего в этой чепухе интересного нет.

Сообразите же теперь, какое горькое чувство, в виду такой перспективы, должен испытывать бытописатель этих волшебств и загадочных превращений. Уже современники читают его не иначе, как угадывая смысл и цель его писаний, и комментируя и то, и другое, каждый по-своему; детям же и внукам и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя. Всё в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным. Кому какое дело до того, что описываемая смута понятий и действий разливала кругом страдание, что она останавливала естественный ход жизни, и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней представлялось не только неправильным, но даже постыдным? И что присем ясность, яко несвоевременная и т. д. Не легче ли разрешить все эти вопросы так: вот странный человек! всю жизнь описывал чепуху, да еще предлагает нам читать свои описания... с комментариями!» («Отечественные Записки» 1881 г., № 12, стр. 577).

Жизнь Салтыкова, как сплошной литературный труд, и «комментарии» к этому труду, как подробная история творчества Салтыкова в его социально-бытовом окружении — вот основное содержание настоящей монографии, которая ни в коем случае не является биографией: для последней время еще не настало. Еще не изучен целый ряд архивов близких и знакомых Салтыкову лиц; опубликованы далеко не все письма (несмотря на ценное двухтомное собрание их); новый биографический материал открывается ежегодно. Лишь по приведении всего этого материала в известность, лишь после тщательного изучения его и после изучения ряда уже известных и только предполагаемых архивов (архивы К. Арсеньева, М. Антоновича и др.) можно будет подойти к подробной и обоснованной биографии одного из величайших писателей XIX века. За-

дача настоящей монографии — совершенно иная. Если жизнь всякого писателя может определяться древней формулой Гезиода — «Труды и дни», то в настоящей работе почти исключительное внимание обращено на «труды», а «дни» играют лишь связующую роль между трудами, которые без этого цемента распались бы на груды несвязанных друг с другом материалов.

Итак, для последующих биографов Салтыкова остается подробное изложение обстоятельств его личной жизни; здесь они затронуты лишь настолько, насколько связаны с историей его творческого пути. А изучение этого пути и составляет тот «комментарий» ко всем произведениям Салтыкова, необходимость которого сам он подчеркивал. К тому же «рабий язык», которым приходилось говорить с читателями сатирику (его же собственное выражение) в настоящее время требует объяснений, без которых часто является непонятным самое основное и существенное в сатире Салтыкова. История авторского замысла и история воплощения его — не менее существенный вопрос при изучении творчества каждого писателя; но условия этого воплощения и социально-политическая обстановка творчества имеют исключительно важное значение при изучении именно сатирической деятельности Салтыкова, так тесно и неразрывно связанной со своей эпохой.

Вся эта область в изучении творческого пути Салтыкова до сих пор была почти совсем не затронута; первой систематизированной попыткой явились подробные комментарии автора настоящей монографии к шеститомному собранию сочинений Салтыкова (1926—1928 гг.). Работать здесь приходится на девственной почве, и работа эта ждет еще многих исследователей.

Как это ни странно, но Салтыков до сих пор — почти совершенно неизученный писатель, настолько неизученный, что мы не имеем даже полной библиографии его произведений. Этот пробел впервые восполняется попутно в настоящей книге, при чем ряд произведений Салтыкова является в ней открытым тоже впервые. Само собою разумеется, что задача подробного изучения рукописного текста должна быть отложена до осуществления полного собрания сочинений Салтыкова, которое стоит на очереди; однако я не считал возможным обойтись без изучения дошедшего до нас рукописного материала, относящегося к Салтыкову. Единственным и богатейшим хранилищем рукописей Салтыкова является

Пушкинский дом при Академии Наук¹. Но неизученные архивные материалы есть и в других хранилищах; всё известное мне из этой области разработано для настоящей монографии. Не говорю уже о разработке обильных журнальных и газетных залежей «салтыковьяны», раскопка которых почти еще не начиналась. Проработка этого материала наравне с архивными и до сих пор неизвестными данными позволила положить в основу настоящей монографии ряд совершенно новых обстоятельств из жизни и творчества Салтыкова.

Надо подчеркнуть однако, что, несмотря на малую разработанность литературы о Салтыкове, всё же есть уже ряд ценных работ, пролагающих пути к изучению его жизни и творчества. Все такие работы отмечены в примечаниях, которые могли бы оказаться более многочисленными, если бы этому не воспрепятствовала техническая невозможность перегрузить книгу сырым материалом примечаний. Впрочем, в мысль автора ни мало не входило намерение исчерпать поставленную тему: это — задача еще многих будущих работ по дальнейшему изучению творчества Салтыкова.

Главною же задачей настоящей монографии является — впервые изучить последовательно творчество великого сатирика, основываясь на всех доступных рукописных и печатных материалах; вскрыть внутренний смысл загадочных теперь произведений; выявить развитие взглядов, мыслей и настроений одного из величайших деятелей русской литературы XIX века; связать единой нитью социологической мотивировки все разрозненные его циклы; установить развитие тем, образов и идей в этом почти полувековом ряде произведений; понять художественное творчество и социальное мировоззрение Салтыкова из изучения его произведений в их динамическом развитии и на фоне социально-политических событий эпохи. Одним словом, задача автора — быть тем «комментатором», о котором сам Салтыков писал полвека тому назад.

Иванов-Разумник

Январь 1929 г.

¹ Пользуюсь случаем принести благодарность хранителю рукописей Салтыкова Н. В. Яковлеву за возможность ознакомиться с этими рукописями, а всем представителям Пушкинского дома — за постоянное отзывчивое содействие.

Глава I

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА САЛТЫКОВА

«М[ихаил] Е[вграфович] Салтыков родился 15 января ¹ 1826 г. в селе Спас-Угол Колязинского уезда Тверской губернии. Родители его были довольно богатые местные помещики. Учиться грамоте Салтыков начал семи лет, и именно в день своего рождения 15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной человек, живописец Павел, который, с «указкой» в руках, заставлял его «твердить» азбуку. Затем, в 1834 году вышла из Екатерининского института старшая сестра его Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова было вверено ей и ее товарке по институту, Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие: священник села Заозерья, Иван Васильевич, который обучал латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии, Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакансий. Вообще, нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не менее в августе 1836 года, т.е. десяти лет Салтыков был настолько подготовлен, что поступил в шестиклассный, в то время, Московский дворянский институт (только что преобразованный из университетского пансиона) в третий класс, где пробыл два года, но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству.

¹ По новому стилю—27 января.

Через два года, в 1838 году, Салтыков был переведен в имп. Царскосельский лицей, в силу привилегии, которою пользовался Московский дворянский институт отправлять каждые полтора года двоих отличнейших учеников в Лицей, где они и поступали на казенное содержание (в числе отправленных таким образом был и нынешний министр народного просвещения гр. Д. А. Толстой). В Лицее Салтыков, уже в 1-м классе почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью. За это, а равным образом за чтение книг, он терпел всевозможные преследования, как со стороны гувернеров, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Он вынужден был прятать свои стихи (большую частью любовного содержания) в рукав куртки и даже в сапоги, но их и там находили. Это повлияло на ежемесячные отметки «из поведения», и Салтыков, в течение всего времени пребывания в Лицее едва ли получал отметку свыше 9-ти (полный балл был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: при довольно хорошем поведении, что прямо означает, что сложный балл его в поведении, за последние два года, был ниже 8-ми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились: «грубости», расстегнутые пуговицы в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по форме (что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло целую науку), курение табаку и прочие школьные преступления.

Начиная с 2-го класса, в Лицее дозволялось воспитанникам выписывать на свой счет журналы. Выписывались: только что возникшие в то время «Отечественные Записки», «Библиотека для Чтения» (Сенковского), «Сын Отечества» (Полевого), «Маяк» (Бурачка) и «Révue Etrangère». Влияние литературы было в Лицее очень сильно: воспоминание о Пушкине обязывало; в каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина; в XI-м—Влад. Раф. Зотов, который, так сказать, подходя сочинял стихи и помещал их в «Маяке», где Бурачек не в шутку провозгласил его вторым Пушкиным; в XII-м—Н. П. Семенов (ныне Сенатор); в XIII-м—Салтыков, в XIV-м—В. П. Гаевский и т. д. Журналы читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние «Отечественных

Записок», и в них критика Белинского и повести Панаева, Кудрявцева и друг. Первые стихи Салтыков напечатал в «Библиотеке для Чтения», помнится, в 1840 году. Потом, до 1843 года не печатал, а в 1843 и 1844 году поместил довольно много стихотворений в «Современнике» Плетнева. В 1844 же году Салтыков вышел из Лицея, тогда переименованного уже в Александровский, с чином X класса, т.-е. не в числе отличных.

С выходом из Лицея и до настоящего времени Салтыков ни одного стиха не написал.

В том же 1844 году Салтыков поступил на службу в канцелярию Военного министерства, когда Министром был кн. Чернышев. В ноябре 1847 года была напечатана в «Отечественных Записках» первая прозаическая вещь Салтыкова «Противоречия»; затем в марте 1848 года — рассказ «Запутанное дело». Обе эти вещи возбудили внимание существовавшего тогда негласного Комитета, который, так сказать, ревизовал литературу по случаю Февральской революции. О Салтыкове было сообщено кн. Чернышеву и по докладу последнего состоялось Высочайшее повеление, в силу которого Салтыков был выслан, в сопровождении жандарма, на службу в гор. Вятку, в распоряжение тамошнего губернатора. Здесь Салтыков прожил до ноября 1855 года, служа сначала в штате Губернского Правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и наконец советником Губернского правления. После того был переведен на службу в Петербург и служил до июля 1868 года.

Литературная деятельность Салтыкова возобновилась в 1856 году, когда началось в «Русском Вестнике» печатание «Губернских очерков». Но начиная с 1860 года он почти исключительно печатал свои сочинения сначала в «Современнике» и потом в «Отечественных Записках»¹.

Эта ценнейшая автобиографическая записка Салтыкова ну-

¹ Бумаги Пушкинского дома, из архива М. М. Стасюлевича. Было напечатано не вполне исправно в V томе «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке» (Спб. 1913 г., стр. 60—62). В сокращенном и измененном виде впервые напечатано в посвященном Салтыкову томе «Русской библиотеки», изд. М. Стасюлевича, т. VIII (Спб. 1878 г.).— В подлиннике записка эта озаглавлена: «Автобиография М. Е. Салтыкова собственноручная» и датирована: «Спб. апрель 1878».

ждается в нескольких незначительных поправках. Как увидим ниже, первое стихотворение Салтыкова появилось не в 1840, а в 1841 году; в 1842—1845 гг. он напечатал в «Библиотеке для Чтения» и «Современнике» еще девять стихотворений. Требуя оговорки подчеркнутое Салтыковым утверждение, что с тех пор он «ни одного стиха не написал»: в «Современнике» 1863 г. (в отделе «Свисток») есть стихи, подписанные вскрытым позднее Пыпиным псевдонимом Салтыкова. В автобиографии не упомянуто о ряде рецензий, напечатанных Салтыковым в «Отечественных Записках» и «Современнике» 1847—1848 гг.; не указано, что с 1858 по 1862 г. и с 1865 по 1868 г. Салтыков служил в провинции. Все эти мелкие поправки и дополнения не лишают автобиографической записки Салтыкова ее большой ценности, так как только из нее мы узнаем о школьных годах Салтыкова. Особенно интересно в историко-литературном отношении указание Салтыкова на «сильное влияние» повестей Панаева и Кудрявцева — влияние на творчество молодого Салтыкова совершенно несомненное, но до сих пор игнорируемое историками литературы, несмотря хотя бы на это категорическое свидетельство автобиографии. Не менее характерно и то, что в этой записке своей, написанной для печати в 1878 г., Салтыков не считал возможным упомянуть о «сильном влиянии» на него в совершенно иной области — фурьеризма и вообще утопического социализма, а также и о своей идейной (если и не фактической) близости к кружку петрашевцев. А между тем юношеский «утопизм» Салтыкова — факт очень важный для его биографа; без этого недостаточно ясным становится весь последующий идейный путь Салтыкова, от временного тяготения к славянофильству в 1856—1857 гг. вплоть до твердого и сознательного соединения с дорогой «Отечественных Записок» семидесятых годов, с дорогой социалистического и революционного народничества.

Семь с половиною лет, проведенные в Вятке — впоследствии, в «Губернских очерках», получившей бессмертие под названием Крутогорска — самый темный период жизни Салтыкова, темный и в прямом и в переносном смысле: о нем очень мало известно, но все же известно, что провинциальная жизнь мало-по-малу начала засасывать Салтыкова, — в ряде автобиографических мест из «Губернских очерков» и других позднейших произведений он сам го-

ворит об этом, и нам еще придется познакомиться с этими местами, когда будем более подробно говорить о жизни Салтыкова в Вятке.

«Высочайше помилованный» в конце 1855 года, Салтыков вернулся в Петербург; в первой половине 1856 г. написал он основную часть «Губернских очерков», пользуясь материалом своих вятских впечатлений. Напечатанные в журналах 1856—1857 гг. и вышедшие немедленно двумя отдельными изданиями, «Губернские очерки» сразу сделали имя автора знаменитым. Он напечатал их под псевдонимом Н. Щедрина, но в отдельном издании 1857 года сразу раскрыл этот псевдоним, прибавив в подзаголовке, что эту книгу «отставного надворного советника Н. Щедрина» — «собрал и издал М. Е. Салтыков». С этих пор и до самого конца своей литературной деятельности Салтыков не расставался с этим главным своим псевдонимом; им подписано через тридцать лет и последнее его произведение — «Пошехонская старина».

1856 год был переломным в жизни и творчестве Салтыкова. Безвестный ссыльный сразу стал знаменитым писателем. В начале 1856 года он женился на Е. А. Болтиной, дочери вятского вице-губернатора; в очерке «Скука» (из «Губернских очерков») она выведена под именем Бетси. О семейной жизни Салтыкова говорить здесь не приходится: она не оказала никакого влияния на его творчество, если не считать постоянных язвительных выпадов сатирика против «дамочек» и «куколок», мило лепечущих по-французски, но свободных от всякого тяжелого груза мыслей. Но провинциальная служба, как увидим ниже, имела большое влияние на все творчество Салтыкова ближайших годов. Службу эту он продолжал до начала 1862 года, будучи с середины 1856 года чиновником особых поручений в министерстве внутренних дел, в 1858—1860 гг. — рязанским вице-губернатором, в 1860—1862 гг. — вице-губернатором тверским; в начале 1862 г. он вышел в отставку, чтобы всецело отдаться журнальной деятельности.

Все эти годы службы дали Салтыкову новый и богатый материал для последующего творчества, впоследствии использованный в «Помпадурах и помпадуршах» (1863—1874 гг.) и целом ряде других произведений. Но в самые годы службы Салтыков писал сравнительно мало. В 1857—1859 гг. он дописывал последние «губернские очерки», которые не включил в последующие издания своей книги этого заглавия, соединив большинство из этих новых очерков в от-

дельный том «Невинных рассказов» (1863 г.); в эти же годы писал он отдельные этюды из задуманной, но не осуществленной «Книги об умирающих». Начиная с 1860 г. Салтыков стал искать новых форм для своей сатиры, и хотя еще не нашел их, но все же мало-помалу нащупывал дорогу к ним. Очерки и статьи 1860—1862 гг.— «Скрежет зубовный» (1860 г.), «Клевета» (1861 г.), «К читателю» (1862 г.) и др., собранные тогда же в сборник «Сатиры в прозе» (1863 г.), были первыми попытками сатирика найти свой путь, выработать свою форму. Попытки эти, сперва бледные, через несколько лет дали свои плоды.

Все эти произведения 1860—1862 гг. Салтыков печатал в «Современнике»; выйдя в отставку, он, после неудачной попытки основать собственный журнал, вошел с начала 1863 года в редакторскую коллегию «Современника» и отдался кипучей журнальной деятельности, продолжавшейся почти два года. Первые четыре очерка будущих «Помпадуров и помпадурш», ряд публицистических статей, ряд статей критических и рецензий, целый отдел «Наша общественная жизнь», последний номер знаменитого «Свистка»— все это с подписью, без подписи, под псевдонимом Н. Щедрина и под разными другими псевдонимами составило за два года до тысячи страниц журнального текста, до сих пор совершенно неизвестного широким кругам читателей, так как все это, «яко дермо», Салтыков впоследствии не включил в собрание своих сочинений. А между тем все это — ценнейший историко-литературный материал, без знакомства с которым нельзя понять, каким образом автор «Губернских очерков» превратился в автора «Помпадуров и помпадурш» и «Истории одного города». Публицистический элемент в сатире Салтыкова оформился и получил первое развитие именно в эту эпоху кипучей журнальной работы 1863—1864 гг.

Цензурные, материальные и семейные обстоятельства заставили однако Салтыкова временно отойти от журнальной и вообще литературной деятельности на целые три года. В ноябре 1864 г. Салтыков бросил журнал и вскоре уехал в Пензу служить председателем казенной палаты; через два года он перешел на ту же должность в Тулу, а еще через год (октябрь 1867 г.)— в Рязань. «Казенные палаты» были главными органами министерства финансов во всех губернских городах и ведали взиманием и разверсткой прямых налогов, торгами на сдачу казенных подрядов,

ревизией казначейств и т. п. Учреждены были они при Екатерине II, реформированы же в 1863 году; управляющий казенной палаты был вторым после губернатора лицом в губернской администрации. Таким образом, Салтыков, к тому времени уже действительный статский советник, занимал очень высокое место на административной лестнице чинов. Но именно это «высокое место» и перегруженность канцелярской работой помешали Салтыкову в эти последние годы службы заниматься работой литературной.

Пустой трехлетний промежуток 1865—1867 гг. в литературной деятельности Салтыкова объясняется, впрочем, не только службой, поглощавшей все его время, не только цензурным гонением, но и вообще положением русской журналистики в реакционный период второй половины шестидесятых годов. В середине 1866 года за «вредное направление» был закрыт «Современник»; в первой книжке журнала за этот год Салтыков напечатал единственную за эти три года статью «Завещание моим детям». В заглавии этой статьи он только оформил то, что за год перед этим лично заявлял Некрасову, издателю и редактору «Современника», уходя из его журнала. «Салтыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, ему заметил, что не верит этому...», — рассказывает в известных своих «Воспоминаниях» Головачева-Панаева.

Некрасов оказался прав, когда встретил такое заявление Салтыкова улыбкой. Лишь только прошла тяжелая полоса 1866—1867 годов, лишь только Некрасову удалось вместо погибшего «Современника» получить в свои руки другой журнал, «Отечественные Записки» (с января 1868 года), лишь только он предложил Салтыкову принять ближайшее участие в этом журнале, как Салтыков сразу пошел навстречу этому предложению: с самого начала 1868 г. он стал деятельным сотрудником в «Отечественных Записках», прodelывал из Рязани редакционную работу, и, наконец, в середине 1868 г. окончательно вышел в отставку, переехал в Петербург, стал одним из редакторов журнала — и вступил в самый блестящий период своей литературной деятельности.

С этих пор и до самого закрытия «Отечественных Записок», с 1868 по 1884 год, жизнь и журнальная работа Салтыкова совпадают: он живет только для журнала, только для литературы, неустанно создавая одно выдающееся произведение за другим, и

в произведениях этих, несокрушимых временем, отзывается на казалось бы мелкие злобы дня. Делать вечным злободневное — по силам лишь могучим художникам; и недаром после появления «Истории одного города» (1870 г.) Тургенев в восторженном письме и в хвалебной статье поставил Салтыкова рядом с такими мировыми гениями, как Раблэ и Свифт.

На этой работе Салтыкова в «Отечественных Записках» здесь не для чего останавливаться: изучение ее составляет главное содержание второй части настоящей монографии. Здесь достаточно наметить лишь основные вехи. В 1868 г. Салтыков возобновил свою литературную деятельность рядом очерков под общим заглавием «Признаки времени», перемежая их непосредственно примыкающими к ним «Письмами из провинции» (1868 — 1870 гг.). В 1869 году он начал серию «Господ ташкентцев», законченную через три года, и не только подводящую итоги эпохе реакции конца шестидесятых годов, но и вообще рисующую яркий образ российского «просветителя». В то же самое время он с 1868 года продолжал очерки, которые впоследствии составили серию «Помпадуров и помпадурш», завершленную лишь шестью годами позднее. Мало-по-малу из этой провинциальной темы у него стала вырисовываться общенациональная, и в 1869—1870 гг. появилась сперва в журнале, а потом и отдельным изданием гениальная «История одного города», по поводу которой Тургенев недаром поминал имена Раблэ и Свифта. В этом же 1869 году Салтыков написал первые из своих знаменитых впоследствии «Сказок»; после долгого перерыва он продолжал понемногу писать их в 1883—1886 гг.; как известно, они составляют одну из наиболее ценных частей его литературного наследия.

Новым циклом в 1872 году явился «Дневник провинциала в Петербурге», весь настолько переполненный злободневными намеками, что в настоящее время это блестящее произведение сатирика нуждается в особенно подробной расшифровке. Впрочем — это судьба почти всех произведений Салтыкова, разделяющего такую участь с теми же Свифтом и Раблэ. В том же 1872 году Салтыков начал затянувшиеся на пять лет «Благонамеренные речи»; такие очерки из них, как «Столп», рисующий начало зарождения буржуазии в России, или «Непочтительный Коронат», в котором остро ставится вопрос о молодом поколении семидесятых годов — при-

надлежат к лучшему из написанного Салтыковым за эти годы. В тех же «Благонамеренных речах» начата была в 1875 году отдельными очерками хроника «Господ Головлевых», законченная лишь через пять лет; одного типа Иудушки было бы достаточно, чтобы сделать бессмертным это произведение Салтыкова. В 1874 г. начаты были «Эксперсии в область умеренности и аккуратности» (в отдельном издании 1878 года получившие название «В среде умеренности и аккуратности»); главная тема этих «экскурсий» — развитие типа многообразных российских Молчалиных.

Тяжелая болезнь, начавшаяся у Салтыкова в конце 1874 г. и не оставлявшая его целых пятнадцать лет до самой его смерти, не повлияла на силу и напряженность творческой его деятельности. Посланный врачами за границу весной 1875 года и пробыв больше года в Германии и Франции, Салтыков все это время продолжал деятельную работу в журнале. Правда, из-за болезни он не мог закончить великолепно начатую серию «Культурных людей» (1876 г.), но в это же самое время он завершил «Благонамеренные речи», начал серию «Господ Головлевых», написал один из лучших своих рассказов «Сон в летнюю ночь» (1875 г.). Эту вещь, а также и написанные тремя годами позднее «Похороны», Салтыков считал лучшими из своих рассказов. Впрочем, термин «рассказ» совершенно не подходит к своеобразной, выработанной Салтыковым, форме произведений, в которых самая реальная фантастика и самый фантастический реализм так тесно сплетены друг с другом.

Вскоре после возвращения из-за границы Салтыков начал новый цикл — «Современную идиллию» (1877 г.); это произведение растянулось на целые семь лет и в то же время показало, что талант Салтыкова попрежнему находится в полном своем расцвете. «Современная идиллия», как и «История одного города» — произведение гениальное, одна из вершин творчества Салтыкова; в то же время это одна из самых современных вещей для эпохи всякой духовной реакции и вещь, несмотря на свою кажущуюся разбросанность, глубоко цельная. Когда Тургенев упрекал Салтыкова за то, что тот, при огромном своем таланте, не попробует написать «повесть» или «роман» — то он исходил просто из шаблонного понимания этих терминов. Салтыков был вполне прав, когда говорил, что такие свои произведения, как «Современную

идиллию» или «Господ Головлевых», считает настоящими романами. Таким же цельным «романом» надо считать и «Убежище Монрепо» (1878—1879 гг.). Лучшего изображения разлагающегося дворянского землевладения нет в русской литературе; «чумазые» Разуваев и Колупаев стали так же бессмертны, как и «стоип» Дерунов из «Благонамеренных речей». К тому же 1879 году относятся и ядовитая хроника «Круглый год».

К концу семидесятых годов, после турецкой войны 1877—1878 гг., после первых проявлений возникшего народовольчества, стало ясным для всех, что «дальше так жить нельзя»,— и даже само правительство мало-по-малу пришло к мысли о необходимости политических реформ, вплоть до пародии на конституцию. В эти годы Салтыковым написана, в откликах на злобы дня, одна из самых острых его серий — «За рубежом» (1880—1881 гг.). Но годы эти были последними годами внезапно вспыхнувшего и быстро погасшего правительственного и общественного «либерализма»: в 1881 году, после убийства Александра II, началось реакционное царствование Александра III. Последними сериями, напечатанными Салтыковым в «Отечественных Записках», были «Письма к тетеньке» (1881—1882 гг.) и «Пошехонские рассказы» (1883—1884 гг.). Эти салтыковские циклы характеризуют эпоху реакции, еще растерянное правительство, уже перепуганное «либеральное» общество, эпоху доносов и добровольного сыска «Священной дружины». Эпилог «Пошехонских рассказов» по своей эпичности мог бы быть достойным заключением «Истории одного города».

Он оказался в то же время и эпилогом деятельности Салтыкова в «Отечественных Записках». В апреле 1884 года журнал этот был закрыт за «вредное направление», а вместе с тем закончилась и блестящая шестнадцатилетняя литературная деятельность в нем Салтыкова. Оборванный на полуслове, он закончил эту деятельность отдельным изданием серий «Недоконченных бесед» (1884 год). Теперь ему пришлось искать случайного пристанища в «Русских Ведомостях» и в «Вестнике Европы». В первом из этих органов он стал печатать главным образом свои «Сказки», вышедшие отдельным изданием в 1886 году и доказавшие, что талант Салтыкова неувядаем, оригинален и ярок попрежнему. В «Вестнике Европы» Салтыков в то же время напечатал еще две серии очерков — «Пестрые письма» (1884—1886 гг.) и «Мелочи жизни» (1886—

1887 г.). В очерках последнего произведения он попытался стать на новую литературную дорогу, тесно связывающую его с последующей русской литературой и в частности с очерками начинающего Чехова. Литературный же путь Салтыкова подходил уже к концу. Лебединой песнью была «Пошехонская старина» («Вестник Европы», 1887—1889 г.), произведение классическое, достойно завершившее почти полувековую литературную деятельность одного из величайших русских писателей XIX века.

Умер Салтыков после тяжелой многолетней болезни 28 апреля (10 мая) 1889 года. В том же году вышло в свет девятитомное первое собрание его сочинений, задуманное и подготовленное к печати еще самим автором незадолго до смерти.

На предыдущих страницах с намеренной краткостью отмечены лишь основные биографические данные жизни Салтыкова и главные литературные вехи его творчества; задача настоящей монографии — развить эти краткие и сухие указания в ряд глав, вскрыть общественную канву, служившую основой творчества Салтыкова и лишь тогда подвести итоги литературной деятельности сатирика.

Глава II

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ТВОРЧЕСТВА

I

Евграф Васильевич Салтыков, отец будущего сатирика, происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода; мать, Ольга Михайловна Салтыкова, урожденная Забелина, была из купеческого рода — «кулак-баба», как позднее не совсем почтительно характеризовал свою мать сам Салтыков. Рождение Михаила Евграфовича, характеристика родителей, описание окружающей среды, рассказ про годы детства — все это нарисовано самим Салтыковым в автобиографической «Пошехонской старине».

Хотя в примечании к Введению в «Пошехонскую старину» автор и заявлял категорически, что «автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало», но, как известно, заявление это является лишь довольно обычной «беллетристической отговоркой». Конечно, «Пошехонская старина» — художественное произведение, а не сухая автобиографическая записка, но в основу его положен семейный быт Салтыковых в имении Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии, в окружении крепостного быта той эпохи тридцатых годов XIX века. Анна Павловна Затрапезная из «Пошехонской старины» — конечно Ольга Михайловна Салтыкова, мать сатирика. Какое сильное впечатление осталось от матери на всю жизнь у Салтыкова, можно судить по тому, что не один раз выводил он ее в своих произведениях, с большей

или меньшей художественной ретушью ее лица. Марья Ивановна Крошина из «Противоречий» (1847 г.) — первый легкий абрис; «Госпожа Падейкова» (1859 г.) — уже более подробный очерк; Марья Петровна Воловитинова из «Семейного счастья» (1863 г. — вошло в «Благонамеренные речи») — настоящий художественный портрет, являющийся однако лишь этюдом к ярко и сочно нарисованной Арине Петровне Головлевой («Господа Головлевы», 1875—1880 гг.). Наконец Анна Павловна Затрапезная из «Пошехонской старины» (1887—1889 гг.), — последний и наиболее законченный на ряду с Ариной Петровной Головлевой портрет все того же основного прототипа — Ольги Михайловны Салтыковой. Последняя скончалась в 1874 году, и характерно, что немедленно после ее смерти Салтыков стал писать семейную хронику господ Головлевых — т.-е. Салтыковых; первая глава этой хроники появилась в «Отечественных Записках» 1875 года (№. 10). Быть может не менее интересно отметить, что почти до самой смерти матери Салтыков находился под ее властной опекой; по крайней мере уже в 1865 году, будучи в Пензе «вторым лицом после губернатора», он между прочим писал Анненкову: «милая моя родительница засекустровала все доходы с моего имения, я решительно оставлен теперь на произвол судеб и министерства финансов»...

От матери осталось сильное впечатление, от отца — почти никакого, по крайней мере в художественном творчестве Салтыкова он почти не отразился. Эпизодический Игнатий Кузьмич Крошин в «Противоречиях», столь же эпизодический старик Головлев в хронике Головлевского семейства, наконец старик Затрапезный в «Пошехонской старине» — случайные и беглые наброски, особенно по сравнению с выступающей всюду на первый план фигурой матери.

Наконец — остальные члены семьи, братья и сестры: их тоже мы видим в указанных выше автобиографических художественных произведениях Салтыкова. Иудушка, Степка-балбес, Павел Головлевы — в «Пошехонской старине» изображены еще детьми; но и еще дети, и уже взрослые все они, конечно, братья Салтыкова, который не пощадил некоторых из них в своих художественных зарисовках. Горше всего в этом отношении досталось брату его Дмитрию Евграфовичу, выведенному под име-

нем Гриши в «Пошехонской старине» и под именем Иудушки в «Господах Головлевых». Не удивительно, что жена брата Салтыкова в позднейших своих воспоминаниях говорила о сатирике: «не могу простить глумления его над собственной семьей, а в особенности выставления на показ родной своей матери»¹. Действительно, Салтыков не пощадил свою семью, но все, что мы знаем о ней, подтверждает, что щадить тут было нечего. Детство Салтыкова было темное и беспросветное; тот «тяжелый характер», который стал его уделом, не случайно развился в этой тяжелой обстановке. Но о детстве этом говорить подробно нет необходимости, — достаточно еще и еще раз отослать читателя к «Пошехонской старине».

Мрачные сцены крепостного права — внешнее окружение; дикое семейное воспитание — та почва, на которой развивалась душа ребенка. Сам Салтыков подчеркивает тот «существенный недостаток, которым страдало наше нравственное воспитание. Я разумею здесь совершенное отсутствие общения с природой... Мы знакомились с природой случайно и урывками — только во время переездов на долгие в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно» («Пошехонская старина», гл. III). Это отсутствие общения с природой сказалось впоследствии на Салтыкове-художнике; нам еще придется коснуться вопроса о пейзаже в произведениях Салтыкова, — и мы увидим тогда, что на пейзаже этом явно отразилось то, что в детстве Салтыкова «все кругом было темно и безмолвно».

Эту темноту и безмолвие прорезал в детские годы первый луч света, о котором рассказывает нам опять-таки сам Салтыков. Он рассказывает о том «тревожном чувстве», которое пробудило в нем первое чтение Евангелия. Дни этого чтения — вспоминал в последние годы своей жизни Салтыков — «для меня принесли полный жизненный переворот... Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня» («По-

¹ Воспоминания А. П. Салтыковой, «Русский Архив» 1907 г., т. II, стр. 386.

шехонская старина», гл. V). Позднейший фурьеризм и утопический социализм Салтыкова вырос именно из этого зерна, заброшенного еще в детскую душу.

И еще одно влияние детского чтения, о котором мы опять-таки узнаем из уст Салтыкова; на этот раз — полная противоположность Евангелию, ряд злых и ядовитых стихов Гейне. «Для меня это сочувственнейший из всех писателей,— писал Салтыков Дружинину в 1859 году:— я еще маленький был, как надрывался от злобы и умиления, читая его»¹. Злоба и умиление — это очень метко сказано, ибо в этих двух словах даны и внешняя форма, и внутренняя сущность всей последующей сатиры Салтыкова.

Безрадостное темное детство с яркими лучами света от вечных книг, «полный жизненный переворот» по словам самого Салтыкова. Мы знаем еще много частных о его детстве — но большего знать и не нужно: эта общая картина детства Салтыкова достаточно освещает собою его ближайший последующий путь,— школьные годы в Москве, учение в царскосельском лицее, увлечение утопическим социализмом, близость к кружку петрашевцев. Полный жизненный переворот, происшедший с Салтыковым, когда ему не было еще и десяти лет, сказался в области реальной жизни полутора десятками лет позднее, когда молодому начинающему писателю пришлось отправиться в вятскую ссылку за «вредный образ мыслей».

II

В августе 1836 года десятилетний Салтыков поступил в Московский дворянский институт. Это было привилегированное учебное заведение для детей потомственных дворян, раньше называвшееся Московским университетским благородным пансионом и лишь за три года до поступления Салтыкова переименованное в дворянский институт². О двух годах учения Салтыкова в этой школе мы почти ничего не знаем фактического, но знаем более чем достаточно по позднейшим воспоминаниям самого Салтыкова, чтобы

¹ «Письма», т. I, № 9. — Ср. отзыв Салтыкова о Гейне в рецензии 1863 г. (см. ниже, гл. X).

² Краткую историю этого учебного заведения—см. в «Русской Старине» 1883 г., № 4, стр. 231—237. В 1848 г. институт этот был преобразован в 4-ю московскую гимназию.

можно было достаточно ярко характеризовать эту типичную для той эпохи школу. В «Губернских очерках» (1856 г.), в «Тихом пристанище» (1858—1865 гг.), в «Господах ташкентцах» (1871 г.), наконец в «Недоконченных беседах» (1884 г.) — Салтыков не один раз возвращался к своим школьным годам — то в форме художественных образов, то в форме прямых воспоминаний.

В автобиографическом очерке «Скука» (из «Губернских очерков») Салтыков впервые вспоминает про свои детские школьные годы — и вспоминает очень недружелюбно. «Помню я и школу, но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении... Там царствовало лишь педантство и принуждение; там не хотели признавать законность детского возраста и подозрительно смотрели на каждое резвое движение сердца, на каждую детскую шалость...»¹. В этой угрюмой и неприветливой школе мальчику Салтыкову жилось трудно и по ряду чисто-внешних обстоятельств: богатая, но скупая мать не считала, очевидно, нужным отпускать своему сыну хотя бы небольшие «карманные деньги», и мальчик чувствовал себя обойденным среди большинства состоятельных товарищей. В сохранившейся, но мало кому известной, повести 1858—1865 гг. «Тихое пристанище» мы находим следующее несомненно автобиографическое место, в котором говорится о школьнике, уязвленном своею бедностью. «Читатель, забывший годы своего детства, быть может найдет моего героя скверным и пошленьким мальчишкой, — говорит Салтыков: — но в таком случае прошу его потревожить свою память. Пусть припомнит он, как горько для молодого самолюбия чувствовать себя всегда последним, как бы обойденным; пусть припомнит он, как тяжело то безмолвное отречение от участия в товарищеских складчинах и пирушках, на которое обречен бедный школьник»². Здесь говорится, конечно, не только о школьной жизни в дворянском институте, но и о позднейших годах, проведенных в Царскосельском лицее.

Описанию школьной жизни дворянского института посвящена часть «Второй параллели» из «Ташкентцев приготовительного клас-

¹ Интересно отметить, что строки эти Салтыков вычеркнул из окончательного текста «Скуки». Их можно найти в журнальном тексте («Русский Вестник» 1856 г., № 10) и в первых трех отдельных изданиях «Губернских очерков».

² «Вестник Европы» 1910 г., № 3, стр. 146.

са» («Господа ташкентцы», 1871 г.). В своем месте я остановлюсь на этом обстоятельстве и покажу сравнением с одним из мест «Недоконченных бесед», что Салтыков описывал здесь действительно быт и нравы Московского дворянского института. Здесь ограничусь лишь кстати указанием, что почти одновременно с Салтыковым в этой школе учились такие впоследствии выдающиеся деятели науки и общественной жизни, как Н. Милютин, Д. Милютин, П. Леонтьев и др.

Учение и жизнь в Царскосельском лицее (1838—1844 гг.) дали Салтыкову впоследствии очень много материала для художественной обрисовки целого ряда «ташкентцев пригготовительного класса», привилегированных молодых людей, будущих прокуроров, посланников, губернаторов и министров, которые были одноклассниками Салтыкова в этом учебном заведении¹. «Заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров» — вспоминал позднее Салтыков в девятом (по журнальному тексту — шестом) из знаменитых «Писем к тетеньке» (1882 г.), прибавляя иронически к этому, что «заведение, где я воспитывался, ... принадлежало к числу чистокровнейших». Вообще же лицейская жизнь и лицейское учение в этом «Письме к тетеньке» обрисованы Салтыковым столь ярко и красочно, что цитатой из этого произведения можно завершить рассказ о лицейских годах будущего сатирика:

«...И наставники, и преподаватели были до того изумительные, что нынче таких уж на версту к учебным заведениям не подпускают. Один был взят из придворных певчих и определен воспитателем; другой, немец, не имел носа; третий, француз, имел медаль за взятие в 1814 году Парижа и тем не менее декламировал: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!»; четвертый, тоже француз, страдал какою-то такою болезнью, что ему было велено спать в виц-мундире, не раздеваясь. Профессором российской словесности был Петр Петрович Георгиевский, человек удивительно добрый, но в то же время удивительно бездарный. Как на грех кому-то из воспитанников посчастливилось узнать, что жена Георгиевского называет его ласкательными именами: Пепя, Пепочка, Пепон и т. д. Этого до-

¹ Об одноклассниках Салтыкова по лицее, а также об лицейцах старших выпусков см. в «Памятной книжке Александровского лицея на 1855/56 г.», Спб, 1856 г.

статочно было, чтоб изданные Георгиевским «Руководства», пространное и краткое, получили своеобразную кличку: большое и малое Пепину свинство. Иначе не называли этих учебников даже солиднейшие из воспитанников, которые впоследствии сделались министрами, сенаторами и посланниками. Профессором всеобщей истории был пресловутый Кайданов, которого «Учебник» начинался словами: «Сие мое сочинение есть извлечение» и т. д. Естественно, эту фразу переложили на музыку с очень непристойным мотивом и в рекреационное время любили ее распевать (в том числе и будущие министры и даже, кажется, народного просвещения). Но еще более любили петь посвящение бывшему попечителю Казанского университета Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономии Горлова. Разумеется, начальство зорко следило за этими поступками и особенно отличавшихся певцов сажало в карцер... Вообще, тогдашняя педагогика была во всех смыслах мрачная: и в смысле физическом, и в смысле умственном»¹.

Не менее замечательно и еще одно резюмирующее место из последнего «Письма к тетеньке», которое тоже следует привести для окончательной характеристики лица эпохи Салтыкова. «Для нас нанимали целую уйму Вральманов, Цыфиркиных, Кутейкиных (конечно, несколько усовершенствованных), а общее руководство, вместо Еремеевны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали нас коротенькими знаниями (был один год, например, когда я одновременно обучался одиннадцати «наукам» и в том числе «Пепину свинству»...), а холоп высшей школы внушал, что цель знания есть исполнение начальственных предначертаний. Сведения доходили до нас коротенькие, бессвязные, почти бессмысленные. Они не анализировались, а механически зазубривались, так что будущая их судьба вполне зависела от богатства или бедности памяти учащегося. Ни о каком фонде, могущем послужить отправным пунктом для будущего, и речи быть не могло. Повторяю: это было не знание, а составная часть привилегии, которая проводила в жизнь резкую черту; над чертой значились мы с вами, люди досужие, правящие; под чертой стояло одно только слово:

¹ «Письма к тетеньке», «Отеч. Записки» 1882 г., № 2, стр. 541—542. Цитата приводится по журнальному тексту в виду ее большей полноты по сравнению с текстом отдельных изданий.

мужик... Мужик! ведь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравнения с ним, чтобы заставить правящего младенца сгореть со стыда»¹.

Эти воспоминания говорят сами за себя: ясно, что ни средняя школа, ни лицей не могли посеять в душе Салтыкова никаких зерен, которые могли бы дать ростки по выходе его из-за школьных стен. А между тем всходы новых чувств и мыслей сказались в Салтыкове в ближайшее же время по окончании им лицея. Всходами этими были те идеи «утопического социализма», которые тогда, в начале сороковых годов, только что проникли в Россию и провозвестником которых был в то время Белинский. Недаром о сильном влиянии Белинского говорит сам Салтыков в своей автобиографической записке.

Весною 1844 года Салтыков окончил лицей и осенью того же года поступил на службу. Ему нечем было бы вспомнить лицей в плане «литературных воспоминаний» (воспоминания эти рассеяны отдельными отрывками в целом ряде его позднейших произведений), если бы не характерная глава из этих школьных лет его жизни: та «страсть к стихотворному парению», которая обуюла его в лицее и результатом которой был целый ряд напечатанных тогда же его стихотворений. Этой главой мы и заключим знакомство с юношескими годами Салтыкова.

III

«Первыми печатными произведениями» Салтыков впоследствии считал свои повести 1847—1848 гг.; но сам же он указал для будущих библиографов на еще более ранние и действительно первые печатные свои произведения — ряд стихотворений, помещенных им в петербургских журналах 1841—1845 гг. Стихотворения эти были уже после смерти Салтыкова разысканы и перечислены (с небольшими ошибками) в статье К. Арсеньева²; здесь перечислю их не в порядке появления в печати, а в порядке написания,— как можно

¹ «Письма к тетеньке», «Отеч. Записки» 1882 г., № 5, стр. 242. — Цитата по журнальному тексту, отличающемуся от основного.

² К. Арсеньев, «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова»; напечатано в т. IX «Сочинений» Салтыкова, вышедших после смерти автора в 1889—1890 гг. В дальнейших ссылках на эту статью она будет обозначаться словом «Материалы».

судить об этом по всюду проставленным самим автором датам. До нас дошло всего десять следующих стихотворений:

1. Лира. — 1841 г.
«Библиотека для Чтения» 1841 г., т. XLV, стр. 105.
2. Рыбачке («Из Гейне»).—1841 г.
«Современник» 1844 г., т. XXXV, стр. 100.
3. Две жизни. — 1842 г.
«Библиотека для Чтения» 1842 г., т. L, стр. 10.
4. Из Байрона («Разбит мой талисман...»).—1842 г.
«Современник» 1844 г., т. XXXV, стр. 105.
5. Из Байрона («Когда печаль моя...»).—1842 г.
«Современник» 1845 г., т. XXXIX, стр. 306.
6. Вечер.—1842 г.
«Современник» 1845 г., т. XXXVII, стр. 377.
7. Зимняя элегия. — 1843 г.
«Современник» 1845 г., т. XXXVII, стр. 119.
8. Музыка.—1843 г.
«Современник» 1845 г., т. XXXIX, стр. 212.
9. Наш век.—1844 г. (февраль).
«Современник» 1844 г., т. XXXIV, стр. 231.
10. Весна. — 1844 г. (март).
«Современник» 1844 г., т. XXXIV, стр. 341.

Рассматривая эту таблицу и сравнивая даты написания этих стихотворений со временем их появления в печати, можно притти к следующим двум заключениям. Первое: время написания и появления в печати — очень разнятся между собой; если бы мы захотели построить эту таблицу по датам появления стихов в печати, то их пришлось бы расположить в совершенно ином порядке, а именно: 1, 3, 9, 10, 2, 4, 7, 6, 8 и 5. Второе: все эти стихотворения относятся к лицейским годам Салтыкова, при чем большинство падает еще на 1842 год, а последнее написано за несколько месяцев до окончания Салтыковым курса. Тот факт, что почти все эти стихотворения подписаны полной фамилией Салтыкова («Салтыков» или «М. Салтыков»), показывает, что автор их в то время относился еще серьезно к своей стихотворной деятельности и, быть может, действительно считал себя, согласно лицейской традиции, одним из наследников Пушкина...

Из автобиографии Салтыкова мы знаем, когда начал он писать первые стихи и как относилось к этим попыткам творчества лицейское начальство. Сохранилась еще и другая, более ранняя авто-

биографическая записка Салтыкова, написанная им еще в 1857 году; в ней мы находим несколько характерных строк, посвященных воспоминаниям об этом периоде стихотворства. «...Начал писать еще в лицее, где за страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям»¹. Красочный рассказ об этом лицейском периоде стихотворства и о начальственном гонении мы находим в девятом (по журнальному тексту — шестом) «Письме к тетеньке». Рассказывая «тетеньке» о том, что он, учась в «чистокровнейшем» привилегированном заведении, частенько сиживал в карцере, Салтыков иронически продолжает:

«Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров) сиживали в этом карцере; а так как обо мне как-то сразу сделалось заранее известным, что я министром не буду, то, натурально, я попадал туда чаще других. И угадайте, за что?—за стихи! В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, в классе и ничего не вижу и не слышу, всё стихи сочиняю. Отвечаю невпопад, а когда, бывало, мне скажут: «станьте в угол носом!»—я, словно сонный, спрашиваю: «а? что?». Долгое время начальство ничего не понимало, а может быть даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконец-таки меня поймали. И с тех пор начали ловить неустанно. Тщетно я прятал стихи в рукав куртки, в голенище сапога — везде их находили. Пробовал я, в виде смягчающего обстоятельства, перелгать в стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймают один раз — в угол носом! поймают в дру-

¹ По автографу, находящемуся в рукописном отделении Публичной Библиотеки. См. также «Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1871 г.» (СПб. 1872 г., стр. 59) и «Русскую Старину» 1891 г., № 2, стр. 484. Автобиографическая записка эта несомненно написана до середины 1858 г., так как из произведений своих Салтыков упоминает в ней только о «Губернских очерках», а служебное положение свое определяет, как «чиновник особых поручений при министре внутренних дел», чем он был с 6 ноября 1857 по 6 марта 1858 г.

гой — без обеда! поймают в третий — в карцер! Вот, голубушка, с которых пор начался мой литературный мартиролог»¹.

Так писал Салтыков уже через сорок лет после своего «стихотворного парения», относясь к юношеским попыткам своим стать наследником Пушкина сугубо иронически. Но можно указать, что это ироническое отношение к собственному поэтическому творчеству ясно сказалось у Салтыкова не только через сорок лет, но и через четыре года после появления в печати его стихов. В повести «Противоречия», появившейся в печати в конце 1847 года, есть характерные места, касающиеся «поэтического творчества» несомненно *pro domo sua*. Когда один из эпизодических персонажей повести, «престрашный сантиментал» Гуров, рекомендует своему отцу героя повести «как собрата своего по Аполлону», то герой, от имени которого ведется повествование, сообщает: «такая неожиданная рекомендация, признаюсь, несколько смутила меня, потому что, как вам известно, я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату»... На возражение, что «поэзия — это, так сказать, ядро, центр нашей жизни, это, извольте видеть, душа; без поэзии мы — простые смертные; без нее у души нашей нет крыльев взлететь к своей первобытной отчизне...», автор иронически отвечает, «что не всем же летать на небо, что тут одни избранные, а мне, как простому смертному, ничего более не остается, как пресмыкаться по земле». В конце этой же повести некий литератор Петя Мараев, отличавшийся «ароматом светскости» (несомненный выпад против Ивана Панаева, редактора «Современника»), читает свое стихотворение, которое автор приблизительно передает следующим образом:

«Там река шумит, ветер воет и небо облаками кроет; мы сидим с тобой оба; у тебя кудри так развеваются, и полная грудь твоя поднимается, и ланиты покрыты пурпуром стыдливости... А там река шумит, ветер воет и небо облаками кроет»².

¹ «Письма к тетеньке», «Сочинения» М. Е. Салтыкова (1889—1890 гг.), т. VI, стр. 294, и «Отеч. Записки» 1882 г., № 2, стр. 540. — Цитаты из произведений Салтыкова всюду делаются ниже или по журнальному тексту (в случае характерных отличий его), или по тексту первого девятомного собрания его сочинений 1889—1890 гг., единственного более или менее удовлетворительного по тексту.

² «Противоречия», «Отеч. Записки» 1847 г., т. LV, стр. 44 и 94.

Это «стихотворение», независимо от творчества Ивана Панаева, является лучшей пародией на стихи самого Салтыкова. Стихи его, почти полностью перепечатанные в «Материалах» К. Арсеньева — произведения совершенно детские, показывающие в их авторе полное отсутствие всякого поэтического таланта. Все они написаны под явственным влиянием ряда поэтов тридцатых и сороковых годов, и если разбирать эти стихи в хронологическом порядке, то явно скажется влияние Бенедиктова, Майкова и Губера, не говоря о перепевах из Лермонтова. Первое же стихотворение «Ли́ра» (1841 г.) повторяет собою напыщенный и приподнятый стиль, Бенедиктова:

На русском Парнасе есть лира;
Струнами ей—солнца лучи,
Их звукам внимает пол-мира:
Пред ними сам гром замолчи!

И в черную тучу главою
Небрежно уперлась она;
Могучий утес — под стопою,
У ног его стонет волна...

Впоследствии, в предсмертной своей автобиографии (написанной 28 апреля 1887 г.), Салтыков вспоминал: «было напечатано в Библ. для Чтения мое первое стихотворение «Ли́ра», очень глупое»¹. Но и последующие стихотворения были не выше первого. Стихотворение «Вечер» (1842 г.) было детским подражанием гремевшим тогда антологическим стихам Майкова; вот заключительные строки этого стихотворения, которое могло бы считаться недурной пародией на типичный антологический шестистопный ямб Майкова:

Спит тихо озеро. К крутым его брегам
Безмолвно прихожу, и там, склонясь к водам,
Сажуся в тишине, от всех уединенный.
Наяды резвые играют предо мной—
И любо мне смотреть на круг их оживленный,
Как, на поверхности лобзаемы луной,
Наяды резвые нагие выплывают,
И долго хохот их утесы повторяют.

¹ Факсимиле этой автобиографической записки приложено к книге К. Арсеньева «Салтыков-Щедрин» (Спб. 1906 г., стр. 281—284).

Переводы из Гейне и из Байрона, несмотря на всю их слабость, все же несколько лучше «оригинальных» стихотворений Салтыкова; не обладая самостоятельным поэтическим даром, он и в оригинальных своих стихах мог только рабски подражать другим поэтам. Подражания Бенедиктову и Майкову мы уже видели; а вот и явное подражание второстепенному поэту сороковых годов Губеру, который славился в то время своей мрачной, «кладбищенской» поэзией. Стихотворения Салтыкова «Зимняя элегия» и «Музыка» (1843 г.) явно написаны под влиянием этого поэта. Тут и «луна кровавая мерцала», и «мрачен был старинный зал», и «могильный блеск твоих очей», и «твой мертвый лик», и концовка «Музыки» —

Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой!

—все это дословно взято у Губера, лишь с незначительными вариациями. То же самое можно повторить и о «Зимней элегии», написанной Салтыковым в 1843 г. под тем же влиянием Губера.

Наконец, последние стихотворения Салтыкова, написанные уже в выпускном классе лицея в 1844 году, вскрывают и еще одно влияние — на этот раз влияние Лермонтова, сильной «Думе» которого Салтыков подражает слабо и бледно:

Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем—
Куда, к чему? Не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья.

Так перепевает Лермонтова вторая строфа стихотворения «Наш век» (1844 г.), которая заканчивается тоже «лермонтовской», но вполне пародической строкой:

Нет, право, жить и грустно, да и больно!..

Мы знаем, что уже через три-четыре года сам Салтыков издевался над периодом своего «стихотворного парения»; в последующие годы зрелого творчества он, судя по воспоминаниям ряда лиц, «даже не любил, когда кто-либо напоминал ему о стихотворных грехах его молодости, краснея, хмурясь при этом случае и стараясь всячески замять разговор. Однажды он высказал даже о поэтах парадокс, что все они, по его мнению, сумасшедшие люди.—«Помилуйте,—объянял он,— разве это не сумасшествие: по целым часам

ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмованные строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая»¹.

Относиться к стихотворениям Салтыкова иначе, чем как к слабьм, детским опытам, не приходится; и совершенно напрасно было бы выжимать из них (как это делают иные биографы) какую-то «идеологию», говорить о влиянии на него русского северного пейзажа и о меланхолическом настроении, навеянном тяжелой эпохой общественной жизни сороковых годов. В стихах юноши Салтыкова нет ни пейзажа, ни меланхолии, а лишь рабское подражание современным и в большинстве случаев далеко не первоклассным образцам. Но все же сказать об этих стихотворениях надо было потому, что с них началась в 1841 году литературная деятельность Салтыкова, и потому, что они завершили собою период его детских и юношеских годов. Окончив лицей, поступив на службу и отдавшись влиянию кружка петрашевцев, Салтыков навсегда бросил детские стихотворные забавы и стал пробовать свои силы в серьезном литературном труде. От поэзии он перешел к прозе; от стихов — к литературным рецензиям и к первым попыткам беллетристики. Попытки эти в области художественной прозы были тоже очень слабы, но недаром именно их считал впоследствии Салтыков началом своей литературной деятельности.

¹ А. Скабичевский, «Воспоминания о Салтыкове», «Новости» 1889 г., № 116.

Глава III

САЛТЫКОВ-ПЕТРАШЕВЕЦ. РЕЦЕНЗИИ И ПОВЕСТИ

I

Салтыков окончил лицей весной 1844 года, и в своем XIII выпуске был, по его же выражению, «не в числе отличных»: окончил лицей семнадцатым из двадцати двух и вышел с чином X класса. Осенью того же года он поступил на службу, которую продолжал в Петербурге до апреля 1848 года. Вот краткое извлечение из его «формулярного списка», опубликованного через четверть века после его смерти в «Трудах Рязанской Ученой Архивной Комиссии»:

«По окончании курса наук в Императорском Александровском лицее с чином X класса, определен, согласно желанию, в канцелярию военного министерства тысяча восемьсот сорок четвертого года августа двадцать третьего (1844 г., августа 23). Приказом, отданным по канцелярии военного министерства, переименован в коллежские секретари тысяча восемьсот сорок четвертого года сентября шестого (1844 г., сентября 6). В награду отлично усердной службы получил единовременно 120 руб. сер. 1846 г. апреля 7. Определен помощником секретаря с содержанием по штату 1846 г. августа 8. Высочайшим приказом произведен, за отличие, в титулярные советники 1847 г. апреля 21. В награду отлично усердной службы получил единовременно полугодовой оклад жалованья 1848 г. апреля 11»¹.

¹ «Формулярный список о службе Рязанского Вице-Губернатора Коллежского Советника Салтыкова за 1859 год» («Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссии» т. XXVI, вып. 1, стр. 43).

Как видим, бюрократическая карьера Салтыкова началась очень удачно, и он в первые три с половиною года службы довольно заметно продвинулся по чиновничьей лестнице. Однако прошло только две недели со времени последней награды 11 апреля 1848 г. за «отлично усердную службу», как над головой Салтыкова разразилась буря, в несколько дней загнавшая его в вятскую ссылку. Так как катастрофа эта была тесно связана с литературной деятельностью Салтыкова и вызвана исключительно последней, то нам придется остановиться теперь на тех внутренних и внешних обстоятельствах, которые послужили причиной такого переворота на жизненном пути Салтыкова.

Удачное прохождение начала бюрократической лестницы объяснялось окончанием «чистокровнейшего» учебного заведения, бывшего «рассадником министров». Но душевная жизнь Салтыкова, работа его мысли за это время шла по совсем другой линии, не связанной ни с учением в лицее, ни со службой в военном министерстве. Влияние Белинского, влияние идей «утопического социализма», расцветавшего среди русской интеллигенции сороковых годов — вот чем заполнены молодые годы Салтыкова, вот о чем вспоминал он с теплым чувством уже в конце своего жизненного пути. Литературные свидетельства его об этом многочисленны, потому что Салтыков с особенной любовью возвращался всегда к этой самой светлой поре своей жизни.

В знаменитой четвертой главе цикла «За рубежом» (1881 г.) Салтыков рассказывает о светлом своем воспоминании — «о моем юношестве, то-есть о сороковых годах», указывая, что в словах «Франция» и «Париж» — «для всех нас, сверстников... заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание... Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам... к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас»... И, продолжая эти воспоминания, Салтыков говорит, что в Петербурге он тогда лишь имел «образ жизни», а духовно жил во

Франции, жил идеями утопических социалистов той эпохи, перечисленных им выше¹.

А вот одно из последних признаний Салтыкова, в котором он говорит о себе в третьем лице: «Еще в ранней молодости он уже был идеалистом; но это было скорее сонное мечтание, нежели сознательное служение идеалам. Глядя на вожаков, он называл себя фурьеристом, но, в сущности, смешивал в одну кучу и сен-симонизм, и икаризм, и фурьеризм, и скорее всего примыкал к сен-симонизму. В особенности его пленяла Жорж-Занд в своих первых романах»².

Можно было бы значительно увеличить число цитат из произведений Салтыкова самых разных времен его деятельности, где говорится об «утопизме» и о благотворном влиянии его на развитие политической и этической мысли XIX века. Особенно характерным в этом отношении является четвертый очерк из цикла «Итоги»³, ряд мест из этюда «Счастливец»⁴ и особенно введение к «Мелочам жизни», в котором подчеркивается жизненность «утопизма» и вечная его правда⁵. В последнем очерке, уже на крайнем рубеже своего жизненного пути, Салтыков продолжал утверждать правду «старинных утопистов», что единственным условием освобождения человечества от удручающих его зол является подведение под новую жизнь нового фундамента.

Салтыков хорошо видел и неоднократно подчеркивал ошибку утопистов, заключавшуюся в том, что они слишком конкретизировали будущее. В этом отношении особенно характерен отзыв Салтыкова о романе Чернышевского «Что делать?», относящийся еще к тем годам, когда роман этот только что появился на страницах «Современника». Роман этот, основанный на идеалах фурьеризма, Салтыков считал «романом серьезным», проводившим мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указавшим на эти основы. Но именно потому, говорит Салтыков, что автор этого романа страстно относился к этой мысли и представлял ее себе жи-

¹ «За рубежом», гл. IV, «Отч. Записки» 1881 г., № 1, стр. 229. Цитата по журнальному тексту.

² Очерк «Имярек», заключающий собой цикл «Мелочей жизни», «Вестник Европы» 1887 г., № 4.

³ «Отч. Записки» 1871 г., № 4, стр. 327—328.

⁴ «Вестник Европы» 1887 г., № 6; вошло в цикл «Мелочи жизни».

⁵ «Русские Ведомости» 1886 г., №№ 224 и 238.

вою и воплощенную, — «он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных». Салтыков полагал, что «всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей»¹. Последнее место особенно интересно, так как лишь при свете его можно понять ироническое отношение Салтыкова сороковых годов к целому ряду частных утопических социализма, отношение, так ярко проявившееся в его повестях 1847—1848 годов, о которых речь будет ниже. Но это не исключает глубоко положительного отношения Салтыкова всех эпох его жизни к «утопии», к тем общечеловеческим идеалам, без основы которых он не видел возможности строить самую обычную, повседневную жизнь. Об этом во всех его произведениях рассеяно не мало убедительных строк.

Так основная вера Салтыкова была заложена еще в самые юные его годы, без всякого влияния школы, но не без влияния школьных товарищей: недаром одним из лицейстов старших выпусков был и знаменитый Петрашевский, недаром ряд лицейстов — Европеус, Спешнев, Кашкин — оказался замешанным в 1849 году в дело «петрашевцев». О знакомстве Салтыкова с самим Петрашевским сохранились многочисленные свидетельства, но, по словам самого Петрашевского, Салтыков увлекся фурьеризмом еще ранее знакомства с ним, Петрашевским, после того, как случайно купил у букиниста сочинения Фурье². Не случайно и одно из первых сохранившихся писем Салтыкова 1845—1846 гг. к его лицейскому товарищу В. Р. Зотову заключает в себе просьбу о книге Консидерана «*La destinée sociale*», которая нужна ему «до зарезу»³. Это знаменитое сочинение ученика Фурье быть может понадобилось Салтыкову как раз для его повестей «Противоречия» и «Запутанное дело».

Во всяком случае известно, что Салтыков примыкал к кружку петрашевцев, посещал пятницы Петрашевского и был деятель-

¹ «Современник» 1864 г., № 3, «Наша общественная жизнь».

² В. И. Семевский, «Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М. Е. Салтыкова», изд. «Задруга», 1917 г., стр. 5.

³ «Письма» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Госиздат, 1925 г.), т. I, № 1.

ным членом «безвестного кружка», в котором горячо дебатировались социальные вопросы. Впоследствии, когда было возбуждено дело о кружке Петрашевского, то в записке следственной комиссии в числе лиц, «упоминаемых обвиняемыми», был назван и Салтыков. Но так как он в это время находился уже в вятской ссылке и так как в делах следственной комиссии не было данных, чтобы Салтыков «принимал какое-либо участие в злоумышлении по настоящему делу», то следственная комиссия лишь сообщила в III Отделение (орган политического сыска того времени) все данные по этому делу о Салтыкове «для дальнейшего распоряжения»¹.

Однако следственная комиссия ошибалась, считая Салтыкова мало прикосновенным к кружку петрашевцев. В. Семеvский в указанной выше статье «Салтыков-петрашевец», основанной на изучении архивного материала по делу петрашевцев, с достаточной убедительностью установил факт и близкого знакомства Салтыкова с Петрашевским, и участия Салтыкова в кружке петрашевцев, о котором так часто вспоминал он впоследствии. Знакомство Салтыкова с Петрашевским началось еще в лицее, в котором Петрашевский был на несколько курсов старше Салтыкова, окончив лицей еще в 1839 году. Это знакомство было настолько близкое, что Петрашевский по окончании курса неоднократно приезжал к Салтыкову в Царское Село (где до 1844 г. был лицей) и вел с ним разговоры о сотрудничестве в предполагавшемся тогда Петрашевским журнале. В позднейших показаниях по делу петрашевцев сам Салтыков признал, что «по выходе из лицея я бывал у Петрашевского нередко по пятницам»; посещения эти Салтыков называет «нередкими», другие свидетели называют их «постоянными». Близкое знакомство с Петрашевским — факт, который Салтыков хотел отрицать в показаниях, данных им по делу петрашевцев в конце 1849 года, когда он уже был в вятской ссылке, но который для позднейших исследователей не подлежит ни малейшему сомнению.

И еще один несомненный факт: Салтыков был деятельным членом одного из кружков петрашевцев, впоследствии сам вспоми-

¹ См. указанную выше книгу Семеvского, стр. 4, а также статью его «Салтыков-петрашевец» в «Русских Записках» 1917 г., № 1. См. также «Воспоминания» д-ра Н. Белоголового, Спб. 1901 г., изд. 4-е, стр. 199 и 221—222.

нал с теплым чувством этот «безвестный кружок», и совершенно определенно указывал, что состоял он тогда из 6—7 человек. Так рассказывал он в последние годы своей жизни д-ру Белоголовому, который записал в указанных выше воспоминаниях, что Салтыков в те годы «посещал какой-то кружок из 5—6 человек, на котором читались разные сочинения Фурье и школы сен-симонистов»; так показал Салтыков и в 1849 году, отвечая на вопросы III Отделения: «по выходе из лица я бывал у Петрашевского нередко по пятницам, когда у него собиралось человек до 6, а иногда и до 7».

Кто составлял кружок ближайших друзей и единомышленников Салтыкова, тот «безвестный кружок», о котором впоследствии он вспоминал с таким теплым чувством? Из показаний арестованных петрашевцев можно наметить не 6—7, а около пятнадцати членов кружка, с которыми был знаком Салтыков. Это прежде всего, не считая самого Петрашевского, известный молодой критик Валерьян Майков, трагически погибший в 1847 году, затем — В. Милютин, Достоевский, Плещеев, Н. Данилевский, Аполлон Григорьев, Ханьков, Семенов, Модерский, Штрандман, Есаков, Кайданов, Барановский и еще два-три человека. Не со всеми из них Салтыков был одинаково близок, и ряд из этих лиц он знал весьма поверхностно, встречаясь с ними только мельком. Таков, например, Достоевский, который в своем показании совсем отказался от знакомства с Салтыковым; таков Аполлон Григорьев, о котором сам Салтыков в своих показаниях заявляет, что знал его «так мало, что не интересовался знать, что с ним сделалось»; таков и целый ряд других из перечисленных выше лиц. Но изучение следственного материала позволяет выделить из них 6—7 человек, о которых говорил сам Салтыков и которые составляли ядро дружеского «безвестного кружка». Это, не считая самого Петрашевского — упомянутый выше Вал. Майков, через которого, кстати сказать, Салтыков в 1847 году получил литературную работу в «Современнике»; В. Милютин, талантливый экономист и социолог, близкий друг Салтыкова, которому последний посвятил в этом же 1847 г. свою повесть «Противоречия»; друзья и знакомые Салтыкова по лицу — Есаков, Семенов и Кайданов; поэт А. Н. Плещеев, юмористически выведенный, повидимому, Салтыковым во второй его повести «Запутанное дело»; наконец — член кружка Штрандман,

близкое знакомство с которым Салтыков хотя и отрицает в своих показаниях, но который, по показаниям других свидетелей, был одним из деятельных членов кружка. Если прибавить к числу этих лиц самого Салтыкова, то как раз и получится тот кружок из семи человек, о котором говорил Салтыков в своих показаниях 1849 г. и в своих позднейших рассказах д-ру Белоголовому уже в середине восьмидесятых годов.

Салтыков был уже в вятской ссылке, когда в апреле 1849 г. петрашевцы были арестованы; начавшееся дознание выяснило причастность к этому кружку и Салтыкова, и хотя следственная комиссия отнесла его к числу второстепенных участников этого кружка и показания его сочла для себя несущественными, однако III Отделение «по высочайшему указанию» сочло нужным потребовать у ссыльного Салтыкова ряд ответов на вопросные пункты, отосланные 30 августа 1849 г. вятскому губернатору. 24 и 25 сентября этого же года Салтыкова допрашивали в Вятке жандармский полковник Андреев и один из советников вятского губернского правления. На этом допросе Салтыков всячески выгораживал себя и отрекался от близкого знакомства с Петрашевским, заявляя, что «с начала 1846 г. я совершенно прекратил с ним всякое знакомство». Мало того, в показании этом Салтыков отрицательно относится к «диким и неуместным выходкам» Петрашевского и к его «демагогическим идеям», оговариваясь впрочем, что идеи эти высказывались «более по удали и молодечеству, нежели по убеждению». Собрания кружка он объясняет целями самообразовательными и желанием взаимно обмениваться книгами, выписываемыми для этой цели из-за границы. Такая цель действительно была, но Салтыков умолчал в своем показании, что кружок выписывал из-за границы исключительно запрещенные книги. В показании одного из петрашевцев (Барановского) рассказывается о заседании у Штрандмана, на котором присутствовали Вал. Майков, Плещеев, Кайданов, Есаков и Салтыков; «это показание,— говорит В. Семевский,— называющее тех же лиц, с которыми встречался Салтыков у Петрашевского, устанавливает его близкое участие в деле устройства библиотеки в складчину, где преобладающее место занимали книги социалистического направления»¹. Сохранился даже перечень

¹ В. Семевский, «Салтыков - петрашевец», «Русские Записки» 1917 г., № 1, стр. 32.

книг, взятых Салтыковым для прочтения из этой библиотеки петрашевцев: это были сочинения Прудона, Консидерана, Адама Смита, социалистический журнал, издававшийся Пьером Леру и Жорж-Занд — и еще ряд книг, совершенно нецензурного с точки зрения российских властей направления¹.

Не один раз впоследствии вспоминал Салтыков в своих художественных произведениях о «безвестном кружке» своей юности и об его духовном руководителе и вдохновителе Петрашевском. Несомненно, к последнему относятся строки из автобиографического очерка «Скука», вошедшего в цикл «Губернских очерков» 1856 г. «Помню я и долгие зимние вечера и наши дружеские скромные беседы, заходившие далеко за-полночь. Как легко жилось в это время, какая глубокая вера в будущее, какое единодушие надежд и мыслей оживляло всех нас! Помню я и тебя, многолюбимый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?» В эти годы Петрашевский погибал в сибирской ссылке, будучи с 1849 года ссыльно-каторжным, а с 1856 г. — ссыльно-поселенцем до самой своей смерти (1866 г.). В одном из позднейших писем к Анненкову (от 2 декабря 1875 г.) Салтыков рассказывал о плане очерка «Паршивый», главным героем которого должен был быть «Чернышевский или Петрашевский все равно»; темой очерка должна была являться революционная непримиримость человека, подобного этим двум крупнейшим революционерам середины XIX века². Как видно, и через тридцать лет после дней своей юности Салтыков не забывал своего «незабвенного друга и учителя».

Кроме «учителя и друга» на всю жизнь запомнился Салтыкову и «безвестный кружок» горячих энтузиастов и «утопистов», в котором прошла его молодость. Об этом кружке сохранился интереснейший рассказ Салтыкова, затерянный в почти никому не известной его повести конца пятидесятых и начала шестидесятых годов «Тихое пристанище», впервые увидевшей свет лишь через двадцать лет после смерти Салтыкова. Герой этой повести, Веригин, вспоминает о товарищеском кружке, в котором прошла его молодость. «В вечерних собраниях, которые почти ежедневно назначались то у одного, то у другого из товарищей, было... нечто од-

¹ Там же, стр. 33.

² «Письма», т. I, № 96.

нообразно-строгое, словно монастырское. Каждый вечер лились шумные живые речи, приправленные скромной чашкой чая; каждый вечер обсуждались самые разнообразные и смелые вопросы политической и нравственной сферы. От этих бесед новая жизнь пронесилась над душою, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах... Однако это не были словопрения бесплодные, и молодая жизнь не утопала в них как в мягком ковре; напротив того, проходя через ряд фактов и умозаключений, мысль фаталистически приходила к сознанию необходимости деятельного начала в жизни, такого начала, которое не играло бы только на поверхности мечтаний и пожеланий, но стремилось бы проникнуть в глубину самой жизни. И хотя деятельность, которая представлялась при этом молодым воображениям, была трудная и суровая, отовсюду окруженная тревогами и опасностями, но и это как-то не пугало, а разжигало и подстрекало еще более¹.

Это замечательное место — единственное в произведениях Салтыкова, где говорится о внутренней жизни «безвестного кружка». На дальнейших страницах этой же повести речь идет уже и о том, что кружок этот был подпольным, был революционным «тайным обществом», членам которого суждены лишь два пути: «они кончают или самоубийством, или...». Или — революцией: этого Салтыков не мог досказать по цензурным соображениям. Но автобиографичность всех подобных мест может подвергаться сомнению: это лишь позднейшее представление Салтыкова о кружке и о своей в нем роли. Тем несомненное автобиографическое значение приведенного выше отрывка, рассказывающего нам о внутренней жизни этого кружка юных утопистов середины сороковых годов. Влияние этого кружка продолжалось в течение всей жизни Салтыкова, отразившись прежде всего на его юношеских повестях конца сороковых годов.

Память о Петрашевском Салтыков свято хранил до последних дней своей жизни. За полгода до смерти он отозвался заметкой «М. В. Буташевич-Петрашевский», исправляющей неточные сведения о нем, данные в статье Яхонтова «Воспоминания царскосельского лицеиста» («Русская Старина» 1888 г., т. IX). Заметка эта, под-

¹ «Вестник Европы» 1910 г., № 3, стр. 147, см. также стр. 160—161, и № 4, стр. 46—47. Сверено по рукописи Салтыкова (Бумаги Пушкинского дома).

писанная «М. Е. Салтыков», датирована 23 октября 1888 года и показывает, что Салтыков считал нужным восстанавливать мельчайшие детали из жизни «незабвенного друга и учителя» своей молодости ¹. Это влияние учителя и влияние идей утопического социализма отразилось еще в юные годы на первых же печатных прозаических произведениях Салтыкова.

II

Нам известны три автобиографические записки Салтыкова, одна из которых была приведена выше почти полностью, а о двух остальных приходилось упоминать по разным поводам; записки эти относятся к началу, середине и концу литературной деятельности Салтыкова. Так вот, в записке 1857—1858 гг. Салтыков впервые указал, что, бросив писать стихи, он начал свою литературную деятельность рецензиями в «Отечественных Записках» и «Современнике» 1847—1848 гг. В наиболее подробной автобиографии 1878 г. Салтыков ничего не говорит об этих своих хотя юношеских, но первых серьезных работах. Зато в автобиографической записке 1887 года он сообщил более подробно: «По выходе из лицея, я не написал ни одного стиха, и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валериана Майкова и Владимира Милютина в «Отечественных Записках» Краевского и в «Современнике» (Некрасова с 1847 г.)».

Было бы ошибочно заключить из такого заявления, что Салтыков стал печатать рецензии в двух лучших журналах того времени немедленно по выходе из лицея. Он сам совершенно определенно указывает, что в «Современнике» стал работать с 1847 года и что работу в «Отечественных Записках» доставал через В. Майкова, — который, как известно, заменил собою в том журнале перешедшего в «Современник» Белинского тоже в 1847 году. Итак, мы должны искать рецензии Салтыкова в этих журналах 1847—1848 гг.; но установить в настоящее время все рецензии Салтыкова — задача совершенно безнадежная. В обоих журналах рецензии были анонимны; лишь сохранившиеся случайно черновики (в настоящее время утерянные) шести рецензий Салтыкова позволяли судить об этих

¹ «Русская Старина» 1888 г., № 11, стр. 546.

первых попытках серьезного литературного труда. А между тем рецензий этих было гораздо больше шести и даже больше тех одиннадцати, несомненную принадлежность которых Салтыкову удалось установить автору настоящей монографии. Салтыков вел эту работу в обоих журналах из месяца в месяц в течение по крайней мере года, и несомненно, что собранные вместе рецензии эти должны были бы составить целый том, представляющий чрезвычайный интерес для изучения воззрений Салтыкова-петрашевца.

В девятом из «Пестрых писем» («Вестник Европы» 1886 г., № 10) Салтыков, вспоминая о первых годах своей литературной работы, говорит: «я тогда уже начал пописывать, — впрочем, только мелкие рецензии». Но что этих «мелких рецензий» (далеко не всегда мелких) было большое количество — видно из воспоминаний Л. Пантелеева, которому Салтыков рассказывал о тех же временах: «рецензиями я зарабатывал до 50 р. в месяц»¹. Отсюда можно заключить, что в обоих журналах Салтыков помещал около одного печатного листа в месяц. Но, повторяю, восстановить теперь принадлежность этих рецензий Салтыкову — совершенно невозможно; приходится ограничиться перечнем лишь тех одиннадцати рецензий (о тринадцати книгах), авторство которых несомненно принадлежит Салтыкову. Это рецензии на следующие книги:

1. Новая Библиотека для Воспитания, издаваемая Петром Редкиным. Книжка VII. М. 1847 г.
«Отеч. Записки» 1847 г., т. LIII, № 8, отд. VI, стр. 116.
2. Новая Библиотека для Воспитания, издаваемая Петром Редкиным. Книжка VIII. М. 1847 г.
«Отеч. Записки» 1847 г., т. LIV, № 10, отд. VI, стр. 104.
3. География в эстампах. Сочинение Ришона и Альфреда Вингольда. Спб. 1847 г.
Курс физической географии. Сочинение Владимира Петровского. Спб. 1847 г.
«Современник» 1847 г., т. V, № 10, стр. 124.
4. Руководство к первоначальному изучению Всеобщей Истории. Сочинение Фолькера. Перевод с немецкого. Спб. 1847 г.
«Современник» 1847 г., т. V, № 10, стр. 127.

¹ Л. Пантелеев, «Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове», «Сын Отечества» 1899 г., № 111. См. также Л. Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», т. II (Спб. 1908 г.).

5. Несколько слов о военном красноречии. Составил П. Лебедев. Спб. 1847 г.
«Современник» 1847 г., т. V, № 10, стр. 132.
6. Логика. Соч. профессора Могилевской семинарии Никифора Зубовского. Спб. 1847 г.
«Отеч. Записки» 1847 г., т. LV, № 11, отд. VI, стр. 21.
7. Григорий Александрович Потемкин. Историческая повесть для детей. Соч. П. Фурмана. Две части. Спб. 1848 г.
«Отеч. Записки» 1848 г., т. LVI, № 1, отд. VI, стр. 45.
8. Альманах для детей — Архангельск, собранный из статей в стихах и прозе. Зима. Спб. MDCCCXLVIII.
«Отеч. Записки» 1848 г., т. LVI, № 1, отд. VI, стр. 51.
9. Александр Васильевич Суворов - Рымникский Историческая повесть для детей. Соч. П. Р. Фурмана. Две части. Спб. 1848 г.
Саардамский Плотник. Повесть для детей. Соч. П. Фурмана. Спб. 1848 г.
«Отеч. Записки» 1848 г., т. LVI, № 2, отд. VI, стр. 129.
10. Рассказы детям из Древнего Мира. Карла Ф. Беккера. Перевод с немецкого седьмого издания. Три части. Спб. 1848 г.
«Отеч. Записки» 1848 г., т. LVII, № 4, отд. VI, стр. 90.
11. Альманах для детей — Астрахань, собранный из статей в стихах и прозе. Весна. Спб. MDCCCXLVIII.
«Отеч. Записки» 1848 г., т. LVIII, № 6, отд. VI, стр. 130.

Принадлежность всех этих рецензий Салтыкову устанавливается, во-первых, бывшими в руках К. Арсеньева черновиками шести рецензий, и, во-вторых, собственными указаниями и ссылками Салтыкова в этих рецензиях на другие его же рецензии. Так, первая рецензия принадлежит Салтыкову потому, что в несомненно его рецензии о книге Беккера (№ 10), черновик которой был в руках К. Арсеньева, говорится: «мы уж несколько раз имели случай высказывать свои мысли насчет вреда, оказываемого на воспитание детей по преимуществу царствующим в нем спекулятивным элементом, и, по поводу появления рассказов из «Одиссеи» в «Новой Библиотеке для Воспитания», издаваемой г. Редкиным, говорили, по каким причинам считаем их несовместными с детским возрастом» («Отечественные Записки» 1848 г., т. LVII, № 4, отд. VI, стр. 92). К слову «говорили» Салтыков сделал сноску: «Отечественные Записка 1847 г., т. LIV, Август». Верно указав месяц, Салтыков в этой сноске ошибся лишь в томе: первая из приведенных нами

рецензий помещена в LIII томе журнала; говорится же в ней именно то, на что указывает Салтыков.

По такой же причине несомненна принадлежность Салтыкову и второй рецензии — о восьмой книжке той же «Новой Библиотеки для Воспитания»; в этой второй рецензии про эти книжки говорится: «читателям известно наше об них мнение, и потому нет надобности повторять сказанное». На основании этих слов Салтыкова можно предположить, что и вообще все рецензии в «Отечественных Записках» на книжки «Новой Библиотеки для Воспитания» принадлежат перу Салтыкова; если это так, то число рецензий его увеличится еще на пять, потому что о книжках 1—6 этого издания мы находим еще пять рецензий на страницах «Отечественных Записок» 1847 года¹. Принадлежность всех этих рецензий Салтыкову в высокой степени вероятна, но так как в списке салтыковских рецензий я ограничиваюсь перечислением лишь рецензий, принадлежащих Салтыкову несомненно, то эти пять рецензий и не включены в основной список.

Третья рецензия — о «Географии в эстампах» и о «Курсе физической географии» — принадлежит несомненно Салтыкову, как это ясно по цитатам из черновика, приводимым К. Арсеньевым в его «Материалах». К. Арсеньев не мог, однако, указать, где была напечатана эта рецензия, так как искал ее в «Отечественных Записках», а она напечатана была в «Современнике»; в первом же журнале, №№ 10 и 11, тоже есть две рецензии на эти книги, но они не принадлежат перу Салтыкова.

Четвертая рецензия — на книгу Фолькера, — напечатанная тоже в «Современнике», принадлежит Салтыкову по прежней причине: цитата из черновика, приводимая в «Материалах» К. Арсеньева, неоспоримо доказывает авторство Салтыкова. В тех же «Материалах» К. Арсеньев говорит о черновике рецензий на книгу П. Лебедева «Несколько слов о военном красноречии» и прибавляет: «но эта рецензия, нужно думать, осталась ненапечатанною, потому что во второй части т. 55-го «Отечественных Записок» (стр. 103) о брошюре Лебедева имеется совсем другая заметка»... Но дело в том, что эта рецензия Салтыкова была напечатана на страницах не «Оте-

¹ «Отеч. Записки» 1847 г., № 2, стр. 115; № 3, стр. 42; № 5, стр. 49; № 6, стр. 111, и № 7, стр. 54.

чественных Записок», а «Современника», и составляет пятую из перечисленных выше рецензий.

Что касается шестой рецензии, рецензии на «Логикку» Зубовского, то в указанной статье К. Арсеньева из нее приводятся довольно большие цитаты по черновику, почти совпадающие с печатным текстом журнала, так что принадлежность рецензии Салтыкову является несомненной. По той же причине устанавливается принадлежность Салтыкову и седьмой рецензии об исторической повести Фурмана «Потемкин».

Восьмая и одиннадцатая рецензии — об «Альманахе для детей» — тоже несомненно принадлежат Салтыкову, так как на одну из них есть указание в тех же черновиках, а принадлежность другой определяется ссылкой самого рецензента: «в январской книжке «Отечественных Записок» нынешнего года говорили мы о... детской книжке под заглавием: «Альманах для детей... Зима» («Отечественные записки» 1848 г., т. LVIII, № 6, отд. VI, стр. 130). К слову сказать, в «Отечественных Записках» начала 1847 года была и другая рецензия, о другом «Альманахе для детей», составленном П. Фурманом, также как и рецензия на книгу Фурмана «Сын рыбака. Михаил Васильевич Ломоносов» (т. LI, № 3, отд. VI, стр. 42); но принадлежность этих рецензий Салтыкову крайне сомнительна, ибо в них о книгах Фурмана мы находим гораздо более благосклонный отзыв, чем в других, несомненно принадлежащих Салтыкову, рецензиях о книгах этого автора.

Остаются еще две рецензии, девятая и десятая. Последняя, разбирающая книгу Беккера «Рассказы детям из древнего мира», принадлежит Салтыкову с несомненностью, что устанавливается указанием К. Арсеньева в его «Материалах». Что же касается девятой рецензии — о двух повестях для детей все того же Фурмана, — то принадлежность ее Салтыкову устанавливается начальной фразой самой рецензии: «Еще г. Фурман и еще детская история! Не далее как в прошлом месяце мы говорили об одном детском произведении г. Фурмана...» («Отечественные Записки» 1848 г., т. LVI, № 2, отд. VI, стр. 129). А так как «в прошлом месяце» о книге Фурмана «Потемкин» говорил именно Салтыков, как показано выше (№ 7), то принадлежность ему и этой рецензии не возбуждает сомнения.

Довольно кропотливым путем мы установили несомненную

принадлежность Салтыкову одиннадцати рецензий (на тринадцать книг), появившихся в «Отечественных Записках» и «Современнике» между августом 1847 и июнем 1848 года. Столь же несомненно однако, что за это время и с самого начала 1847 года Салтыков напечатал в этих журналах во много раз больше рецензий, чем это возможно было установить теперь. Выше было указано еще на пять рецензий, принадлежность которых Салтыкову очень вероятна; можно было бы указать и еще на некоторые данные, позволяющие с большей или меньшей степенью вероятности приписать Салтыкову те или иные рецензии в этих двух журналах. Но к таким косвенным данным всегда следует относиться с большой осторожностью. Вот один вполне убедительный пример. В рецензии на детскую книгу Беккера (№ 10) Салтыков говорит: «Беккер давно уж известен русской публике своею всемирной историей, о которой мы не раз имели случай говорить по мере появления ее в русском переводе»... Казалось бы, что по этим словам Салтыкову можно приписать и еще ряд рецензий, а именно рецензий на многотомную «Всемирную историю» Беккера, появившихся в «Отечественных Записках» до 1847 года. Однако это крайне мало вероятно как по теме рецензий, так и по времени их появления в журнале; таким образом фраза, «о которой мы не раз имели случай говорить», — по всей вероятности является вставкой редактора «Отечественных Записок», Краевского, в рецензию Салтыкова. Таких примеров можно было бы привести еще несколько. Не желая увеличивать список «Dubia» — рецензий, принадлежность которых Салтыкову сомнительна, ограничиваюсь лишь теми рецензиями, принадлежность которых Салтыкову удалось выше доказать с несомненностью.

И еще одно замечание. Как видно из перечня салтыковских рецензий, громадное большинство их написано о детских книгах. Почти несомненно, что и все остальные рецензии на детские книги, появившиеся в «Отечественных Записках» со второй половины 1847 года тоже принадлежат Салтыкову. Это подтверждается тем характерным обстоятельством, что когда в конце апреля 1848 г. Салтыков был выслан в Вятку и тем самым сотрудничество его в «Отечественных Записках» прекратилось, то редакция журнала, напечатав в июньском номере последнюю оставшуюся у нее рецензию Салтыкова (№ 11), в течение двух-трех ближайших месяцев

почти не давала рецензий на детские книги,— очевидно, до прискаания нового рецензента по этому отделу.

Наоборот, сотрудничество Салтыкова в «Современнике» весной 1848 года более чем сомнительно — по следующей крайне своеобразной причине. Выше мне пришлось упомянуть, что уже в повести «Противоречи», появившейся в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» за 1847 год, был несомненный, хотя и завуалированный, выпад против одного из редакторов «Современника», Ивана Панаева, выведенного на страницах повести под именем Пети Мараева. Во второй повести, «Запутанном деле», напечатанной в мартовской книжке «Отечественных Записок» 1848 года, выпад этот повторяется, при чем «занимающийся литературою Ваня Мараев, мужчина статный и красивый, но с несколько пьяными глазами» («Отечественные Записки» 1848 г., № 3, стр. 110) на этот раз получил даже и имя Ивана Панаева. Вряд ли эти выпады могли иметь место, если бы Салтыков продолжал в это время свое сотрудничество в «Современнике».

Общий вывод такой: в библиографическом отделе «Отечественных Записок» 1847 и первой половины 1848 года Салтыков принимал деятельное участие, особенно в области критики детской литературы; такое же участие в «Современнике» вероятно ограничивалось лишь 1847 годом. За это время Салтыковым было напечатано несомненно много десятков рецензий, установить которые теперь не представляется возможным. С несомненностью можно выделить одиннадцать принадлежащих Салтыкову рецензий и с некоторою вероятностью указать еще на пять; с еще большей вероятностью можно предположить, что вообще все рецензии о детских книгах, начиная с середины 1847 года и до апреля следующего года, писал в «Отечественных Записках» Салтыков.

Располагая всем этим фактическим материалом, мы можем теперь перейти хотя бы к краткому знакомству с этими первыми литературными выступлениями Салтыкова, тесно связанными со всем его мировоззрением той эпохи и, как увидим, даже с отдельными местами его двух повестей этих же годов.

III

Почти все из известных нам рецензий Салтыкова посвящены разбору детских книг; на эту тему написаны девять из достоверных

юдиннадцати рецензий Салтыкова. В них постоянно проводится одна и та же основная мысль, которую сам Салтыков, как мы видели, определял как мысль, «насчет [вреда, оказываемого на воспитание детей по преимуществу царствующим в нем спекулятивным элементом]. Особенно выпукло мысль эта проводится в рецензии на книгу Беккера «Рассказы детям из древнего мира» (№ 10) и в рецензии на книгу Фолькера «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории» (№ 4).

В последней из этих рецензий, напечатанной в октябрьском номере «Современника» за 1847 год, с наибольшей ясностью проходит эта тема, которой сороковые годы так отчетливо перекликаются с шестидесятыми, и взгляды на воспитание, неоднократно высказывавшиеся Белинским — с позднейшими взглядами Писарева и Льва Толстого. По стопам Белинского следует и Салтыков; вот замечательное начало рецензии о книге Фолькера, где взгляды эти проводятся с предельной отчетливостью¹:

«Странная, право, участь детей! Чему ни учат их, каких метод ни употребляют при преподавании? Их обучают и истории, и нравственности; им объясняют их долг, их обязанности,— все предметы, как видите, совершенно отвлеченные, над которыми можно бы было призадуматься и не ребенку. Одно только забывают объяснить им мудрые наставники: именно то, что всего более занимает пылкий ум ребенка, то, что находится у него беспрестанно под глазами, те предметы физического мира, в кругу которых он вращается. А оттого-то и случается, что человек, сошедший с школьной скамьи, насытившийся вдоволь и греками и римлянами, узнавший вконец все свойства души, воли и других невесомых, при первом столкновении с действительностью оказывается совершенно не состоятельным, при первом несчастии упадает духом; и если, по какому-нибудь случаю, любезные родители не приготовили ему ни душ, которые бы могли прокормить вечного младенца, ни сердобольных родственников, ни даже средств для выгодной карьеры,— наш философ умирает с голоду именно потому, что любезные родители никак не могли предвидеть подобный пассаж».

¹ Нижеследующие цитаты из рецензий Салтыкова приводятся по журнальному тексту «Отч. Записок» и «Современника», значительно различающемуся от приводимых в «Материалах» К. Арсеньева отрывков из черновиков тех же рецензий.

Подобные мысли не раз высказывал в тех же сороковых годах и на страницах тех же «Отечественных Записок» Белинский, влияние которого на Салтыкова здесь несомненно; но для нас здесь особенно интересен тот факт, что выраженная в этом отрывке мысль через несколько месяцев легла в основу повести Салтыкова «Запутанное дело», печальный герой которой, Мичулин, и погибает именно от этой житейской неприспособленности. Да и Нагибин, столь же печальный герой первой повести Салтыкова «Противоречия», терпит крушение на жизненном пути вследствие той же неприспособленности, одной из причин которой является исковеркавшее душу воспитание. Всю свою неудавшуюся, «лишнюю» жизнь Нагибин объясняет неудачным «воспитанием, более склонным к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь... Такое воспитание совершенно губит нас; истощенный беспрестанным умственным развратом, человек уже теряет смелость взглянуть в глаза действительности» («Противоречия», «Отечественные Записки» 1847 г., № 11, стр. 3). Все это является лишь одной из варьаций на основную тему почти всех рецензий Салтыкова на детские книги.

«По настоящему следовало бы изучить натуру ребенка, — продолжает Салтыков свою рецензию на книгу Фолькера, — подстеречь его склонность при самом его рождении, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по летам ему, — но нет! не тут то было! На что же и существуют возлюбленные родители? В их уме уже заранее начертаны все занятия, все судьбы будущего ребенка их; на то он и рождение их, их собственное рождение, чтобы они могли располагать им по произволу; и уж как ни бейся бедный ребенок, а не выйти ему никогда из этого волшебного круга! И потому юноши, в которых эта система постепенного ошеломления несомненно еще потушила энергию пытливого духа, обыкновенно, по выходе из школы, начинают сами сызнова свое образование»... Все это сказано, конечно, на основании личного опыта; но здесь особенно интересно подчеркнуть связь этой основной мысли Салтыкова с позднейшими положениями деятелей шестидесятых годов. Такие антиподы, как Лев Толстой и Писарев, признавая в своих статьях шестидесятых годов законность и необходимость образования ребенка, резко восставали против «воспитания», которое, являясь насильственным, чаще всего уродует душу ребенка. Взгляды эти, впервые высказанные у нас Белинским, являлись

основными почти для всех систем «утопического социализма», связь с которым Салтыкова в данном случае не подлежит сомнению.

Те же основные мысли проводятся и во второй наиболее значительной из рецензий Салтыкова на детские книги — в указанной выше рецензии на книгу Беккера (№ 10). В сущности это даже не рецензия, а целая статья, занимающая свыше половины печатного листа; она появилась в апрельской книжке «Отечественных Записок» 1848 года, уже после обеих повестей Салтыкова, и как раз в тот месяц, которому суждено было стать последним месяцем пребывания Салтыкова в Петербурге. Основная мысль рецензии та же самая — о вреде «спекулятивного элемента», если он играет главную роль в воспитании детей. Вторая, побочная тема рецензии — о вреде для детей «элементов чудесного», если элементы эти играют слишком большую роль в воспитании ребенка. «Отсюда склонность к мечтательности, которую надобно бы сдерживать в благоразумных границах, приобретает, напротив того, самые гигантские размеры, и ребенок, сделавшись со временем мужем, является человеком, неспособным заниматься интересами близкими и действительными, и целый век блуждает мыслью в мечтательных мирах, созданных его больною фантазией». Все это — излюбленные мысли Белинского сороковых годов; Салтыков выразил их также и в своих повестях, оба героя которых погибают или терпят крушение от столкновения с действительностью. Когда Нагибин («Противоречия») с горечью смотрит «на развалины своего бесполезного прошедшего» и задается вопросом, отчего все это произошло, то немедленно отвечает сам себе: «оттого, что мне не дано практического понимания действительности, оттого, что ум мой воспитали мечтаниями, не дали ему окрепнуть, отрезвиться и пустили на удачу по столбовой дороге жизни» («Отечественные Записки» 1847 г., № 11, стр. 105). Мы видим, таким образом, что темы рецензий Салтыкова и его повестей — перекликаются, что корни свои темы эти находят в теориях «утопического социализма», несмотря на весь свой «утопизм» всегда призывавшего к действительному миру жизни. Преломленные сквозь влияние Белинского, темы эти нашли свое отражение и в повестях, и в рецензиях Салтыкова.

Но если в рецензиях на детские книги влияние Белинского сказывалось в первую очередь, а влияние западно-европейских пе-

редовых идей передавалось, быть может, лишь отраженным светом, то единственная известная нам рецензия Салтыкова на «серьезную» книгу показывает, что автор рецензии был непосредственно знаком с самими источниками западно-европейской мысли, — и в этом нельзя не видеть влияния того «безвестного кружка», которому Салтыков, по его же признанию, был столь многим обязан. В рецензии на «Логикку» Зубовского (№ 6), напечатанной в том же номере «Отечественных Записок», в котором появилась повесть «Противоречия», Салтыков показал, что он и его кружок внимательно следили за всеми выдающимися явлениями передовой западно-европейской мысли и внимательно изучали не только французских социалистов, но и такие серьезные книги, как незадолго до того вышедшую «Систему логики» Дж.-Ст. Милля. Книга эта, совершившая переворот в науке того времени, вышла в 1843 году и еще не была переведена на русский язык; а между тем несомненно, что в своей критике убогой «Логикки» Зубовского Салтыков всецело исходил из основных положений «Системы логики» Милля. Строго по Миллю, но нигде не ссылаясь на него, Салтыков рассматривает силлогизм, как несомненное *petitio principii*. Что такое силлогизм? — спрашивает Салтыков и приводит обычное определение силлогизма формальной логикой, как «извлечение из одного общего предложения, рассматриваемого как причина, как содержащее, предложения частного, принимаемого как следствие, как содержащее». Определение это, хотя и выраженное в довольно корявой форме, по существу является, однако, обычным аристотелевским определением. Возражая ему, Салтыков, в соответствии с основным положением Милля, заявляет: «в самом определении силлогизма видна уже вся его несостоятельность, потому что общее предложение, на котором все зиждется, не может быть ничем другим, как произвольно взятою ипозезою... И, опять-таки строго следуя за Миллем, Салтыков заявляет, что силлогизм есть не что иное, как «бесконечный, безвыходный круг, в котором общее предложение доказывается частным и потом в свою очередь доказывает частное и т. д.»

Так как Салтыков впоследствии никогда не возвращался к этим теоретическим вопросам, то можно предположить, что в этом случае он был лишь рупором своего кружка, в котором несомненно изучалась «Система логики» Милля. Но во всяком случае это показывает,

какими умственными интересами жил кружок, а вместе с ним и Салтыков в середине сороковых годов. Милль был близок целому ряду идей французских социалистов в области социально-политической, и, быть может, внимание «безвестного кружка» русских юношей к его книге объясняется отчасти именно этим обстоятельством. Сам Салтыков в этой своей рецензии не удержался от ядовитой выходки против социальных оснований крепостного права, — разумеется, насколько это было возможно при цензурных условиях той эпохи. Издеваясь над своеобразными социальными силлогизмами русского быта, Салтыков иронически заключает: «Нам случилось однажды слышать, как один господин весьма серьезно уверял другого, весьма почтенной наружности, но помирнее, что тот должен ему повиноваться, делая следующий силлогизм: я человек, ты человек, следовательно, ты раб мой. И смиренный господин поверил (такова ошеломляющая сила силлогизма!) и отдал тому господину все, что у него ни было: и жену, и детей, и, вдобавок, остался даже очень доволен собою»... Редакторский или цензорский карандаш вычеркнул в последней фразе салтыковской рукописи слова «и самого себя» («и жену, и детей...»), как слишком явно метящие в крепостное право.

В заключение можно упомянуть про забавную подробность. Пародируя силлогизмы проф. Зубовского, Салтыков шутки ради заявляет, что, «следуя этой методе, можно с успехом построить даже и такой силлогизм: сапоги смертны, человек не сапог, следовательно, человек бессмертен». В повести «Противоречия», напечатанной в том же номере журнала, Салтыков заставляет строить подобные силлогизмы одного из второстепенных действующих лиц повести, Игнатия Кузьмича Крошина, под именем которого он, как уже было указано, отчасти выводит своего отца. Игнатий Кузьмич иногда начинает философствовать: «Он говорит, что читал Эккертсгаузена и уж знает, как создан мир... и начинает выводить силлогизмы не совсем верные. Например, на-днях, сидели мы за ужином; Крошин был в апогее скептицизма. «Ох, уж эти мне ученые, — говорил он: — всё они выдумали! а что и науки-то, и человек-то что? — тлен, бытие, животное, червь, а не человек — и в писании сказано! Да ведь и собака тоже животное! Ну, человек — животное, собака — животное, вот и выходит — что человек, что собака — все одно, все тлен, все земля и в землю обратится!» («Отечествен-

ные Записки» 1847 г., № 11, стр. 9). Этот курьезный пример показывает, что тесную связь между рецензиями Салтыкова и его повестями можно проследить и в серьезных основных темах, и в забавных мелочах.

Наше краткое знакомство с рецензиями Салтыкова заставляет пожалеть, что до нас дошло так мало достоверно принадлежащих ему рецензий. Это тем обиднее, что их напечатано в «Отечественных Записках» и «Современнике» 1847 г. вероятно много десятков. Но и по разобраным примерам достаточно ясно, что рецензии были действительно серьезным трудом юноши Салтыкова, который отражал в них и свои собственные взгляды, и взгляды кружка своих друзей. Тесная связь этих рецензий с первыми повестями Салтыкова позволяет нам перейти к рассмотрению последних; они тоже являются еще очень «юношескими» произведениями будущего великого писателя, но весьма характерны в целом ряде отношений. В них еще ярче, чем в рецензиях, отразились взгляды на окружающую жизнь и на общество — и самого Салтыкова, и его друзей; главное же — они послужили внешней причиной того перелома в жизни Салтыкова, который забросил его на долгие годы в далекую глухую губернию, но в то же время дал возможность автору безвестных рецензий и повестей стать через восемь лет автором знаменитых «Губернских очерков».

IV

«Противоречия» — с подзаголовком «Повесть из повседневной жизни» — были напечатаны в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» 1847 года (стр. 1—106). Это первое свое беллетристическое произведение Салтыков подписал псевдонимом М. Непанов и посвятил своему другу и единомышленнику В. А. Милютину, о котором уже приходилось упоминать выше. Характерный эпиграф из Сенеки вскрывает основную мысль повести: «Руководителем нашим должна быть Природа: разум следует ей и с ней советуется; жить блаженно — значит следовать велениям Природы». Но мысль эта вскрывается в повести приемом «от противоположного»: слабый герой повести, Нагибин, не повинуетя велениям природы, не следует ее руководству, а все время раз'едается «рефлексией», губит других и гибнет сам. Сильная характером девушка, Таня Крошина, в семье родителей которой Нагибин живет домаш-

ним учителем, напрасно старается, полюбив Нагибина, оживить его омертвелую душу: Нагибин безволен и бессилен, весь находится во власти разнообразных «противоречий», социальных и этических. Он знает, что ему следовало бы отдаться голосу чувства, не убежать от Тани, а «остаться и следовать побуждению природы», но бессилен принять твердое решение. «В том-то и дело все, что этого-то побуждения определить я себе не могу, что, с одной стороны, несомненно для меня, что я люблю Таню, а, с другой, не менее верно и то, что любовь для меня поступает в категорию невозможностей, что она захиреет при самом начале, потому что нечем мне поддержать, нечем воспитать ее» (стр. 33). И в другом месте: «Я чувствую, что умираю, чувствую, что эта неестественная борьба рассудка и жизни втягивает в себя, как в бездонную пропасть, лучший сок моего существа» (стр. 58). К тому же бедность Нагибина и богатство Тани, различие социальных положений, сословные предрассудки — все это закручивает слабого героя в безвыходный клубок «противоречий», в котором погибает Таня, насильно выданная замуж за другого, и духовно гибнет сам Нагибин. «Как же разрешить это вечное противоречие жизни, которое мешает человеку дышать, которое гнетет и давит его существование? — спрашивает сам себя Нагибин. — Как удовлетворить жажде гармонии, на которой единственно успокаивается утомленное его сердце, потому что в гармонии счастье человека, а счастье — цель, к которой стремится весь его эгоизм» (стр. 22).

Достаточно этих немногих цитат, чтобы увидеть в этой повести одно из отражений той подражательной литературы, которая в то время начинала распускаться пышным цветом под сильнейшим влиянием Жорж-Занд; недаром о глубоком влиянии ее не раз вспоминал впоследствии сам Салтыков. «Жить блаженно — значит следовать велениям Природы» — гласил эпитафия из Сенеки; следовать велениям природы — значит признать права жизни и страсти над всеми велениями «долга», над всеми социальными предрассудками: в этом состояла вдохновенная проповедь Жорж-Занд. И в этом же, по мысли Салтыкова, единственный выход из «противоречий», которого так и не находит Нагибин, но который ясно подсказывается автором читателю, начиная с эпитафия и кончая заключением повести.

Тема, так поставленная Салтыковым, была уже не нова в

русской литературе сороковых годов; ясно, что Нагибин — один из типичных представителей тех «лишних людей», которые, идя от Онегина и Печорина, безмерно расплодились после появления романа Герцена «Кто виноват?» (1845—1846 гг.) и получили законченное художественное оформление в многочисленных рассказах и повестях Тургенева сороковых и пятидесятых годов. Тема «слабый мужчина и сильная женщина», проведенная Пушкиным в «Евгении Онегине» и ставшая основной темой всего творчества Тургенева, была выражена и в романе Герцена, и в явно написанной под влиянием этого романа повести Салтыкова.

Влияния романа «Кто виноват?» Салтыков не только не скрывает, но, наоборот, не один раз подчеркивает это влияние. «Кто виноват?— говорит Тане Нагибин:— в этом-то и загадка вся, вот этого-то и невозможно определить теперь, потому что средств еще нет... И как вы ни бейтесь, как ни думайте, а не выйдете из этого противоречия!» (стр. 22). В другом месте на тот же вопрос, кто виноват, Нагибин отвечает сам себе: «пора сознать, что не мы виновники своего несчастья, что так называемая свобода есть просто произведение нашей праздной фантазии» (стр. 34). Соглашаясь с Таней, что его заела рефлексия, что один рассудок, поставленный во главу угла жизни есть односторонность, что в противоречии между рассудком и жизнью заключается весь источник несчастья, Нагибин снова спрашивает: «разве я виноват хоть сколько-нибудь в этой односторонности? разве я виноват, что рассудок мой противоречит чувству, а не умеряется им?..» (стр. 54). Можно было бы привести еще многочисленный ряд мест, в которых повторяется и тема, и самая фразеология романа Герцена; как видим, Салтыков не только не скрывал, но многократно подчеркивал внутреннюю и внешнюю зависимость своей повести от этого романа.

Не скрывал он и других, не менее сильных влияний, и в первую очередь влияния Жорж-Занд. Недаром чтение Нагибиным и Таней одного «зандовского романа»¹ является решающим моментом в их

¹ Роман этот, «Le compagnon du tour de France», быть может не без указания Салтыкова, был впоследствии напечатан в переводе на страницах «Современника» под заглавием «Пьер Гюгенен», с примечанием редакции, что он написан Жорж-Занд «в период ее дружбы с Пьером Леру и в период ее пламенных увлечений социалистическими идеями и общественной реформой» («Современник» 1865 г., № 9).

отношениях и гранью, определяющей начало и конец этих отношений (стр. 31 и 79). Надо отметить впрочем, что влияния, отраженные Салтыковым в этой повести, крайне многочисленны и идут не только от крупных светил литературы, но и от второстепенных ее представителей в роде Кудрявцева, Панаева, Гребенки и других. Иногда заимствуются лишь словечки и типы — например, «престрашные сантименталы» отец и сын Гуровы, заимствованные у Гребенки (стр. 44). Иногда это лишь мимолетная ссылка на героев Гоголя и Достоевского (стр. 75); впрочем, сильное влияние последнего скажется еще во второй повести Салтыкова. Заимствованы, конечно, и эпистолярная форма, и форма дневника, в которые уложено содержание этой первой повести Салтыкова; последний впоследствии доказал, однако, что и в этих старых формах, но лишь взятых пародически, можно достигнуть вершин художественного творчества («Дневник провинциала в Петербурге», ряд глав из «Благонамеренных речей» и др.).

Вообще надо сказать, что вся эта первая «проба пера» Салтыкова не обнаружила большого литературного таланта в ее авторе; повесть вышла растянутая, скучная, пересыщенная рассуждениями и многочисленными пересекающимися влияниями; стилистическое бессилие автора можно было бы иллюстрировать многочисленным рядом примеров — в роде оборота «надо вам сказать», назойливо повторяющегося не один раз (стр. 5, 86 и 102). Однако кое-что в этой «повести из повседневной жизни» было и не плохо сделано, и довольно тонко подмечено. Так, например, довольно метко обрисован обычный для большинства «лишних людей» путь выхода из области рефлексии и всяческих «противоречий» — а именно путь погружения в сферу обыденности. Нагибин метко определяет будущий путь и свой, и большинства «лишних людей»: «меня ждут умеренность и аккуратность, — говорит он, — две большие добродетели, коли хотите, но в которых скорее слышится отрицание жизни, нежели жизнь» (стр. 61).

И еще кое-что в повести сделано не плохо — фигуры родителей Тани, Игнатия Кузьмича и Марьи Ивановны Крошиных. Выше приходилось уже упоминать, что, рисуя их, Салтыков набросал первый отдаленный портрет собственных своих родителей. Ворчливый старый муж, находящийся под сапогом у своей жены, «женщины-кулака», может отводить душу только ругательствами: «Экой

собачий нрав!.. Всё бы мучила, да пакостила! Чорт, право чорт, прости господи мое прегрешение! сатана сидит у тебя в сердце, сударыня!» (стр. 49).

Не только эта ситуация, но и самые эти слова будут впоследствии вложены Салтыковым в уста старика Головлева («Господа Головлевы») и старика Затрапезного («Пошехонская старина»), в фигурах которых он также обрисовывал своего отца. А о том, что Марья Ивановна Крошина является первым абрисом Анны Павловны Затрапезной, написанной во весь рост ровно через сорок лет после этой первой повести — приходилось уже говорить выше. Юность, проведенная в бедности, подчиненность всем и каждому, брак со старым и безвольным мужем, страсть к «благоприобретению», «женщина-кулак» — все это списано с матери автора, Ольги Михайловны Салтыковой, и впоследствии развилось в яркий и выпуклый портрет в позднейших произведениях сатирика. Впрочем, в этой своей первой повести он говорил, что рисует не портрет, а тип: «такой тип женщины-кулака встречается весьма часто и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких рамках фамильных ее отношений» (стр. 11).

Впоследствии Салтыков очень иронически относился к этой своей повести и сам вышучивал ее и в своих произведениях, и в отдельных отзывах. В своей последней автобиографической записке 1887 года он сообщал, например, спутав даже заглавие повести: «Первую повесть «Недоразумение» под псевдонимом Непанов я напечатал в Ноябрьской книжке Отеч. Зап. 1847 г. Помнится, Белинский назвал ее бредом младенческой души». В четвертой главе «Дневника провинциала в Петербурге» (1872 г.) автор иронически рассказывает о своей повести «Маланья», написанной в сороковых годах; в шестой главе приводится некая маленькая новелла, написанная в те же далекие годы и о которой Белинский якобы сказал, что это «бред куриной души». Белинский действительно выразился о «Противоречиях» начинающего автора весьма резко, назвав эту повесть «идиотской глупостью»¹; этот отзыв,

¹ Белинский, «Письма» (Спб. 1914 г.), т. III, стр. 286. «Бред младенческой души» и «бред куриной души» дополняется аналогичной фразой из «Воспоминаний» д-ра Белоголова, которому Салтыков говорил, что Белинский назвал «Противоречия» — «бредом большого ума» («Воспоминания», стр. 200).

находившийся в письме Белинского к Боткину от 5 ноября 1847 г., стал известен Салтыкову к концу шестидесятых годов, когда письмо это впервые было напечатано, хотя и с некоторыми пропусками. Но и сам Салтыков, повидимому, очень скоро стал относиться к своей юношеской «Маланье» вполне отрицательно. Свою вторую юношескую повесть, «Запутанное дело», он включил позднее в том «Невинных рассказов» (1863 г.), которые впоследствии целиком вошли и в его собрание сочинений; первую же свою пробу пера, «Противоречия», он впоследствии никогда не перепечатывал, не включил ни в один из своих сборников, и она до сих пор остается совершенно не известной читателям собрания сочинений Салтыкова. И если Белинский в своем отзыве был, быть может, слишком строг, то Салтыков, не включая эту повесть в ряд позднейших своих сочинений, был во всяком случае прав ¹.

V

«Запутанное дело» появилось в тех же «Отечественных Записках» через четыре месяца после первой повести Салтыкова, а именно в мартовской книжке журнала за 1848 год (стр. 50—120). Надо признать, что за это короткое время автор сделал значительный шаг вперед; недаром он впоследствии, вычеркнув «Противоречия» из числа своих сочинений, счел возможным сохранить среди них «Запутанное дело». Молодой автор не мало, надо думать, трудился над новым своим произведением; так можно судить по крайней мере по сохранившемуся отрывку черновой рукописи его. Рукопись «Противоречий», к сожалению, не сохранилась; но от «Запутанного дела» до нас дошли 4 полулиста автографа, представляющего собой черновик самого начала повести ². Изучение этого черновика дает настолько значительные разночтения с печатным текстом, что последний может считаться основательно переработанным. Так, например, в черновой редакции было лишнее, хотя и эпизодическое, действу-

¹ Подробное исследование о повести «Противоречия» дано с социологической точки зрения в книге П. Н. Сакулина «Русская литература и социализм» (М. 1922 г.), стр. 359—374. Там справедливо подчеркивается, что основная идея «Противоречий» — социальные противоречия; заглавие повести Салтыкова ставится в связь с только что появившейся тогда в 1846 году книгой Прудона «Экономические противоречия».

² Автограф находится в бумагах Пушкинского дома, из архива М. М. Стасюлевича.

щее лицо, Арина Тимофеевна, мать Мичулина, героя повествования; подробно рассказывалось в черновой рукописи о проводах Мичулина из родительского дома в столицу. Вообще же черновая рукопись представляет собою очень подробное вступление, в печатном тексте сведенное лишь к немногим строкам. Молодой автор, как видно, много работал над этой второй своей повестью, которую на этот раз решил подписать не псевдонимом, а первыми буквами своего имени и фамилии: *М. С.*

Форма повести была уже значительно менее разорванной и куда более стройной, чем форма растянутых и утомительных «Противоречий», но автор и здесь не нашел еще своего пути, и здесь еще находился под перекрестным влиянием многочисленных образцов,— главным образом Гоголя, Достоевского, Панаева и Кудрявцева. Особенно сильным было влияние Достоевского, подражанием «Бедным людям» и «Двойнику» которого может считаться вся эта повесть Салтыкова. Мало того, подражание и заимствование доходило иногда до мелочей. Вот пример. В сентябрьской книжке «Современника» за 1847 год было напечатано стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной» (стр. 153); мрачная картина, нарисованная Некрасовым, произвела, повидимому, большое впечатление на Салтыкова. В стихотворении Некрасова рассказывается, как мать продает себя, чтобы купить гробик своему только что умершему ребенку и накормить его голодного отца. Всю эту сцену за исключением только смерти ребенка, Салтыков с буквальной подлинностью перенес из стихотворения Некрасова в свое «Запутанное дело», лишь детализировав эту сцену. В кошмаре героя повести, Мичулина, предполагаемая жена его Наденька идет продаваться богатому старику и возвращается с едой для мужа и сына (стр. 74—77 по журнальному тексту). Надо сравнить слово за словом эту сцену повести Салтыкова со стихотворением Некрасова, чтобы увидеть, насколько первая является точным повторением и почти списком второго.

К этой сцене мы еще вернемся, так как Салтыков осложнил ее целым рядом привходящих подробностей, которые и оказались главными обвинительными пунктами против этой повести при ее разборе в Меньшиковском и Бутурлинском комитетах; тем более характерно то обстоятельство, что эту сцену, одну из центральных сцен всей повести, Салтыков заимствовал из появившегося полугодом ранее

стихотворения Некрасова. Если прибавить к этому ряд подражаний другим авторам, о чем уже было сказано выше, то вывод напрашивается сам собой: Салтыкову не доставало выдумки, пока он писал в шаблонных формах несродной ему психологической повести, большим мастером которой оказался около этого же времени Тургенев. Салтыков еще не умел отыскать своего пути, и на произведениях его отражалось то самое влияние повестей Панаева и Кудрявцева, о котором сам он говорит в своей автобиографии и которое еще станет когда-нибудь предметом детального изучения историков литературы. Лишь найдя свой собственный путь,— а это случилось через много лет после «Запутанного дела»,— Салтыков показал, какой неисчерпаемой выдумкой обладает он, превосходя в этом, быть может, всех остальных русских писателей.

Но это случилось лишь спустя долгие годы; пока же Салтыков продолжал оставаться верным учеником «натуральной школы» сороковых годов, осложнившей старую психологическую повесть введением социальных мотивов, как основных элементов повествования. Тема об униженных и оскорбленных, только что поставленная Достоевским в первых своих произведениях, произвела потрясающее впечатление на читателей,— и среди читателей этих был, конечно, и Салтыков. Ровно через тридцать лет сам он так вспоминал об этой эпохе своей юности и первых писательских попытках:

«Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто-эстетическим традициям, но по временам делали набег на область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорее в область «униженных и оскорбленных». Но, под прикрытием обеспеченности, эти набег производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами...»

Как видно из этих слов, взятых из очерков Салтыкова «Чужой толк» и «Дворянские мелодии», произведений конца семидесятых годов (о них будет речь во второй части, в главе, посвященной циклу «В среде умеренности и аккуратности»), Салтыков склонен был впоследствии относиться иронически к этим «дворянским экскурсиям» в область социальной проблемы; он указывал, что «под прикрытием обеспеченности» экскурсии эти производились порывами, которые родили много «проходимцев и негодяев», и в лучшем случае — «просто бессильных и неумелых людей». Надо перечи-

тать эти названные выше очерки Салтыкова конца семидесятых годов, чтобы составить представление о позднейшем отношении его к этим былым «экскурсиям в область униженных и оскорбленных»: именно этой теме, главным образом, и посвящены связанные между собою «Чужой толк» и «Дворянские мелодии». Но тут же надо подчеркнуть, что окончательного обвинительного приговора этим былым «экскурсиям» Салтыков не вынес; наоборот, несмотря на всю их безответственность, он видел в них единственный луч света, который мерцал в сороковых годах. «Ты думал, что экскурсии-то наши — пустопорожнее место? — спрашивал он там же устами своего друга Глумова. — Нет, мой друг, это сила, большая сила! От них свет пролился! Я знаю, что нынче принято относиться к ним с пренебрежительною снисходительностью, что большинство даже несомненно порядочных людей совсем позабыло об них, но знаю также, что к ним еще возвратятся... наверное! Потому что в них — свет! свет! свет!».

Все это непосредственно касается социально-психологических повестей конца сороковых годов, а в том числе и повести «Запутанное дело», — недаром же именно за нее Салтыкову пришлось заплатить восьмилетней ссылкой в Вятку. Социальные элементы были и в «Противоречиях», и в этом отношении связь между первыми двумя повестями Салтыкова не возбуждает сомнения. Уже в «Противоречиях» была ясно намечена тема социального неравенства; уже там Нагибин спрашивал: «Скажи ты мне, отчего бы это люди в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим?.. В основании этих жалоб лежит нечто высшее, нежели мой личный эгоизм: этим порядком вещей оскорбляется идея справедливости, врожденная мне» (стр. 88—90). Тема «кареты» и социального неравенства становится основной с первых же страниц «Запутанного дела» и проходит до конца этой повести. Для нас теперь совсем не интересен реальный комментарий к ней, хотя, по указанию С. Кривенко, «находили некоторое сходство между лицами, изображенными в повести, и лицами действительными»¹; но тем интереснее тот

¹ С. Н. Кривенко, «М. Е. Салтыков». Биографический очерк (П. 1915 г.), стр. 19. В статье «Социологическая сатира» («Вестник Воспитания» 1914 г., № 4) П. Н. Сакулин высказал очень вероятное предположение, что тип недоросля из дворян Алексиса Звонского метит в приятеля Салтыкова, петрашевца и поэта А. Н. Плещеева; мысль эту повторил

основной социальный мотив, который проходит через всю эту повесть от начала и до конца. Этот мотив мало назвать социальным, — его надо назвать социалистическим; именно на этой повести Салтыкова несомненно отразилось влияние того «безвестного кружка» петрашевцев, с которым он был связан в эти дни своей юности.

Надо еще раз подчеркнуть то, на что было обращено внимание уже выше: Салтыков и в те годы увлечения утопическим социализмом иронически оценивал, повидимому, целый ряд конкретных частных, заставлявших его даже бороться с невозможными «утопиями». Но утопии эти, которые надо отвергнуть, Салтыков видел только в некоторых несообразных выводах, а не в общем направлении мыслей. Нагибин, за которым, конечно, нельзя видеть автора и которого автор, наоборот, безжалостно «вскрывает», говорит о себе, что был бы счастлив, если бы мог отдаться одной из двух крайностей: «Был бы или нелепым утопистом, в роде новейших социалистов, или прижимистым консерватором — во всяком случае, я был бы доволен собою. Но я именно посередине стою между тем и другим пониманием жизни: я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь» (стр. 64). Иронические слова Нагибина в другом месте о Фурье и Сен-Симоне (стр. 87) еще нагляднее показывают, что между сен-симонистом автором и его печальным героем здесь нельзя ставить знака равенства. Интересно впрочем, что даже этот герой высказывает ряд мыслей, идущих от тех же «утопистов», с которыми он несогласен; такова, например, мысль о частной собственности на землю, как высшем социальном зле и социальной несправедливости (стр. 27—28). Одного этого места, случайно ускользнувшего от красного цензорского карандаша, вполне достаточно было бы в те годы для ссылки Салтыкова.

В «Запутанном деле» автор старается скрыть от бдительного ока начальства свои мысли о социализме тем, что выводит на сцену нелепого и смешного сторонника идей утопического социа-

и В. И. Семевский в статье «М. Е. Салтыков-петрашвец» («Русские Записки» 1917 г., № 1, стр. 39). Укажу заодно, что столь же подробное исследование, как о «Противоречиях», мы находим и о «Запутанном деле» в уже указанной книге того же П. Н. Сакулина «Русская литература и социализм» (стр. 374—382).

лизма. Это некий господин Беобахтер, страшный революционер, злоупотребляющий буквой «р» и все время делающий отрывистые жесты ладонью сверху вниз, точно отрубаящий головы на гильотине. «Тут буква *p* посыпалась в таком изобилии, что у слушателей даже в ушах затрещало»,—говорит о нем автор в одном месте; и в другом: «...любовь после, а прежде то прочь всё, прррочь...—господин Беобахтер, повидимому, с особенною нежностью любил слова, заключающие в себе букву *p*» (по журнальному тексту стр. 61—62, в позднейшем тексте этих фраз нет). Этот Беобахтер снабжает Мичулина революционными французскими брошюрами, требует полного «ррразрррушения», гильотины, полного уничтожения буржуазного строя («ведь ты «буржуазия», я тебя знаю...»,—говорит он своему другу): «Разрушить, говорю тебе, ррразрушить — вот что нужно! А прочее всё вздор!.. Прочь их! с лица земли их! Нет им пощады!..». И он кончает громогласным *ррррр*...—которым автор, вероятно, хотел намекнуть читателю на слово революция. Но этот комический тип — только цензурный громоотвод, впрочем не достигший своей цели, как не достигли цели и другие подобные же выпады,—например, издевательства беспутного помещика Пережиги над Бруно Бауэром и Фейербахом, о которых он что-то слышал и которых называет обоих вместе почему-то одним именем «Бинбахтер». Все эти выпады не могли закрыть ни от читателей, ни от поздно спохватившейся цензуры взглядов самого автора на проблему социального неравенства,—а этому вопросу и посвящена вся повесть Салтыкова¹.

Достаточно указать только на три сцены повести, в которых действуют не комические Беобахтер и Пережига, а униженный и оскорбленный герой повести Мичулин, устами которого часто говорит сам автор. Первая из этих сцен была отчасти приведена

¹ В известном нам показании от 25 сентября 1849 г. на вопросные пункты III Отделения Салтыков, однако, очень рассчитывал на действительность столь наивно построенных им громоотводов и, «как особой милости», просил о пересмотре своего дела и о новом рассмотрении своей повести. «Я вполне убежден,—писал он в своем показании,—что в ней скорее будет замечено направление, совершенно противное анархическим идеям, нежели старание распространить эти идеи» («Русские Записки» 1917 г., № 1, стр. 48). Говоря это, Салтыков несомненно имел в виду комическую фигуру Беобахтера, упуская из вида, что она совершенно покрывается теми сценами повести, о которых сейчас будет сказано.

выше: голодная семья, продающая себя богатому, старику мать, ужин на эти деньги падения. Мать утешает голодного ребенка: «потерпи, дружок, — говорит мать: — потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке всё голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!». И на ответ ребенка, что другие же дети сыты и играют — мать, поникнув головою, говорит: «это дети голодных волков играют, это они сыты!». И заключительный разговор:

«— Мама! когда же убьют голодных волков? — снова спрашивает ребенок.

— Скоро, дружок, скоро...

— Всех убьют, мама? Ни одного не останется?

— Всех, душенька, всех до одного... Ни одного не останется»
(Цитата по журнальному тексту, стр. 75—77).

И чтобы подчеркнуть ясный псевдоним этих «волков», автор тут же намекает на раскрытие его, называя богатого развратника по созвучию — дряхлым «волокитой»; мать, возвращаясь от него с едой, говорит сыну: «это волк прислал». Знак равенства между «волками» и «буржуазией» ставится здесь автором уже совсем ясно.

Вторая сцена еще более характерна, хотя немного более завуалирована — но не для петербургских читателей той эпохи. Говорю «петербургский» потому, что только они могли знать, о какой это речь идет опере, которую Мичулин уже в конце повести смотрит в театре и которая производит на него потрясающее и именно революционное впечатление. «Давали какую-то героическую оперу», — сообщает читателям автор и далее на трех страницах подробно рассказывает (с точки зрения Мичулина) о содержании этой оперы. Сначала музыка: «Посреди всеобщего безмолвия вдруг послышался отдаленный горный рожок... Но вот рожку начинает вторить флейточка, к флейточке нерешительно присоединяется скрипка, и вдруг звуки начинают расти, расти»... Совершенно несомненно, что Салтыков имеет здесь в виду вполне определенную оперу, звуки увертюры которой оказывают на его героя потрясающее действие: «вот это так хорошо! так их! руби их! мо-шен-ни-ки, хри-сто-про-давцы! — шептал он». Дальше начинается действие, очень туманно рассказываемое автором, но во всяком случае из рассказа этого вполне ясно, что на сцене дей-

ствует революционная толпа («да и какая еще толпа!») и что дело заканчивается народным восстанием. «Да, дело-то было бы лучше!—думал Мичулин, прогуливаясь в антракте по коридору:— тогда бы, может быть, и я...» Он не оканчивает фразы, потому что она не цензурна: тогда бы и я примкнул к восставшей толпе, если бы она была не на сцене, а в жизни.

Надо прочесть три-четыре страницы, посвященные этой «опере с перчиком», как называет ее один из слушателей, чтобы увидеть и всю нецензурность этого места, и отношение автора не к комическим персонажам «утопизма», а к униженным и оскорбленным людям, для которых выходом из социального неравенства является только революция. Отсюда понятен диалог между Мичулиным и другим слушателем, хотя и комическим персонажем:

«— А ведь с перчиком опера-то? а? как вы насчет этого?»

— Да; я думаю, что, если б...— процедил Иван Самойлыч сквозь зубы.

— Уж и не говорите! я сам об этом много думал, да вот нас-то мало... вот что!» (По журнальному тексту, стр. 101).

И, наконец, совершенная нецензурность всего этого места становится ясной, если раскрыть скобки и назвать ту оперу, о которой здесь все время идет речь. Это — опера Россини «Вильгельм Телль», которая в виду своего революционного содержания (восстание народа против притеснителей) была запрещена в то время николаевской цензурой под этим своим названием, но считалась обезвреженной, когда ей дали заглавие «Карл Смелый». Все детальные описания Салтыкова как нельзя более подходят к этой опере; между прочим надо отметить, что она была возобновлена на петербургской сцене как раз, в сезон 1846/47 г. 1.

Достаточно было бы уже всего этого, чтобы характеризовать социальные и политические взгляды Салтыкова конца сороковых годов; но есть и третья сцена, которой по существу заканчивается повесть и которая, не говоря уже об ее нецензурности, бросает яркий свет на взгляды молодого Салтыкова-петрашевца.

¹ А. И. Вольф, «Хроника петербургских театров», т. II, стр. 130.— Ниже, в главе X, мы еще увидим, как подробно и уже не завуалированно излагал Салтыков содержание этой же оперы в статье 1863 года, подчеркивая революционность этой оперы и вспоминая про впечатления от нее в сороковых годах.

Я говорю о предсмертном бреде Мичулина, в котором перед ним из тумана начинает выделяться бесчисленное множество наклонных колонн, соединяющихся в одной общей вершине и составляющих собою пирамиду. Всматриваясь, Мичулин видит, что колонны все составлены из людей и что сам он находится в самом низу этой живой пирамиды, полураздавленный ее тяжестью. «...Он с силою устремился, чтобы вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он со слезами на глазах и гложущею тоскою в сердце обратил взор свой выше. Но чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Ивану Самойловичу люди» (Цитата по журнальному тексту, стр. 111). После этих слов следует полторы строки точек, поставленных, очевидно, в виду совершенной невозможности цензурно сказать о высших слоях этой социальной пирамиды.

Образ социальной пирамиды родился в утопическом социализме и был ходячей фигурой в те годы, когда Салтыков писал эту свою повесть¹. Нечего и говорить о том, что на ряду с «волками» эта картина давящей массы социальной пирамиды должна была оказаться одним из главных обвинительных пунктов против Салтыкова, когда повести его обратили на себя неблагоприятное внимание начальства. Достаточно было трех указанных выше сцен из «Запутанного дела», чтобы тяжкий обвинительный приговор оказался несомненным.

Но если стать на точку зрения властей предрержащих, то этот суровый приговор был вполне справедливым. Действительно, Салтыков написал «революционную» по тем временам повесть — и должен был понести за это возмездие. Совершенно непонятно, каким образом повесть эта могла пройти сквозь цензурные теснины;

¹ В цитированной выше статье В. Семейского указано, из какого места произведений Сен-Симона взята эта социальная пирамида («Oeuvres de St.-Simon et d'Enfantin», t. XXXIX (P. 1875), p. 131—132). Сен-Симон говорит о социальной пирамиде, в основании которой — фабричные рабочие, следующий ряд — интеллигенция, выше — бюрократия; вершина пирамиды — королевская власть. «Настоящее положение вещей представляет зрелище мира, перевернутого вверх дном: те, кто правят общественными делами, сильно нуждаются в том, чтобы ими самими управляли; высшие способности находятся среди управляемых, а управляющие — люди весьма посредственные».

единственным, но и то мало убедительным объяснением может служить предположение, что Салтыкову удалось обмануть наивных цензоров (ими были А. Крылов и А. Мехелин) теми «громоздками», о которых пришлось упомянуть выше. Но все насмешки над комическими последователями «утопического социализма» не могли скрыть от читателей, что этот же самый социализм является и исходной точкой, и конечным выводом автора. Мало того, в повести явно намекалось не только на несправедливость социального строя, но и на необходимость насильственного социального переворота. Петрашевский в показании, данном через несколько дней после своего ареста, заявил, что он и его товарищи желали «только мирного развития общественного быта»; как видим однако, некоторые из петрашевцев, а в числе их и Салтыков, мечтали не столько о мирном развитии, сколько о народном восстании, которое разрушило бы до основания всю социальную пирамиду. Мы уже видели выше, что в позднейшей повести «Тихое пристанище» (написанной в 1858—1865 гг.) Салтыков вспоминал о своем юношеском «безвестном кружке», как кружке политическом, подпольном и революционном. Во всяком случае «Запутанное дело» — повесть революционная, насколько она могла быть ею в цензурных рамках того времени¹.

«Утопия для утопии — тридцатью годами позднее говорил в «Дворянских мелодиях» Салтыков, — разве это не одно из «приятств» жизни? Очевидно, что не только об деле, но и об отношении к делу тут речи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти беспредметны, и, как я сказал уже выше, ограничивались экскурсиями в область униженных и оскорбленных — область до того бесформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбегаются по ней, не находя поводов для проверки даже самих себя»... И еще одно замечательное место из тех же очерков, в котором Салты-

¹ О том, что именно таково было мнение читающей публики, свидетельствует хотя бы следующее место из письма Плетнева к Гроту от 27 марта 1848 г., т.-е. немедленно вслед за выходом книжки журнала с повестью Салтыкова: «Вчера был у меня кн. Вяземский. Он указал мне в № 3 «Отечественных Записок» 1848 г. на повесть «Запутанное дело». Теперь я читаю ее. Не могу надивиться глупости цензоров, пропускающих подобные сочинения... Тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», Спб. 1896 г., т. I, стр. 209).

ков метко вскрывает социальную основу этих «дворянских мелодий», так увлекавших его в конце сороковых годов. «Хотя мелодии эти зародились очень давно, в самом начале сороковых годов, но память о них до сих пор так жива и так полна, что мне чудится, что они раздались только вчера. Это было время, когда крепостное право царствовало в полном разгаре, обеспечивая существование избранных и доставляя все удобства для украшения их досугов. И между тем — странная вещь! — молодые дворяне тосковали... Они не могли не почувствовать себя умиленными зрелищем общих симпатий к угнетенным и обделенным, которыми обуревались тогда лучшие умы Запада... Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялись в этом смысле пищею почти идеальной. Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек. Отсюда — дворянские мелодии. Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околичностей (обстановок) и в то же время отсутствие конкретного объекта. И, как естественный результат всех этих свойств, взятых вместе — неуловимость»...

В своем месте мы увидим, что все эти выпады направлены, главным образом, против Тургенева и его романа «Новь»; но совершенно несомненно, что Салтыков говорил здесь и про *domo sua*, вспоминая «дворянские мелодии» своей юности — повести «Противоречия» и в особенности «Запутанное дело». Как видим, Салтыков склонен был очень иронически отнестись к этим пробам пера своей юности и к вызвавшему их настроению, не сопровождавшемуся конкретными поступками. Но это нисколько не зачеркивает факта действительно революционного настроения молодого Салтыкова и его повестей; мало того, это нисколько не мешает признать, что само это революционное настроение было глубоко положительным фактом в русской литературе сороковых годов. Недаром, как мы знаем, Салтыков даже в семидесятых годах видел в нем единственный луч света, освещавший его молодые годы. «Да, экскурсии в область униженных и оскорбленных не прошли для меня даром», — говорил Салтыков в тех же очерках, указывая, что жизнь много раз пыталась растоптать эти юные утопии, а он — «все-таки возвращался к ним. И я не только не сожалел об этих возвратах, но даже горжусь ими».

Глава IV

САЛТЫКОВ В ВЯТСКОЙ ССЫЛКЕ

I

В первой своей автобиографической записке Салтыков лаконично сообщил о своей литературной деятельности после 1848 года: «с 1848 по 1856 в литературной деятельности перерыв»¹. Этот невольный перерыв явился, как это ни странно, результатом Февральской революции 1848 года во Франции.

«Я помню, это случилось на масленной 1848 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми... И вот, вслед за возникновением движения во Франции, произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат Вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет, когда не только французская республика сделалась достоянием истории, но и у нас мундирные фраки уже были заменены мундирными полукафтанами»².

¹ Рукописное отделение Публичной Библиотеки, Автобиография Салтыкова.

² «За рубежом», «Отч. Записки» 1881 г., № 1, стр. 231.

Так рассказывал сам Салтыков спустя тридцать с лишним лет после всех этих великих и малых событий конца сороковых годов. Само собою разумеется, что не случись Февральской революции во Франции, то, быть может, в России не было бы обращено внимания на «злокозненные» повести Салтыкова, тем более, что они так или иначе прошли уже через цензуру и что таким образом ответственность за появление их падала прежде всего на цензоров. Но как раз в то время (27 февраля 1848 г.) был учрежден под председательством кн. Меншикова временный секретный комитет, так и прозванный «меншиковским», для верховного надзора за цензурой. Комитет этот обратил внимание на «Запутанное дело» Салтыкова немедленно же вслед за появлением этой повести в мартовской книжке «Отечественных Записок». В заседании от 29 марта 1848 г. комитет подробно остановился на разборе повести Салтыкова, изложил ее содержание и особенно подчеркнул место о «волках» и аллегорические жесты Беобахтера, намекающие на гильотину. Однако никаких мер воздействия ни против журнала, ни против автора учинять еще, повидимому, не предполагалось; комитет лишь обратил «самое строгое внимание цензуры» на журнал «Отечественные Записки», за которым цензуре поручалось иметь «особенное наблюдение»¹.

Эти официальные данные дополняет рассказ академика К. С. Веселовского, нуждающийся, однако, в некоторых поправках. По рассказу этому на повесть «Запутанное дело» обратил в конце марта внимание член меншиковского комитета статс-секретарь Дегай. Главное внимание комитета было обращено на предсмертный «сон» Мичулина о социальной пирамиде; комитет решил, что «в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла — изобразить в аллегорической форме Россию»... После этого рассмотрение повести Салтыкова и было внесено на заседание комитета от 29 марта 1848 года². Мы уже знакомы с протоколом этого заседания, но в нем как раз ничего нет о «пирамиде», а особенно инкриминируются Салтыкову два другие места его повести; поэтому рассказ К. С. Веселовского нуждается в некотором исправлении. Но главным образом надо подчеркнуть тот факт, что судьбу Салтыкова

¹ «Голос Минувшего» 1913 г., № 4, стр. 216—217.

² К. С. Веселовский, «Отголоски старой памяти», «Русская Старина» 1899 г., № 10, стр. 15—17.

решил вовсе не «меншиковский», а основанный на его месте пресловутый «бутурлинский» комитет. Комитет этот, официально именуемый «Комитет 2 апреля 1848 года», был учрежден под председательством Бутурлина «для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением печатаемых в России произведений»; к нему перешли все дела его предшественника, «меншиковского» комитета, и был начат целый ряд новых дел о злокозненных произведениях русской литературы¹.

О повестях Салтыкова было сообщено военному министру кн. Чернышеву, так как именно в канцелярии этого министерства служил в то время, как мы знаем, Салтыков. В это же самое время чиновником особых поручений в чине действительного статского советника при военном министре состоял знаменитый в те годы писатель Нестор Кукольник, которому министр и поручил составить доклад о повестях Салтыкова. «Заклятый враг натуральной школы, Н. Кукольник,—говорит в известных уже нам воспоминаниях о Салтыкове А. Скабичевский,—представил доклад министру в таком роде, что гр. Чернышев только ужаснулся, что такой опасный человек, как Салтыков, служит в его министерстве». К сожалению, доклад этот не дошел до нас, хотя и сохранились писанные рукою Кукольника отношения военного министерства к шефу жандармов гр. А. Орлову и министру внутренних дел А. Перовскому². Но и независимо от доклада Кукольника дело Салтыкова в это время было уже решено в «бутурлинском комитете» и в пресловутом III Отделении собственной его императорского величества канцелярии, которое тогда играло роль департамента полиции и охранного отделения.

Салтыков был немедленно «по высочайшему повелению» уволен со службы и арестован 26 апреля 1848 года. Через два дня судьба его была решена: его сослали в Вятку. Рапортом от 28 апреля 1848 г. петербургский комендант барон Зальц сообщал директору канцелярии военного министерства, генерал-адъютанту Анненкову,

¹ О комитетах этих см. М. Лемке, «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» (СПб. 1904 г.), стр. 194.

² Отношения эти напечатаны в статье М. К. Лемке, «К биографии М. Е. Салтыкова», «Русская Мысль» 1906 г., № 1. См. также А. Александров, «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова», «Русский Библиофил» 1915 г.

бывшему, непосредственному начальнику Салтыкова, что последний «имеет быть сдан сего числа в 9 часов вечера штабс-капитану, Спб. жандармского дивизиона Рашкевичу, для сопровождения в Вятку»¹. Этот жандармский капитан вез с собою также и секретное «отношение за № 777 от 28 апреля 1848 года I экспедиции III Отделения собственной его императорского величества канцелярии» к вятскому губернатору А. И. Середе, сообщающее, что высочайше предписано — «...служащего в канцелярии военного министерства титулярного советника Салтыкова, который в противность существующих узаконений, без дозволения и ведома начальства, помещал в периодических изданиях литературные свои произведения, обнаруживающие его вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие, — уволить из означенной канцелярии и отправить на службу тем же чином в Вятку»... На отношении этом (от графа Орлова) вятским губернатором Середою сделана пометка о получении бумаги и «препровожденного» при ней Салтыкова — 7 мая 1848 года². С этого дня началось вятское житие Салтыкова.

II

В те патриархальные времена можно было и быть сосланным в глухой губернский город, и в то же время служить в нем, занимая ответственные места при особе самого губернатора. Так было десятилетием раньше в той же Вятке с сосланным туда Герценом, так случилось теперь и с Салтыковым. В Вятку он был сослан под «особый надзор» губернатора, и последний, через несколько дней после доставления Салтыкова жандармом, предписывал отношением за № 481 от 11 мая 1848 г. вятскому полицеймейстеру: «...предписываю вам иметь лично за титулярным советником Салтыковым

¹ «Русский Библиофил» 1915 г., № 8, стр. 77,—в указанной выше статье А. Александрова.

² Бумаги Пушкинского дома, № 610—V-6, «Дело о назначении на жительство в Вятку титулярного советника Салтыкова». См также В. Алексеев, «Салтыков в Вятке», «Исторический Вестник» 1907 г., № 11, и В. Емельянов. «Ссылка Салтыкова в Вятку и его освобождение», «Русская Старина» 1909 г., № 10.

непосредственный строгий надзор и доставлять мне ежемесячно об образе жизни и поведении его подробные и верные сведения»¹. А на другой день после этого начато было в то же время официальное «дело об определении титулярного советника Салтыкова на службу»²; 3 июля он и был определен канцелярским чиновником Вятского губернского правления, о чем вскоре и было опубликовано в официальной части «Вятских Губернских Ведомостей»: «Определен отправленный по высочайшему повелению в г. Вятку на службу, служивший в канцелярии военного министерства, титулярный советник Салтыков, в штат губернского правления по канцелярии присутствия канцелярских чиновников»³.

Таким образом Салтыков должен был снова начинать с первых ступеней лестницы прохождение своей чиновничьей карьеры. Впрочем, на этот раз по лестнице этой он стал идти быстрыми шагами. Прошло всего лишь два месяца со времени начала вятской службы Салтыкова, как губернатор уже представил его к должности своего старшего чиновника особых поручений; еще через два месяца представление это было утверждено министерством внутренних дел⁴, и находившийся под особым надзором губернатора и полиции Салтыков занял одно из ближайших мест при особе этого самого губернатора.

Начались годы служебных скитаний Салтыкова по глухим местам и городишкам Вятской губернии,—скитаний, которые впоследствии дали ему так много материала для литературных произведений и в первую очередь, конечно, для появившихся почти десятилетием позднее «Губернских очерков». Интересно следить по отделу «приехавших и выбывших», который велся в местных губернских ведомостях, как часто Салтыков уезжал в служебные командировки и какие места Вятской губернии об'ехал он. «Приехал из Котельнича чиновник Салтыков» (4 марта 1849 г.). «Выехал

¹ «Дело о назначении на жительство в Вятку титулярного советника Салтыкова» (см. выше).

² «Дело Вятского губернского правления за № 391 от 12 мая по 30 июня 1848 г.», Бумаги Пушкинского дома, № 612—V.

³ «Вятские Губернские Ведомости» 1848 г., № 29 (17 июля).

⁴ Представление губернатора от 18 сентября 1848 г., утверждение министерства внутренних дел от 12 ноября 1848 г. за № 5939. См. указанное выше дело о Салтыкове в бумагах Пушкинского дома.

в г. Кай старш. чин. особ. пор. вят. гражд. губ. Салтыков» (13 декабря 1849 г.). «Приехал из Кая старш. чин. особ. пор. вят. гражд. губ. Салтыков» (17 декабря 1849 г.). «Приехал из Уржума старший чиновник особых поручений Салтыков» (14 июня 1850 г.) — вот что то-и-дело встречаем мы, перелистывая «Вятские Губернские Ведомости» за годы пребывания Салтыкова в этом глухом краю¹. О том, что наблюдал в этих своих служебных странствиях молодой чиновник, какие впечатления западали в его душу — вся читающая Россия узнала из «Губернских очерков» десятилетием позднее. Сам же он неоднократно вспоминал впоследствии об этих годах своего странствия, вспоминал в целом ряде своих произведений.

«...Я вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции... Впрочем, поездка в отдаленный край оказалась в этом случае пользительною. Связи с прежней жизнью разом порвались; редко кто обо мне вспомнил, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему. Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование), но впоследствии и люди нашлись... Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь в глухом краю. И возлежал на доне у начальника края, и был отменяем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды — всё испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег. Конца этому положению я не предвидел. Сначала делал некоторые попытки, чтобы высвободиться, но чем дальше шел вглубь, тем более и более обживался. Даже солонину и огурцы солил впрок и вообще зажил своим домом, хотя был совсем одинок. И теперь вспоминаю об этом времени с каким-то сомнением, действительно ли оно было»². Так вспоминал Салтыков о своей вятской жизни ровно через сорок лет после начала его ссылки; но вспоминал он об ней и во многих других более ранних своих произведениях. В своей первой автобиографической записке сам он, говоря о себе в третьем лице, указывает: «для характеристики взгляда писателя, можно указать на следующие очерки: «Скука», «Неумелые» (конец), «Озорники»

¹ «Вятские Губернские Ведомости» 1849 г., №№ 11, 51 и 52; 1850 г., № 25 и др.

² Этюд «Счастливец» (1887 г.), вошедший в цикл «Мелочей жизни».

и «Дорога»¹. Все это — автобиографические места из «Губернских очерков»; места эти говорят нам не только о взгляде, но и о настроении будущего писателя, закинутого в гущу провинциальной жизни. Особенно характерным в этом отношении является двенадцатое «Письмо из провинции» (1870 г.), в котором на протяжении десятка страниц Салтыков подробно рассказывает о мыслях и чувствах человека, при помощи некоего «волшебства» перенесенного из Петербурга «в уездный город Ненасыть» и водворенного там на жительство.

Не приходится удивляться, что «водворенный на жительство» и отданный под надзор полиции Салтыков так быстро занял одно из видных мест в вятской губернской иерархии и, к слову сказать, немедленно по назначении на службу исправлял (с 30 мая по 20 августа 1848 г.) должность правителя канцелярии губернатора, а 5 августа 1850 г. был уже назначен советником Вятского губернского правления². Повторилась та же самая история, как и с сосланным в Вятку Герценом десятилетием ранее: губернская администрация очень высоко ценила этих петербургских и московских политических ссыльных, «социалистов» и «идеалистов». Их высокая честность и сравнительно большое образование (чаще — самообразование) делали их незаменимыми исполнителями таких начинаний, которых нельзя было поручить местным чиновникам — или взяточникам, или людям, лишенным почти всякого образования. Курьезно, что Салтыкову пришлось заниматься в Вятке буквально тем же самым, чем десятилетием раньше занимался в ней Герцен. Герцену пришлось в 1837 году организовывать в Вятке сельскохозяйственную выставку; Салтыков занялся организацией такой же выставки, имевшей место в Вятке с 15 августа по 1 сентября 1850 года. В официальном отделе местных ведомостей читаем: «распорядителем выставки и членом комиссии был назначен состоящий при вят. гражд. губерн. старш. чиновн. особ. поруч., ныне советник Вятского губерн. правл., титулярн. советн. Салтыков»³. Ему при-

¹ Автобиографическая записка 1857—1858 гг., Рукописное отделение Публичной Библиотеки.

² «Формулярный список о службе советника Вятского губернского правления коллежского ассесора Салтыкова» (1851 и 1854 гг.), Бумаги Пушкинского дома, №№ 624—626—VII-б. См. также цитированный выше формулярный список Салтыкова рязанского вице-губернатора за 1859 г.

³ «Вятские Губернские Ведомости» 1851 г., № 4.

лось по этому поводу написать и целую статью — «Вятская очередная выставка сельских произведений», напечатанную в тех же местных ведомостях¹. Статья эта анонимна, но в конце ее указано: «...Описание выставки было поручено комитетом распорядителю выставки, титулярному советнику Салтыкову». Это — интереснейшая статья для характеристики тогдашних взглядов Салтыкова на вопросы крупного и мелкого землевладения, первому из которых отдается преимущество перед вторым. Статья эта заслуживала бы изучения в отдельном монографическом очерке, посвященном истории развития взглядов Салтыкова на вопросы землевладения, начиная от этой официальной статьи и вплоть до «Убежища Монрепо» (1878—1879 г.), в котором, четвертью века позднее, Салтыков подводит уже окончательные итоги поставленным самою жизнью вопросам.

По каким же делам совершал Салтыков сперва в качестве чиновника особых поручений при губернаторе, а потом уже и советником Вятского губернского правления свои служебные странствования по уездам Вятской губернии? Мы узнаём об этом отчасти из данных цитированных выше формулярных списков Салтыкова (1851, 1854 и 1859 г.), отчасти по сохранившимся копиям или черновикам рапортов его, напечатанных в извлечении в «Материалах» К. Арсеньева, отчасти же из подлинников архивных дел, хранящихся ныне среди бумаг Пушкинского дома и до сих пор еще не напечатанных. Из формулярных списков мы узнаём, что в начале 1850 г. Салтыкову было поручено составление инвентарей недвижимых имуществ и статистических описаний различных городов Вятской губернии, а также «составление соображений о мерах к лучшему устройству общественных и хозяйственных дел». Впрочем, от всей этой работы он был освобожден предписанием министерства внутренних дел от 11 декабря 1851 г. (за № 5515), при чем за ним была оставлена инвентаризация только по городу Вятке; а 20 мая 1852 г. новым предписанием министерства внутренних дел (за № 1465) ему вновь была поручена вся отнятая у него работа. Кроме того за эти годы Салтыков состоял членом и делопроизводителем целого ряда комитетов, а также неоднократно командировывался в уездные города для производства ревизий²:

¹ «Вятские Губернские Ведомости» 1851 г., №№ 4—7.

² Формулярный список 1859 г., см. выше.

Эти ревизии составляют тоже еще совершенно неизученный материал и должны явиться предметом изучения в специальных работах. Нам известны два архивных дела, ныне хранящиеся среди бумаг Пушкинского дома: «Дело о последствиях ревизии Слободской градской думы, произведенной г. советником губернского правления, г. Салтыковым» и «Дело о последствиях ревизии Орловской градской думы, произведенной советником Салтыковым»¹. Первое из этих дел (за № 143) было начато 7 июля 1854 г. и закончено 17 марта 1855 г.; второе (за № 144) было начато 8 июня и закончено 23 декабря 1854 г. Изучение этих интереснейших дел могло бы дать ряд ценных страниц для характеристики бытового уклада глухой провинции начала пятидесятых годов и интересной для нас характеристики деятельности Салтыкова, как администратора. Но мы ограничиваемся здесь кратким знакомством с делом, еще более интересным и совсем другого рода, рисуя нам Салтыкова в совсем новой роли — в роли лица, ведущего сложное судебное следствие. Для нас это тем интереснее, что дело это теснейшим образом связано с комментарием к «Губернским очеркам» и освещает целый ряд страниц этого произведения.

III

В очерке «Первый шаг» (одном из последних «Губернских очерков») Салтыков несомненно автобиографически говорит о себе, как о следователе, и говорит о том «вообще говоря очень тяжелом положении», в котором он всегда себя чувствовал в этой роли. Слегка иронически рассказывает он далее, как «следователь перестает на время быть человеком и принимает все свойства бесплотного существа: способность улетучиваться, проникать и проникаться и т. д. И сколько страха, сколько ожиданий борется в одно и то же время в его сердце! Поймаю или не поймаю? — спрашивает себя следователь каждую минуту своего существования, и видимо, истаивает на медленном огне отчаяния и надежды». Мы сейчас увидим, что все это Салтыков говорит о самом себе, и что способность «улетучиваться» и «проникать» была присуща именно ему во время производства следствия по делу о раскольниках.

¹ Бумаги Пушкинского дома, №№ 633—VIII-б и 634—VIII-б.

Есть и еще целый ряд автобиографических мест в «Губернских очерках», где речь идет о следствиях, ревизиях и служебных поездках. «Вы — лицо, служащее и не заживающее в Крутогорске долгу. Вас посылают по губернии обривизовать, изловить и вообще сделать полезное дело», — так рассказывает Салтыков в своем введении к этому циклу очерков. Введение это оканчивается картинкой допроса, производимого на почтовой станции становым приставом. А в одном из первых очерков («Второй рассказ подьячего») описывается, как городничий Фейер арестовывает странника, находит в его котомке старообрядческие книги и письма, строчит рапорт в губернию и заваривает целую кашу. Тут же нарисована картина ночного обыска в старообрядческом доме, — картина, несомненно написанная с натуры. «Дело по рапорту сарапульского городничего о захваченном в доме сарапульского мещанина Смагина беглом раскольнике Ситникове и о проч.» — об'емистое дело в несколько сот листов; оно вскрывает перед нами неизвестное до сих пор лицо Салтыкова-следователя и рассказывает об его жизни и служебной деятельности в последний год пребывания его в вятской ссылке.

Дело это начато было 13 октября 1854 года. Сарапульский городничий, штабс-капитан фон-Дрейер (в «Губернских очерках» Салтыкова — Фейер) секретным рапортом от 4 октября 1854 г. за № 73 донес вятскому губернатору, что мастеровой уральских заводов, крепостной человек Ананий Ситников, бежавший в 1850 г. и неизвестно где пребывавший, задержан им, градоначальником, 2 октября «при внезапном строгом обыске» в доме сарапульского мещанина Тимофея Смагина. Градоначальник просил губернатора распорядиться «о передаче сего дела к дальнейшему исследованию особому благонадежному чиновнику», в виду того, что Ананий Ситников (он же «лжеинок» Анатолий) оказался чрезвычайно важным лицом в расколе, имея обширные связи с крупными центрами России и даже с «Булгариею и Турциею».

«Весьма секретным» отношением от 15 октября (№ 642) Салтыкову было поручено вести это следственное дело. Салтыков поехал в Сарапуль и тоже «весьма секретным» первым рапортом от 27 октября (№ 1) начал это свое дознание, затянувшееся на целый год, занявшее семь об'емистых томов судебного следствия и заставившее Салтыкова в течение 1855 г. исколесить около семи

тысяч верст по целому ряду соседних губерний. Достаточно сказать, что одних рапортов Салтыкова, большею частью собственноручных, в этом деле — 350, при чем некоторые рапорты занимают собою десятки листов; напечатанные отдельно, они заняли бы собою целый том.

Впрочем, Салтыков сперва хотел, повидимому, отстранить от себя ведение этого следствия и во всяком случае сделал вид, что не придает этому делу большого значения. В первом же рапорте он сообщал губернатору, что — по его, Салтыкова, мнению — «дело сие, по ближайшем рассмотрении его, не имеет той важности, в какой представилось с первого взгляда». А потому, желая избавиться от него, Салтыков просил разрешения «на передачу этого дела для дальнейшего производства господину сарапульскому городничему», который ведь и заварил все это дело. В ответ на это ходатайство губернатор отношением от 4 ноября (№ 738) разрешил передачу этого дела для дальнейшего производства сарапульскому городничему фон-Дрейеру.

Однако с точки зрения высших петербургских властей, в то время усиленно преследовавших старообрядчество, дело это казалось чрезвычайно важным. Узнав из донесения вятского губернатора об аресте Ситникова и Смагина, министр внутренних дел генерал-адъютант Бибииков, «признавая дело сие содержащим особенную важность», спешно командировал в Вятку своего чиновника Свечина для получения им и доставления в Петербург всех захваченных при аресте бумаг. К этому предписанию своему от 27 октября (№ 2309) министр прибавлял: «если вы признаете коллежского ассесора Салтыкова заслуживающим полного доверия в столь важном деле, то поручить ему продолжение исследования»... Салтыков оказался «заслуживающим полного доверия», и губернатор спешно послал ему 8 ноября предписание (№ 755), отменяющее свое предыдущее разрешение передать ведение этого дела городничему фон-Дрейеру и предписывающее Салтыкову «оставить это дело в дальнейшем производстве непосредственно у себя».

Тем временем Салтыков, в ожидании губернаторского ответа, продолжал в Сарапуле дознание, посылая в Вятку ряд рапортов, иногда по три в один день. Второй «весьма секретный» рапорт от 27 октября сопровождал посылку копий с бумаг, найденных при аресте у Ситникова. На двадцати четырех листах этого дела мы находим 24 интереснейших бытовых письма, переписку различ-

ных деятелей старообрядчества между собой; материал этот был частично использован Салтыковым в рассказе «Матушка Мавра Кузьмовна» из «Губернских очерков». На следующий день, 28 октября, Ситников дал дополнительные показания, впутавшие в это дело целый ряд лиц; Салтыков рапортует поэтому о необходимости произвести «на законном основании» ряд обысков у всех лиц, оговоренных Ситниковым. В дело замешаны купцы Колчины, живущие около Петербурга; Салтыков производит 18 ноября обыск у живущего в их сарапульском доме купца Татаринова. При обыске кроме рукописей с молитвами было найдено письмо какой-то инокини Таифы: значит, и ее тоже нужно разыскать.

Дело разрасталось, как снежный ком. В рапорте от 18 ноября Салтыков сообщал, что через два дня, в канун праздника Введения, он предполагает сделать внезапные ночные обыски в ряде домов Сарапуля, а для успеха этого дела — собирается сделать вид, что 19 ноября он уезжает из Сарапуля — «и, возвратясь 20 числа вечером, внезапно накрыть незаконное сборище». Впоследствии, как мы видели, Салтыков иронически говорил о способности следователя «улетучиваться, проникать и проникаться»; как видим теперь, он и улетучивался, и проникал, совершая все это на деле. Рапортом от 22 ноября (№ 21) Салтыков сообщал о результатах этих обысков, произведенных им в трех домах в ночь с 20 на 21 число. Весь этот материал впоследствии использован был Салтыковым в повести «Тихое пристанище», о которой еще будет речь ниже; но в эти минуты своей жизни Салтыков не думал, конечно, ни о каком литературном материале, а «добросовестно», как истый чиновник, вел доверенное ему начальством следствие.

Дело выходило теперь далеко за пределы Сарапуля и шло уже о разыскании скрывавшихся в вятских и пермских лесах раскольников, об их тайных скитах и кельях. В громадном собственноручном рапорте от 22 ноября (№ 20) Салтыков подробно развивал те меры, которые, по его мнению, необходимо было принять для разыскания этих скрывающихся раскольников. В конце ноября Салтыков отправился с этой целью в город Глазов и его окрестности; однако разыскать там указанные Ситниковым скиты ему не удалось (рапорт № 49 от 17 декабря); потерпев здесь неудачу, он отправился с той же целью в Пермскую гу-

бернию, в Пермь и Чердынский уезд (рапорт № 53 от 23 декабря). Тут его ждал «блестящий успех»: в пяти верстах от деревни Верх-Луны Салтыков открыл в лесу тайную раскольничью обитель «унтер-офицерской дочери Натальи Леонтьевой Мокеевой», она же «лжеинокия» Тарсилла или Тарсида. В огромном рапорте от 1 января 1855 года (№ 64) Салтыков привел даже тщательно нарисованный план этого раскольничьего скита. Однако к великому его огорчению сама Тарсилла еще годом ранее уехала из этого скита, и, будучи по другому делу случайно арестована в Перми, была тогда же «выпущена по нерадению» пермским приставом.

12 января 1855 года Салтыков был уже в Перми (рапорт № 93) и сообщал оттуда о мерах, «какие я полагал бы полезным принять в видах истребления раскольнических скитов», прося довести об этих предлагаемых им мерах до сведения министерства внутренних дел. Одна из этих мер — нанять «двести лыжников», чтобы в зимнее время добраться до недоступных скитов. Рапортом от 27 января (№ 116) Салтыков доносил, что едет в город Осу (Пермской губернии) «для дальнейшего следствия».

В начале февраля Салтыков снова уже в Перми и шлет громадный на 21 листе рапорт (от 3 февраля за № 125) о пропаганде раскола Тарсиллою в Перми и о подговоре ею рекрутов бежать в скиты. Так как Тарсилла скрылась «и где находится — неизвестно», то Салтыков сделал в Перми обыски в домах поручителей Тарсиллы, мещанина Мальгина и купца Шалаевского. Первый оказался нераскайным и «на допросе оказал совершенное упорство»; на вопрос Салтыкова, признает ли он государя Николая I, согласно царскому и церковному титулу, «благочестивейшим» — Мальгин отвечал уклончиво, после чего Салтыков его арестовал и заключил в Пермский тюремный замок, считая, что он является расколуучителем, уличенным в «наставничестве». С этого времени Салтыков, как следователь, начинает широко пользоваться правом ареста обвиняемых или подозреваемых лиц. Тут же в Перми допрашивал он и доставленную к нему под стражей жену главного обвиняемого Ситникова.

Но дело уже не ограничивалось Вяткой и Пермью, нити его протягивались и в Нижний-Новгород, и в Казань, и в Ярославль, и в Донскую область, и в Закавказье. Министр внутренних дел

Бибиков предложил, однако, вятскому губернатору 28 января (№ 167) «предписать советнику Вятского губернского правления Салтыкову, чтобы он сам не входил ни в какие сношения с начальством Земли Войска Донского и не ездил бы в эту область». В ответ же на ходатайство вятского губернатора о разрешении расширить круг следствия Салтыкова на соседние губернии, Казанскую, Нижегородскую и другие,—министр отвечал: «Поручить г. Салтыкову, чтобы он, в бытность его в Казани, находился в сношениях с состоящим при министерстве внутренних дел коллежским советником Мельниковым. Так как г. Мельникову совершенно известно состояние раскола в Нижегородской губернии и он может сделать г. Салтыкову указания, то сему последнему удобнее было бы сначала отправиться в Казань, а потом в Нижегородскую губернию». Этот Мельников, о котором говорится в предписании министра внутренних дел — известный гонитель раскола, впоследствии знаменитый автор романов «В лесах» и «На горах», Мельников-Печерский. Совместно с ним Салтыкову пришлось проделать ряд обысков в Казани у раскольников; ирония судьбы столкнула здесь двух русских писателей, впоследствии стоявших на враждебных флангах русской общественности: ретрограда Мельникова и социалистического народника Салтыкова. Впрочем, в это время Салтыков был равно далек и от былого своего утопического социализма, и от будущего социалистического народничества: перед нами здесь просто исполнительный чиновник, не за страх, а за совесть выполняющий предписания начальства в деле следствия над расколоучителями из народа.

Прежде чем поехать в Казань и Нижний-Новгород, Салтыков однако немало поколесил еще по Пермской и Вятской губерниям, все в тех же поисках злокозненных учителей раскола. Рапортом от 9 февраля (№ 141) из г. Осы он сообщал о том, что «сего же числа» отправляется через Ножевский завод в г. Сарапуль, а оттуда в Глазовский уезд, для производства следствия по делу купца Ионы Телицына,— об этом деле мы еще скажем попутно несколько ниже. В рапорте от 15 февраля (№ 152) из Сарапуля Салтыков сообщил о «внезапном обыске», произведенном им при проезде через Ножевский завод у раскольника Китаева. Этого старика семидесяти лет Салтыков после допроса арестовал: «я постановил заключить его, как распространителя

раскола, под стражу в тюремный замок». На другой же день (рапорт № 176) Салтыков сообщал о допросе некоей старухи Новоселовой, «подозревавшейся» в расколе. Допрос обнаружил, что она действительно приняла монашеское пострижение, а потому,— заключает Салтыков,— «я постановил означенную лжеинокиню Павлину заключить под стражу»... Дополнительный рапорт от того же 16 февраля (№ 177) говорил о необходимости «взять под стражу» отданную Салтыковым еще в ноябре месяце 1854 года под надзор полиции мещанку Смагину, сознавшуюся в том, что она инокиня. Характерно извинение Салтыкова в том, что он не арестовал эту старуху с самого начала следствия: «к сему долгом считаю присовокупить, что отдача мной Смагиной под надзор полиции вместо заключения ее под стражу произошла собственно от неопытности моей в подобного рода делах, а также и по уважению преклонных лет Смагиной, около 70 лет»...

Как видим, теперь Салтыков считал себя уже опытным; это подтверждает и то перечисление арестованных, которое мы находим в третьем рапорте от того же 16 февраля (№ 178). В Сарапуле таких арестованных по делу Ситникова было три, в Перми — восемь, в Чердыни — четыре, в Оханске — один.

К марту 1855 года Салтыков вернулся в Вятку и рапортом от 1 марта (№ 185) донес, что ему по делам следствия необходимо отправиться в Казань «и оттуда в Нижегородскую губернию, а может быть и далее, куда предстоять будет надобность». Тут же в Вятке Салтыков написал два рапорта (от 5 и 11 марта) по другому порученному ему делу — «Делу о раскольниках мещанине Галахтione Ельчугине, тетке его Акулине Михайловой, Леонтие и Герасиме Ситниковых». Все они привлекались к следствию по тем же причинам «расколуечения»; проезжая через Глазовский уезд в феврале, Салтыков производил дознание о купце Ионе Телицыне, причастном к этому новому делу. В доме этого купца Салтыков произвел подробный обыск, а потом допрашивал отца и сына Ельчугиных. На 14 листах рапорта от 11 марта Салтыков подробно докладывал о результатах этого допроса, сообщая интереснейшие сведения о поморской секте и ее верованиях. Тут и жизнь в скитах, и паломничество в Соловки и Данилов, и изучение «греческой живописи» для письма старообрядческих образов, и старцы, и старицы, и вообще вся жизнь Поморья. Этот исклю-

чительно интересный рапорт Салтыкова подробно пересказан в секретном сообщении вятского губернатора министру внутренних дел от 22 апреля 1855 года.

В конце этого рапорта Салтыков просил освободить его от дальнейшего ведения следствия по этому второму делу, в виду того, что все его время уходит на дознание по делу Ситникова и Смагина и на сопряженные с этим делом разъезды; Салтыков просил однакоже, чтобы старший чиновник особых поручений Заварзин, который вел второе дело, — «по окончании производимого им следствия со всею подробностью уведомил меня о результатах оного». Это дело «о мещанине Галактионе Ельчугине» было закончено однако тогда, когда Салтыков был уже тверским вице-губернатором: начатое 24 марта 1854 г., оно было закончено 5 августа 1860 года¹.

Возвращаемся к делу Ситникова и Смагина. В середине марта 1855 года Салтыков отправился в Нижний-Новгород и Казань; дело все более и более разрасталось. Рапортом от 28 марта (№ 249) из Нижнего-Новгорода Салтыков сообщал: «Производимое мною следствие о раскольнике Смагине представляет такие разветвления, которые касаются даже самых отдаленных частей России. В перехваченной у сего раскольника сектаторской переписке заключаются указания на лица, живущие в Москве, Туле, Киевской и Саратовской губернии и даже за Кавказом». В рапорте от 7 апреля (№ 264) Салтыков дополнительно сообщал: «Окончив следствие по Нижегородской губернии, я... имею надобность отправиться, для некоторых розысканий, в Владимирскую губернию», предварительно впрочем «имея прибыть в город Вятку».

В рапорте Салтыкова из Нижнего-Новгорода от 30 марта (№ 250) мы находим интересные сведения о служебной переписке Салтыкова с П. И. Мельниковым (Печерским) и о совместном обыске, произведенном ими в Казани у «раскольника беглопоповской секты казанского 3-й гильдии купца Трофима Тихонова Щедрина, получившего будто бы рукоположение от лжеепископа». Такой именно отзыв о купце Щедрине дал Мельников, считавшийся знатоком поволжского раскола. «По получении сего от

¹ Бумаги Пушкинского дома, № 632—VIII-б; «дело» это состоит из 338 листов («Дело о раскольниках мещанине Галактионе Ельчугине, тетке его Акулине Михайловой, Леонтие и Герасиме Ситниковых»).

зыва, — рапортовал Салтыков, — я счел нужным произвести в доме Щедрина внезапный обыск, к которому пригласил и г. Мельникова... Но по обыску сему... ничего относящегося до раскола не найдено». Далее в рапорте подробно рассказывалось о допросе Щедрина, старика 74 лет, который «в Казани проживает с 1809 года и занимается картузным товаром»; рассказывалось и о религиозном споре, поднятом Мельниковым, чтобы поймать разговорившегося старика. Оба следователя в результате допроса и спора остались убеждены, что Щедрин — старообрядческий священник, или, по официальной терминологии, «раскольничий лжепоп».

Из Нижнего-Новгорода Салтыков, продолжая следствие, совершил поездку по Владимирской и Ярославской губерниям, вернувшись в Вятскую губернию и в Сарапуль только в десятых числах мая 1855 года. Тут его ожидало радостное сообщение: «лжеинокия Тарсида — рапортовал Салтыков 11 мая (№ 292) — в настоящее время поймана и содержится в Пермском тюремном замке»; и Салтыков просил — это «главное обвиняемое лицо... выслать в г. Вятку в мое распоряжение». Но в другом рапорте от того же 11 мая (№ 294) ему пришлось донести и о неприятном происшествии: «... Бежал при пересылке из г. Соликамска в Пермь арестант, называвший себя Мельхиседеком», которого Салтыков считал главным помощником и доверенным лицом Ситникова, его «клеветом».

В отношении от 31 мая 1855 г. (№ 565) пермский губернатор сообщал вятскому, что инокия Тарсилла выслана им в Вятку «за крепким караулом». 30 июня вятский полициймейстер рапортовал губернатору, что Ситников 26 июня доставлен к нему под конвоем из Сарапульской тюрьмы и заключен «в Вятский тюремный замок под строжайший надзор»; Смагин же еще оставался в Сарапульской тюрьме.

Повидимому Салтыков слишком перестарался в своих обысках и арестах; по крайней мере, по донесению пермским губернатором о действиях Салтыкова в Пермской губернии, министр внутренних дел Бибииков отношением вятскому губернатору еще от 30 апреля 1855 г. (№ 592) предписывал внушить Салтыкову, «что вообще он должен действовать с величайшею осторожностью, на точном основании законов». В оправдательном рапорте от 30

июня (№ 312) Салтыков докладывал губернатору, что «все упомянутые в рапорте моем за № 178 лица заключены мною под стражу, как распространители раскола, подлежащие за сие наказанию»... Содержание рапорта № 178 читатель видел на предыдущих страницах.

Следствие подходило к концу; в Вятку стали сгонять всех арестованных Салтыковым по этому делу. 4 июля в Вятку была препровождена и заключена в тюрьму старуха Прасковья Новоселова, она же инокиня Павлина (рапорт вятского полицеймейстера от 9 июля и рапорт Салтыкова от 15 июля за № 334). 19 сентября был переведен в Вятскую тюрьму из Сарапула и сам Смагин (рапорт вятского полицеймейстера от 24 сентября за № 1339). 24 октября пермский губернатор отношением за № 1172 сообщил вятскому губернатору, что «сего числа» отсылаются «посредством внутренней стражи за крепким караулом» восемь арестантов Пермской тюрьмы, заключенные в ней по делу Сигникова и Смагина.

Следствие могло считаться законченным и могло быть направлено в суд. Еще в июне месяце 1855 г. Салтыков, собираясь в двухмесячный отпуск, писал в канцелярию вятского губернатора (№ 336): «Намереваясь воспользоваться дозволенным мне отпуском, имею честь препроводить в оную канцелярию для хранения... секретное дело о раскольниках Смагине и Ситникове в 6 томах, в коих писанных и прошнурованных за моею печатью листов: в 1-м—237, во 2-м—565, в 3-м—284, в 4-м—259, в 5-м—269 и в 6-м—224. Сверх того в особой переписке, следующей к 2-му тому—278 листов». Как видим отсюда, следственное дело, веденное Салтыковым, в течение восьми месяцев выросло в семь томов, заключавших в себе свыше двух тысяч листов. Остается пожалеть, что эти семь томов единственного веденного Салтыковым следственного дела не дошли до нас и повидимому бесследно пропали.—Вернувшись из отпуска, Салтыков отношением от 22 августа 1855 г. (№ 337) просил канцелярию губернатора вернуть ему все это дело.

В течение двух осенних месяцев дело это выросло еще на один том. «Отправляясь из г. Вятки по делам службы» в начале ноября месяца, Салтыков снова просил канцелярию взять на хранение это «секретное дело»—уже «в восьми томах» (отношение Салты-

кова от 12 ноября за № 345). Приписка внизу этой бумаги показывает, что все восемь томов были «возвращены 28 ноября» Салтыкову, очевидно вернувшемуся из служебной поездки.

Приближалась и другая «поездка» Салтыкова — окончательный отъезд его из Вятки в Петербург. 13 ноября 1855 года Салтыков был «высочайше помилован» — этим днем помечена бумага министра внутренних дел, разрешающая Салтыкову «жить и служить где он пожелает» и пришедшая в Вятку 23 ноября. Но именно этими двумя числами ноября месяца оказались отмечены и события, связанные с произведенным Салтыковым следствием. Как раз в тот день, когда в Вятке была получена весть об освобождении Салтыкова, вятский полицмейстер рапортом от 23 ноября 1855 г. (№ 1775) донес губернатору о том, что заключенный в Вятском тюремном замке раскольник Ананий Ситников «13 сего ноября месяца волею божиею помер», — как раз в тот день, когда освобождение Салтыкова было подписано министром в Петербурге. Ситников не дождался ни освобождения, ни суда; «а его уж бог простил — помер», как заканчивает Л. Толстой один из своих народных рассказов о невинно-арестованном человеке.

Уезжая из Вятки, Салтыков сдал губернатору законченное следственное дело; в последнем своем рапорте от 8 декабря 1855 г. за № 350 он сообщал: «Имею честь представить при сем вашему превосходительству оконченное мною производством следствие о раскольниках Ситникове, Смагине с прочими, в семи томах» (восьмым томом были приложения). Вскоре после этого он уехал в Москву и Петербург, но «дело» продолжало идти своим путем даже много времени спустя после его отъезда. Переписка между разными петербургскими, московскими и провинциальными властями деятельно продолжалась в течение всего 1856 года, когда Салтыков давно был в Петербурге и был уже автором «Губернских очерков». Только 18 декабря 1858 года дело это было передано вятским губернатором в сенат. Начались либеральные времена, гонение на раскол ослабело, заключенные в тюрьму были выпущены на свободу. Вятская консистория еще в 1859 году продолжала рассматривать отобранные Салтыковым при обыске у раскольников книги, для возвращения владельцам тех из них, которые будут признаны «не заключающими в себе ничего противного учению православной церкви». Такие книги вятский губернатор 30 июля 1859 г. препро-

водил сарапульскому городничему для выдачи их прежним владельцам, и городничий доносил 17 сентября вятскому губернатору, что «книги, отобранные советником губернского правления Салтыковым» возвращены по принадлежности. Круг был завершен: сарапульский городничий начал все это дело в 1854 году, он же и закончил его ровно через пять лет. Впрочем переписка о возвращении книг продолжалась еще и в 1860—1863 гг.; один из прежних обвиняемых, купец Шелаевский, в 1863 году подавал даже прошение на высочайшее имя о возвращении ему отобранных Салтыковым книг.

Все это однако уже мало касается темы «Салтыков-следователь» и приводится здесь лишь для окончания рассказа о судьбе производившегося им следствия и дознания. Но в бумагах этого дела имеется одно интереснейшее отношение Вятской казенной палаты от 23 января 1856 г. (№ 402) о израсходованных Салтыковым прогонных суммах во время его поездок по этому делу в 1855 году; из отношения этого мы можем с комичной точностью до четверти версты узнать о числе верст, которые исколесил Салтыков во время этих своих поездок. С 11 декабря 1854 г. до марта 1855 г. Салтыков, как оказывается, проехал «по губерниям Вятской, Пермской, Казанской и Нижегородской — в количестве $3.258\frac{1}{2}$ верст по обыкновенным почтам и $496\frac{3}{4}$ версты по почтам вольным». Вторая ведомость говорит о дальнейших раз'ездах Салтыкова «по губерниям Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Казанской и Вятской в количестве 2.936 верст». На раз'езды эти Салтыков получил от казны 400 рублей и проехал, как видно из этого подсчета, около 6.700 верст. Лирические места в «Губернских очерках», воспевающие русскую дорогу, писались Салтыковым под свежим впечатлением этих тысяч верст, которые проехал он по провинциальной России перед самым началом «Губернских очерков».

В заключение — комический эпизод. Вятская казенная палата в указанном выше отношении исчислила, что Салтыков за все эти поездки перерасходовал на прогонные платежи около трех рублей. Делу этому не было дано тогда никакого хода; но вдруг в 1872 году, ровно через 16 лет, Вятское губернское казначейство раскопало в своих бумагах это дело и обратилось с отношением в Вятское губернское правление о недоимке по прогонным делам советника Салтыкова. Началась новая переписка, закончившаяся лишь 4 но-

ября 1877 года окончательной сдачей всего дела в архив. Это было почти через четверть века после начала дела, и Салтыков в это время был уже не только автором «Губернских очерков», но и автором «Истории одного города» и целого ряда других обессмертивших его имя произведений. Он и не подозревал, что касающаяся его переписка по делу раскольника Ситникова все еще продолжается в глубине провинциальных канцелярий ¹.

Таково это дело о преследовании раскола, такова роль в нем Салтыкова, таков Салтыков-следователь, доселе бывший совершенно неизвестным в этой роли. Ряд мест из «Губернских очерков», где описываются обыски, аресты и следствия, производимые «надворным советником Щедриным», до сих пор считались художественным вымыслом Салтыкова, или описанием деяний других вятских чиновников. Теперь мы видим, что в этом случае надворный советник Щедрин был именно надворным советником Салтыковым, производившим все те действия, которые годом позднее описывал он в «Губернских очерках». Теперь это может считаться установленным фактом, и с точки зрения этого факта особенный интерес приобретают слова Салтыкова из его письма к Анненкову, написанного уже в начале 1859 года. Говоря о том, что Тургенев имеет какое-то предубеждение против его, Салтыкова, нравственных качеств, Салтыков прибавляет: «Известие это крайне меня удивило. Уж не думает ли он, что я в «Очерках» описываю собственные мои похождения?.. Прошу вас передать, что он напрасно так думает, что у меня еще довольно есть в душе стыдливости, чтобы не выставлять на позор свои собственные г..., и что он напрасно смешивает меня с Павлом Ивановичем Чичи-Мельниковым. Обзирая свое прошлое, я положила руку на сердце говорю, что на моей совести нет ни единой пакости...» ².

С этим самым Чичиковым-Мельниковым Салтыков всего за четыре года до этого письма совершал совместные обыски у раскольников в Казани, арестовывал, допрашивал и вообще вел себя, как ревностному и желающему выслужиться чиновнику действовать

¹ «Дело о захваченном в доме сарапульского мещанина Смагина беглом раскольнике Ситникове и о проч.».—Бумаги Пушкинского дома, № 635—VIII-б. «Дело» на 429 листах; начато 13 октября 1854 г., кончено 4 ноября 1877 г.

² «Письма», т. I, № 6.

надлежит. И это был тот самый Салтыков, который в те же годы вятской ссылки еще продолжал в тиши своего кабинета литературную работу, прерванную его ссылкой после «Запутанного дела»!

Прошло всего только полтора года после окончания Салтыковым следствия по делу о раскольниках и после отъезда его из Вятки,— и он в ряде рассказов, посвященных расколу и раскольникам в «Губернских очерках», высказал свое отношение и к этому течению народной религиозной мысли, и к себе самому, как следователю. О первом скажу еще, говоря о «Губернских очерках»; здесь же отмечу только, как сам Салтыков в очерках этих отнесся к своим следственным подвигам в Вятке. Правда, подвиги эти приписывает не себе и даже не надворному советнику Щедрину, но автобиографичность целого ряда подобных мест не возбуждает ни малейшего сомнения. Губернский чиновник Михаил Трофимыч Сертуков, обрисованный очень иронически, во многих чертах своих уж очень похож на Михаила Евграфыча Салтыкова, с которым он недаром созвучен по имени, отчеству и фамилии. Еще более отрицательно обрисован в «Губернских очерках» следователь Филоверитов (очерк «Надорванные»), но и в нем несомненно есть автобиографические черты; недаром именно ему Салтыков поручил ведение следственного дела по расколу в очерке «Матушка Мавра Кузьмовна».

В этом последнем очерке есть место, где Салтыков от имени Филоверитова иронически говорит о нем, как о следователе — и говорит в значительной мере о самом себе. «Я — следователь благонамеренный и добиваюсь только истины, не имея при этом никаких личных видов; следовательно, я не только имею право, но и обязанность изыскать все средства, чтобы достигнуть этой истины. Конечно, я не стану давать любезных затрещин — на это я неспособен,—но, и кроме затрещин, есть целый ряд полицейских хитростей, который может быть употреблен в дело. Мне скажут, может быть, что это нравственное вымогательство (другие, пожалуй, не откажутся употребить при этом и слово «подлость»), но в таком случае я позволяю себе спросить, какие же имеются средства к открытию истины?»

Тон этого признания — иронический, но тем не менее оно вполне точно обрисовывает роль Салтыкова, как следователя по делу о расколе. Пусть не было «подлости», пусть Салтыков прав, что на

совести его нет «ни единой пакости»,— но все же роль его, как следователя по делу о расколе, не делает ему чести. Исполнительный чиновник, делающий карьеру (по его же выражению), взял здесь верх над человеком и заслони́л собою писателя, которым Салтыков втайне продолжал оставаться и в вятской ссылке.

Именно так смотрел и сам Салтыков на свое столь еще недавнее прошлое, когда в конце 1857 года писал очерк «Святочный рассказ», с подзаголовком «Из путевых заметок чиновника». Очерк этот, напечатанный в №№ 1—2 журнала «Атеней» за 1858 год, вошел позднее в серию «Невинных рассказов», но, как еще увидим, сперва входил в другую серию — продолжения «Губернских очерков». Вполне автобиографическое начало этого рассказа подводит итоги взглядам самого Салтыкова на себя, как на следователя. В рождественскую ночь он едет по провинциальному тракту на следствие, брошенный в это дело «горьким насильством судьбы», и размышляет о своей роли во всем этом деле. «Зачем я еду?—беспреданно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода:— затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впасть в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?».

И автор описывает, как сталкивались в нем противоречивые ответы на все эти вопросы. Он думал, как, приехав в указанную ему местность, будет «по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать...». Среди снегов, среди лесной чащи ищет он скрывающихся в скитах раскольников: «я хлопочу, я выбиваюсь из сил... и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все превозмогает, увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия... в виде трех-четырех баб полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет!...». Но тут же этот иронический голос заглушается голосом усердного чиновника: «Господи! а ну как да они прослышали как-нибудь? —шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями:— что если Еванфия... Е-ван-фи-я!.. куда-нибудь скрылась? Но с другой стороны... зачем мне Еванфия? зачем мне все эти бабы? и кому они нужны, кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости?»

А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать!.. Привели бы ее ко мне: «ага, голубушка, тебя-то мне и нужно!»—сказал бы я.—«Позвольте, ваше высокоблагородие!—шепнул бы мне в это время становой пристав...—позвольте-с; я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживают!»—О, боже! да это просто подарок!—восклицаю я (не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж зарвался в порыве усердия), и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю.. Господи! что я открываю!.. Что ж, однакож, из этого, к какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном жизнь десятка полуистлевших старух?..»

IV

Нам известны уже три автобиографических записки Салтыкова, которые выше не один раз приходилось цитировать; есть и четвертая написанная в середине восьмидесятых годов для издателя «Русской Старины» М. И. Семевского, из которой надо привести теперь несколько слов. Описывая свои юные годы, Салтыков говорит в ней: «...Служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 г., когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное дело». Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал...»¹. Последнее не совсем верно, надо было бы сказать: «писал, но не печатал».

Через месяц после смерти Салтыкова, в майском номере «Вестника Европы» за 1889 г., был напечатан рассказ его «Брусин». В примечании от редакции указывалось, что после смерти Салтыкова в столе его найдена была старая рукопись, собственноручно переписанная автором и заключенная в красивый переплет. Заглавная страница напечатана и гласит: «Брусин.—Рассказ.—М. Е. Салтыкова.—1849 года». По журнальному тексту рассказ этот был перепечатан и в последующих собраниях сочинений Салтыкова.

Это редакционное примечание не совсем соответствует действительности; дело в том, что «Брусин» сохранился в трех редакциях: черновой, первой белой (напечатанной в «Вестнике Европы») и второй белой редакции со значительными изменениями и вариантами. Черновик 1849 г. на 27 полулистах заключает в себе целый ряд неизвестных вариантов, зачеркнутых и вставленных мест, и является

¹ Автобиографическая записка Салтыкова. «Знакомые». Альбом М. И. Семевского (Спб. 1888 г.), стр. 208.

первой редакцией рассказа. Первая беловая редакция переплетена в тисненый кожаный переплет, включает в себе 79 полулистов, но не является автографом Салтыкова. Однако рукой его сделаны многочисленные поправки и вставки очевидно, Салтыков переделывал этот рассказ, судя по почерку, уже в пятидесятых годах, вероятно с целью напечатать его тогда же. Окончательная обработка во второй белой, сделанная очевидно с той же самой целью, до сих пор не опубликована и представляет собою третью редакцию этого рассказа. Очевидно, Салтыков пробовал подготовить рассказ к печати, но, неудовлетворенный им, оставил его в своем столе. Поступок правильный, так как рассказ этот очень слаб и долго останавливаться на нем не приходится.

Брусин—еще раз нарисованный тип лишнего человека; впрочем, на этот раз главное внимание автора обращено не на него, а на его случайную подругу Олю, первый эскиз которой он уже попытался дать в эпизодическом лице Маши из «Противоречий». Эта Оля—неудачная попытка создать петербургскую гризетку по парижским образцам, и в этом отношении рассказ интересен только, как характерный пример влияния Жорж-Занд. Основное положение «жорж-зандизма», что женщина в любви свободна, легло в основу всего этого рассказа. «Ольга принадлежала к числу тех женщин, которые в любви не держатся никаких предрассудков, не хотят никак во что бы то ни стало видеть в ней тягостную и утомительную работу сердца, а, напротив того, привязываются легко, хотя и искренно»: вот главная тема рассказа, которой противопоставляется вторая—мучения «рассуждающего» в любви Брусина, заедаемого своей рефлексией. Тема в те годы уже не новая и развивавшаяся самим Салтыковым в «Противоречиях».

Вот почти все, что стоит сказать об этом рассказе, недаром не увидевшем света при жизни автора. Но кое-какие частности подчеркнуть не безынтересно. Так, например, интересно воспоминание о кружке «молодых людей»—«людей близких между собою по убеждениям, по взглядам на вещи, по более или менее смелым и не совсем удобоисполнимым теориям, которые они себе составили»... Автор вспоминает о вечерних собраниях кружка и прибавляет: «само собою разумеется, на этих сборищах не было ни тени буйства; то-есть, если хотите, оно и было, но только в области мысли, где мы решительно не признавали никакой опеки,—а

отнодь не в действиях»... Но тут следует характернейшее место, показывающее, что год вятской ссылки уже настроил Салтыкова скептически к «буйству мысли» этого кружка: «мечтательности, стремления строить утопии была доза препорядочная, практического смысла — нисколько». Брусин, которого автор вводит в этот кружок, «мечтал про какие-то отдаленные времена, которые должны были притти после скончания веков, с удивительно легкостью устраивал счастье и будущие судьбы человечества, и между тем не мог предложить ни одного средства, каким образом нужно бы вести человека к этим «будущим судьбам». А без этого всякая утопия — нелепость»...

Это интереснейшее место показывает, что год вятской ссылки не прошел даром для «утопий» Салтыкова, столкнувшегося с глухой провинциальной жизнью. Легко было строить социалистические утопии в петербургском кружке, трудно было поверить осуществлению их, служа в канцелярии Вятского губернского правления. Десятью годами позднее в повести «Тихое пристанище», тоже оставшейся ненапечатанной при жизни Салтыкова, последний особенно ясно высказал эту мысль. «Молодые люди верят,— говорит там Салтыков:— мало того что верят, но даже делаютя провозгласителями какой-то неслыханной эпохи возрождения и яростными сторонниками ее»... Но вот молодой человек попадает в гущу жизни, попадает в такие обстоятельства, которые связывают и спутывают по рукам и по ногам, как тенета (явный намек на вятскую ссылку). «...Во всяком случае время, проведенное среди кипучей практической деятельности, не останется без следа... Вращаясь постоянно в самом источнике народной жизни, приступая к изучению ее с сердцем свежим... он научится распознавать истинную веру народа, научится относиться к нему сочувственно. Это одно произведет в нем целый нравственный переворот и определит характер его деятельности в будущем»¹. В этих словах — характернейшее подтверждение того факта, что будущее «народничество» Салтыкова началось со времени первого столкновения его с народом, со времени годов его вятской ссылки. В «Брусине» есть мелкие черточки, иллюстрирующие это новое отношение Салтыкова к народу. Так, например, когда некий дубинноголовый помещик угощает героя рассказа

¹ «Вестник Европы» 1910 г., № 3, стр. 144; проверено по рукописи из архива М. Стасюлевича (Бумаги Пушкинского дома).

вином, то упрасивает его пить, «по чести уверяя его, что ему наплевать, и что мужички его сотни таких бутылок вынесут».

Еще две небольшие частности. В рассказе этом Салтыков позволил себе добродушную месть по адресу бывшего своего начальника, военного министра кн. Чернышева, одного из виновников своей ссылки, и по адресу Нестора Кукольника, автора доносительного разбора повестей Салтыкова. Говоря о разных видах помешательства, рассказчик иронически перечисляет: «некоторые помешаны на самопожертвовании, другие — на нравственности; третий — желал бы, чтоб все люди, не исключая даже чинов петербургской полиции, были добродетельны; четвертый — чтобы все были счастливы, не исключая даже князя Чернышева». Месть Кукольнику проведена в более скрытой форме; однако несомненно, что эпизодический писатель-гений, выведенный в самом конце рассказа, говорящий о бессознательном творчестве и о том, что он художник и пророк, и при этом осушающий бутылку за бутылкой вина — не кто иной, как Кукольник, не один уже раз обрисованный Панаевым в совершенно таких же чертах.

Рассказ «Брусин», как видим из всего этого, тесным образом связан еще с предыдущими петербургскими повестями Салтыкова, начиная от основной темы и вплоть до влияния второстепенных беллетристов сороковых годов, в роде Ивана Панаева. Есть кое-какие черточки, намекающие на будущего Салтыкова, автора сатир и сказок; такова, например, на первой же странице рассказа генеалогия «Скуки» с ее маменькой «Бездеятельностью»; но этот слабый намек на будущие сказки Салтыкова и в особенности на сказку «Добродетели и пороки», написанную почти через сорок лет — остается случайным в ткани рассказа, всецело примыкающего к первым повестям Салтыкова.

То же самое можно сказать и о другом до сих пор ненапечатанном произведении Салтыкова этой же эпохи — об его неизвестной повести, от которой в рукописи осталась только одна глава. Краткое изложение содержания этой главы было однажды сделано на столбцах газетной печати¹; сохранившийся отрывок автографа позволяет сделать некоторые заключения о времени работы Салтыкова над этой повестью. Черновик на 14 полулистах написан по-

¹ В. К р а н и х ф е л ь д, «Рассуждающая любовь», «Утро Юга» 1914 г., № 64.

черком Салтыкова конца сороковых годов и на такой же бумаге, на которой сохранились черновики «Брусина» и отрывок «Запутанного дела»; не подлежит сомнению, что и эта неизвестная повесть писалась в ту же самую эпоху, в последние годы жизни Салтыкова в Петербурге или в первые годы пребывания его в Вятке. Это подтверждает и сюжет повести, насколько его можно установить по сохранившемуся довольно большому отрывку размером около печатного листа. В заглавии стоит слово «Глава» (которая — неизвестно), и отрывок начинается словами: «Робким и нерешительным шагом шел Николай Иванович садом по дороге из первого Парголова в Заманиловку». Перед нами в отрывке повести и проходит обычный для Салтыкова той эпохи нерешительный и «рефлектирующий» герой, лишний человек, уже выведенный однажды автором в «Противоречиях» и потом в «Брусине». И сюжет повести — все тот же самый, «жоржзандистский»: о свободе в любви и о слепых, жалких людях, которые сами губят свое счастье.

Герой этой неизвестной повести, Николай Иванович Нажимов, исповедывал, что «человек везде и всегда должен поступать только по естественному влечению своей природы»; но это была только проповедь, не сходящаяся с его природной «рефлексией» лишнего человека. В дачной местности Заманиловке живет семья его знакомых — Василия Дмитриевича и Веры Александровны Немировых; Нажимов любит Немирову, или ему кажется, что любит ее. Она любит и уважает своего сравнительно старого мужа, но «бессильное, большое раздражение, которое он (Нажимов) называл любовью, по закону какой-то необъяснимой необходимости, заразило своим глетворным дыханием существование, полное сил и энергии». Вся глава посвящена томительным разговорам между героем и героиней этого романа; перед нами снова слабый мужчина и сильная женщина — обычная тема для бытописателей «лишних людей». Из того, что в одном месте автографа Нажимов по обмолвке автора назван фамилией героя «Противоречий» Нагибина (11 стр. рукописи) — можно думать, что главу эту Салтыков писал вскоре после своей первой повести, в которой так часто встречается имя Нагибина. Но когда бы ни была написана эта неизвестная повесть, еще в Петербурге или уже в Вятке, и написана ли была она до конца — все это не меняет того факта, что здесь перед нами еще одна попытка Салтыкова в области психологической повести, — попытка

столь же мало удачная, как и первые, если судить по этому уцелевшему отрывку неизвестной повести.

Остались и другие следы литературных работ Салтыкова в Вятке, и на этот раз работ не беллетристического характера. Имевшиеся в руках К. Арсеньева черновые материалы говорят нам, что в те годы Салтыков занимался и рядом теоретических работ. Так, например, к началу пятидесятых годов относятся наброски Салтыкова к биографии Беккарии и заметки, озаглавленные «Об идее права». Когда Салтыков в позднейших произведениях иронически рассказывал, что в юности им была написана ученая диссертация «О правах седьмой воды на киселе», то быть может он вспоминал именно эти вятские свои попытки. На несколько иную тему написана в те же годы большая компилятивная работа Салтыкова «Краткая история России», выдержки из которой приводятся в тех же «Материалах» К. Арсеньева. Работа эта была сделана им как нечто в роде учебника русской истории для двух молодых сестер, дочерей вятского вице-губернатора Болтина; одна из этих сестер, Елизавета Апеллоновна, стала женой Салтыкова в начале 1856 года. Это возвращает нас от литературных работ Салтыкова к его житейским делам в последние годы вятской ссылки.

V

С самого начала своей ссылки Салтыков делал попытки освободиться из нее, сам подавал заявления о разрешении ему служить в других губерниях, подавали просьбы и его родители о помиловании их блудного сына. За все время восьмилетней вятской ссылки Салтыкова таких попыток было восемь, и ни одна из них не увенчалась успехом¹. Только в начале 1853 г. ему был разрешен четырехмесячный отпуск в Тверскую губернию «для устройства домашних дел по случаю смерти отца его». Не помогали и ходатайства за Салтыкова местного губернатора Семенова и даже вятского жандармского генерал-майора барона Тизенгаузена. Помогла лишь смерть его гонителя, Николая I, и начавшаяся эпоха либеральных реформ. Последним делом, завершенным Салтыковым в Вятке, было уже знакомое нам дело о беглом раскольнике Ситникове, которое

¹ Почти все эти прошения напечатаны в статье М. Лемке «К биография М. Е. Салтыкова», «Русская Мысль» 1906 г., № 1.

он закончил к декабрю 1855 года; но уже 13 ноября этого года министр внутренних дел разрешил Салтыкову жить и служить, где он пожелает. Существует версия¹, что главную роль в освобождении Салтыкова сыграла жена генерал-адъютанта Ланского, приехавшего в середине 1855 г. в Вятку ревизором вместе с женой. Эта жена, Наталья Николаевна, по первому мужу Пушкина, двадцатилетием раньше была женою великого поэта.

Итак, после почти восьмилетней ссылки Салтыков был свободен и покинул Вятку в конце декабря 1855 года; последний рапорт его губернатору по делу о раскольнике Ситникове помечен 8 декабря². Перед Салтыковым снова открывались петербургские горизонты и возможность литературной работы, материалы для которой Салтыков бессознательно — а может быть, и сознательно — копил в течение всех долгих лет своего пребывания в глухой провинции. «Губернские очерки» не были еще им написаны, а если и были, то лишь в набросках, но богатый материал для них был уже собран не только в памяти, но быть может и в портфеле автора. С какими же итогами покидал Салтыков Вятку? Или, по крайней мере, какие итоги подводил сам он своей восьмилетней провинциальной жизни в ссылке?

Итоги были и положительные, и отрицательные. Из последних сам Салтыков подчеркивал одно обстоятельство, тесно связанное с жизнью в глухом провинциальном захолустьи: он опустил. Иронически говорит он сам о себе в автобиографическом очерке «Скука», написанном почти через год после окончания вятской ссылки, если не в самой Вятке: «Слыл я, кажется, когда-то порядочным человеком; водки в рот не брал, не наедался до изнеможения сил, после обеда не спал, одевался прилично, был бодр и свеж, трудился, надеялся, и все чего-то ждал, к чему-то стремился... И вот, в какие-нибудь пять лет, какая перемена! Лицо отекло и одрябло; в глазах светится собачья старость; движения вялы; словесности,

¹ Л. Спасская, «М. Е. Салтыков», «Памятная книжка Вятской губернии на 1908 г.» (Вятка 1908 г.). См., однако, статью Емельянова «Ссылка М. Е. Салтыкова», «Русская Старина» 1909 г., № 10.

² Салтыков уехал из Вятки на Рождестве 1855 года, получив «отпуск на 28 дней» с 24 декабря, как это видно из его формулярного списка («Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссии», т. XXVI, вып. 1, стр. 47, Рязань 1914 г.).

как говорит приятель мой, Яков Астафьич, совсем нет... скверно! И как скоро, как беспрепятственно совершается процесс этого превращения!» Конечно, эту бугаду не надо понимать буквально, но доля истины в ней несомненно есть, как доказывает подобное же автобиографическое место в этюде «Счастливец», написанном ровно через тридцать лет после этого.

Другой отрицательный итог вятской жизни, выяснившийся лишь впоследствии, был обстоятельством, глубоко связанным с личной жизнью Салтыкова. Он влюбился в дочь вятского вице-губернатора, Елизавету Аполлоновну Болтину, и вскоре после отъезда из Вятки женился на ней. Любовь эта и сама невеста под именем Бетси обрисованы в том же очерке «Скука», напечатанном менее чем через год после свадьбы. Неудивительно поэтому, что эта Бетси выведена в очерке в весьма идеализированных тонах; но очень характерно, что из последнего издания «Губернских очерков» Салтыков вычеркнул страницу, посвященную описанию этой любви, оставив лишь несколько слов, которых нельзя было выкинуть из песни. «То была первая, свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца» Память о первой любви осталась, но семейная жизнь принесла Салтыкову слишком много разочарований, раз он мог дойти до того, что так беспощадно выводил впоследствии в художественных произведениях свою жену. Выводил, правда, не как портрет, а как тип — знаменитый тип «куколки», столь ядовито нарисованный в целом ряде его произведений; но что прототипом «куколки» являлась Елизавета Аполлоновна Салтыкова — это было известно всем его близким друзьям, это ясно и из целого ряда позднейших писем Салтыкова.

До сих пор речь шла об отрицательных итогах вятской ссылки; были и положительные, не менее существенные. Об одном из них мы уже слышали свидетельство из уст самого Салтыкова: вращаясь в самом источнике народной жизни, он научился распознавать истинную веру народа, научился относиться к нему сочувственно. И по его же собственному сознанию — это произвело в нем «нравственный переворот» и определило характер его деятельности в будущем. Этот итог — один из самых важных для всей дальнейшей жизни и деятельности Салтыкова, как человека, примкнувшего впоследствии к определенному «народническому» течению русской жизни и мысли.

Другой положительный итог был не менее важен для Салтыкова, как будущего писателя. Тот замечательный русский язык, которому до сих пор можно учиться по произведениям Салтыкова, не мог бы развиться в атмосфере петербургских канцелярий; достаточно сравнить в этом отношении беспомощные первые повести его хотя бы с «Губернскими очерками», не говоря уже о позднейших его произведениях. Мы видели, что служба Салтыкова в Вятке наполовину протекала в раз'ездах по самым глухим местам этой глухой губернии, ставила его в соприкосновение с сотнями исконно русских людей, часто сохранивших не только быт, но и язык эпохи Петра Великого, если не Алексея Михайловича. Салтыков невольно вслушивался в этот язык, всматривался в бытовой уклад жизни народа; иногда он даже по горячим следам записывал свои впечатления. Так, например, сохранилась его статья, напечатанная под видом «Внутренней корреспонденции Санкт-Петербургских Ведомостей» в № 127 этой газеты за 1856 год. В это время Салтыков жил уже в Петербурге и писал «Губернские очерки», но корреспонденция помечена — «Вятка 13 мая». «Вчера здесь был праздник, основанный на историческом предании и, кажется, единственный в мире по своей оригинальности и названию, это свисто пляска», — так начинает Салтыков эту свою заметку (подписанную *С — в*), — и рассказывает об этом красочном празднике, своеобразной тризне, совершавшейся ежегодно в четвертую субботу после Пасхи в память истребления вятчанами в XIII столетии новгородцев или устюжан, шедших на Вятку походом. «Праздник» состоял в непрерывном трехдневном свисте в глиняные свистульки и берестяные дудки, чем занимались дети; взрослые забавлялись разными плясками, играми и ярмарочными удовольствиями. Такие красочные впечатления получал Салтыков в далекой вятской глуши, и нет сомнения, что все они так или иначе отразились позднее в его творчестве. Интересно отметить между прочим, что когда через несколько лет при журнале «Современник», в котором работал тогда Салтыков, возник сатирический отдел «Свистою», то враждовавший с «Современником» профессор Погодин назвал сотрудников этого журнала «рыцарями Свистопляски»; яркое слово это, быть может, было заимствовано им из приведенной выше заметки Салтыкова.

Подводя общий итог, надо все же признать, что вятская жизнь

Салтыкова принесла ему и как писателю, и как человеку так много положительного, что он должен был бы поминать добром свою ссылку: если она и рассеяла иллюзии его молодости, если и заставила его временно опуститься в провинциальной среде, то в конце концов выковала из него и человека, и писателя. Недаром он покидал Вятку с чувством грусти, о которой рассказывает в эпилоге к «Губернским очеркам»: он много перестрадал, многое из старых верований потерял, но многое и приобрел, многому научился. Он ехал в Петербург служить, и по приезде туда был немедленно причислен к министерству внутренних дел (12 февраля 1856 г.), а через четыре месяца был уже назначен чиновником особых поручений при министре. Ему был поручен ряд работ — по ревизии губернских комитетов ополчения в войну 1853—1856 гг., по улучшению устройства земских повинностей, по устройству городских и земских полиций и др. Часть черновых записок его по этим делам приведена в «Материалах» К. Арсеньева; впоследствии все эти темы сыграли видную роль в целом ряде его произведений. Этой служебной работой Салтыков был занят в течение 1856 и 1857 годов; но не эта работа занимала теперь главное место в его жизни. В эти два года им были написаны и напечатаны прославившие его имя «Губернские очерки», которыми он отдал последнюю дань своему вятскому житью.

Глава V

«ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ»

I

Салтыков попал в Петербург в самом начале 1856 года. Прошел только год после смерти Николая I, но уже всем было ясно, что разгром русских войск в Крымской кампании 1854—1856 гг. — не игра случая, а следствие «Николаевской» системы, давившей Россию в течение тридцати лет после восстания декабристов. Централизаторство привело к пышному развитию бюрократизма; дикий гнет цензуры задушил всякое свободное слово; существующую систему можно было только восхвалять, удивляясь мудрости правительства. Впрочем свободой слова могли пользоваться разные прихвостни правительства, в роде Булгарина и Греча, которым разрешено было восхвалять существующие порядки и писать доносы в III Отделение на всех инакомыслящих. Эта система централизации и бюрократизма, сыска и доноса, повсеместного чиновничьего взяточничества и полного отсутствия «гласности и устности» (по выражению Салтыкова) должна была дать свои плоды. Севастопольский разгром показал это воочию; даже слепым из бюрократических верхов стало видно, что от окончательного разгрома страну может спасти только перемена существовавшей системы. В основе системы лежало крепостное право; приходилось скрепя сердце поставить вопрос об его отмене. Так началась «эпоха либеральных реформ» шестидесятых годов — и Салтыков попал в Петербург к самому началу этой эпохи.

«Наконец искуc кончился,—вспоминал впоследствии Салтыков о конце своей вятской ссылки.—Конец пришел так же случайно, как случайно пришло и начало. Я оставил далекий город точно в забвѣе. В то время там еще ничего не было слышно о новых веяниях, а тем более о каких-то ломках и реформах... Несколько суток я ехал, не отдавая себе отчета, что со мной случилось, и что ждет меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнул свежего воздуха... Бедному провинциалу было отчего угореть. Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопрос об этом «прошел». Но всего более занимал здесь вопрос о прессе. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать уж повысила тон. В особенности провинциальная юродивость всплыла наружу... Затеивались новые периодические издания, и в особенности обращал на себя внимание возникавший «Русский Вестник»... Что касается устности, то она была просто беспримерная. Высказывались такие суждения, говорили такие речи, что хоть бы в Париже в Бельвилле. Словом сказать, пробуждение было полное...» (Этюд «Счастливец», 1887 г.).

Вот в такое время приехавший в Петербург Салтыков засел за писание «Губернских очерков», в которых не только обрисовывал «провинциальную юродивость», но и вообще вскрывал на фоне провинциальной жизни все результаты Николаевской системы — бесправие, взяточничество, произвол властей, дикую и глухую жизнь провинции. Ему суждено было стать родоначальником этой «обличительной литературы»; громадный успех, выпавший на долю «Губернских очерков», сразу сделавших имя их автора знаменитым, был не случаен и объяснялся тем, что очерки эти как нельзя более оказались в пору для начинавшейся эпохи либеральных реформ и острой критики существовавшей раньше системы.

Отказавшись от психологической повести, Салтыков перешел к художественным социальным очеркам; между его повестями конца сороковых годов и «Губернскими очерками» лежит не только десятилетие, но и целая пропасть. За это время в русской литературе появились уже такие вещи, как первые произведения Л. Толстого, первые пьесы Островского, «Записки охотника» Тургенева, рассказы Писемского, начало «Очерков Гоголевского периода русской литературы» Чернышевского; Панаевы и Кудрявцевы мало-по-малу

отходили на второй план, и вообще литература вступала в период высшего своего расцвета. Салтыков своими «Губернскими очерками» внес в эту литературу совершенно новый материал, лишь в малой мере использованный его предшественниками и главным образом Гоголем — материал жизни и быта провинциального чиновничества. Обличительные очерки эти впервые указали Салтыкову на верную дорогу; но к ним надо относиться лишь как к первым попыткам Салтыкова на этом пути и не забывать, что полного своего расцвета творчество его достигло лишь через пятнадцать-двадцать лет, после многих удач и срывов, достижений и падений. Общественное значение «Губернских очерков» было громадно; литературное значение их во всем творчестве Салтыкова — сравнительно невелико, как невелико оно и сравнительно с высшими достижениями русской литературы той эпохи (рассказы и повести Л. Толстого, пьесы Островского). Стать на один уровень с великими писателями своего времени Салтыкову удалось только в «Истории одного города» (1870 г.) и в позднейших своих произведениях, т.-е. уже через полтора десятка лет после «Губернских очерков».

Но мы зашли слишком вперед; надо вернуться к тому времени, когда безвестный вятский чиновник, только что вернувшийся из ссылки, принимался в Петербурге за писание этих своих обличительных очерков, еще не зная, какая судьба выпадет на их долю.

II

Приехав в начале 1856 г. в Петербург, Салтыков затворился «в Волковских номерах на Большой Конюшенной» и усердно принялся за свои очерки. Через три-четыре месяца они были уже готовы — приблизительно в том виде, в каком появились в «Русском Вестнике» во второй половине того же года. Говорю «приблизительно» потому, что из письма Салтыкова к редактору «Русского Вестника» Каткову явствует, что еще за месяц до напечатания начала очерков Салтыков просил вернуть их ему «для окончательного исправления» и для прибавления к ним новых очерков¹. Рукописный первый текст «Губернских очерков», повидимому, значительно отличался от первого печатного текста; к сожалению, рукописи эти до нас

¹ «Письма», т. I, № 4.

не дошли. Сохранился лишь очерк «Скука», автограф первой сводной редакции обоих рассказов подьячего «Прошлые времена», а также полный текст очерка «Господин Хрептюгин и его семейство»¹; по этим незначительным данным нельзя составить себе представления о первоначальном рукописном тексте всех очерков, несомненно очень искаженных цензурой. Если память не изменила Л. Ф. Пантелееву, уже в конце XIX и начале XX века записавшему свои воспоминания о Салтыкове, то, по словам последнего, цензурой была зачеркнута почти треть «Губернских очерков». «М. Е. (Салтыков) не раз говорил мне,—прибавляет Л. Пантелеев,— что корректуры без пропусков должны были сохраниться, но где — припомнить не мог»². Во всяком случае до нас корректуры эти не дошли; впрочем, незначительную часть цензурных купюр Салтыков, как увидим ниже, восстановил в последующих отдельных изданиях этого своего произведения.

О первых шагах «Губернских очерков» вот что со слов Салтыкова рассказывает Пантелеев в своих воспоминаниях:

«Окончив «Губернские очерки», М. Е. прежде всего дал их прочитать А. В. Дружинину. Отзыв Дружинина был самый благоприятный... Через Дружинина «Губернские очерки» были переданы Тургеневу. Последний высказал мнение прямо-противоположное:— Это совсем не литература, а чорт знает что такое!— Вследствие такого отношения Тургенева к «Губернским очеркам» Некрасов отказался принять их в «Современник»; хотя отчасти тут играли роль и цензурные соображения: в Петербурге провести их почти не представлялось возможности. Выручил судьбу «Губернских очерков» В. П. Безобразов, товарищ по лицу М. Е., с которым он был в то время в очень близких отношениях, даже жил вместе. В. П. Безобразов высоко ценил «Губернские очерки» и, участвуя в «Русском Вестнике», переслал их М. Н. Каткову. Последний сразу понял выдающееся значение «Губернских очерков» и с радостью согласился напечатать их в «Русском Вестнике»».

Очерки эти и стали появляться в этом только что основанном тогда либеральном московском журнале и печатались в нем

¹ Бумаги Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича. Заглавие по рукописи.

² Л. Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого» (Спб. 1908 г.), т. II, стр. 152.

ровно год, с августа 1856 по август 1857 года, сыграв огромную роль в успехе, которым стал пользоваться этот журнал. Надо заметить однако, что написать так скоро такое большое произведение вряд ли было возможно; совершенно несомненно, что еще в Вятке Салтыков делал наброски отдельных очерков. Из таких черновых набросков сохранился один, представляющий собой начало автобиографического очерка «Скука», впоследствии напечатанный под произвольным заглавием «Из дневника М. Е. Салтыкова»¹. Вероятно, немало таких набросков было сделано Салтыковым еще в Вятке; но лишь в Петербурге написал, закончил и свел он в одно целое «Губернские очерки» в том их первоначальном виде, в каком появились они в «Русском Вестнике» с августа по декабрь 1856 года. Мы сейчас увидим, что все очерки Салтыкова, печатавшиеся в этом журнале в следующем 1857 году, сперва не входили в уже законченный декабрьской книжкой 1856 года цикл «Губернских очерков».

Под этим общим заглавием и с подписью Н. Щедрин (мы еще вернемся к происхождению этого псевдонима),— которая с этих пор сопутствовала Салтыкову до последних его произведений,— с августа по декабрь 1856 года в «Русском Вестнике» было напечатано всего 19 (из будущих 33) глав этого цикла, при чем главой I было «Вместо введения», а главой XIX — «Дорога» («Вместо эпилога»). Как видно из последнего подзаголовка, Салтыков считал тогда «Губернские очерки» законченными этим «эпилогом»; но громадный, почти небывалый успех, выпавший на долю этих очерков, заставил автора продолжать их и в следующем году. В январском номере «Русского Вестника» 1857 года снова появляются три очерка под прежним, общим заглавием и, судя по обозначению глав I, II, III,— как вторая часть цикла. Но это были последние из оставшихся у автора «губернских очерков»: под таким общим заглавием Салтыков уже не печатал этих своих рассказов в журналах 1857 года. После перерыва в три месяца он напечатал в апрельском номере «Русского Вестника» еще один очерк («Матушка Мавра Кузьмовна»), в майском номере «Библиотеки для Чтения» — провинциальные сцены «Просители» и, нако-

¹ «Солнце России» 1914 г., № 219. Автограф в бумагах Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича.

нец, в июньском и августовском номерах «Русского Вестника» — последние из сцен всего цикла («Талантливые натуры» и «Богомольцы, странники и проезжие»). Лишь в отдельном издании «Губернских очерков», о котором я еще скажу ниже, Салтыков соединил все эти очерки, совершенно перетасовав их порядок и тем самым совершенно изменив тот первоначальный план цикла, который выясняется лишь из журнального текста «Русского Вестника» 1856 года. Чтобы все это стало ясным, необходимо привести сравнительную таблицу «Губернских очерков» в порядке их журнального появления и в порядке их размещения в окончательном виде в отдельном издании. Римские цифры в левом столбце обозначают собою главы «Губернских очерков», помечавшиеся так в журнальном тексте; в правом столбце арабские цифры обозначают порядок очерков в отдельном издании, при чем в скобках приводятся заглавия отделов тоже из отдельного издания.

- | | |
|--|---|
| I. Вместо введения. | 1. Введение. |
| II. Прошлые времена (Рассказ подьячего). | 2. Первый рассказ подьячего (Прошлые времена). |
| III. Неумелые. | 20. Неумелые (Юродивые). |
| IV. Прошлые времена (Другой рассказ подьячего).
(«Русск. Вестн.» 1856 г., № 8, кн. II). | 3. Второй рассказ подьячего (Прошлые времена). |
| V. Выгодная женитьба (Драматические сцены). | 15. Выгодная женитьба (Драматические сцены и монологи). |
| VI. Порфирий Петрович. | 6. Порфирий Петрович (Моя знакомцы). |
| VII. В остроге.
(Там же, 1856 г., № 9, кн. II). | 27. Посещение первое (В остроге). |
| VIII. Мечты и надежды на станции или обманутый подпоручик (Дорожная сцена). | 5. Обманутый подпоручик (Мои знакомцы). |
| IX. Княжна Анна Львовна. | 7. Княжна Анна Львовна (Мои знакомцы). |
| X. Скука (Мысли вслух).
(Там же, 1856 г., № 10, кн. II). | 17. Скука (Драматические сцены и монологи). |
| XI. Старец. | 30. Старец (Казусные обстоятельства). |
| XII. Еще прошлые времена. | 4. Неприятное посещение (Прошлые времена). |

- XIII. Что такое коммерция? (Драматические сцены).
(Там же, 1856 г., № 11, кн. II).
- XIV. Владимир Константинович Буеракин.
- XV. В остроге (Посещение второе).
- XVI. Аринушка.
(Там же, 1856 г., № 12, кн. I).
- XVII. Народные праздники (I).
«Христос воскрес!» (II).
- XVIII. Приятное семейство.
- XIX. Дорога (Вместо эпилога).
(Там же, 1856 г., № 12, кн. II).
- I. Первый шаг.
- II. Озорники.
- III Надорванные¹.
(Там же, 1857 г., № 1, кн. I).
- Матушка Мавра Кузьмовна.
(Там же, 1857 г., № 4, кн. II).
- Просители (Провинциальные сцены).
(«Библия для Чтения» 1857 г., № 5).
- Талантливая натура (Раска).
(«Русск. Вестник» 1857 г., № 6, кн. I).
- Талантливые натуры.
- I. Корепанов.
- II. Лузгин.
(Там же, 1857 г., № 7, кн. II).
- Богомольцы, странники и проезжие.
16. Что такое коммерция? (Драматические сцены и монологи).
25. Владимир Константинович Буеракин (Талантливые натуры).
28. Посещение второе (В остроге).
29. Аринушка (В остроге).
18. Елка (Праздники).
19. «Христос воскрес!» (Праздники)
8. Приятное семейство (Мои знакомцы).
33. Дорога (Вместо эпилога).
32. Первый шаг (Казусные обстоятельства).
21. Озорники (Юродивые).
22. Надорванные (Юродивые).
31. Матушка Мавра Кузьмовна (Казусные обстоятельства).
14. Просители (Драматические сцены и монологи).
26. Горехвостов (Талантливые натуры).
23. Корепанов (Талантливые натуры).
24. Лузгин (Талантливые натуры).

¹ Эти три очерка—последние из напечатанных в 1857 г., которые носили прежнее общее заглавие «Губернские очерки»; все нижеследующие печатались в журналах, как отдельные произведения, не нося этого общего заглавия.

- | | |
|---|---|
| I. Общая картина. | 9. Общая картина (Богомольцы странники и проезжие). |
| II. Отставной солдат Антон Пименов. | 10. Отставной солдат Пименов (Тоже). |
| III. Пах мовна. | 11. Пахомовна (Тоже). |
| IV. Хрептюгин и его семейство. | 12. Хрептюгин и его семейство (Тоже). |
| V. Госпожа Музовкина.
(Там же, 1857 г., № 8, кн. I). | 13. Госпожа Музовкина (Тоже). |

Рассматривая эту параллельную таблицу, мы видим, насколько Салтыков перетасовал очерки в отдельном издании по сравнению с журнальным текстом. Тот, кто хотел бы познакомиться с первоначальным циклом «Губернских очерков» по плану 1856 года, должен читать их в отдельном издании в том порядке, какой указан цифрами правого столбца, а именно: 1, 2, 20, 3, 15, 6, 27, 5, 7, 17, 30, 4, 16, 25, 28, 29, 18, 19, 8 и 33. Эти девятнадцать глав и составляют те два тома первого отдельного издания, которое вышло в январе 1857 г., уже через месяц после появления декабрьской книжки «Русского Вестника». Не успело это издание выйти в свет, как его моментально расхватили; годом позднее, в первой своей автобиографической записке Салтыков говорил: «в 1857 г. вышло два издания Губернских очерков; первое разошлось в течение одного месяца»... Второе издание вышло в июне того же года; тремя месяцами позднее Салтыков прибавил к этому двухтомному изданию еще и третий том, в который собрал все очерки, напечатанные им до сентября этого года в журналах. В отдельном издании Салтыков разбил очерки на отделы, сохранившиеся и во всех последующих изданиях.

Так в 1857 году появились отдельными изданиями «Губернские очерки» в трех томах, под псевдонимом Н. Щедрина, но с прозрачным раскрытием псевдонима на самой обложке книги, где значилось: «Губернские очерки. Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков». Чтобы закончить речь о внешних обстоятельствах рождения и последующего роста «Губернских очерков», надо упомянуть еще о том, что окончательный вид цикл этот принял только в третьем и четвертом изданиях. В двух первых изданиях отделы установлены были не окончательно; так, например, очерк «Буеракин» входил сперва в отдел «Мои знакомцы», а не в «Талантливые натурь»; сцена «Про-

сители» была сперва напечатана вне отдела «Драматические сцены и монологи», точно так же как рассказ «Матушка Мавра Кузьмовна» был сперва помещен вне отдела «Казусные обстоятельства». Все это было поставлено на свои места в третьем издании (Н. Тиблена), которое вышло в двух томах в конце 1863 года. Но и в нем отдел «Казусные обстоятельства» еще не принял окончательного своего вида, так что окончательным изданием должно считаться четвертое (изд. Кехрибарджи), вышедшее в одном томе в 1882 году. Правда, «Губернские очерки» при жизни Салтыкова появились и еще раз — в пятый раз — первым томом начавшего выходить в 1889 году за месяц до смерти Салтыкова девятинадцатого собрания его сочинений. Это последнее издание должно было бы считаться последним прижизненным, а потому и окончательным по тексту; но Салтыков был тогда уже настолько болен, что корректурные изменения, встречающиеся в этом томе, вряд ли можно приписать автору. Наиболее существенным изменением в этом издании явилось уничтожение отдела «Казусные обстоятельства» и включение трех принадлежащих к нему очерков («Старец», «Мавра Кузьмовна» и «Первый шаг») — в предыдущий отдел «В остроге». Авторское ли это изменение или простой недосмотр — вопрос остается открытым. Вероятнее, что это лишь недосмотр, так как очерк «Матушка Мавра Кузьмовна» совершенно не подходит по содержанию к отделу «В остроге».

Последний вопрос, на котором надо остановиться в этих фактических указаниях — вопрос о псевдониме Салтыкова, впервые появившемся на свет вместе с «Губернскими очерками». Существует версия, что псевдоним этот придуман был женой Салтыкова, которая якобы предложила мужу «избрать псевдонимом что-либо подходящее к слову «щедрый», так как он в своих писаниях был чрезвычайно щедр на всякого рода сарказмы»¹. Версия эта могла считаться более или менее правдоподобной, пока нам не стало известно дело следователя Салтыкова о раскольнике Ситникове. Мы видели, что в марте 1855 г. Салтыков произвел в Казани обыск у казанского купца Щедрина и подробно допрашивал его, выяснив из допроса, что Щедрин — «раскольничий лже-поп». Между этим допросом и появлением в печати первого из «Лу-

¹ К. М. Салтыков, *Интимный Щедрин* (Госиздат, 1923 г.), стр. 63.

бернских очерков», подписанного псевдонимом Щедрина, прошло лишь полтора года; целый ряд фамилий вятских чиновников в слегка измененном виде был употреблен Салтыковым, как увидим это ниже, в ряде этих очерков. Совершенно несомненно, что и псевдоним свой Салтыков заимствовал из этого бытового дела времен недавней своей провинциальной службы. Так казанский «раскольничий лже-поп», сам того не зная, дал писателю псевдоним, получивший бессмертие в русской литературе.

III

В окончательном виде, полученном лишь в четвертом издании, «Губернские очерки» состоят из введения, эпилога и девяти отделов, в которых заключен 31 рассказ. Мы бегло пройдем по этому пути, отмечая лишь самое существенное на нем и оставляя подробное изучение «Губернских очерков» для той будущей монографии об этом произведении, которая еще никем не написана, — как, впрочем, не написана еще вообще ни одна монография о каком бы то ни было цикле произведений Салтыкова.

«Губернские очерки» и начинаются и заканчиваются описанием дороги, придавая этим закругленность и законченность обрамляемым этим описанием очеркам. «Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного!» — восклицает автор в этом введении, и еще раз повторяет в очерке «Госпожа Музовкина»: «и постоялый двор, и самая дорога, на которой он стоит, как-то особенно любезны моему сердцу». Любезной сердцу автора дорогой и заканчиваются «Губернские очерки». К словам этим мы имеем реальный комментарий из вятской жизни Салтыкова; мы знаем, что в одном только 1855 году ему пришлось сделать чуть ли не семь тысяч верст по почтовым дорогам ряда приволжских и прикамских губерний. Здесь все автобиографично, как автобиографична и сцена следствия на постоялом дворе, завершающая собой введение. Автор вводит читателя в Крутогорск, под которым настолько прозрачно приоткрывает Вятку, что в одном из очерков («Старец») прямо говорит о знаменитом в истории раскола Зюдине — волости Глазовского уезда Вятской губернии. Крутогорск этот в черновой рукописи «Скуки» именовался Крутыми Горами; у Сал-

тыкова был соблазн назвать его и «Свиногорском»¹. Беглый очерк Крутогорска с его провинциальными властями и очерк окружающих его деревенских и лесных просторов, где царит кулак станového и бесправие обывателей — вводит нас в круг дальнейших «обличительных очерков» на ту же тему. Вздох сонного обывателя: — «Господи! кабы не было блох, да станových, что бы это за рай, а не жизнь была!» — не был пропущен цензурою в журнале, будучи заменен словами: «...кабы не было блох, да еще кой-чего»... Эту столь оскорбительную для начальства фразу Салтыков восстановил однако в отдельном издании. Наоборот, сам автор вычеркнул из 3-го издания «Губернских очерков» заключительную фразу введения, написанную в 1856 году быть может по цензурным условиям, а может быть и вполне искренно: он говорил здесь о «борьбе со злом», предпринимаемой «теми, в руках которых хранится судьба России». Салтыков очень скоро разочаровался в этих правительственных хранителях судеб русского народа.

Первым отделом «Губернских очерков» в их окончательном виде явились «Прошлые времена»; сохранился автограф их, представляющий сводный текст и первого и второго рассказов подьячего. В рассказах этих, так же как и в третьем очерке этого отдела, «Неприятное посещение», мы имеем первые из очерков «обличительного жанра», введенного Салтыковым в литературу этой эпохи либеральных реформ и немедленно ставшего предметом многочисленных подражаний. Именно этими очерками, открывавшими тогда читателям темные стороны провинциального чиновничества, Салтыков снискал и восторги читателей, и ненависть многочисленных ретроградов той эпохи. Интересен в этом отношении отзыв о «Губернских очерках» некоего окружного виленского генерала Куцинского: «Губернские очерки Салтыкова... ни к чему не приведут, иной пожалуй еще выучится по ним бóльшей ловкости и тонкости в злоупотреблениях. Эти статьи такое же будут иметь действие, как известная басня Крылова, где кот Васыка слушает да ест. Нельзя не сознаться, что у нас есть свои домашние Герцены, которые едва ли не опаснее Лондонского»².

¹ Большое и хорошо известное Салтыкову прикамское село Вятской губернии «Тихие Горы» несомненно было родоначальником салтыковских «Крутых Гор», в окончательном тексте ставших «Крутогорском».

² А. И. Герцен, «Полное собрание сочинений и писем», т. VIII, стр. 536.

Опасения этого генерала разделяла и цензура, вычеркнувшая из этих первых очерков Салтыкова ряд мест, с ее точки зрения особенно опасных. В очерке «Второй рассказ подьячего», после слов лавочника к загулявшему купчику: «Ты бы хоть бога-то побоялся, да лоб-то перекрестил: слышь, к вечерне звонят...» — вычеркнута была фраза: «А он, заместо ответа, такое, сударь, тут загнул, что и хмельному не выговорить», — вследствие чего редакцию всего этого места в журнальном тексте пришлось изменить, но все-таки смысл места был потерян (купчика арестуют якобы за оскорбление городничего, в авторском же тексте — за богохульство). Тут же рядом цензурой был вычеркнут целый абзац, в котором описывались вымогательства и издевательства городничего над старухой-раскольницей.

Следующий отдел, «Мои знакомцы», состоящий из четырех очерков, объединяет собою ряд жанровых сцен и портретов, в которых Салтыков явился лишь подражателем Гоголя и Тургенева. О типе «Порфирия Петровича» уже критика тех годов заметила, что он является «вариацией на тему, разыгранную великим художником. Порфирий Петрович — не иное что, как Чичиков, достигший конечной цели своих желаний. Главные пункты, через которые должны проходить подобные люди, уже намечены Гоголем»¹. Точно также очерк «Обманутый подпоручик» может считаться повторением тем, уже не один раз намечавшихся Тургеневым; жанровая картинка «Приятное семейство» тоже не один раз встречалась в разных вариациях в предшествовавшей литературе; здесь Салтыков лишь подвел окончательные итоги и исчерпал тему до конца. Этим объясняется типичность несомненно вятских портретов, нарисованных здесь Салтыковым; о типичности этой можно судить по курьезному примеру, приводимому в воспоминаниях боевого кавказского генерала Зиссермана. Он рассказывает, что в 1857 году на Кавказе, в Грозном, семья некоего военного доктора, прервала с ним, Зиссерманом, всякие отношения, заподозрив, что это он, под псевдонимом Щедрина, описал семью эту в очерке «Приятное семейство»².

¹ Статья о «Губернских очерках» Н. Бунакова в «Отеч. Записках» 1857 г., № 8.

² А. Л. Зиссерман, «Двадцать пять лет на Кавказе», «Русск. Архив» 1885 г., т. I, стр. 67.

Очерки отдела «Богомольцы, странники и проезжие» при появлении их в журнале были посвящены Салтыковым С. Т. Аксакову— и это посвящение их одному из главных представителей славянофильства было далеко не случайно¹. Мы уже видели, что результатом вынужденной встречи с народом во время своей вятской ссылки сам Салтыков считал зарождение в себе непосредственного сочувствия к тому самому народу, к которому в годы своего утопического социализма он мог подходить только абстрактно. Постоянное пребывание «в самом источнике народной жизни» научило Салтыкова, по его же словам, «распознавать истинную веру народа, ... относиться к нему сочувственно». Это сочувствие Салтыков считал «целым нравственным переворотом», определившим будущий характер своей деятельности. Этим будущим характером деятельности явилось для Салтыкова впоследствии социалистическое народничество; теперь же, в 1857 году, он думал найти конкретное выражение былых своих социалистических мечтаний в славянофильстве, занимавшем в конце пятидесятых годов прогрессивную позицию — и сильно гнул в сторону славянофильства. Это собственное выражение Салтыкова из письма его к известному тогда профессору истории П. В. Павлову, близкому его другу. «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления, — писал ему Салтыков 23 августа 1857 года (т. е. в том самом месяце, когда в журнале появились «Богомольцы, странники и проезжие», посвященные С. Т. Аксакову). — В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития. Господи, что за пакость случилась над Россией? Никогда-то не жила она своею жизнью: то татарскою, то немецкою. Надо в удельный период залезать, чтобы найти какие-либо признаки самостоятельности... Думалось, мечталось о свободе русского человека, а где этот русский человек, где было искать его образ, как именно не в удельном периоде, в той уже покрытой мохом старине, где уже два десятка

¹ Из очерков этого отдела сохранился черновик, озаглавленный «Господин Хрептюгин и его семейство». Первоначальное заглавие было «Постоялый двор», потом — «На постоялом дворе» и наконец — заглавие, приведенное выше. «Господин» выпал из окончательного текста. См. Бумаги Пушкинского Дома, рукописи Салтыкова из архива М. Стасюлевича.

лет неустанно производили свои изыскания славянофиль»¹. Салтыкова, бывшего фурьериста, в славянофильстве привлекали социалистические и анархические элементы мировоззрения, а также и жгучая ненависть к бюрократизму, порожденному, по мнению славянофилов, петровской реформой и табелью о рангах. Вскрытие «язв бюрократизма» в «Губернских очерках» могло быть углублено впоследствии Салтыковым именно в направлении вообще отрицания петровской реформы. Салтыков не пошел по этому пути: он выработал свои особые воззрения на «бюрократизм» и на «земщину», воззрения, которые он через несколько лет развил и в публицистических статьях и в художественных очерках, как мы это еще увидим.

Это выяснилось через несколько лет; теперь же, в «Богомольцах, странниках и проезжих», Салтыков действительно «сильно гнул в сторону славянофилов». В первом же очерке этого отдела противопоставляется светлыми красками описанная толпа богомольцев — гнусным фигурам пьяных провинциальных чиновников; губернатор, генерал Голубовицкий (впервые заменяющий в этом очерке губернатора первых рассказов, слабоумного князя Чебылкина), тоже выставлен во всем блеске своей бюрократической тупости. В очерках «Отставной солдат Пименов» и «Пахомовна», так же как и в очерке «Аринушка», принадлежащем к другому отделу, нарисованы типы народных святых с точки зрения самого же народа — именно так, как он понимался славянофилами. Но это увлечение славянофильством было у Салтыкова преходяще; чем дальше, тем больше славянофильство из прогрессивного течения становилось реакционным, окрашенным в цвета национализма и шовинизма. С таким течением Салтыкову было не по пути, и он примкнул к направлению, в котором признание народа краеугольным камнем мировоззрения приводило не к национализму, а к социализму, и в котором в то же самое время «народ» не разрисовывался сусальными красками и в сантиментальных тонах.

Несколько особняком среди очерков этого отдела стоит «Госпожа Музовкина». Он рисует нам не Крутогорск, не Вятку, а родную губернию автора. Нарисован пейзаж Тверской губернии, местность на берегу Волги, постоялый двор, хозяин которого «знаком

¹ «Русская Старина» 1897 г., № 11, стр. 235.

с детства» автору. Фраза последнего: «месяца с три пробуду здесь», быть может говорит о приезде его в родные места на такой же срок еще из Вятки в начале 1853 года; а может быть речь идет и о посещении его родных мест уже и по возвращении из вятской ссылки. Госпожа Музовкина — тип, развитию которого Салтыков посвящал много внимания; в самих «Губернских очерках» ябеднику Перегоренскому отведено много страниц, и тип этот, варьируясь, дожил в произведениях Салтыкова до восьмидесятых годов: мы еще встретимся с ним в «Пошехонских рассказах», написанных почти через тридцать лет после «Губернских очерков».

Отдел «Драматические сцены и монологи» показывает нам первые попытки Салтыкова в драматической форме; закончив «Губернские очерки», Салтыков тотчас же попробовал написать в этой новой для него форме большое произведение, комедию «Смерть Пазухина», тесно связанную, как увидим это в одной из следующих глав, с циклом «Губернских очерков». Что же касается автобиографического монолога «Скука», о котором приходилось уже упомянуть, то в нем, кроме этой автобиографичности, обращает на себя особенное внимание явный цензурный пропуск в журнальном тексте и две авторские купюры. Об одной из последних уже было сказано выше: в окончательной обработке текста для 4-го издания Салтыков вычеркнул то место автобиографического характера, в котором говорилось о его любви к Бетси. Вычеркнул он в том же издании и главную часть абзаца о школе и несколько строк из ранних детских воспоминаний, строк, впоследствии развившихся в ряд страниц «Пошехонской старины». Что же касается цензурной купюры, то она очень характерна: из журнального текста выпало целых полстраницы, на которой приводились слова воспитателя-студента о скрижалях истории и судьбах народа; здесь ядовито отмечалось, что «тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса»... Тема эта неоднократно впоследствии еще более ядовито развивалась Салтыковым. Эту купюру Салтыкову удалось восстановить впервые только в 3-м издании.

Следующий отдел, «Праздники», состоит из двух очерков, рисующих Рождество и Пасху в провинции и несомненно столь же автобиографичных, как и предыдущий очерк. набросок «Елка» назывался раньше «Замечательный мальчик» и окончательное за-

главие свое получил тоже только в 3-м издании. И опять-таки только в этом издании впервые изъята автором страница, носившая слишком автобиографический характер — о тяжелой и мрачной жизни «отщепенца»-автора среди провинциальной праздничной суеты — заключительная страница очерка «Христос воскрес!». Последние строки этого наброска, оставшиеся во всех редакциях, говорят о том, как «искреннейший друг Василий Николаич Проймин» зовет автора на пасхальный обед в кругу семьи. В этих строках Салтыков говорит о своем вятском друге Николае Васильевиче Ионине и его семье; эпизод, связанный именно с этим обедом, рассказан в воспоминаниях о вятском житье Салтыкова дочери Ионина, Л. Н. Спасской¹.

Следующий отдел, «Юродивые», включает в себе три рассказа, являющихся по форме психологическими очерками прежнего типа. Первый и третий очерки носят несомненные черты автобиографичности: представленный в очерке «Неумелые» Михайло Трофимыч Сертуков — если и не полностью, то в значительной степени рисует нам Михайлу Евграфыча Салтыкова, как об этом уже было упомянуто на предыдущих страницах. Рассказ о том, как этот Михайло Трофимыч производил следствия — особенно интересен для нас, знающих о роли Салтыкова-следователя только с чисто-формальной стороны. Здесь приведено много красочных случаев, которые если и нельзя все и целиком приложить к Салтыкову, то всё же можно применить к нему хоть отчасти. Во всяком случае, в своей автобиографической заметке 1857 года Салтыков недаром указал среди других именно на этот очерк, как на такой, который может служить «для характеристики взгляда писателя». Точно также следователь Филоверитов, представленный в очерке «Озорники», и герой позднейшего рассказа «Матушка Мавра Кузьмовна» — конечно, не полностью Салтыков; однако не приходится сомневаться, что последний вложил в этот тип и многое из своей собственной «надорванности». Позднейшие авторские купюры в этом рассказе очень характерны и должны быть внимательно изучены при подробном анализе текста. Наконец, очерк «Озорники», средний очерк этого отдела, впервые дает в произведениях Салтыкова

¹ Л. Н. Спасская, «М. Е. Салтыков», «Памятная книжка Вятской губернии на 1908 г.» (Вятка 1908 г.), стр. 109.

тип внешне лощеного, но глубоко-невежественного чиновника, впоследствии мастерски обрисованного в «Господах ташкентцах» и целом ряде других салтыковских циклов.

В последнем очерке есть два злободневных места, нуждающихся в раз'яснении для современного читателя. «...Говорят и волнуются, что чиновники взятки берут!—возмущается этот «озорник».—Один какой-то шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию». Здесь речь идет о шумевшей в сезон 1856/57 года комедии «Чиновник» гр. Соллогуба, в которой добродетельный герой Надимов провозглашает, что «надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и действительно она пришла, искоренить зло с корнями». Последняя тавтология, как и вообще вся эта пьеса, вызвали в то время ядовитые насмешки Добролюбова. Другое место: «озорник» раздражается горячей тирадой против грамотности, заявляя, что в случае всеобщей грамотности «наплодится целое стадо ябедников, с которым и не сладишь пожалуй»; по его мнению, «прежде нежели распространять грамотность, необходимо распространить «истинное» просвещение». Все это является злободневным выпадом против известного Даля, который прошумел тогда своей статьей против всеобщей грамотности («Русская Беседа» 1856 г., кн. III); статья эта произвела сенсацию и вызвала ряд очень острых возражений, которые Даль напрасно пытался отвести, оправдываясь в своем ответе критикам («Спб. Ведомости» 1857 г., № 245). Здесь впервые мы видим непосредственный отклик Салтыкова на злободневность,—прием, которым так часто пользовался он впоследствии и который делает ряд его позднейших циклов требующими самых подробных комментариев.

Четыре типа, нарисованные в следующем отделе «Талантливые натуры», снова являются возвращением Салтыкова и к старой форме психологического очерка, и к старому типу «лишнего человека». Являясь подражанием психологическим этюдам Тургенева, очерки эти показывают однако, как далеко шагнул Салтыков вперед за эти десять лет после 1847—1848 гг., когда он впервые подошел к этой теме. Тема эта еще не устарела и в середине пятидесятых годов, доказательством чего может служить хотя бы критическая статья Добролюбова, посвященная «Губернским очеркам». Тема «лишних людей» была немаловажной в критическом твор-

честве Добролюбова, и ей были посвящены почти все его главнейшие статьи 1857—1859 гг. Анализ общественного значения типов «талантливых натур», нарисованных Салтыковым, составляет все содержание статьи Добролюбова о «Губернских очерках»¹.

Маленькое замечание об одной характерной частности, связывающей эти последние психологические этюды Салтыкова с его позднейшими произведениями: в очерке «Лузгин» мы впервые у Салтыкова встречаем фамилию действительного статского советника Стрекозы и княгини Оболдуй-Таракановой. Тема о фамилиях в сатире Салтыкова заслуживает отдельного экскурса; здесь достаточно указать, что и со Стрекозой, и с Оболдуй-Таракановым читатель еще неоднократно встретится в позднейших циклах Салтыкова. Другое замечание мимоходом: множество мелких авторских купюр (особенно в очерке «Горехвостов») показывает, как тщательно правил Салтыков текст «Губернских очерков», приводя их в окончательный вид для последних изданий.

Отдел «В остроге» снова переносит нас от психологических этюдов к жанровым «обличительным очеркам» Щедрина. Характерно в первом же из этих очерков («Посещение первое») отношение автора к тюрьме и к заключенным в ней, — отношение, которое оказалось даже «нецензурным» в ту эпоху по своей либеральной тенденции. На первой же странице этого очерка цензурой был вычеркнут целый абзац, мысль которого характеризуется уже начальной фазой: «Нам слышатся из тюрьмы голоса, полные силы и мощи»... В нем, конечно, совершенно нецензурными для 1856 года (и не только 1856 года) были мысли и слова, что «свобода лучшее достояние человека», что лишение свободы противоестественно само по себе, что слово «арестант» поднимает со дна души все ее лучшие инстинкты, «всю жажду сострадания и любви к ближнему». Характерен и этот цензурный пропуск, и самые эти слова Салтыкова. Рука цензора прошла и по второму очерку («Посещение второе»), где сильно искажен цензурой и впоследствии

¹ Еще за полгода до статьи Добролюбова, в заметке Студитского «По поводу «Очерков» г. Щедрина» («Спб. Ведомости» 1857 г., № 118), указывалось на зависимость «талантливых натур» Салтыкова от «лишних людей» Тургенева. И если в заметке этой Салтыков признавался «главою литературного движения», то, конечно, не за эти психологические очерки старого типа.

не мог быть восстановлен автором конец рассказа «ябедника» Перегоренского о причинах его ареста. Салтыков впоследствии мог восстановить только одну фразу об исправнике: «гнусность злодея, надменностью своею нас гнетущего и нахальством обуревающего». Из очерка «Неприятное посещение» ясно, что здесь речь идет об исправнике «Живоглоте». В обоих этих очерках выводится Перегоренский — первый набросок того «ябедника», который впоследствии так сильно был нарисован Салтыковым, как неизбежная принадлежность русского общественного быта.

Последний отдел, «Казусные обстоятельства», целиком посвящен расколу, но об очерках этого отдела здесь не придется много говорить, так как о них много упоминалось попутно с рассказом о дознаниях Салтыкова по делу Ситникова. Здесь достаточно указать, что очерк «Старец» носил сперва заглавие «Мельхиседек» — имя, хорошо известное нам по рапортам Салтыкова-следователя¹ и что целый ряд лиц из рапортов Салтыкова перешел на страницы этого очерка. Действие происходит в местности, которая составляет как бы угол, где сходятся границы трех обширнейших в русском царстве губерний: Вологодской, Вятской и Пермской, — т. е. как раз там, где Салтыков-следователь производил значительную часть своего дознания (Глазовский уезд Вятской губернии). Одним из главных лиц рассказа является «старница, или, по-простому оказать, солдатская дочь... Прозывается она Натальей, происхождением от семени солдатского и родилась в Перми. Жила она, слышь, долгое время в иргизских монастырях, да там будто и схиму приняла». Все это возвращает нас к делу беглого раскольника Ситникова, в котором такую важную роль играла инокиня Тарсилла, она же унтер-офицерская дочь Наталья Мокеева. В очерке «Старец» рассказывается про нее, что она выдавала себя за генеральскую дочь, кричала на мужиков, предвляла им какую-то бумагу и заставила их «верстах в пяти от деревни» построить себе большущие хоромы, в которых укрывала беглых рекрутов: все это от слова и до слова взято из рапортов Салтыкова-следователя вплоть до малейших мелочей. То же самое при-

¹ Вариант начала «Старца», озаглавленного «Мельхиседек», сохранился в черновом автографе Салтыкова (Бумаги Пушкинского Дома, из архива М. Стасюлевича) и был напечатан Вл. Кранихфельдом в «Русских Ведомостях» 1914 г., № 97.

дятся повторить и о рассказе «Матушка Мавра Кузьмовна», где город С***—несомненно Сарапуль, а «лже-поп» Андриюшка — по всей вероятности Ситников. В своих рассказах из отдела «Казусные обстоятельства» Салтыков богатейшим образом использовал материал следственного дела, которое он вел годом и двумя годами ранее.

Но здесь интересно не это обстоятельство, а основной вопрос: как же теперь Салтыков, уже не следователь, а «обличительный» писатель, относился к вопросу о расколе и гонении на него? Ответ на этот вопрос дает большой эпиграф к рассказу «Матушка Мавра Кузьмовна» и первая страница очерка «Старец». Эпиграф взят из статьи гр. Н. С. Толстого «Заволжская часть Макарьевского уезда, Нижегородской губернии» («Московские Ведомости» 1857 г., № 3) и начинается строками: «Пропаганда, по моему мнению, может быть отражена лишь пропагандою»,—этим признанием сам Салтыков вынес обвинительный приговор недавним своим действиям и мероприятиям. Но это не значит, чтобы он в это время еще изменил свой взгляд на раскол, как на явление отрицательное¹. В этом отношении характерна первая страница очерка «Старец», в которой старец этот устами автора говорит, что дело его «было неправое» и что просветила его только «благость», милосердие «великого монарха», прекратившего гонения на раскол. Интересно, что и эту страницу, и эпиграф к рассказу «Матушка Мавра Кузьмовна» Салтыков вычеркнул из позднейших изданий «Губернских очерков», начиная с 3-го. Кроме того, из этих очерков, посвященных расколу, выброшено много мелочей, почти все то, что позволило рецензенту «Русского Инвалида» (1857 г., № 26) заявить, что в очерках этих разоблачаются «лицемерство и проделки раскольников». Цензура, наоборот, старательно вычеркнула из журнального текста те места, которые говорили о светлых сторонах раскола; так вычеркнут был абзац, начинающийся словами старца: «Сердце у меня сызмальства уже к богу лежало», и следующий за ним, в которых старец-раскольник говорит о «неповинной крови мучеников» за раскол, о том, как «они, наши заступники, в лютых мучениях имя божие прославляли и на мучителей своих божеское мило-

¹ Это станет особенно ясно при изучении повести «Тихое пристанище» и ее первых набросков; см. ниже, гл. IX.

сердие призывали». В позднейших изданиях все эти места были восстановлены Салтыковым.

Мы подошли к концу «Губернских очерков», к «Дороге», замыкающей их «вместо эпилога» — и видим теперь, какой богатый и разнообразный материал своей провинциальной жизни отразил Салтыков в этих очерках, прославивших его имя. Он еще не проявил в них почти никакого литературного новаторства, пользовался старыми формами, выработанными гоголевской школой, но впечатление от «Губернских очерков» было громадно именно потому, что в старые формы эти был вложен новый и свежий бытовой материал, вскрывавший язвы провинциальной и бюрократической жизни. Новый материал был подан красочно и ярко; старые формы не позволили, однако, этому циклу Салтыкова стать новой вехой на пути истории литературы. Новые формы для своего творчества Салтыков нашел не сразу, вырабатывал их мало-по-малу в течение целого десятилетия после «Губернских очерков», и мы об этом не раз еще будем говорить. Здесь же, в заключение этого краткого обзора первого цикла Салтыкова, необходимо подчеркнуть одно обстоятельство, связанное с позднейшей работой Салтыкова над этим первым своим «настоящим» литературным произведением. Мы видели, как многочисленны вставки, выпуски и варианты окончательного текста; гораздо больший интерес представляют те незначительные на первый взгляд изменения, которыми пестрит основной текст «Губернских очерков» по сравнению с их журнальным текстом. Сравнивая эти два текста, можно видеть, как тщательно обрабатывал стилистически Салтыков свои произведения. Путем упорного труда выработал он тот своеобразный стиль, который делает его одним из величайших мастеров русской прозы XIX века. Но и в этом отношении «Губернские очерки» дают только первые намеки, первые возможности, которые разовьются лишь позднее в последующих циклах Салтыкова.

Общий вывод: значение «Губернских очерков» в эпоху их появления было не столько литературное, сколько общественное. Литературно они были только завершением развития форм, созданных Гоголем и «натуральной школой». То «свое», что было в «Губернских очерках», независимо от их бытового материала, сказалось лишь в последующих циклах Салтыкова, мало-по-малу находившего свой путь — и темы, и стиль, и форму произведений.

Но общественное значение этих «обличительных очерков», было громадно; рассказом о нем и надо заключить знакомство с первым произведением Щедрина, с этих пор в течение тридцати лет стоявшего на вершинах русской литературы.

IV.

«Губернские очерки» тесно связаны со своей эпохой, и головокружительный успех их объясняется не их литературными достоинствами, но темой их и временем появления. Тему эту русское общество той эпохи поняло как «раскрытие язв провинциального бюрократизма», что являлось как нельзя более своевременным в первый год пробуждающегося общественного самосознания после катастрофы Крымской войны, похоронившей под своими развалинами мертвый, гнетущий режим Николаевской эпохи. Каким освобождением для всего живого явилась смерть Николая I — об этом образно сказал Герцен в «Былом и думах». Он немедленно стал издавать в Лондоне «Полярную Звезду», а с середины 1857 года — и знаменитый «Колокол». В России начиналось возрождение мысли и слова; в «Современнике» все громче и громче стали звучать голоса Чернышевского и Добролюбова; появились новые журналы — либеральный «Русский Вестник», славянофильская «Русская Беседа»; приступали к решению «крестьянского вопроса» и освобождению крестьян; «язвы» старого режима вскрывались в целом ряде ходивших по рукам «записок» и «писем» — Погодина, Самарина, Кошелева, Кавелина и др.

Появление в такое время «Губернских очерков» Салтыкова было поэтому как нельзя более удачным. Они вскрывали в глазах читающей публики той эпохи провинциальный бюрократизм, одну из самых застарелых «язв» Николаевского режима, которая оказалась наиболее неизлечимой среди всех других и не излечена до наших дней. Салтыков оказался Колумбом неисследованной области — «провинциального чиновничества», начиная от самодуров губернаторов и кончая мелкими взяточниками в губернии и уездах. Как это всегда бывает — Колумбы имеют предшественников; и у Салтыкова в этой области их было не мало в русской литературе XVIII — XIX вв., начиная от «Ябеды» Капниста 1798 года и даже от сатирических листков середины XVIII века, вплоть до «Ревизи-

зора» и ряда позднейших произведений «натуральной школы»¹. Но в последние годы Николаевского режима всякое «сатирическое отношение» к чиновничеству было строгойше воспрещено; уже на исходе этого режима, в 1854 году, подверглись каре два типично «салтыковские» очерка, напечатанные в журнале Погодина «Москвитяине»: повесть Лихачева «Мечтатель» и очерк Раевского «Из записок почтмейстера». Цензора, пропустившие эти совершенно бесцветные и невинные произведения, были уволены со службы.

Очерки Салтыкова, как мы знаем, тоже претерпели различные цензурные мытарства и искажения, но все же могли появиться в свет и произвели громадное впечатление. «Реальный комментарий» к ним не представляет ни малейшего интереса, если бы даже и был полностью возможен. Мы видели, например, что под именем семьи Прониных в «Губернских очерках» выведены вятские друзья Салтыкова, Ионины; но вряд ли подобный факт может представлять большой интерес. Кто из двух вятских губернаторов эпохи Салтыкова — Серeda и Семенов — был (и был ли) князем Чебылкиным, а кто генералом Голубовицким — ни мало не интересно, равно как и то, существовали ли, как портреты, Фейеры, Порфирии Петровичи и прочие герои «Губернских очерков». В упоминавшихся выше воспоминаниях Л. Спасской указываются вятские прототипы очерков Салтыкова: Порфирием Петровичем был Г. И. Макаров, советник питейного отдела, князем Чебылкиным — губернатор Семенов, генералом Голубовицким — губернатор Серeda, «приятным семейством» Размановских — семья губернского стряпчего (прокурора) Шиллинга и т. д. Мы, в свою очередь, могли бы указать на ряд если и не лиц, то во всяком случае фамилий, перенесенных из вятской провинции на страницы очерков Салтыкова. Выше было уже указано, что городничий Фейер обязан своей фамилией сарапульскому городничему фон-Дрейеру (в воспоминаниях А. Кони «На жизненном пути» рассказывается, между прочим, о встрече автора с живым прототипом Фейера); сарапуль-

¹ Этой теме касаются статьи Е. Эдельсона «Наша современная сатира» («Библиотека для Чтения» 1863 г., № 8) и А. Б—ова (псевдоним А. Суворина) «Историческая сатира» («Вестник Европы» 1871 г., № 4); о последней из этих статей еще будет речь в главе об «Истории одного города».

ский купец Ижболдин, которого Салтыков-следователь допрашивал по делу о раскольнике Ситникове, обратился в сцене «Что такое коммерция?» в купца Ижбурдина; фамилия исправника Живницкого могла дать начало одному из ярких типов «Губернских очерков» поручику Живновскому и т. д.

Ряд этих примеров можно было бы еще значительно увеличить; в воспоминаниях вятских старожилов не раз подчеркивалось, что «кажется несомненным, что «Губернские очерки» писаны с натуры»¹. Все это несомненно, само собою понятно, и потому мало интересно. Прав был Добролюбов, объясняя громадный успех «обличительных очерков» не портретностью, а типичностью действующих в них лиц. «Публика признала действительность фактов, сообщаемых в повестях, и читала их не как вымышленные повести, а как рассказы об истинных происшествиях... У г. Щедрина описан, например, Порфирий Петрович: я знал двоих Порфирьев Петровичей, и весь город у нас знал их; есть у него городничий Фейер: и Фейеров видел я несколько... Разумеется, еще чаще видали мы Чичиковых, Хлестаковых, Сквозников-Дмухановских, Держиморд и пр. Но об этом я уж не говорю. У Гоголя такая уж сила таланта была, что до сих пор, куда не обернешься, так все и кажется, что перед тобой стоит или Чичиков, или Хлестаков, а если ни тот, ни другой, то уж наверное Земляника...»².

Итак, дело не в портретности, а в типичности героев «Губернских очерков». Важно то, что они существовали, как типы, в каждом городе дореформенной России, так что провинциальный читатель находил в своих глухих палестинах тех или иных из многочисленных действующих лиц очерков Салтыкова (а их в этих очерках, по подсчету Чернышевского, до двухсот человек!). «Реальный комментарий» к очеркам отставного надворного советника Щедрина можно было найти в каждом губернском и уездном городе России; отчасти именно этим и объясняется громадный успех этих очерков среди читающей публики. Насколько велик был этот успех, можно судить хотя бы по тому, что в еженедельном журнале «Сын Оте-

¹ См., например, две заметки вятского купца Кузнецова: «М. Е. Салтыков. Эпизод из пребывания его в Вятке» и «К Губернским очеркам М. Е. Салтыкова», «Русская Старина» 1890 г., №№ 6 и 11.

² Добролюбов, «Первое полное собрание сочинений», т. III, стр. 120.

чества во второй половине 1857 года (№№ 28—38) был заведен специальный отдел рисунков к «Губернским очеркам».

Отзывы печати были восторженные. «Успех Очерков возрастал быстро, по мере того, как они продолжали печататься. Выдержки из них помещались во всех почти журналах... Успех был повсеместный, имя г. Щедрина приобрело общую известность»¹. Его сразу признали «главою литературного движения»²; он явился родоначальником целого рода «обличительной литературы», от которой через некоторое время самому ему пришлось литературно отмежеваться (в статье «Литераторы-обыватели» 1861 года). Во всех журналах стали появляться различные «провинциальные очерки» многочисленных авторов, теперь по заслугам забытых, но тогда составлявших целую «школу Щедрина»: это были Селиванов, Елагин, Кушнерев и десятки подобных им беллетристов, самыми талантливыми из которых были Афанасьев-Чужбинский и Мельников-Печерский. В большинстве всех этих произведений таланта было мало, но обличительного пыла много, и вся эта литература очень характерна для эпохи начала шестидесятых годов. Министр народного просвещения Норов, имея в виду эту литературу и в особенности очерки Щедрина, в циркуляре от 7 октября 1857 г. обращал внимание цензуры «на полицейское направление, которое своевольно и неуместно принято в последнее время большинством наших периодических изданий... и делает из журналов какую-то уголовную палату, а из всех чиновников и администраторов, без разбора лиц, — подсудимых журнальному суду»³.

Два самых авторитетных критика эпохи, Чернышевский и Добролюбов, отозвались в двух больших статьях на появление «Губернских очерков» Салтыкова; статьи их появились в №№ 6 и 12 «Современника» за 1857 г. О статье Добролюбова уже пришлось упомянуть выше; что же касается статьи Чернышевского, то она характерна для «просветительной критики» той эпохи и, подобно статье Добролюбова, написана не столько о «Губернских очерках», сколько

¹ «Русский Инвалид» 1857 г., № 26.

² «Спб. Ведомости» 1857 г., № 118.

³ «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год» (Спб. 1862 г.), стр. 416. См. также книгу М. Лемке «Очерки по истории русской цензуры» (Спб. 1904 г.), отдел «Эпоха обличительного жара».

по поводу их. Тема статьи Чернышевского — якобы «чисто-психологическая задача» анализа типов этих очерков для ответа на вопрос: «надобно ли считать их дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развились вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли». Чернышевский указывает, что «большинство публики склоняется на сторону первого мнения», а сам доказывает справедливость второго, что и является темой его статьи. Ясно, что эта «чисто-психологическая задача» — только ирония и способ пройти через цензурные рогатки: «посторонние обстоятельства», о которых говорит здесь Чернышевский — лишь инскапательное обозначение дореформенного государственного строя и общественного положения России в Николаевскую эпоху. Что же касается до отношения Чернышевского к самим «Губернским очеркам», то оно является восторженным: «Эта благородная и превосходная книга, — говорит Чернышевский, — принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. «Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он». По одной этой цитате можно судить о том впечатлении, которое произвели «Губернские очерки» при своем появлении.

Были, впрочем, и враждебные голоса, но они раздавались не в печати. Особенно интересно отметить, что наиболее отрицательные отзывы дошли до нас от Некрасова, издателя того же самого «Современника», в котором появился такой восторженный отзыв Чернышевского, и от Тургенева, в то время постоянного и ближайшего сотрудника этого журнала. Как мы уже знаем из воспоминаний Л. Пантелеева, появлению «Губернских очерков» в «Современнике» воспрепятствовал отзыв Тургенева: «это совсем не литература, а чорт знает что такое!» После же появления очерков Салтыкова в «Русском Вестнике» и громадного успеха их, Тургенев писал Колбасину 8 марта 1857 г.: «Если г. Щедрин имеет успех, то, говоря его же словами, писать уже «не-для-че». Пусть публика набивает себе брюхо этими пряностями. На здоровье!». И на другой день после этого Тургенев о том же писал Анненкову: «Щедрина я решительно читать не могу. (Здесь получены 1-й и 2-й №№ «Рус-

ского Вестника»). Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярской кислотной язык.. Нет! лучше записаться в отсталые — если это должно царствовать»¹. Интересно отметить, что в указанных Тургеневым номерах «Русского Вестника» помещены очерки Салтыкова «Первый шаг», «Озорники» и «Надорванные», два последние из которых как раз являются подражанием психологическим этюдам Тургенева. Некрасов в свою очередь отрицательно отзывался в письме к Тургеневу о самом Салтыкове, об его очерках и порожденной ими обличительной литературе: «Гений эпохи Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя. Противно раскрывать журналы, — все доносы на квартальных да на исправников — однообразно и бездарно»². Впоследствии, как известно, и Некрасов и Тургенев изменили свое отношение к Салтыкову, который стал с 1860 г. ближайшим сотрудником «Современника», а в 1863—1864 гг. и соредактором Некрасова по этому журналу. Что же касается Тургенева, то в своем месте мы отметим восторженный отзыв его об «Истории одного города» и о ряде позднейших циклов Салтыкова.

Отрицательные отзывы Тургенева и Некрасова в значительной мере объясняются их высокими требованиями, предъявляемыми к форме художественного произведения; а мы уже знаем, что в этом отношении Салтыков шел по проторенным путям и вливал новое вино в старые меха. Это очень тонко отметил уже упоминавшийся выше Н. Бунаков в другой своей рецензии об очерках Салтыкова. «Это, действительно, большая художественная сила, — говорил он об их авторе, — но ей, как будто, те формы, в которые обычно беллетристы-авторы облачают свои идеи, чужды. Мне кажется, что г. Щедрин насилует себя общепринятою формой рассказа. Мне кажется, что ему следовало отрешиться от узаконенных форм и традиций словесности, разделяющих художественные произведения на романы, повести, драмы и т. д., и попытаться пойти своею оригинальною дорогой... При этих условиях г. Щедрин подарит русскому обществу нечто такое, что даст начало новому виду

¹ «Первое собрание писем» Тургенева (СПб. 1885 г.) и журнал «Наша Старина» 1914 г., № 11.

² Письмо к Тургеневу от 27 июня 1857 г., «Русская Старина» 1897 г., № 11, стр. 229.

литературы, у нас еще не существующему»¹. Это предвидение блестяще оправдалось много лет спустя, когда Салтыков создал свою собственную форму своеобразного «романа», каким он сам считал такое, например, свое произведение, как «Современная идиллия», если уж говорить об одном из самых замечательных произведений Салтыкова. «Губернские очерки» лишь очень неясно позволяли предвидеть в авторе то, что так метко было вскрыто в приведенном выше отзыве.

«Обличительная литература», родоначальником которой стал Салтыков-Щедрин, заполнила собою страницы всех журналов и вскоре вызвала реакцию со стороны тех самых лиц, которые так восторженно отнеслись к «Губернским очеркам» при первом их появлении. Добролюбов уже в 1859 году заявлял: «Я должен признаться, что большая часть щедринских рассказов составляет шаг назад от Гоголя. Но все-таки они не так далеко от него убежали, как нынешние рассказы, непрерывно печатаемые в газетах... В том же году в «Современнике» появилась и знаменитая статья Добролюбова «Что такое обломовщина?», в которой, между прочим, вся эта обличительная «гласность» трактовалась, как одно из проявлений «обломовщины».

На эти мысли Добролюбова Герцен отозвался в «Колоколе» резкой статьей. «Мы сами очень хорошо видели,— писал Герцен,— промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь? Они еще больше молчали об этом! Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился?.. В «обличительной литературе» были превосходные вещи. Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь огулом бросить, с «Обломовым» на шею, в воду? Слишком роскошничаете, господа!»².

Здесь не место подробно говорить о глубоких причинах расхождения Герцена в 1859 году с Добролюбовым и Чернышевским,

¹ Статья о «Губернских очерках» Н. Б [у н а к о в а] в литературном сборнике «Украина» (Киев 1858 г.).

² Статья Герцена «Very dangerous!!!». Подробности о столкновении между «Современником» и «Колоколом» см. в «Полном собрании сочинений и писем» Герцена, т. X, стр. 11—23, и в «Первом полном собрании сочинений» Добролюбова, т. III, стр. 139—156.

расхождения, одним из частных проявлений которого было и различное отношение к «обличительной литературе». Причины эти, как уже давно выяснено, лежали в совершенно различном отношении Герцена с одной стороны и представителей «Современника» с другой — к путям общественного развития России той эпохи: Чернышевский и Добролюбов с 1859 года стояли в этом вопросе на значительно более радикальной точке зрения, чем Герцен. Последний еще пытался верить в возможность эволюции социально-политической жизни России; Чернышевский и Добролюбов все более и более укреплялись в мысли о необходимости революционных путей этого развития. Это общее расхождение влияло и на отношение ко всем частным вопросам — в том числе и к вопросу об «обличительной литературе», родоначальником которой был Салтыков.

На чьей же стороне был сам он, родоначальник и глава «обличительной литературы»: на стороне ли Герцена, защищавшего ее, или на стороне Добролюбова и Чернышевского, вынесших ей обвинительный приговор? Ответом может служить то обстоятельство, что Салтыков, начиная с 1860 года, твердо и окончательно примкнул к «Современнику». Первым же его очерком в «Современнике» 1861 г. был очерк «Литераторы-обыватели», о котором было уже упомянуто выше; в нем мы находим как бы ответ на вопросы, двумя годами ранее поставленные Добролюбовым и Чернышевским. Впрочем, об этом будет сказано в своем месте; здесь же достаточно лишь указать на факт сотрудничества Салтыкова в журнале Некрасова.

Таким образом Салтыков в своем дальнейшем пути примкнул к наиболее радикальной части русской интеллигенции, а в семидесятых годах стал одним из руководителей журнала «Отечественные Записки», в котором нашло свое выражение социалистическое народничество этой эпохи, идущее одновременно и от Герцена и от Чернышевского. В своем месте мы увидим, что Салтыков не только отражал в художественных образах идеологию народнического социализма, но часто первый ставил и решал теоретические вопросы, позднее разрешавшиеся в том же самом направлении таким признанным теоретиком народничества, каким в те годы был Михайловский.

Убедиться во всем этом нам еще предстоит, впереди; здесь же, заканчивая речь о «Губернских очерках», надо еще обратить

внимание на два вопроса. Первый из них: как сам Салтыков понимал этот свой цикл и что считал в нем существеннейшим для характеристики основных своих взглядов? Он говорит об этом в первой своей автобиографической записке 1857—1858 гг., написанной немедленно вслед за окончанием этого первого своего цикла. «Для характеристики взгляда писателя,— говорит он о себе в третьем лице,— можно указать на следующие очерки: «Скука», «Неумелые» (конец), «Озорники» и «Дорога». — Как мы видели выше, всё это очерки автобиографического и полу-автобиографического характера; взгляд писателя особенно определенно выражен именно в том конце очерка «Неумелые», на который указывает и сам Салтыков. Здесь один провинциальный обыватель высказывает свое мнение о чиновничестве, как представителе власти: «Совсем не с того конца начинаете... Ты, коли хочешь служить верой, так по верхам-то не лазий, а держись больше около земли, около земства-то... Ты благодетельствуй нам — слова нет! — да в меру, сударь, в меру, а не то ведь нам и тошно, пожалуй, будет... Ты вот лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то! Может, она и пошла бы, машина!». В этих словах поставлен вопрос, злободневный от эпохи Петра Великого и до наших дней — вопрос о «бюрократии» и «земстве», если говорить терминами пятидесятых и шестидесятых годов. В ближайшие же годы деятельности после «Губернских очерков» Салтыкову пришлось вплотную, и теоретически и практически, подойти к этому вопросу.

Но вопрос этот подводит нас к другому, к вопросу о «народе» и «власти», вопросу более общему и широкому и теснейшим образом связанному со всей дальнейшей деятельностью Салтыкова-Щедрина, к основной теме почти всех последующих его циклов. «Народ» с одной стороны, «власть» — с другой: тема эта, намеченная в «Губернских очерках», становится в течение последующих десятилетий основной темой произведений Салтыкова, достигая вершины своего развития в «Истории одного города». Мы будем шаг за шагом следовать за Салтыковым по этому его пути.

Глава VI

САЛТЫКОВ В РЯЗАНИ И ТВЕРИ. СТАТЬИ 1861 ГОДА О КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЕ. ОТСТАВКА

I

«Власть» и «народ», «бюрократия» и «земство» — не были для Салтыкова лишь абстрактными понятиями: самому ему пришлось в начале шестидесятых годов принять участие, как действующему лицу, в споре между дворянской земщиной и бюрократией, особенно обострившемся при проведении в жизнь вопроса об освобождении крестьян. В ряды служилой бюрократии Салтыков попал сразу же по выходе из школы, продолжая эту службу и в вятской ссылке, и по возвращении из нее: в 1856—1857 гг. он служил в Петербурге чиновником особых поручений при министре внутренних дел, работая в эти же годы над «Губернскими очерками». Очерки эти сыграли некоторую роль в дальнейшем служебном повышении Салтыкова. Начинаясь «эпоха великих реформ», правительству нужны были «честные чиновники», чтобы «искоренить злоупотребления»; тогда еще думали, что вся беда в злоупотреблениях, а не в системе. Сохранился рассказ о том, как Салтыков был представлен брату государя, великому князю Константину Николаевичу, возглавлявшему «либеральную партию» при дворе. Обличитель провинциального бюрократизма, Салтыков был признан подходящим человеком, чтобы не только сатирически описывать этот бюрократизм, но и проводить либеральную прави-

тельственную политику в провинции. Так в начале 1858 года Салтыков попал на пост рязанского вице-губернатора¹.

«Чиновник особых поручений VI класса министерства внутренних дел, коллежский советник Салтыков назначается рязанским вице-губернатором» — гласил высочайший приказ от 6 марта 1858 года; через месяц после этого приказа, 15 апреля 1858 года, Салтыков прибыл на службу в Рязань. Прослужив в Рязани два года, он был переведен 3 апреля 1860 года на ту же должность из Рязани в Тверь, где служил тоже около двух лет, выйдя в отставку 9 февраля 1862 года. Эти четыре года службы Салтыкова вице-губернатором в провинции составляют характерную страницу его биографии, страницу, на которой надо остановиться с тем большим вниманием, что только изучение ее может объяснить ряд художественных произведений Салтыкова той эпохи.

Эти годы начала эпохи великих реформ были отмечены одним парадоксальным обстоятельством, с тех пор не повторявшимся в истории русского государственного и общественного развития: задумав реформу уничтожения крепостного права и освобождения крестьян, правительство должно было провести эту либеральную реформу вопреки желанию и несмотря на противодействие громадной массы землевладельческого дворянства, в том числе и местных «либералов», настроенных гораздо консервативнее правительства. Бюрократия в эти годы была «либеральной», а обычно либеральное земство — консервативным. Кстати сказать, здесь и везде ниже у Салтыкова слово «земство» употребляется не в смысле определения тех земских учреждений, которые были введены только в 1864 году; понятие о земстве («земщина») существовало задолго до этого, существовало искони, противопоставляясь в разные времена тем или иным государственно-административным учреждениям. Славянофилы ввели в общее употребление противопоставление земства и бюрократии; только в этом смысле Салтыков и употреблял эти понятия в статьях той эпохи, только в таком смысле употребляются они и здесь.

Так как и административная деятельность Салтыкова, и его публицистические статьи, и его художественные произведения этой

¹ См. дневник Мельникова-Печерского в собрании его сочинений (Спб. 1897 г.), т. I, стр. 187.

эпохи могут быть поняты только на фоне разыгравшейся в эти годы борьбы правительства с дворянством, на почве вопроса освобождения крестьян, то необходимо хотя бы в самых общих чертах напомнить о главных этапах этой борьбы именно в те годы, когда Салтыкову пришлось занимать такой видный пост в провинциальной администрации. Самые острые моменты этой борьбы падают как раз на те годы, когда он был вице-губернатором в Рязани и Твери; мало того, именно Рязань и Тверь оказались теми провинциальными центрами, в которых борьба эта достигла наивысшего обострения.

II

Дело освобождения крестьян началось известной речью Александра II 30 марта 1856 года к московским дворянам, произнесенной по случаю заключения мира после Крымской войны. Война вскрыла всю гниль Николаевской системы вплоть до ее фундамента — крепостного права. Указ и манифест о народном ополчении во время войны вызвали в целом ряде губерний волнения и бунты среди помещичьих крестьян; напуганные помещики уже видели перед собою призрак пугачевщины. Настроение это особенно усилилось с новым царствованием, так что Александр II недаром в своей московской речи к дворянам должен был подчеркнуть, что «лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Правительство приведено было к вопросу освобождения крестьян помимо своей воли, силою вещей; но, раз став на этот путь, оно должно было дойти по нему до конца, несмотря на озлобленное сопротивление громадного большинства дворян-землевладельцев. Сперва создан был негласный комитет по освобождению крестьян; но так как в состав его входили наиболее реакционные из бюрократов николаевского царствования, то правительство решило действовать энергичнее и помимо всяких негласных комитетов; наоборот, решено было предать дело самой широкой гласности, и началом этого послужили знаменитые рескрипты от 20 ноября и 5 декабря 1857 года на имя виленского генерал-губернатора Назимова об устройстве нового быта помещичьих крестьян. Немедленно вслед за этим рескрипты эти были разосланы в копиях всем губернаторам и опубликованы во всеобщее сведе-

ние. В начале 1858 г. во всех губерниях были созданы дворянские комитеты для обсуждения вопросов об отмене крепостного права, а в Петербурге стали работать особые редакционные комиссии, для выработки практических мер по освобождению крестьян.

Здесь не место подробно рассказывать о работе губернских комитетов и редакционных комиссий; достаточно указать, что ближайшие три-четыре года до манифеста об освобождении крестьян прошли под знаком острой борьбы между губернскими дворянскими комитетами, представлявшими собою голос «земства», и петербургской редакционной комиссией, состоявшей почти исключительно из «бюрократии». Душою этой комиссии был, как известно, Н. А. Милютин — брат того самого В. А. Милютина, которому Салтыков посвятил когда-то первую свою повесть «Противоречия». Н. А. Милютин, видевший реакционное настроение дворянских губернских комитетов, был убежденным сторонником диктаторских бюрократических мер для проведения крестьянской реформы — и был в этом совершенно прав, потому что лишь такими мерами удалось провести эту реформу даже в том куцом виде, в каком она появилась на свет в знаменитом Положении 1861 года. Во всем этом и сказалась парадоксальная сторона мероприятий, связанных с уничтожением крепостного права. С одной стороны, проводившая либеральную реформу бюрократия боролась с дворянами-крепостниками, имея на своей стороне лишь крайне незначительное число представителей дворянской интеллигенции; с другой стороны, дворянство, как представитель «земского» элемента, видя неудачу своих попыток борьбы с либеральными бюрократическими мероприятиями, стало пред'являть наиболее либеральные требования в другой области общественной жизни, требуя ограничения прав администрации и провозглашая требование свободы слова и печати, введения независимого суда и вообще всех тех либеральных реформ, которые в малой степени и были осуществлены к концу эпохи шестидесятых годов. Наиболее яркие представители ретроградного дворянства все же требовали для себя самоуправления, гласности и ограничения прав бюрократии, но требовали это только для того, чтобы положить палки в колеса движению крестьянской реформы. Такое своеобразное положение определяло собою взаимоотношения «бюрократии» и «земства» в эпоху 1858—1861 гг.

Итак, дворянский «либерализм» той эпохи имел своим осно-

ванием самые реакционные побуждения; оппозиция земельных магнатов, в роде пресловутого В. П. Орлова-Давыдова, обнаружилась стремлением к земскому самоуправлению на аристократических началах. Депутаты губернских дворянских комитетов, приглашенные правительством в Петербург, но не допущенные к работам в редакционной комиссии, стали жестоко критиковать деятельность этой комиссии в ряде всеподданнейших адресов, не достигших однако своей цели. Адреса эти признаны были «ни с чем несообразными и дерзкими до крайности», а подписавшие их дворяне получили высочайший выговор через губернаторов. Незначительное меньшинство дворянских депутатов, стоявших за освобождение крестьян, были действительно представителями либерально-дворянских тенденций и родоначальниками будущего земского либерализма конца XIX века; но и лучшие из этих дворян-либералов не могли стать выше своего времени. Так, например, либеральный кн. Черкасский, много сделавший для крестьянской реформы, в 1859 году выступал защитником сохранения розги, как орудия управления крестьян дворянами; наиболее левый представитель дворянского либерализма, тверской губернский предводитель дворянства А. М. Унковский (вскоре высланный правительством в Вятку и впоследствии ближайший друг Салтыкова), в очень радикальном всеподданнейшем адресе 1859 г., содержащем в себе требования общественных свобод, боролся в этом же адресе за уменьшение крестьянского надела и повышение крестьянских повинностей, а значит был, при всем своем либерализме, более реакционным в крестьянском вопросе, чем Н. А. Милютин¹. Все это необходимо помнить, чтобы понять позицию Салтыкова в 1858—1861 гг., стоявшего на стороне «бюрократии» и боровшегося с дворянскими quasi-либеральными тенденциями, как мы скоро увидим это из полемики Салтыкова с представителем дворянского крепостнического либерализма, помещиком В. Ржевским. В этом парадоксе крепостнического либерализма и либеральной бюрократии — узел решения вопроса крестьянской реформы первой половины шестидесятых годов.

Дворянские волнения перекинулись на Тверь почти в то самое время, когда и Салтыков был перемещен туда вице-губерна-

¹ Позднейшие оправдания Унковского см. в книге Г. А. Джаншинева «А. М. Унковский и освобождение крестьян» (М. 1894 г.), стр. 132—134.

тором. Еще в октябре 1859 г. тверской депутат А. М. Унковский подписал тот адрес, о котором уже было упомянуто выше и который был признан «ни с чем несообразным и дерзким до крайности». Когда же в конце 1859 г. дворянству было запрещено обсуждать крестьянский вопрос на своих выборах, то тверские дворяне, руководимые Унковским, Головачевым и петрашевцем Европеусом, выступили с решительным протестом против этого распоряжения правительства, нарушавшего ряд пунктов Свода Законов. В результате этого протеста Унковский был уволен от должности тверского губернского предводителя дворянства и вскоре (в феврале 1860 г.) сослан в ту же самую Вятку, куда десятилетием раньше попал Салтыков, а двадцатилетием раньше — Герцен. Европеус был сослан в Пермь¹.

Как раз к этому времени Салтыков прибыл вице-губернаторствовать в Тверь. Первая борьба «тверских либералов» с правительством произошла, таким образом, еще до прибытия Салтыкова, но за то он был в Твери в разгаре второй схватки, произошедшей в 1861—1862 гг. и тесно связанной с реализацией Положения об освобождении крестьян. Проводить это Положение в жизнь должны были мировые посредники, независимые в своей деятельности от административных властей, и хотя назначавшиеся губернаторами, но подсудные и подчиненные не губернаторам и даже не министру, а сенату; назначение их на службу зависело от губернаторов, но увольнение могло состояться только по суду департамента сената. Очень многие прогрессивно настроенные деятели (в том числе и Салтыков) относились сперва с некоторым опасением к самому подбору мировых посредников, считая, что тут сыграет роль протекция всяческого рода и что в мировые посредники попадут поэтому реакционные слои местного дворянства, из которого только и можно было составлять кадры этих посредников. В таком случае несменяемость мировых посредников, их неподсудность местному суду и независимость от местной администрации могли бы оказаться очень опасными для дела проведения крестьянской реформы, и, как мы увидим ниже, Салтыков тогда же выступил в печати

¹ Ссылка Унковского (как и Европеуса) продолжалась только полгода; с октября 1860 г. он жил в Москве, где и сошелся с часто приезжавшим туда Салтыковым.

против возможного злоупотребления мировыми посредниками своею властью. Наоборот, консервативное дворянство горою стало за прерогативы мировых посредников и за их независимость от провинциальной и столичной бюрократии министерства внутренних дел, надеясь при помощи этих своих людей провести крестьянскую реформу в наиболее выгодном для себя направлении. Обе стороны ошиблись в своих опасениях и своих ожиданиях: громадное число мировых посредников оказалось принадлежащим к радикально настроенной дворянской интеллигенции шестидесятых годов и с ними вскоре пришлось повести ожесточенную борьбу как крепостникам-дворянам, так и самому правительству.

Одним из ярких эпизодов этой борьбы были события в Твери зимою 1861—1862 г., как раз во время пребывания там Салтыкова. В декабре 1861 г. тверские мировые посредники устроили в Твери губернский с'езд, на котором вынесли постановление, что освобождение крестьян 19 февраля этого года «не удовлетворило народных потребностей ни в материальном отношении, ни в отношении свободы». Еще через два месяца мировые посредники Тверской губернии и ряд уездных предводителей дворянства заявили в официальном протоколе «о несостоятельности закона 19 февраля», вообще «о несостоятельности правительства» и о необходимости собрания представителей всего народа, без различия сословий, для построения новых форм государственности и общественности. Правительство ответило на это арестом и преданием суду сената всех подписавших этот протокол, в числе которых были и два брата Бакунина. Приговоренные к разным срокам заключения, они были кроме того лишены права служить по выборам.

Так окончилась вторая схватка «тверских либералов» с правительством. Характерно, что Салтыков именно в это время подал в отставку и уехал из Твери. Он вышел в отставку 9 февраля 1862 года — неизвестно в какой связи с происшедшими в Твери событиями; мы знаем, однако, что в течение всей своей дальнейшей жизни он был в теснейшей дружбе с А. М. Унковским, вместе с которым собирался в 1862 году, как еще увидим, издавать журнал; уже одно это показывает, на чьей стороне был он в этой борьбе «тверских либералов» с петербургской бюрократией. Так или иначе, но служебный путь его был пока завершен: Салтыков был «высочайшим приказом по министерству внутренних дел уво-

лен от службы по болезни согласно его прошению 1862 года февраля 9»,— как значится в его формуляре.

Мы теперь знаем тот общественный фон 1858—1862 гг., на котором протекала четырехлетняя служба Салтыкова вице-губернатором; остается познакомиться с подробностями его деятельности в Рязани и Твери и с отражением этой деятельности в его литературных произведениях той эпохи¹.

III

Приехав в Рязань 15 апреля 1858 года, Салтыков немедленно же приступил к исполнению многообразных обязанностей, связанных с его должностью вице-губернатора. Он был и председателем губернского правления, и официальным редактором «Рязанских Губернских Ведомостей», и членом особой комиссии о губернских и уездных учреждениях (О последнем смотри «Русскую Старицу» 1884 г., № 9, стр. 721). Из всех этих дел особенно интересным для нас, казалось бы, является его редакторство официального губернского органа; можно было бы предполагать, что многие анонимные статьи этой газеты принадлежат перу ее редактора. Но ближайшее ознакомление с этой газетой разочаро-

¹ Из громадной литературы по вопросу об освобождении крестьян укажу лишь на немногие основные работы, давшие материал для предыдущих страниц. Особенно ценными являются представляющие большую библиографическую редкость анонимные «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II» (тт. I—III, Берлин 1860—1862); анонимным автором являлся сенатор Д. П. Хрущов. Кроме этого см. основные работы по истории освобождения крестьян: А. И. Скребницкий, «Крестьянское дело в царствование Александра II» (Бонн 1862—1868 гг.); Н. П. Семенов, «Освобождение крестьян в царствование императора Александра II» (Спб. 1889—1893 гг.); обработка этих сырых материалов— в книге И. И. Иванюкова «Падение крепостного права» (Спб. 1903 г.). Популярное изложение всех событий этой эпохи— в шеститомной монографии «Великая реформа» (изд. Сытина, М. 1911 г.). Из воспоминаний деятелей эпохи освобождения особенно ценны «Записки А. И. Кошелева» (Берлин 1884 г.), «Достопамятные минуты моей жизни» А. И. Левшина («Русский Архив» 1885 г., № 8) и др. См. также собрания сочинений Самарина, Кавелина и других видных деятелей эпохи шестидесятых годов.

вызывает в таких ожиданиях; «Рязанские Губернские Ведомости» были обычным в то время губернским официальным еженедельным листком, на котором почти не отразился дух времени и веяние эпохи. Характерно, что, даже описывая с'езд дворян в декабре 1859 года на губернские выборы, листок этот имел возможность писать только о забавах и увеселениях дворян, но ни словом не мог отозваться на те крупные события общегосударственного масштаба, которые разыгрались в Рязани в связи с этим дворянским с'ездом. Разумеется, это не зависело от Салтыкова, редакторство которого сводилось лишь к просмотру официального материала и к подписыванию каждого номера. Можно указать мимоходом, что Салтыков стал, как вице-губернатор, подписывать «Рязанские Губернские Ведомости», начиная с № 16 за 1858 г. (от 19 апреля); последний подписанный им номер — от 5 марта 1860 года (№ 9).

За все эти два года на столбцах «Рязанских Губернских Ведомостей» появлялось кое-что и характерное, заслуживающее внимания для отдельного экскурса, который может быть когда-нибудь еще будет написан.

Роль Салтыкова, как рязанского администратора, которому неоднократно приходилось губернаторствовать, описана в многочисленных воспоминаниях, и панегирических, и бранных. Не придавая слишком большой веры ни тем, ни другим, мы всё же можем на основании их установить целый ряд фактов, характеризующих Салтыкова как крайне деятельного администратора, при чем деятельность его определялась строго-выдержанным направлением. Направление это можно характеризовать, как борьбу либерального «бюрократа» эпохи освободительных реформ с реакционной и крепостнической «земщиной» того времени. В письме к Анненкову от 29 января 1859 г. Салтыков рассказывал, что ему приходилось бороться с Рязанским губернским комитетом, «члены которого ведут себя очень дурно». Мы знаем из позднейших воспоминаний, что деятельность Салтыкова в этом направлении в Рязани характеризовалась его фразой: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет!»; мы знаем также, что за эту деятельность местный рязанский остроумец прозвал Салтыкова «вице-робеспьером»¹. Из других, неблагоприятных для Сал-

¹ Г. А. Мачтет, «М. Е. Салтыков в Рязани», «Газета Гатцука» 1890 г. №№ 16—17.

тькова воспоминаний мы знаем, что он своею требовательностью и придирчивостью разогнал почти весь состав губернского правления, во главе которого стоял¹; но дополнительные сведения тут же вскрывают, что Салтыков разогнал дореформенных взяточников и собрал вокруг себя группу честных людей, работая с которой мог образцово поставить вверенные ему дела и заслужить хвалебный отзыв начальства о своей службе: «особенная деятельность, знание дела и усердие вице-губернатора Салтыкова»².

Здесь уместно привести и отзыв о Салтыкове тверского жандармского подполковника Симановского в секретной бумаге на имя начальника корпуса жандармов. Доставляя своему начальнику «сведения о некоторых лицах, служащих в Тверской губернии», жандармский подполковник Симановский в этой бумаге от 2 января 1861 года сообщал:

«Вице-губернатор Солтыков. Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных; этими качествами приобрел особенное доверие и внимание начальника губернии; таким же вниманием встречен был и от лиц здешнего избранного общества, сколько по значительности занимаемого им места, столько и по литературной его известности... Взыскательность его и особо бдительный надзор за правильною деятельностью и служебной нравственностью чиновников выразились значительно большим против прежних лет числом лиц, отданных в 1860 под уголовный суд. Решение этих дел должно показать, все ли виновные заслуживали такую строгую против них меру; впечатление же, произведенное этими распоряжениями на служащих в уездах, весьма натурально, не в пользу г. Солтыкова. Он искренно желает уничтожения крепостного права и деятельно преследует злоупотребления оною, о чем свидетельствует значительное число следствий, бывших в минувшем году, о жестоком обращении помещиков с крепостными людьми по важным и маловажным поводам, устранение некоторых из них от управления имением и вызов их на жительство в губернский город»³.

¹ Воспоминания А. Д. Шумахера, «Вестник Европы» 1899 г., № 4, стр. 706.

² «Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссии» 1905 г., вып. XX.

³ «Полное собрание сочинений и писем» А. И. Герцена», т. X, стр. 373.

Эта деятельность, так беспристрастно характеризованная жандармским штаб-офицером, объясняет ту ненависть к Салтыкову, которую питали к нему и рязанские, и тверские крепостники-дворяне. Так например, кн. Д. Д. Оболенский в своих «Набросках из воспоминаний» сообщает слух, что Салтыков за свою деятельность получил оскорбление действием от какого-то помещика¹. Слух этот, пущенный крепостниками, был опровергнут (см. «Русский Архив» 1895 г., т. I, стр. 371), но он характерен для той ненависти, которую питали к Салтыкову эти крепостники и в Рязани, и в Твери.

До нас дошло только одно дело, характеризующее деятельность Салтыкова в этом направлении; оно тем более интересно, что является реальным комментарием к позднему рассказу Салтыкова «Миша и Ваня», о котором нам еще придется говорить. Дело происходило в Рязани, в конце 1859 года. Совместно жившие в Рязани отставной майор Вельяшев (в позднейшем рассказе Салтыкова — Балящев) и жена ротмистра Кислинская жестоко обращались со своими крепостными. Ольгу Михайлову, портниху, крепостную Кислинской, истязали, секли распаренными розгами, обстригли ей косы, плевали в лицо; доведенная до отчаяния, девушка утопилась еще в 1854 году (Все это тоже вошло в рассказ Салтыкова «Миша и Ваня»). В сентябре 1859 года два крепостных мальчика Кислинской, Иван — 14 лет и Гаврила — 11 лет, родные братья, не вытерпев истязаний, решили покончить с собой и зарезались в соседнем саду столовым ножом. Младший погиб, старшего удалось вылечить. Узнав об этом самоубийстве, Салтыков, исправлявший тогда должность рязанского губернатора, немедленно же отправил губернскому прокурору (тогда они еще назывались стряпчими) «весьма нужную» официальную бумагу, в которой сообщал: «Вчера 27 сентября, два мальчика, находящиеся в услужении у полковницы Кислинской, проживающей в Рязани у г. Вельяшева, покусились на собственную жизнь. При этом в городе существует молва, что покушение это произошло от многократно повторявшихся жестоких истязаний как со стороны владелицы их, так и со стороны г. Вельяшева... А посему предписываю вам о происшествии этом произвести строжайшее формальное следствие, по окончании

¹ «Русский Архив» 1895 г., т. I, стр. 64.

представив оное ко мне»¹. Дальнейшее течение дела последовало уже после отъезда Салтыкова из Рязани; для характеристики быта той эпохи интересно упомянуть, что и Рязанской уездный суд и Рязанская уголовная палата вполне оправдали Кислинскую и Вельяшева.

Кроме этого дела известно нам и еще одно, тесно связанное с готовящейся реформой по крестьянскому делу и с попытками местных рязанских помещиков разными махинациями обойти приближавшееся освобождение крестьян. Это дело фабрикантов братьев Хлудовых так запомнилось Салтыкову, что ровно тридцать лет спустя он в «Мелочах жизни» рассказал о нем, как о типичном деле эпохи начала эмансипации. «Это было уже в 1859 году, и я служил тогда в одной из ближайших к Москве губерний,— рассказывает там Салтыков.— В то же время в одном из уездных городов процветал и имел громадную фабрику купец Чумазый. Он очень ловко воспользовался паникою, овладевшею помещичьей средою, и предлагал желающим очень выгодную сделку. Сделка состояла в том, что крестьянам и дворовым людям, тайно от них, давалась «вольная», и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с хитроумным фабрикантом. Всё это за дешевую плату легко оборудовал местный уездный суд, несмотря на то, что в числе закабаливших себя были и грамотные (По закону, уездный суд обязан был вручить вольную каждому отпускаемому лично, в присутствии суда, и опросить, желает ли он быть вольным). И вольная, и контракты прямо отданы были в руки фабриканту; закабаленные же полагали, что над ними проделываются остатки старых порядков, и что помещик просто отдал их в работу, как это делалось и прежде... Для помещиков эта операция была несомненно выгодна. Во-первых, Чумазый уплачивал хорошую цену за одни крестьянские тела; во-вторых, оставался задаром крестьянский земельный надел, который в тех местах имеет значительную ценность. Для Чумазого выгода заключалась в том, что он на долгое время обеспечивал

¹ В. М. Гайдуков, «М. Е. Салтыков как администратор», «Русская Мысль» 1914 г., № 6. См. также С. Н. Егоров, «Воспоминания о М. Е. Салтыкове», «Сын Отечества» 1900 г., № 135. О кипучей административной деятельности Салтыкова в эти годы см. статью бар. Н. В. Дризена «Салтыков в Рязани», «Исторический Вестник» 1900 г., № 2.

себя дешевой рабочей силой. Что касается до закабаляемых, то им оставалось в удел надежда, что невзгода настигает их... в последний раз! Однакож дело раскрылось раньше, нежели на это рассчитывали...» («Мелочи жизни», Введение, 1886 г.).

В этом месте Салтыков рассказал о действительном происшествии времен своей административной службы: описываемый им провинциальный город — Егорьевск Рязанской губ., а купец Чумазый является псевдонимом фабрикантов Хлудовых. Ряд источников по истории рязанского землевладения в начале шестидесятых годов совершенно точно вскрывает, о каком деле говорил Салтыков в этом своем отрывке конца восьмидесятых годов. Вот, например, краткое изложение этого дела по основным архивным источникам (Дело канцелярии Рязанского губернатора, № 45):

«В конце 1857 года помещики Егорьевского и Зарайского уезда: Афанасьев, Буковский, Злобин, Улитин, Гаферланд, Алабин, Мельгунова, Тимофеева, Веселкин и Бранд, продали своих крестьян на фабрику братьев Хлудовых в Егорьевске. Но так как по закону такая продажа не имела места, ибо купцы не могли приобретать крепостных людей, то была изобретена следующая форма. Между управлением фабрики и крестьянами заключены контракты по работе на фабрике, с выдачею помещикам вперед всех выкупных денег, в виде аванса по заработной плате, за что крестьяне и должны были отработать фабрике в течение нескольких лет; затем совершены были отпускные, переданные в управление фабрики. Таким образом формально свободные люди вновь очутились в крепостной зависимости у братьев Хлудовых»¹.

Но дело раскрылось, и раскрыл его именно Салтыков, когда узнавшие в конце концов об этой хитрой механике обманутые крестьяне «нагрянули целой толпой в губернский город,— рассказывает Салтыков,— с жалобами на то, что накануне освобождения их сделали вольными помимо их желания». Но и это дело закончи-

¹ А. П о в а л и ш и н, «Рязанские помещики и их крепостные» (Рязань 1903 г.), стр. 173. См. также «Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссии» 1890 г., № 8, стр. 137, и «Воспоминания об М. Е. Салтыкове» С. Н. Егорова, «Сын Отечества» 1900 г., № 138.—В одной из следующих глав (гл. VIII) мы еще увидим, что особенно подробно на деле братьев Хлудовых Салтыков остановился в статье «Еще скрежет зубовой», запрещенной цензурой в марте 1860 года.

лось уже после отъезда Салтыкова из Рязани: «чем кончилось это дело, я не знаю,— заключает Салтыков,— так как вскоре я оставил названную губернию». Однако еще будучи в Рязани, Салтыков использовал это дело, взяв из него материал для небольшой одноактной комедии «С'езд», запрещенной в то время цензором и напечатанной через три года под заглавием «Соглашение». Об этой вещи еще будет речь в следующей главе.

По этим двум дошедшим до нас примерам можно судить и вообще об административной деятельности Салтыкова в Рязани. Деятельность эта, как уже было указано выше, вызвала величайшую ненависть к Салтыкову местного дворянства; скоро положение его осложнилось и назначением в Рязань в сентябре 1859 года нового губернатора, Муравьева, «одного из подлейших людей в России и сквернейших губернаторов»,— как сообщается о нем в современных «Материалах для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России». Этот Муравьев был сыном пресловутого вскоре Муравьева-Виленского; достойный сын своего отца, он сразу сделал для Салтыкова невозможным дальнейшее пребывание в Рязани. В письме к Дружинину от 20 ноября 1859 г. Салтыков сообщал: «У нас переменили губернатора и дали одного из сукиных детей Муравьевых. Положение мое самое скверное»... А через месяц в письме к Анненкову Салтыков сообщал подробнее и о новом губернаторе, и вообще о рязанских делах: «Нам переменили губернатора и дали Муравьева, который откровенно принял губернию за лакейскую и действует en conséquence. Я ему объявил, что с ним служить не намерен, и так как он уехал на днях в Петербург, то просил его заявить об этом министру. Рязанские дворяне начали было выборы шумно, а кончили постыднейшим образом. Муравьев обошел их совершенно и оказал себя при этом величайшим подлецом. Представьте себе: меня хотели было судить за демократизм»¹. Последнее известие особенно драгоценно, так как восполняет скудные данные о направлении административной деятельности Салтыкова в Рязани.

Совершенно такую же деятельность эта была и в Твери, куда Салтыков был к величайшей своей радости переведен 3 апреля 1860 г., вступив в исправление должности лишь 25 июня того же

¹ «Письма», т. I, №№ 11 и 12.

года. Здесь он вел ту же самую работу, что и за два года рязанского вице-губернаторства. Для исследователей литературной деятельности Салтыкова эпохи его службы в Твери особенный интерес представляет изучение редактировавшихся им «Тверских Губернских Ведомостей», о которых, впрочем, можно лишь повторить то, что было сказано выше о «Рязанских Губернских Ведомостях». Несомненно, что несколько анонимных статей и в этом официальном губернском органе были написаны Салтыковым; но мы сейчас увидим, что именно в это время, в 1861 году, Салтыков развил довольно кипучую публицистическую деятельность на столбцах не провинциальной, а московской прессы.

Изучение подписанных Салтыковым, как редактором, номеров «Тверских Губернских Ведомостей» 1860—1862 гг. представляет интерес в другом, биографическом отношении: смена подписанных и неподписанных Салтыковым номеров этой газеты позволяет установить частые отпуска Салтыкова — по всей вероятности, и в Москву, и в имение своей матери, где прошло детство Салтыкова. Первый номер губернских ведомостей Салтыков подписал 2 июля 1860 г. (№ 27), и затем до конца года им были подписаны №№ 27—36, 40—42, 46—49, 51—53. В следующем году Салтыковым были подписаны №№ 1, 8—16, 18—21. После этого последнего номера, подписанного 27 мая 1861 года, Салтыков до конца своего пребывания в Твери не принимая никакого участия в редактировании этого официального листка. Интересно отметить, что именно с апреля 1861 года началось печатание ряда его публицистических статей в московских газетах.

Приведенные выше данные показывают, что Салтыков был в отлучке из Твери между 3 сентября и 1 октября, 15 октября и 12 ноября, 3 декабря и 17 декабря 1860 года и между 7 января и 25 февраля, 22 апреля и 6 мая 1861 года. Начиная с мая месяца Салтыков, повидимому, все более и более отходит от административных дел; в связи с публицистической деятельностью этого года у него зарождаются совсем иные, не служебные планы: выйти в отставку и самому стать издателем и редактором журнала, который он собирался издавать в Москве вместе с Унковским и Головачевым, вождями «тверских либералов». Об этом журнале речь впереди; здесь нам достаточно указать на тот факт, что тверской вице-губернатор Салтыков шел рука об руку с представителями

тверской оппозиции, что несомненно предreshало вопрос об окончании административной карьеры Салтыкова¹. Как мы уже знаем, он «по болезни» вышел в отставку 9 февраля 1862 года — как раз в то самое время, когда разыгрался знаменитый эпизод с арестом и преданием суду главных руководителей тверских либералов.

Так закончилась служебная деятельность Салтыкова на посту вице-губернатора; нам остается познакомиться с его публицистической деятельностью 1861 года, чтобы заключить этим рассказ о провинциальной службе Салтыкова и его основных общественных взглядах этого времени, очень ярко отразившихся и в его литературных произведениях этих годов.

IV

Когда Салтыков был еще в Петербурге чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел, он написал в 1857 году замечательную записку «Об устройстве градских и земских полиций», подробно изученную К. Арсеньевым и изложенную в его «Материалах». В записке этой Салтыков восставал против административной централизации, сравнивая бюрократическую централизацию с иезуитским орденом. «И там, и тут,— писал тогда Салтыков,— царствует общее недоверие и пастырей к пастве, и пастырей между собою. И там, и тут всё до такой степени искусственно, что не знаешь, чему более удивляться: терпению ли людей, которые придумали призрачную машину, не имеющую никаких корней в природе человеческой, или долговечности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжает и до днесь существовать и пользоваться правами гражданственности». Представители бюрократии, отдельные агенты правительства, сплошь и рядом являются врагами правительства, ежечасно подрывая доверие к нему народа. В высшей степени интересно, что в виде примера Салтыков приводит положение

¹ Прошел лишь месяц после прибытия Салтыкова в Тверь, как он писал оттуда Анненкову: «Мне в настоящую минуту так гадко жить, как вы не можете себе представить. Тупоумие здешних властей по крестьянскому делу столь изумительно, что нельзя быть без отвращения свидетелем того, что делается. Думаю к осени совсем рассчитаться со службой...» («Письма», т. I, № 16).

следственной части, отличительной чертой которой считает необузданный произвол следователя. Салтыков вспоминал при этом свои собственные недавние подвиги, как следователя по делу о расколе. Общий вывод записки — признание бюрократизма основным злом русской государственной жизни.

Эта характернейшая и крайне смелая по тому времени записка не помешала Салтыкову получить место рязанского вице-губернатора; но мы уже знаем, что такое значительное место в бюрократическом механизме Салтыков занял в ту эпоху общественного и государственного развития России, когда жизнью было выдвинуто парадоксальное противопоставление либеральной бюрократии и крепостнического земства. Неудивительно поэтому, что не отказавшись ни в чем основном от своих взглядов, изложенных в записке 1857 года, Салтыков стал несколько иначе характеризовать роль бюрократии в ее деле осуществления крестьянской реформы шестидесятых годов. С особенной ясностью эти взгляды Салтыкова проявились и в его художественных произведениях той эпохи, в которых сказывается прежнее беспощадно ироническое отношение к бюрократии, и в его публицистических статьях 1861 года, в которых Салтыкову пришлось бороться с представителями крепостнической земщины. Эта борьба на два фронта определяет собою и служебную и литературную деятельность Салтыкова 1858—1862 годов.

О художественной деятельности Салтыкова этих годов речь будет в следующей главе; здесь же остановимся на его газетных полемических статьях 1861 года. Таких статей нам известно всего шесть:

1. Об ответственности мировых посредников.
«Московские Ведомости» 1861 г., № 91 (от 27 апреля).
2. К крестьянскому делу.
«Московские Ведомости» 1861 г., № 94 (от 30 апреля).
3. Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу.
«Московские Ведомости» 1861 г., № 128 (от 11 июня).
4. Ответ г. Ржевскому.
«Современная Летопись» 1861 г., № 26 (июнь).
5. Где истинные интересы дворянства?
«Современная Летопись» 1861 г., № 42 (октябрь).
6. (Второй ответ Ржевскому).
Остался ненапечатанным в рукописях Салтыкова.

Мы вкратце познакомимся со всеми этими статьями Салтыкова, которые помогут нам окончательно установить основные его общественные взгляды эпохи последнего года службы его тверским вице-губернатором.

Первым поводом к написанию Салтыковым этих статей послужила напечатанная в журнале «Наше Время» (1861 г., № 11) статья некоего В. П. Ржевского под заглавием «Несколько слов о дворянстве». Ржевский был в то время одним из типичных идеологов дворянской партии; орловский помещик и видный чиновник, он дозвольно деятельно пописывал статейки — сперва в «либеральных» орианах, а потом и в реакционно-консервативных, отстаивая интересы дворянского класса, возмущаясь диктаторским способом проведения крестьянской реформы бюрократией и являясь рьяным сторонником дворянского самоуправления. В указанной своей статье Ржевский проводил мысль о необходимости привилегированного положения русского дворянства и после крестьянской реформы; доказывал он это тем, что образование составляет привилегию именно дворянского класса. Подчеркивая государственные «заслуги дворянства», Ржевский указывал, что почти все деятели литературы и культуры «принадлежат к тому классу, который мы называем дворянством, а все прочие классы, вместе взятые, не могут доставить и десятой доли подобного блестящего списка». Ожидая многого для дворян-помещиков от принципа независимости мировых посредников, только что приступавших тогда к своей работе по реализации Положения 19 февраля, Ржевский особенно подчеркивал, что провинциальная бюрократия не имеет права вмешиваться в эти действия мировых посредников.

Эта статья и послужила поводом к ответу Салтыкова, напечатанному в «Московских Ведомостях» от 27 апреля 1861 г. (№ 91) под заглавием «Об ответственности мировых посредников». В статье этой Салтыков иронически относится к положению Ржевского, что умственная образованность, как привилегия высших слоев общества, должна служить причиной преобладания их над прочими слоями народа; впрочем, на эту тему Салтыков подробнее ответил в другой своей статье «Ответ г. Ржевскому», о которой ниже. Основой же темой этой первой статьи Салтыкова явился вопрос о независимости мировых посредников и об ответственности их; Салтыков и указывал именно, что независимость эта не осво-

бождает от ответственности. Как мы уже знаем, Салтыков с опасением относился к принципу назначения мировых посредников губернаторами и думал, что протекция разных высоких лиц может отрицательно отразиться на подборе кадра мировых посредников. Салтыков опасался, что на должность эту попадут мало-подготовленные или даже недостойные лица вследствие протекции высоких особ, с которой придется иметь дело губернаторам. «Не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет статский советник Стрекоза — и та, и другой неустанно строчат рекомендательные письма». В этой иронической фразе Салтыков несомненно метит в Мину Ивановну, всесильную тогда содержанку министра Адлерберга, которая за взятки и приношения раздавала чины, аренды и должности; говорю о пьесе Салтыкова «Тени», написанной в это же время, мы еще встретимся с той же Миной Ивановной под именем Клары Федоровны.

Итак, выбор мировых посредников может не всегда оказаться удачным. Но каков бы ни был этот выбор, деятельность мировых посредников должна проходить под строгим надзором общества, и независимость их нельзя смешивать с безответственностью, которая ведет только к тому произволу, каким отличалась деятельность безответственной администрации. Резкие выпады против административного произвола заканчивают эту статью Салтыкова — выпады с точки зрения начальства вполне непристойные в уста вице-губернатора. А между тем статью эту, помеченную «27 апр. 861 г.», автор подписал полным своим именем — М. Салтыков, как и все остальные статьи на эти темы в газетах 1861 года. Это было смелым шагом с его стороны, ясно показывавшим, что Салтыков не дорожит дальнейшей своей административной карьерой. Это доказывало и заключение статьи, в котором Салтыков предлагает устраивать ежегодные губернские съезды мировых посредников — съезды, которые без всякого разрешения начальства и стали проводиться мировыми посредниками прежде всего именно в Тверской губернии. К каким последствиям привели эти тверские съезды — об этом мы уже говорили.

Как указано выше, статью эту Салтыков поместил 27 апреля 1861 года — и появилась она в номере «Московских Ведомостей» в тот же день 27 апреля. Это показывает, что Салтыков писал ее в Москве (как и следующую статью от 30 апреля); мы уже видели

выше, что между 22 апреля и 6 мая этого года Салтыков был в отпуску и мог сразу же, будучи в Москве, отозваться на возмущившую его статью Ржевского. Характерно и то обстоятельство, что местом для своей статьи Салтыков выбрал «Московские Ведомости» — наиболее либеральную из газет того времени, редактировавшуюся тогда В. Ф. Коршем и еще не ставшую органом реакции, каким она сделалась в руках Каткова с 1863 года.

Через три дня Салтыков поместил в этой же газете вторую свою статью — «К крестьянскому делу», в которой предостерегал правительство от слишком доверчивого отношения к жалобам помещиков на неповиновения и бунты крестьян в связи с проведением в жизнь освобождения последних. Он восставал против «каркателей гнусностей», которые радостно пользуются всякими слухами о недоразумениях между крестьянами и помещиками. К понятию «крестьянские волнения» — говорил Салтыков — надо относиться очень осторожно; чаще всего волнения эти объясняются с одной стороны неясным пониманием крестьянами Положения 19 февраля, а с другой — произволом помещиков.

На эту же тему написана Салтыковым через месяц и статья «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу», помеченная 2 июня 1861 года и напечатанная в № 128 (от 11 июня) тех же «Московских Ведомостей». Салтыков заявлял решительный протест против «решения возникающих вопросов при посредстве полицейских мер»; он считал, что причинами волнения крестьян часто является произвол помещиков и что административное вмешательство часто необходимо не в защиту помещиков, а против них и в защиту крестьян. К тому же он указывал, как часто помещики раздувают самые мелкие столкновения свои с крестьянами до степени «волнения» и «бунта», требуя вмешательства полицейских и военных властей. «Какой-нибудь староста Аким подольстится к барыне, что «у нас-де, сударыня, Ванька-скот давича на всю сходку орал: а пойдем-ка, братцы, к барыне, пускай она водки нам поднесет!» — вот уж и бунт. И барыня Падейкова пишет туда, пишет сюда, на весь околоток визжит, что честь ее поругана, что права ее попораны»...

Все эти предупреждения Салтыкова были крайне своевременны, но конечно не могли сыграть никакой практической роли. «Крестьянские волнения», раздувавшиеся помещиками, стали подавляться

правительством, по предписанию министра внутренних дел Валуева, с небывалой жестокостью. В. И. Семевский указывает, что с 19 февраля 1861 по 19 февраля 1863 г. было свыше 1.100 случаев крестьянских волнений, потребовавших применения полицейской и солдатской силы. В Казанской губернии в селе Бездна 12 апреля 1861 г. произошел расстрел многотысячной толпы крестьян; арестованный «зачинщик», крестьянин Антон Петров, был после этого расстрелян. Этот «безднинский расстрел» сыграл громадную роль в дальнейшем определении отношения к правительству радикальных кругов русской интеллигенции; Герцен посвятил ему не одну пламенную страницу в своем «Колоколе». Все это случилось незадолго до первых статей Салтыкова, ставивших своею целью предотвратить подобные выступления и преступления администрации. Попытка оказалась, разумеется, бесплодной, но тем более подчеркнувшей полное расхождение Салтыкова с правительственной линией политики. Как уже было указано, все эти статьи Салтыков подписал полным своим именем.

Пока Салтыков печатал эти три свои статьи, Ржевский написал ответ на первую из них и пытался напечатать его в «Московских Ведомостях». Получив отказ, он обратился к гостеприимству Каткова, в еженедельном политическом журнальчике которого «Современной Летописи» (издававшейся при «Русском Вестнике») и появился «Ответ на статью г. Салтыкова об ответственности мировых посредников» (1861 г., № 22, от начала июня). В ответе этом Ржевский иронизировал, что бюрократу Салтыкову вполне уместно раздражаться независимым положением мировых посредников; независимость их казалась Ржевскому особенно желательной именно в виду того, что дворянская партия ожидала найти в мировых посредниках своих людей. Особенно нападал Ржевский на слова Салтыкова (как оказалось потом — вставленные редакцией «Московских Ведомостей»), что если мировые посредники будут поступать безответственно, то тогда «найдутся средства» поддержать существенный принцип ответственности хотя бы и независимых лиц. «Какие же это средства? — вопрошал Ржевский. — Читаешь, выписываешь и не веришь глазам! Видно, г. Салтыков забыл о прогулке Щедрина в Крутогорскую губернию»... И, играя под либерализм, Ржевский огорченно заявлял: «не прошло пяти лет с того времени, как Щедрин писал свои Губернские очерки, возбуждившие сочувствие

в читателях, несмотря на саркастическую и обличительную форму, как вот г. Салтыков, со всей энергией старого московского дьяка, набрасывается на первый признак освобождения от подьячества»... Ржевский прозрачно намекал, что Салтыков делает это ради карьеры и что «надворный советник Щедрин когда-либо попадет на место крутогорского губернатора»... Намек этот был особенно нелеп: ведь именно эти, подписанные полным именем Салтыкова, статьи закрывали перед ним всякую надежду на какую бы то ни было административную карьеру. В дальнейшей части статьи Ржевский называл Салтыкова «бюрократом» и заявлял, что «независимость мировых посредников от произвола местных начальственных лиц уязвляет бюрократическое сердце г. Салтыкова», которого Ржевский иронически именовал деятелем «школы француза Бабефа и русского полковника Скалозуба»; деятели эти — иронизировал Ржевский — думают, что «чем человек беднее и неразвитее, тем он полезнее, как общественный деятель»... Вообще в своем ответе идеолог помещиков и дворянства Ржевский занял до чрезвычайности «либеральную» позицию против «старого московского дьяка» и «бюрократа» Салтыкова...

Салтыков дал сокрушающий ответ Ржевскому на страницах той же «Современной Летописи» в конце июня 1861 года (№ 26). Этот «Ответ г. Ржевскому» начинался с напоминания о первой статье Ржевского «Несколько слов о дворянстве», в которой доказывалось, что дворянство должно остаться привилегированным классом, так как неотъемлемой привилегией его является образование, в то время как «все прочие классы вместе взятые» не доставляют и десятой доли того списка деятелей литературы и культуры, как дворянство. Возмущенный ответ Салтыкова на это самодовольное утверждение великолепен: «Что это такое: упрек ли, сожаление ли, или просто оскорбление? Если это упрек, то справедливость требовала раз'яснить и причины, вследствие которых «прочие классы» не могли выделить из себя столько замечательных деятелей, как дворянство, и тогда, быть может, упрек пал бы сам собой. Если это сожаление, то, вместо того чтоб сожалеть бесплодно, следовало бы указать на средства к устранению причин, обуславливающих существование предмета сожаления, причин, ни для кого не составляющих тайны. Если это оскорбление, то оно неуместно, ибо направлено против лиц, которые не могут отвечать»...

Но не в этом главная тема ответа Салтыкова, как и не в раз'яснении допущенных Ржевским передержек. Говоря о последних, Салтыков подчеркивает, что в его статье речь шла не об административном давлении на мировых посредников, а «лишь о праве не только правительства, но и общества, контролировать действия посредников»... Салтыков указывает между прочим, что статья его об ответственности мировых посредников «напечатана в Московских Ведомостях не совсем в том виде, в каком была написана, а выражения «найдутся средства», на которое так сильно напирал г. Ржевский, даже вовсе в ней не было». Но все это — мелочи, которые Салтыков отмечает только мимоходом, переходя к главному вопросу — противопоставлению «бюрократии» и «земства». Он не боится слова «бюрократ», которым его «обзывает» Ржевский; Салтыков заявляет, что его ни мало не трогает мнение дворян-помещиков о бюрократии. «Слушать, как рассуждают эти господа о централизации и бюрократии, бывает поистине уморительно. Один доказывает, что децентрализация заключается в учреждении сатрапий; другой мнит, что децентрализация в том состоит, чтобы водку во всякое время пить. — Что такое бюрократ? — спрашивает Мижув. — А вот, братец, — объясняет Ноздрев: — хочу я, например, теперь водки выпить — ан тут бюрократ: стой, говорит, водку велено пить в двенадцать часов, а не теперь»...

Мы еще встретимся с децентрализацией, как с учреждением сатрапий, в позднейших циклах Салтыкова, например в его «Дневнике провинциала в Петербурге»; здесь же для нас интереснее то обстоятельство, что Салтыков охотно принимает на себя кличку «бюрократа», толкуя ее, однако, весьма своеобразно. С одной стороны он заявляет, что бюрократия в России есть только «служилое дворянство»; а с другой, приводя слова Ржевского об «известной школе реформаторов, желающих во что бы то ни стало благодетельствовать низшим классам», Салтыков иронически восклицает: «вот оно, истинное-то значение слова бюрократ!». Ржевский указывал в своей статье, что Салтыков когда-то в известном нам заключении очерка «Неумелые» восставал против чрезмерных забот администрации о населении; Салтыков отвечает, что он ни в чем не переменил своих взглядов. «В убеждениях моих не последовало никаких перемен; я именно желаю того самого, что выражал в заключении очерка Неумелые, но г. Ржевский только не желает

понять меня». И, наконец, в ответ на инсинуацию о желании Салтыкова стать «крутогорским губернатором», выслужившись своими статьями перед начальством, Салтыков кратко отвечал: «о крутогорском губернаторстве я столько же помышляю, сколько он, г. Ржевский, тоскует о губернаторстве, например, орловском». Последний намек брошен недаром, так как Ржевский действительно «тосковал о губернаторстве», как это мы теперь знаем из других источников. Ржевский был не только одним из главарей партии дворян-крепостников, но и видным чиновником министерства внутренних дел; в начале 1863 года он был назначен членом комиссии для выработки закона о печати, а несколько позднее, в 1867 году, был за свою полезную реакционную деятельность награжден высоким чином. Записывая об этом в своем дневнике, А. В. Никитенко отмечает под 28 мая 1867 г.: «Вечером был Ржевский. Его произвели в тайные советники, а места губернатора все-таки ему не дали, как он его ни добивается». Как видим отсюда, стрела Салтыкова о тоске Ржевского по губернаторству была, вероятно, не случайно направленной. — Статью свою Салтыков подписал полным именем и пометил: «Тверь. 10 июня 1861 г.».

Ржевский еще раз ответил Салтыкову сердитой статьёй в июльском номере «Современной Летописи» 1861 года (№ 30). Эта статья — «Письмо к редактору Русского Вестника по случаю полемики с г. Салтыковым об ответственности мировых посредников» — вызвала вторичный ответ Салтыкова Ржевскому, не появившийся, однако, в печати и лишь приведенный в извлечениях К. Арсеньевым в его «Материалах». В ответе этом Салтыков еще раз подходит к главному вопросу противопоставления «бюрократии» и «земства», заявляя, что по основной своей идее это — принципы, взаимно-дополняющие друг друга: «где нет земства, там нет и бюрократии, а есть чепуха, есть бесконечная путаница понятий и отношений, при существовании которых всякий отдельный общественный деятель получает возможность играть в свою собственную дудку». Почему не появился в печати этот второй ответ Салтыкова — неизвестно; быть может, Салтыков счел — и справедливо — слишком ничтожными доводы своего противника и вполне ясной для читателей свою собственную точку зрения, как она ясна теперь и нам. Полугодом позднее, в очерке «К читателю» («Современник» 1862 г., № 2) он лишь пренебрежительно и мимо-

ходом отозвался о «знаменитом публицисте и защитнике свободы Ржевском».

Последней из цикла этих статей Салтыкова была заметка «Где истинные интересы дворянства?», напечатанная в октябрьском номере той же «Современной Летописи» (1861 г., № 42). Основная мысль этой статьи заключается в том, что после 19 февраля 1861 года сословные интересы дворянства утратили свое прежнее значение и что если дворяне не хотят остаться в тылу жизни, то должны искать спасения «в тесном общении с народом». Единственным средством Салтыков считает введение всеобщего земства, являясь, вместе с «тверскими либералами», одним из первых провозгласителей этой идеи. Несколько позднее идея эта приобрела реакционный характер, особенно ярко выраженный в книге Ю. Самарина и Ф. Дмитриева «Революционный консерватизм» (Берлин 1875 г.); еще позднее, уже в начале XX века, эта же идея характеризовала собою, наоборот, взгляды земского либерализма. В этом последнем смысле одним из родоначальников этой идеи можно считать Салтыкова в разбираемой статье «Где истинные интересы дворянства?»¹. Салтыков проводит мысль о необходимости всеобщей волости, как единственного средства общения бывших помещиков с народом. «Необходимо сближение деятельное, сближение действительное. Средство к такому сближению одно. Оно представляется в том, чтобы помещик стал сам членом того сельского общества и той волости, в районе которых находится его поместье». При этом, по мысли Салтыкова, помещик должен принять участие в платеже податей и земских повинностей наравне с крестьянами и соразмерно с количеством его земли. Нечего и говорить о том, насколько такое предложение должно было разъярить дворян-крепостников и сделать Салтыкова окончательно «неблагонадежным» в глазах правительства. В своих предложениях Салтыков шел дальше «тверских либералов», с которыми правительство вскоре так решительно расправилось. Неудивительно, что

¹ Дворянин Н. Карцев отвечал Салтыкову в «Современной Летописи» (1861 г., № 50) статьей, в которой подчеркивал независимость помещиков от сельского общества, и заявлял, что «пора поставить вопрос о дворянских привилегиях». С тех пор дворянская реакция реформам шестидесятых годов успешно развивалась до конца XIX века; Салтыков умер в разгаре ее и боролся с ней до конца своей деятельности.

и судьба Салтыкова была предрешена; не ожидая указаний свыше, он сам, как мы знаем, «по болезни» вышел в отставку 9 февраля 1862 года.

Так закончилась административная деятельность Салтыкова на посту вице-губернатора, о которой он мог впоследствии вспоминать не краснея. Он бросил службу, желая всецело отдаться литературной и именно журнальной деятельности, попытавшись создать собственный свой журнал; о судьбе этого неразрешенного правительством предприятия еще придется сказать ниже. Пока же нам необходимо вернуться к рассмотренным четырем годам деятельности Салтыкова (1858—1862 гг.) и познакомиться уже не с его административной работой этих годов, а с продолжением его художественной деятельности, так блестяще начатой «Губернскими очерками». Здесь же в заключение можно кстати упомянуть о том, что к концу рассмотренного нами времени, в 1861—1862 гг. Салтыков приобрел под Москвой на имя жены небольшое имение Витенево (в 680 десятин), в котором попробовал хозяйничать, применяя «вольный труд» и новейшие способы обработки земли. Это обстоятельство представляет и значительный литературный интерес потому, что впоследствии ярко было описано в двух циклах Салтыкова — «Благонамеренных речах» и «Убежище Монрепо». Но это уже произведения семидесятых годов; теперь же нам надо вернуться к произведениям Салтыкова, непосредственно примыкающим и по времени и по темам к его «Губернским очеркам».

Глава VII

ПРОДОЛЖЕНИЕ «ГУБЕРНСКИХ ОЧЕРКОВ». «КНИГА ОБ УМИРАЮЩИХ»

I

Чиновник особых поручений в Петербурге, вице-губернатор в Рязани и Твери — Салтыков продолжал оставаться надворным советником Щедриным, помещая под этим псевдонимом целый ряд очерков в журналах 1857—1862 гг. Творческие планы Салтыкова за эти годы можно вскрыть анализом последовательно появлявшихся его произведений и характерными данными, сохранившимися в его черновых рукописях. Представляется несомненным, что сперва Салтыков задумал написать четвертый том «Губернских очерков» (третий вышел в сентябре 1857 года), и в течение двух ближайших лет (1857—1859 гг.) напечатал целый ряд произведений, теснейшим образом примыкающих к «Губернским очеркам» и по темам, и по стилю, и по действующим лицам. Вот эти произведения в хронологическом порядке их появления в журналах, не всегда совпадающего с порядком их написания:

1. Смерть Пазухина. Комедия в 4-х действиях.
«Русский Вестник» 1857 г., № 10.
2. Жених.
«Современник» 1857 г., № 10.
3. Приезд ревизора.
«Русский Вестник» 1857 г., № 12.

4. Святочный рассказ.
«Атеней» 1858 г., № 1—2.
5. Утро у Хрептюгина.
«Библиотека для Чтения» 1858 г., № 2.
6. Развеселое житье.
«Современник» 1859 г., № 2.
7. Соглашение («Недавние комедии»).
8. Погоня за счастьем («Недавние комедии»).
«Время» 1862 г., № 4.

Как видно из этого списка, между февралем 1858 и февралем 1859 гг. мы имеем пробел в один год, в течение которого Салтыков, только что назначенный рязанским вице-губернатором, не имел времени для художественного творчества, весь уйдя в служебную работу. За этот год он напечатал, как сейчас это увидим, только два небольших отрывка «Из книги об умирающих», которую задумал почти одновременно с планом продолжения «Губернских очерков». Следует отметить также, что одна из напечатанных во «Времени» 1862 года «Недавних комедий» Салтыкова была написана им еще в 1859 году и лишь по цензурным препятствиям не увидела тогда света. Таким образом рассказы, являющиеся продолжением «Губернских очерков» и предполагаемым четвертым томом их, были написаны Салтыковым в 1857—1859 гг.; но Салтыков вскоре отказался от мысли об этом четвертом томе и несколькими годами позднее поместил часть перечисленных выше произведений в своих сборниках «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы», вышедших в 1863 году.

Еще работая над продолжением «Губернских очерков», Салтыков пришел к теснейшим образом связанной с ними «Книге об умирающих» и напечатал ряд очерков на эту тему, в течение 1858—1859 гг. В порядке напечатания это были:

1. Два отрывка из книги об умирающих.
«Русский Вестник» 1858 г., № 3.
2. Генерал Зубатов («Из книги об умирающих»).
«Московский Вестник» 1859 г., № 3.
3. Гегемониев («Из книги об умирающих»).
«Московский Вестник» 1859 г., № 15.
4. Госпожа Падейкова («Из книги об умирающих»).
«Русская Беседа» 1859 г., т. IV.

Б. Яшенъка.

«Сборник литературных статей, посвященных русскими литераторами памяти А. Ф. Смирдина», Спб. 1859 г., т. VI.

6. Погребенные за-живо.

«Московский Вестник» 1859 г., № 46.

Сравнение этого списка с предыдущим показывает, что 1858 год и здесь явился таким же пробелом в творчестве Салтыкова, как и в продолжении им «Губернских очерков». Кроме того видно, что 1859 год Салтыков посвятил главным образом «Книге об умирающих», в то время как 1857—1858 гг. были посвящены продолжению «Губернских очерков». Оба эти плана постигла одинаковая судьба: Салтыков отказался от мысли закончить «Книгу об умирающих» и разместил почти все очерки из нее в «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах».

Нам предстоит теперь проследить в хронологическом порядке написания за всеми этими произведениями Салтыкова 1857—1859 гг. завершающими собою первый этап его художественного творчества начала шестидесятых годов. Сперва обратимся к продолжению «Губернских очерков», а потом — к неосуществленной «Книге об умирающих».

II

В 1902 году в Омске гастролировала труппа артистов, выпустившая следующую замечательную афишу о пьесе Салтыкова «Смерть Пазухина»:

«В первый раз в городе Омске Салтыков-Щедрин (сатирик) — «Смерть Пазухина». Пьеса эта по своему научно-интересно-образовательно-воспитательному характеру, как единственное произведение для сцены нашего маститого русского писателя-сатирика, представляет громадный интерес для всех классов общества и служит гордостью отечественной литературы; за границей, переведенная на французский, немецкий и английский языки, не сходит с репертуара первоклассных сцен. Переделанная на модный всенародный язык волапук идет с большим успехом в товариществе артистов, во главе с Сарой Бернар, гастролирующих в Америке»¹.

Эта курьезная афиша, переполненная анекдотическими и небывальными фактами, говорит все же об успехе «Смерти Пазухина» на рус-

¹ «Курьер» 1902 г., № 38.

ской сцене, закрепленном замечательной постановкой этой пьесы Московским Художественным Театром. Сам Салтыков иначе относился к этому своему произведению, считал его «гадостью», не любил вспоминать о нем и не включил ни в один из сборников своих произведений при своей жизни. Первым отдельным изданием пьеса эта вышла только в 1894 году, уже через пять лет после смерти Салтыкова.

И чрезмерная строгость Салтыкова, и чрезмерная восторженность омских актеров — одинаково не соответствуют действительности. В сущности, «Смерть Пазухина» явилась в свое время недурной бытовой пьесой, написанной под явным влиянием Островского и, быть может, именно в этом отношении недостаточно характерной для самобытного творчества Салтыкова. Провинциальное купечество было монополией пьес Островского; самодурство Прокофия Пазухина в последнем действии пьесы слишком напоминало многообразных Тит Титычей Островского, для того чтобы Салтыков мог впоследствии признать эту пьесу «своей» и включить ее в ряд своих произведений. Он был неправ, потому что «Смерть Пазухина», по форме примыкающая к Островскому, по существу тесно связана с «Губернскими очерками», что для нас в настоящее время представляет наибольший интерес.

Сохранившийся на 36 листах полный автограф-черновик этой пьесы показывает нам, что первоначально «Смерть Пазухина» включалась Салтыковым в цикл «Губернских очерков». Пьеса эта сперва была озаглавлена «Смерть», потом заглавие было переделано на «Царство Смерти», при чем полное заглавие черновика гласит: «Губернские очерки. Царство Смерти. Комедия в 4-х действиях». Таким образом видно, что по первоначальному замыслу Салтыкова пьеса эта должна была войти в то, что выше мы назвали четвертым томом «Губернских очерков»¹. В первой книге октябрьского номера «Русского Вестника» за 1857 год комедия эта появилась уже под заглавием «Смерть Пазухина» и с посвящением В. П. Безобразову, так много сделавшему для появления «Губернских очерков» на страницах «Русского Вестника». Последний, третий том «Губернских очерков» вышел в сентябре 1857 года; пьеса Салтыкова появилась в следующем же октябрьском номере журнала.

¹ Рукопись Салтыкова в Бумагах Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича.

Старик Пазухин, семья его сына Прокофия Иваныча, приживалка Живоедова и целый ряд других лиц целиком взяты из Островского; статский советник Фурначев с женой Настасьей Ивановной и отставной подпоручик Живновский перешли в пьесу со страниц «Губернских очерков». Интересно отметить и отраженное влияние «Смерти Пазухина» в свою очередь на позднейшее творчество Островского: мещанин Никола Велегласный, начинающий собой пьесу Салтыкова, впоследствии был развит Островским в приказного Мудрова («Тяжелые дни»); из слабо набросанного Салтыковым лица Островский сделал яркий тип.

Первоначальные заглавия «Смерти Пазухина» заставляют думать, что «Царство Смерти» могло подать Салтыкову первую мысль для «Книги об умирающих»; отказавшись от продолжения «Губернских очерков», Салтыков несомненно включил бы в «Книгу об умирающих» и эту столь подходящую для нее по теме пьесу, если бы вскоре не отказался и от плана осуществления этой своей второй книги. Вообще надо сказать, что темы продолжения «Губернских очерков» и составления «Книги об умирающих» — тесно пересекаются между собой, так что совершенно естественен переход от одной книги к другой в творческих планах Салтыкова 1857—1859 гг. Что же касается драматической формы «Смерти Пазухина», то первые попытки ее мы видели уже в «Губернских очерках», где драматические сцены представляли собою целый отдел. Мы еще увидим, что через несколько лет Салтыков сделал и еще одну — последнюю — попытку написать большую вещь в драматической форме, попытку тотчас же признанную им самим окончательно неудачной. В драматической же форме им было написано в начале 1858 года «Утро у Хрептюгина» — как сейчас увидим, всецело взятое из черновика «Смерти Пазухина».

«Утро у Хрептюгина», напечатанное в февральском номере «Библиотеки для Чтения» за 1858 год, должно следовать за «Смертью Пазухина» не только вследствие общности драматической формы, но и строго-хронологически, так как оно представляет собою не что иное, как выделенный в особую пьесу ряд сцен из черновика «Смерти Пазухина» («Царства Смерти»). Пятая сцена этой первой редакции начиналась с появления сына Прокофия Пазухина, Гаврилы Прокофьевича, извещающего о прибытии чиновника особых поручений при князе Чебылкине, Разбитного, хорошо известного читателю

уже по «Губернским очеркам». Далее в «Царстве Смерти» следовал ряд сцен, изъятых автором из «Смерти Пазухина» и сделанных отдельным драматическим очерком «Утро у Хрептюгина». Гаврило Прокофьевич совсем исчез из «Смерти Пазухина» (о нем только упоминается в этой пьесе) и обратился в молодого Хрептюгина (Démétrius), уже выведенного в очерке «Хрептюгин и его семейство» из «Губернских очерков». Там ему, однако, было только восемь лет; здесь, в «Утре у Хрептюгина», он уже великовозрастный двадцатилетний балбес, выросший за полгода между появлением этих произведений на целые двенадцать лет. Проходимец Понжперховский, отставной штаб-лекарь Доброзраков — целиком перенесены из черновиков «Смерти Пазухина» в «Утро у Хрептюгина»; приживалка-экономка Хрептюгиных Гнусова переименована из такой же экономки-приживалки Живоедовой в «Смерти Пазухина». Таким образом «Утро у Хрептюгина» является лишь фрагментом черновика «Смерти Пазухина», вынутым из пьесы и сделанным самостоятельным драматическим очерком. Все это станет совершенно ясным, когда на ряду со «Смертью Пазухина» будет напечатано и неизданное доселе «Царство Смерти».

Мы видим таким образом теснейшую связь между «Утром у Хрептюгина» и «Губернскими очерками» через промежуточную ступень составлявшего часть последних «Царства Смерти». Можно указать даже, в какой отдел предполагаемого четвертого тома «Губернских очерков» Салтыков собирался внести «Утро у Хрептюгина». В «Библиотеке для Чтения» эти сцены напечатаны под общим заглавием «Губернские честолюбцы», за которым под номером римской единицы следует «Утро у Хрептюгина». Отсюда ясно, что Салтыков собирался написать второй (а может быть, и третий, и четвертый) очерк для этого нового отдела «Губернских честолюбцев», но не осуществил этого плана, вообще отказавшись от продолжения «Губернских очерков».

В тот же месяц, когда «Смерть Пазухина» была напечатана в «Русском Вестнике», на страницах «Современника» появился очерк Салтыкова «Жених», с подзаголовком «Картина провинциальных нравов» и с посвящением другу Салтыкова той эпохи, профессору истории П. В. Павлову, оказавшему в то время значительное влияние на исторические взгляды Салтыкова и даже на круг тем его произведений той эпохи. Очерк «Жених» постиглы та же

судьба, что и «Смерть Пазухина»: Салтыков никогда не перепечатывал его в сборниках своих произведений, и очерк этот так и остался до сих пор погребенным на страницах «Современника» 1857 года, а потому и неизвестным громадному большинству читателей. В этом случае Салтыков был вполне прав: очерк был крайне неудачным, совершенно не самостоятельным и не мог идти в сравнение с другими из «Губернских очерков». А между тем принадлежность «Жениха» именно к «крутогорскому циклу» совершенно несомненна, как несомненно и то, что очерк этот должен был входить в состав предполагаемого четвертого тома «Губернских очерков».

Уже первые строки очерка «Жених» приводят читателя «к гостинице губернского города Крутогорска», а на последующих страницах перед нами дефилируют, точно на параде, разнообразнейшие герои, встречавшиеся в первых трех томах «Губернских очерков». Здесь и купец Пазухин, и статский советник Фурначев, и Порфирий Петрович, и генерал Голубовицкий с женой, и помещик Загржембович, и чиновник особых поручений Разбитной, и губернский Мефистофель Корепанов, и приятное семейство Размановских, и божья коровка Рогожкин, и авантюрист Горехвастов. Упоминается и статский советник Стрекоза, прошедший до самых последних произведений Салтыкова, и влиятельная столичная дама Каролина Карловна, содержанка некоего «барона», которую в уже знакомых нам статьях 1861 года Салтыков именовал Матреной Ивановной, а в пьесе «Тени» — Кларой Федоровной, и прототипом которой была пресловутая Мина Ивановна, содержанка графа Адлерберга. Но не в этих эпизодических лицах дело, а в тех главных героях «Губернских очерков», которые собраны целой коллекцией в очерке «Жених», устанавливая этим самую тесную связь между этим очерком и всем крутогорским циклом.

Связь эта настолько несомненна, что доказывать ее особенно подробно не приходится; важнее остановиться на том новом, что привнесено Салтыковым в этот очерк, свидетельствуя о поисках новых путей и о попытке Салтыкова выйти из форм уже законченного по существу цикла «Губернских очерков». Это новое оказалось, однако, очень старым и было по существу возвращением, с одной стороны, к истокам гоголевского творчества, а с другой — к попыткам «натуральной школы» обострить основные элементы

творчества своего родоначальника. «Жених» открывается тем, что в губернский город Крутогорск везжает Иван Павлыч Вологжанин со слугою Мишкой, останавливается в гостинице и ведет с нумерным разговоры о местных чиновниках и помещиках, преследуя при этом тайные матримониальные цели. Все это до такой степени повторяет собою начало «Мертвых душ» Гоголя, приезд Чичикова со слугою Селифаном в губернский трактир и беседы его с половым, что это введение Салтыковым «новой» темы является, в сущности, лишь возвращением на пятнадцать лет назад, к первому тому «Мертвых душ». Иван Павлыч Вологжанин до такой степени повторяет Павла Иваныча Чичикова, начиная с перевернутого имени и отчества, что Салтыков не счел нужным маскировать это и даже придал своему герою точную внешность Чичикова и повторил в своем описании ряд подробностей из быта гоголевского героя. Он не только не скрывал этой своей зависимости, но даже подчеркивал ее, восклицая «милый Гоголь!» при описании провинциальных девиц. Таким образом то новое по сравнению с «Губернскими очерками», что было внесено Салтыковым в очерк «Жених», было, по существу, очень старым, и не этим приемом можно было прорвать уже застывавшие формы «Губернских очерков».

Не более удачным оказался и другой прием, тоже идущий от Гоголя и особенно от «натуральной школы» его продолжателей. Это был прием шаржа, громадным мастером которого впоследствии был Салтыков, но который был здесь употреблен им подражательно и крайне неудачно. Элементом шаржа в «Женихе» является капитан Махоркин, зародившийся не без влияния капитана Копейкина Гоголя; все связанное с Махоркиным написано в тонах шаржа, вплоть до пейзажа и до самых мелких бытовых подробностей. Ироническая фантастика и шарж Гоголя и его последователей сказываются во всем эпизоде, посвященном в «Женихе» лесничему Махоркину; фантастикой и шаржем проникнуто описание первого же появления Махоркина в Крутогорске, когда в связи с этим появлением «весь крутогорский край, до того времени благодатный, несколько лет сряду был поражаем бездождем, причем в воздухе пахло гарью и тлением и летали неизвестной породы хищные птицы, из которых одну в последствии времени, к всеобщему удивлению, опознали в лице окружного начальника Виловатого». Подобным приемом дан весь Махоркин, лишь повторяя

многие не более удачные попытки представителей «натуральной школы» развить уже намеченные и проявленные Гоголем приемы.

Попытка Салтыкова оказалась неудачной, но путь бессознательно был намечен верный: впоследствии именно шарж, социальный и бытовой, сыграл огромную роль в творчестве Салтыкова, совершенно своеобразно окрасив ряд самых выдающихся его произведений. «Жених» был в этом отношении лишь первым и неудачным опытом, справедливо зачеркнутым впоследствии Салтыковым и остающимся до сих пор неизвестным читателям его собрания сочинений. Здесь следует отметить, что часть материала из этого очерка Салтыков перенес впоследствии в другие свои произведения, как перенес и содержанку барона, и уже встречавшегося в «Губернских очерках» статского советника Стрекозу. В виде примера можно указать на сон Мишки, который в ночном кошмаре видит, что никак не может растопить печку.—«Что за чудо!»— кричит он во сне и просыпается. В рассказе 1863 года «Деревенская тишь» слуга Ванька «видит во сне, что он трети сутки все чистит один и тот же сапог и никак-таки вычистить не может.— Что за чудо!— кричит он во сне, и как оглашенный вскакивает с одра своего». Здесь самозаимствование доходит даже до буквального повторения фраз. Другой пример: известный из «Губернских очерков» Порфирий Петрович советует будущему своему зятю, Вологжанину, «обратиться за наставлениями к двоюродному моему брату по жене, отставному коллежскому ассесору Зиновию Вахарычу Гегемониеву», который «не откажется понапутствовать молодого человека». Эту тему Салтыков тогда же перенес в очерк «Гегемониев», включенный им в «Книгу об умирающих». В этом, между прочим, лишнее доказательство тесной связи «Книги об умирающих» с предполагавшимся четвертым томом «Губернских очерков».— В заключение можно отметить, один мелкий факт, еще раз подчеркивающий связь фамилий героев «Губернских очерков» и других одновременных произведений Салтыкова с фамилиями деятелей вятской провинциальной администрации: лесничий Махоркин из «Жениха» мог получить свою фамилию от служившего при Салтыкове в Вятской губернии лесничего Махаева, которого можно найти не один раз на страницах вятской губернской газеты¹.

¹ См., например, «Вятские Губернские Ведомости» 1848 г., № 41, стр. 294.

Через два месяца после «Смерти Пазухина» и «Жениха» Салтыков напечатал в декабрьском номере «Русского Вестника» за 1857 год очерк «Приезд ревизора», тесная связь которого с «Губернскими очерками» до того очевидна, что подробно останавливаться на ней не приходится. Тут попрежнему Крутогорск с губернатором генералом Голубовицким и его великолепной супругой Дарьей Михайловной, со статским советником Фурначевым и его женой, с чиновником особых поручений Разбитным, со всем губернским штатом чиновников и даже с ябедником Перегоренским, упоминая о котором Салтыков в журнальном тексте рассказа и ссылается на «Губернские очерки». Все это — последние воспоминания о вятских впечатлениях, хотя Салтыков несколько модернизирует их, заставляя чиновных крутогорских любителей разыгрывать прошумевшую уже после отъезда Салтыкова из Вятки пьесу гр. Соллогуба «Чиновник». Однако приводимая в рассказе рецензия местного чиновника об этом спектакле является явной пародией на статью некоего Тянгинского о местном любительском спектакле в Вятке, напечатанную в вятской губернской газете еще в 1852 году и очевидно хорошо запомнившуюся Салтыкову¹.

Несомненно, вятскими впечатлениями навеян и следующий очерк Салтыкова, его «Святочный рассказ», напечатанный через месяц после предыдущего в первой книжке журнала «Атеней» за 1858 год. Мы не будем останавливаться на этом рассказе потому, что уже сделали это, говоря о следовательских подвигах Салтыкова в Вятке и его позднейшем раскаянии. Уже по одному этому связь этого рассказа, рисующего и пейзаж и быт Вятской губернии, с «Губернскими очерками» — совершенно очевидна и не требует дальнейших доказательств. Здесь следует упомянуть лишь о яркой «народнической» странице, составляющей стержень всего рассказа: страница эта впоследствии была развита Салтыковым в большое отдельное произведение «Сон в летнюю ночь», являющееся одним из центральных во всем его творчестве по характеристике отношения его к «народу». Салтыков подчеркивает глубокую связь свою с этим загадочным «народом» и указывает, «что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно-бьющим

¹ «Вятские Губернские Ведомости» 1852 г., № 22.

источникам народной жизни». Будущее «народничество» Салтыкова, сказавшееся уже в «Губернских очерках» и впоследствии получившее столь яркое развитие, впервые с достаточной полнотой сформулировано именно в этом рассказе¹.

После этого рассказа Салтыков напечатал в мартовском номере «Русского Вестника» за 1858 г. два отрывка из «Книги об умирающих», о которых речь будет ниже, и затем творчество его прервалось на целый год вследствие начала службы Салтыкова в Рязани. О сценах «Утро у Хрептюгина», напечатанных в февральском номере «Библиотеки для Чтения» за 1858 год, было уже сказано выше в виду теснейшей связи этих сцен с черновиком «Смерти Пазухина», а значит и с «Губернскими очерками». Лишь через год после этого, в февральском номере «Современника» за 1859 год, был напечатан новый рассказ Салтыкова «Развеселое житье», написанный им еще в конце предыдущего года. «На-днях послал рассказ в «Современник». Кажется не дурен», — писал Салтыков из Рязани приятелю своему В. П. Безобразову в декабре 1858 года². «Жених» был первым — и неудачным — дебютом Салтыкова в этом журнале Некрасова, в котором Салтыков скоро стал не только ближайшим сотрудником, но и редактором; рассказом «Развеселое житье» он, как видим, был более доволен, хотя вскоре и сердился на «Современник», — «где редакция не дает себе труда даже связывать пробелы, оставленные цензорским скальпелем»³. Отсюда видно, что в журнальном тексте этого рассказа имеются цензурные купюры, которые можно восстановить, обращаясь к сохранившемуся автографу «Развеселого житья». Знакомство с этим автографом показывает, однако, что не только одни цензурные купюры составляют отличие печатного текста этого рассказа от первоначального рукописного текста. Целый ряд вполне «цензурных» мест был изъят, очевидно, самим авто-

¹ «Святочный рассказ» вместе с интермедией «Невыгодный нос» дошел до нас в сохранившемся на 12 листах автографе Салтыкова (Бумаги Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича); первоначальное его заглавие в черновике было «Рождественский рассказ».

² «Голос Минувшего» 1922 г., № 2, стр. 191.

³ Письмо к П. В. Анненкову от 29 декабря 1859 г. из Рязани; «Письма», т. I, № 12.

ром; варианты и разночтения настолько интересны, что рукопись «Развеселого житья» должна быть изучена с этой точки зрения¹.

Нам осталось сказать только о «Недавних комедиях» и повторить о них то же самое, что было только что сказано о «Приезде ревизора»: произведения эти самым коренным образом связаны тематически с планом продолжения «Губернских очерков», но писались Салтыковым уже тогда, когда он, повидимому, отказался от мысли издать четвертый том их. Но и тематическое родство, и главным образом тождество формы и стиля этих «Недавних комедий» с драматическими сценами из крутогорского цикла Салтыкова позволяют нам рассматривать эти произведения, как теснейшим образом связанные с уже оставленным к этому времени планом завершить крутогорский цикл четвертым томом.

Все сказанное выше подтверждают и соображения хронологические. Хотя обе «Недавние комедии» — и «Соглашение», и «Погоня за счастьем» — были напечатаны только в 1862 году («Время» № 4), однако первая из этих сцен была написана еще в 1859 году. Не подлежит ни малейшему сомнению (и на это уже было указано комментаторами Салтыкова), что именно о пьеске «Соглашение» говорил Салтыков в письме из Рязани от 18 октября 1859 года к А. В. Дружинину, редактировавшему тогда «Библиотеку для Чтения»: «у меня есть одна вещица, ... она из быта помещицкого (с'езд дворян по случаю современного вопроса)». В следующем письме к тому же адресату от 20 ноября 1859 года Салтыков сообщал: «Посылаю к вам... пьесу «С'езд». Если цензура допустит, то прошу вас напечатать ее в Библ. для Чтения в январе или в феврале... Если цензура не дозволит, то потрудитесь возвратить рукопись ко мне». Цензура не дозволила, но рукопись не была возвращена Салтыкову и оставалась в портфеле «Библиотеки для Чтения» до личной встречи Салтыкова с Дружининым². Только через два года пьеска эта, переименованная из «С'езда» в «Соглашение», была напечатана в журнале Достоевского «Время», с которым в то время Салтыков еще не порывал отношений.

¹ Автограф в Бумагах Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича. Частичное изучение черного и белого автографов произведено Н. В. Яковлевым («Звезда» 1929 г., № 8, «Петрашевы в изображении Салтыкова»).

² «Письма», т. I, №№ 9, 11, 12, 13 и 15.

Тожественность «С'езда» и «Соглашения» доказывается уже одним тем, что в «Соглашении» рассказывается именно о с'езде дворян по случаю «современного вопроса» освобождения крестьян, и что пьеска эта рисует именно «помещичий быт». Для 1862 года вещь эта была уже несколько устарелой, так как описывала вызов в Петербург депутатов губернских комиссий и ряда предводителей дворянства, которые по возвращении своем в 1859 году в родные палестины старались убедить помещиков-крепостников в неизбежности подчинения мероприятиям правительства по освобождению крестьян. Отношение представителя либеральной бюрократии Салтыкова к начинаниям этого дворянства было, как нам уже известно, вполне отрицательным; в конце пьесы он заставляет собравшихся на с'езд к уездному предводителю дворянства помещиков притти к полюбовному соглашению: безусловно исполнить желания властей и даже для вида прикинуть что-нибудь «по части чувств», а в действительности — «оставить все по прежнему». Таковы именно и были надежды и чаяния громадного большинства помещиков-дворян.

В пьеске этой с самого же начала действующие лица говорят о ловкой афере, устроенной купцом Прохладиным с целым рядом помещиков. Выясняется, что купец этот скупил у помещиков крепостных людей, хотя «Прохладин — купец, а купцам владеть крепостными не велено». Несмотря на это, «все дело сделано на законном основании-с, и какая-то помещица «из-за двести верст чуть не целую деревню на фабрику пригнала». Действующие лица пьески восхищаются этой аферой: «посудите сами: их на фабрику-с, стало быть одними, можно сказать, ихними телами всю ценность окупила; земля-то, стало быть, даром-с, да еще имущества ихнего сколько!». За такое благодеяние дворяне собираются благодарить купца Прохладина и просить его, «чтоб и на будущее время действий своих по приобретению не прекращал». Весь этот эпизод хорошо знаком нам по деятельности Салтыкова, как рязанского вице-губернатора: купец Прохладин — тот самый Хлудов, историю которого Салтыков позднее рассказал в «Мелочах жизни»; мы подробно осветили ее в предыдущей главе¹.

¹ Ниже, в гл. VIII, см. также про статью Салтыкова «Еще скрежет зубовый» (1860 г.).

Совершенно несомненно, что вообще вся эта пьеска, вплоть до мельчайших деталей, навеяна Салтыкову его рязанскими впечатлениями и близким общением с местным дворянством по обязанностям тогдашней его службы. Об одной из мелких подробностей этой пьесы можно узнать, например, из письма Салтыкова к В. П. Безобразову из Рязани от 29 июня 1858 года, т.-е. через два-три месяца после появления Салтыкова на посту рязанского вице-губернатора. Рассказывая в этом письме о заседании дворянского собрания, Салтыков описывает, как при обсуждении вопроса об освобождении крестьян один отставной военный «долго крепился и молчал, но под конец не выдержал и выразился так:— Отлично, господа. Все это хорошо. Только я вам вот что скажу: хоть вы пятьсот рублей штрафа положите, а уж я по мордасам их колотить все-таки будут (historique)»¹. В пьеске «Соглашение» выведен отставной капитан Постукин, который все время сосет чубук, мнет губами и молчит, но под занавес раздражается тирадой на тему об освобождении крестьян: «Согласен! да! я согласен! Только уж того.. по мордасам.. бббуду! Хоть миллион штрафа.. а бббуду!». С этих пор «исторический» рязанский помещик, отставной капитан, стал не раз появляться на страницах салтыковских фельетонов ближайших двух годов: эпизодически проходит он через «Скрежет зубовный», через «Литераторов-обывателей» и другие очерки 1860—1861 гг. и завершает свой жизненный путь в «Клевете». В этом последнем очерке капитан Постукин молчит, стискивает в руке чубук, и лишь перед смертью собирает своих челядинцев и говорит им: «—Ну, подлецы, прощайте! По крайней мере, не при мне...». Последние слова показывают, что этот эпизодический герой отправляется в небытие еще до 19 февраля 1861 года².

Вторая из «Недавних комедий», а именно «Погоня за счастьем», по форме является точным повторением сцены «Просители» из «Губернских очерков», почему и должна считаться тесно примыкающей к последним; примыкает она к ним, впрочем, не только по форме, но и по основному сюжету: искания мест просителями

¹ «Голос Минувшего» 1922 г., № 2, стр. 188.

² Сохранился автограф «Соглашения» (Бумаги Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича), представляющий собой начало этой пьесы, с большими вариантами и целой сценой, еще никогда не напечатанной.

у губернатора. Это искание мест в пьеске «Погоня за счастьем» позволяет довольно точно определить время написания пьески: по разным признакам можно с уверенностью утверждать, что пьеска эта написана летом 1861 года и лишь напечатана годом позднее¹. В пьеске идет речь об искателях «новых мест»; искатели эти гурьбою осаждают губернатора Зубатова. Об этих новых местах говорят все просители в губернаторской приемной, интересуясь вопросом, «сколько по здешнему уезду этих новых мест роздано». Губернатор Зубатов отклоняет все эти прошения, заявляя, что закон требует на эти новые места людей, кончивших курс в высших учебных заведениях и являющихся помещиками здешней губернии. Именно такие требования Положение 19 февраля 1861 года предъявляло к мировым посредникам, штат которых и набирался губернаторами весной этого года. А тот факт, что именно в это же время Салтыков набросал эту свою пьеску, может быть подтвержден тем обстоятельством, что в ней в качестве рекомендуемых губернатору кандидатов именуются «Матрена Ивановна» и «статский советник Стрекоза». Как раз эти имена Салтыков иронически называл в известной нам статье «Об ответственности мировых посредников», напечатанной в апреле 1861 года, в которой писал: «не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет статский советник Стрекоза — и та, и другой неустанно строчат рекомендательные письма». Кто такая была Матрена Ивановна, об этом уже было сказано выше; быть может, здесь уместно напомнить, что статский советник Стрекоза появился еще в «Губернских очерках» и прошел до самого конца художественной деятельности Салтыкова, как несомненный псевдоним по созвучию видных либеральных бюрократов царствования Александра II: А. А. Абаза и Н. С. Абаза — оба были известны Салтыкову, а первый из них играл довольно видную роль в истории освобождения крестьян. Отметим кстати, что в пьеске «Погоня за счастьем» впервые упоминается и «маленький князек Соломенные Ножки», с этих пор не раз встречающийся в произведениях Салтыкова начала шестидесятых годов. Рязанское или тверское происхождение живого оригинала этого князька не представляет ни малейшего сомнения.

Перечисленными произведениями 1857—1861 гг. исчерпываются

¹ См. в следующей главе разбор очерка «Наши глуповские дела».

все очерки и сцены Салтыкова, которые могли составить четвертый том «Губернских очерков», если бы Салтыков к концу этого времени совсем не отказался от него. Мы видели, что к 1861 году относится только одно из этих произведений («Погоня за счастьем»), в то время как все остальные написаны непосредственно вслед за «Губернскими очерками» в течение 1857—1859 гг. Но уже к началу 1858 года Салтыков подошел к другому замыслу, непосредственно связанному с первым, и стал набрасывать очерки для предполагавшейся им «Книги об умирающих», главная работа над которой относится к 1859 году. Еще и в следующем году Салтыков писал очерки, которые как бы предназначались для продолжения если не «крутогорского», то во всяком случае «семиозерского» цикла — по имени губернского города Семиозерска, заменившего впоследствии собою Крутогорск. Скоро Крутогорск заменится городом Глуповым, который с этих пор твердо войдет в линию творчества Салтыкова и летописцем которого Салтыков впоследствии делается в гениальной «Истории одного города». Но все это еще впереди; пока же, в 1860 году, Салтыков писал такие очерки, как «Наш дружеский хлам», и по форме, и по стилю, и по темам, и по лицам тесно связанные с бывшим крутогорским циклом. Отказавшись от мысли заключить этот цикл последним, четвертым томом, Салтыков разместил все эти очерки в сборниках «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов», изданных в 1863 году. То же самое случилось и с очерками, сперва предназначавшимися для «Книги об умирающих», к знакомству с которой мы теперь и переходим.

III

В эпилоге к «Губернским очеркам» перед глазами автора проходила символическая похоронная процессия, и на вопрос его — «ню кого же хоронят? кого же хоронят?» — один из героев очерков полуиронически отвечал автору и читателям: «— Прощлые времена хоронят!». Эту тему Салтыков и положил в основу задуманной им «Книги об умирающих», в которой должна была пройти перед читателями целая галерея или физически или духовно умирающих «героев» прошлых времен — времен Николаевского режима и крепостного права. «Смерть Пазухина», примыкающая к «Губернским очеркам» и даже отнесенная к ним в рукописной пометке самим

автором, недаром называлась сперва просто «Смерть», а потом — «Царство Смерти». Эта пьеса одинаково могла войти и в четвертый том «Губернских очерков», и в задуманную «Книгу об умирающих».

Салтыков впервые напечатал «Два отрывка из книги об умирающих» в мартовском номере «Русского Вестника» за 1858 год; и не случайно первым из этих отрывков была «Смерть Живновского», одного из видных действующих лиц и «Губернских очерков» и «Смерти Пазухина». Заглавие «Смерть Живновского» осталось только в черновой рукописи, в то время как в журнальном тексте очерк этот обозначен только цифрой I. Мы сейчас увидим, что Салтыков неоднократно менял свои планы относительно начала «Книги об умирающих» и делал первым вступительным очерком то «Смерть Живновского», то «Гегемониева», то «Госпожу Падейкову». Кстати сказать, из всех этих трех очерков только «Смерть Живновского», связывающая «Губернские очерки» с «Книгой об умирающих», осталась не включенной Салтыковым ни в один из сборников его произведений и доселе неизвестна читателям его собрания сочинений.

Открывая этим очерком в «Русском Вестнике» печатание первых отрывков из новой задуманной книги, Салтыков сопроводил их следующим примечанием от автора: «Под названием «Книги об умирающих» автор предположил написать целый ряд рассказов, сцен, переписок и т. д., в которых действуют люди, ставшие вследствие известных причин в разлад с общим строем воззрений и убеждений. Здесь предлагаются два отрывка, представляющие крайние границы этой галереи: начало и конец ее». Таким образом видно, что «началом галереи» должна была служить «Смерть Живновского» — отставного подпоручика, хорошо известного читателям еще по «Губернским очеркам». Живновский уже пятнадцать лет мотался по Крутогорску на побегушках у купцов и помещиков — и наконец «сломился под тяжестью своей собственной деятельности». Монологи умирающего Живновского и составляют содержание всего очерка, вторым действующим лицом которого является ухаживающий за ним во время болезни тоже знакомый читателям «Губернских очерков» Рогожкин. Встречаются еще имена Топоркова и Поползновейкиной, с ссылкой автора на «Губернские очерки» и в частности на рассказ «Обманутый подпоручик». Таким образом, открывающий «Книгу об умирающих» рассказ сам автор тесно

связывает со своим крутогорским циклом. «Книга об умирающих» должна была стать как бы «пятым томом» «Губернских очерков».

Второй из отрывков, напечатанных в «Русском Вестнике», помечен без заглавия римскою цифрою II и, как мы уже слышали от автора, являлся заключением всей этой еще не написанной книги. Этот отрывок представляет собою как бы предсмертную исповедь одного из представителей «умирающего» поколения к другому, его представителю и написан в форме письма; отрывок этот тоже никогда не перепечатывался Салтыковым в позднейших его сборниках. Интересно, что за «умирающим», исповедывающимся в своем письме, отчасти стоит и сам Салтыков: это он говорит, конечно, о «странной (своей) молодости», о том, что молодость эта прошла под влиянием книг, излагавших «вечно-юные и вечно-милые утопии». Но — с другой стороны — в отрывке речь идет о «лишних людях» (и это в последний раз, что представитель их проходит в произведении Салтыкова), которые никак не могут приспособиться к бурной жизни эпохи начала шестидесятых годов. Поэтому считать этот отрывок всецело автобиографическим не приходится; он автобиографичен лишь отчасти, но и в этом отношении должен еще обратить на себя особенное внимание будущих исследователей жизни Салтыкова.

После этих первых двух отрывков из «Книги об умирающих» прошел целый год до появления новых отрывков — год, как мы уже знаем, вообще являющийся пробелом в художественном творчестве Салтыкова, всецело занятого тогда своей службой в Рязани. Одним из побудительных поводов к возобновлению его литературной деятельности было появление нового еженедельного журнала «Московский Вестник», который должен был выходить с 1859 года под редакцией близкого друга Салтыкова, проф. П. В. Пазлова. В письме из Рязани к В. П. Безобразову от 1 октября 1858 года Салтыков сообщал о намерении Павлова издавать этот журнал и привлечь главным сотрудником писателя-этнографа П. Якушкина, известного, между прочим, и своим пьянством. «Боюсь, — писал Салтыков про Павлова, — чтобы через месяц не пришлось ему переменить название и переименоваться «Московским Кабаком», в котором я, однакож, буду одним из усерднейших целовальников»¹. Хотя Павлову и не удалось официально стать во главе

¹ «Голос Минувшего» 1922 г., № 2, стр. 191.

журнала, но Салтыков сдержал свое обещание и именно в этом журнале напечатал в течение 1859 года три следующие свои очерка из «Книги об умирающих». Это были, во-первых, «Генерал Зубатов», напечатанный еще в январских номерах «Московского Вестника» за 1859 год (№ 3), и «Гегемониев» — в апрельских номерах этого же журнала (№ 15); они были напечатаны под общим заглавием «Из книги об умирающих», как первый и второй очерки этой книги. Наконец, в ноябрьских номерах того же года (№ 46) была помещена сцена «Погребенные за-живо», во втором отдельном издании «Сатир в прозе» переименованная в «Недовольных».

«Генерал Зубатов» был включен позднее Салтыковым в сборник «Невинных рассказов» под заглавием просто «Зубатов»; очерк этот снова проводит тесную связь между «Губернскими очерками» и «Книгой об умирающих». Связь эта доходит иногда до использования мелких подробностей, заставляющих предполагать, что написан он был задолго до напечатания и, быть может, набросан был автором еще в эпоху «Губернских очерков». Такой подробностью являются, например, рассуждения генерала Зубатова о грамотности. В разговоре с губернским сослуживцем он проводит мысли, что для грамотности «у нас еще почва недостаточно, так сказать, взрыхлена», хотя, с другой стороны, генерал скорее склоняется в пользу того мнения, «что тут совсем никакой почвы не надобно»; однако он в глубине души вполне соглашается с мнением тех «специалистов», которые «на основании достоверных фактов утверждают, что на пятьсот грамотеев двести непременно оказываются негодями». Если вспомнить, что в «Приезде ревизора» (1857 г.) еще более пространно развивается эта же тема о том, что прежде грамотности народу нужно «истинное просвещение» и что грамотность «распространяет у нас ябедников», — если вспомнить дальше, что все эти ядовитые тирады об «истинном просвещении» и о вреде грамотности для народа впервые встречаются у Салтыкова еще в одном из «Губернских очерков» («Озорники», напечатано в январе 1857 года), то, зная привычку Салтыкова отзываться на злободневные вопросы, можно предположить, что и «Генерал Зубатов» был набросан в том же 1857 году, когда вопросы об «истинном просвещении» и вреде грамотности для народа были так неудачно поставлены на очередь Далем, вызвавшим возмущение и протест всей либеральной печати того времени. Об этом мы

имели случай говорить, разбирая очерк «Озорники» и говоря вообще о «Губернских очерках» Салтыкова.

Почти то же самое можно повторить и об очерке «Гегемониев»: если он и не был написан в 1857 году, то во всяком случае основные мысли его и его тема были твердо поставлены Салтыковым именно в произведениях 1857 года. Мы уже видели, говоря об очерке «Жених», что в нем Порфирий Петрович предлагает Вологжанину «обратиться за наставлениями к отставному коллежскому ассесору Зиновию Захарычу Гегемониеву», который «не откажется понапутствовать молодого человека». Роль Вологжанина в очерке «Гегемониев» играет теперь коллежский регистратор Потанчиков, получивший место становой пристава и отправляющийся за напутствием к Гегемониеву. Связь «Жениха» с «Губернскими очерками» была установлена выше; связь эта протягивается теперь к «Гегемониеву», т. е. к «Книге об умирающих». Но эта связь с творчеством Салтыкова 1857 года становится еще более разительной, если обратить внимание на основную тему того «напутствия», которым уходящий из жизни Гегемониев поучает будущего становой пристава Потанчикова. Как известно, Гегемониев «смотрит в корень» и ребром ставит вопрос: «что есть становой?». Отвечая на это, что «становой есть, ни мало, ни много, невещественных отношений вещественное изображение» (интересно в этой фразе явное заимствование слов молодого Адуева из «Обыкновенной истории» Гончарова!), Гегемониев рассказывает целую притчу о призвании из-за моря варягов. В его толковании три брата-варяга, которые пришли «княжить и владеть нами», были первыми представителями провинциальной администрации: «первый-то брат капитан-исправник, второй-то брат стряпчий, а третий братец, маленький да востренький,— сам мусье окружной!». И далее подробно развивается эта тема о бюрократии, к которой, как мы знаем, в 1857 г. Салтыков относился далеко не так, как двумя годами позднее. Ядовитое описание административного управления России бюрократией невольно приводит к мысли, что «Гегемониев» написан начерно именно в 1857 году и двумя годами позднее лишь обработан окончательно для печати.

Мысль эту подтверждает и замечательная переписка Салтыкова с П. В. Павловым, от которой до нас дошли только отрывки, относящиеся именно к 1857 году. 13 августа этого года Павлов

писал Салтыкову о своих занятиях историей и между прочим шутиливо сообщал, к каким выводам он пришел. «Я в последние четыре года много читал древних авторов и пришел к следующему убеждению: сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это так сказать прообразование всей русской истории. «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», — вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги — это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры, одним словом все администраторы, которыми держится какой-ни-на-есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-классная бюрократия, это 14-главый змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок»... 23 августа того же года Салтыков отвечал Павлову: «Твоим мифом о призвании варягов я намерен воспользоваться и написать очерк под заглавием «Историческая догадка». Изложу ее в виде беседы учителя гимназии с учениками»¹. Как видим, он изменил первоначальный план и написал не беседу учителя с учениками, а напутствие старым приказным молодого станового пристава; сама тема от этого несколько не изменилась, и в очерке «Гегемониев» Салтыков лишь развил то, что было намечено в письме к нему Павлова.

Конечно, тему эту Салтыков мог развить и не сразу, мог отложить осуществление ее на два года; но в 1859 году, сам будучи одним из «варягов» в роли рязанского вице-губернатора, он, как мы знаем, уже несколько иначе относился к вопросу о бюрократии, в виду отмеченного нами парадоксального положения той эпохи — либерализма бюрократии и реакционности земства. В одном из писем к Павлову (от 15 сентября 1857 г.) Салтыков «догубернаторской» эпохи между прочим писал: «Есть одна штука (она же и единственная), которая может истребить взяточничество, поселить правду в судах и, вместе с тем, возвысить народную нравственность. Это — в^оз^вы^шение земского начала на счет бюрократического» (подчеркнуто Салтыковым). В 1859 году, убедившись на опыте в реакционных настроениях провинциального «земства», Салтыков стал несколько иначе относиться к противопоставлению земства и бюрократии и

¹ «Русская Старина» 1897 г., № 11, стр. 232—236.

ясно выразил свои мысли в известной уже нам полемике 1861 года со Ржевским. Так или иначе, но, когда бы ни был написан «Гегемониев», характерен тот факт, что Салтыков считал возможным напечатать заключающуюся в этом очерке ироническую генеалогию бюрократии как раз во время пребывания своего на посту вице-губернатора. Это показывает, что Салтыков остался верен себе и, разочаровавшись в «земстве», несколько не был очарован идеей бюрократии. Он продолжал считать, что два этих исторических факта русской жизни должны служить противовесом друг другу, и высказал эту мысль в своих статьях 1861 года.

Тему, данную Павловым, о призвании варягов Салтыков богато развил, возвращаясь к ней трижды на протяжении своей литературной деятельности. Первый раз сделал он это в «Гегемониеве», лишь слегка наметив эту богатую тему; вторично и в значительно более сложной обработке сделал он это через десять лет в «Истории одного города»; наконец, еще через десять лет он в третий и в последний раз вернулся к разработке этой темы в своей «Современной идиллии». Говоря об этих произведениях, мы еще будем иметь случай вернуться к теме, шутливо брошенной Павловым и так мастерски разработанной Салтыковым.

Третьим и последним очерком, напечатанным Салтыковым в конце 1859 года в «Московском Вестнике», была сцена «Погребенные за-живо». Над ней не было общего заглавия «Из книги об умирающих», но самые слова «погребенные за-живо» дают достаточное право отнести эту сцену именно к этому неосуществленному циклу Салтыкова. Сохранившийся автограф показывает, что в первоначальном замысле сцена эта была лишь первым отрывком задуманного отдела «Современные разговоры» и была сперва озаглавлена «Оставшиеся за штатом»¹. Как известно, сцена эта, включенная позднее в том «Сатир в прозе», состоит из диалога двух оставшихся за штатом действительных статских советников, рассуждающих об административных перемещениях, о реформаторских новшествах и мечтающих еще послужить, когда их «призовут». В первом издании «Сатир в прозе» (1863 г.) Салтыков напечатал эту сцену под прежним заглавием «Погребенные за-живо» третьим номером из «Недавних комедий»; во втором издании

¹ Бумаги Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича.

(1881 г.) он выделил ее из отдела «Недавних комедий» и дал ей заглавие «Недовольные», которое так и осталось за ней во всех последующих изданиях сочинений Салтыкова. Сцена эта как нельзя более характерна для 1859 года, когда была произведена довольно решительная чистка старых кадров николаевской бюрократии и когда множество «действительных статских советников» осталось за штатом и было заменено более молодыми силами, способными к проведению намеченных правительством реформ. Можно думать поэтому, что сцену эту Салтыков написал незадолго до ее появления на страницах «Московского Вестника» в ноябре 1859 года.

За три месяца до этого Салтыков напечатал еще один рассказ из «Книги об умирающих», на этот раз в славянофильском журнале «Русская Беседа» (1859 г., июль-август). К этому времени Салтыков уже охладел к славянофильству, к которому, как мы знаем, склонялся двумя годами ранее, так что появление его рассказа на страницах этого журнала свидетельствовало лишь о дружеском его уважении к семье Аксаковых и к Кошелеву, своему рязанскому соратнику в деле освобождения крестьян, а не о согласии его с основными положениями славянофильской доктрины. «Госпожа Падейкова» была напечатана в этом журнале опять-таки как первый очерк (под номером римской единицы) из «Книги об умирающих»; как видим, таких «первых очерков» было уже несколько. В рассказе затронута крайне злободневная для 1859 года тема — нарисована озлобленная и запуганная предстоящим освобождением крестьян барыня-помещица. Она раздувает чуть ли не в бунт малейшее движение крепостных, — и недаром Салтыков в позднейших статьях 1861 года, говоря о том, как помещики раздувают мелкие свои столкновения с крестьянами до степени «бунта», припоминал именно барыню Падейкову (в статье «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу»). «И барыня Падейкова пишет туда, пишет сюда, — говорил там Салтыков, — на весь околоток визжит, что честь ее поругана, что права ее попораны»... Это становится особенно характерно, если иметь в виду, что в Прасковье Павловне Падейковой мы имеем первый очерк (если не считать Крошиной в юношеских «Противоречиях») будущей Анны Павловны Затрапезной из «Полехонской старины», а в последней, как известно, нарисована во весь рост мать Салтыкова. Между Падейковой и Затрапезной (а

в промежутке между ними — и со знаменитой фигурой старухи Головлевой) сходство доходит до мельчайших подробностей, до одних и тех же употребляемых ими выражений («прах побери, да и совсем!»). Даже ключница Акулина проходит через все эти три произведения Салтыкова, списанная с той самой реальной ключницы Акулины, которую Салтыков помнил с детства и помнил при случае в целом ряде других своих произведений (например, в «Скрежете зубовном» 1860 года). Все это говорит о значительной доле автобиографических впечатлений, которые легли в основу «Госпожи Падейковой» и которые вскрывают перед нами первый рисунок портрета матери Салтыкова.

Осталось еще одно произведение, относящееся к этим же годам творчества Салтыкова, написанное в 1857—1858 гг., напечатанное годом позднее и с тех пор не входившее ни в один из сборников произведений Салтыкова. Речь идет о его повести «Яшенька», напечатанной в «Сборнике литературных статей, посвященных русскими литераторами памяти А. Ф. Смирдина» (т. VI, Спб. 1859 г.). Повесть эта была написана задолго до ее напечатания, как это видно из переписки Салтыкова с его друзьями. В письме к В. П. Безобразову из Рязани от 1 октября 1858 г. Салтыков сообщал: «В марте я отдал в Смирдинский альманах повесть под названием «Яшенька». Повесть очень плоха, и мне крайне хотелось бы выручить ее». Попытка выручить не удалась, и 3 февраля 1859 года Салтыков писал Анненкову: «Год тому назад я отдал в альманах Смирдина повесть под названием «Яшенька». Эти подлецы до сих пор ее не печатают, да и обратно не возвращают. Так как я совсем (т.-е. нигде) не хотел бы печатать эту вещь, по причине ее совершенной посредственности, то вы бы весьма обязали, вырвав ее из рук этого скотопромышленника Генкеля. Безобразов хлопотал, да не отдают. Надо полагать, что по рылам бить следует. За истечением года, я имею полное право на получение повести обратно. Сделайте милость, постарайтесь»¹. Но и хлопоты Анненкова не помогли: «Яшенька» появился в шестом томе сборника в память Смирдина в 1859 году со следующим послесловием редакции: «этот рассказ был получен от автора, еще

¹ «Голос Минувшего» 1922 г., № 2, стр. 190; «Письма», т. I, № 8.— В. Е. Генкель, литератор и издатель, был редактором этого сборника статей в память Смирдина.

в половине 1857 года, но, по разным обстоятельствам, мог быть только теперь напечатан». Сохранившийся в архиве М. Стасюлевича автограф этой повести не позволяет судить, к какому именно году относится ее написание и кто прав в разногласии указываемой даты — редакция сборника, или Салтыков; но это и не представляет существенной важности, — достаточно знать, что повесть была написана до марта 1858 года. Тесная связь ее не с «Губернскими очерками», а именно с «Книгой об умирающих» становится ясной из самого ее содержания.

Яшенька — двадцатипятилетний Яков Федорович Агамонов — бесхарактерный и добронравный юноша, тряпка, кисель; отслужив в военном звании, он вышел в отставку и живет в небольшом своем имении вместе с матерью Натальей Павловной, — как всегда у Салтыкова, властной и сильной женщиной, совершенно забравшей сына в руки. «Полнейшее отречение от всяких притязаний на личность» — прорывается, наконец, восстанием Яшеньки против «тиранства» матери; но этот бунт (бегство из дома к предполагаемой невесте, соседней девице помещице) очень скоро подавляется бесхарактерностью самого Яшеньки. Побунтовав немного, он смирился, возвратился к матери, «сделался еще молчаливее и безответнее; казалось, что последняя искра жизни покинула его». И действительно — этот неприспособленный к жизни человек умирает на руках матери, чем и заканчивается повесть, примыкающая таким образом по теме к другим очеркам «Книги об умирающих». Не приходится сомневаться, что, осуществи Салтыков эту свою книгу, «Яшенька» вошел бы в нее составной частью, если бы только Салтыков не отказался от мысли вообще перепечатывать эту повесть в виду ее несомненной слабости, сознававшейся и автором. Повесть эта — действительно одно из слабейших произведений Салтыкова, еще пытавшегося вернуться в 1857 году к темам и манере «психологических повестей»; путь этот, на котором Салтыков и раньше терпел неудачи, был не для него; ему предстояло еще выработать собственную свою дорогу, свой стиль, свои темы, и работа эта заполнила ближайшее десятилетие его литературной жизни. «Яшенька» же остался неудачным опытом старой формы, справедливо невключенным Салтыковым впоследствии ни в один из своих сборников и совершенно забытым читателями.

Есть, однако, и в этой повести отдельные искорки, впоследствии

загоревшиеся ярким огнем в творчестве возмужалого Салтыкова. Особенно интересно отметить, что Яшенька — в зародыше будущий Иудушка Головлев, но не характером, а своей манерой выражения. Эта нудная, тягучая манера Иудушки, так бесившая Арину Петровну Головлеву, совершенно ясно дана в диалогах Яшеньки с матерью, — например, в следующем разговоре:

«— Тебе чего-нибудь нужно? — спросила Наталья Павловна.

— Я вижу, милая маменька, что я имел несчастье огорчить вас, и потому в настоящее время желал бы только испросить ваше милостивое прощение и уверить вас, что как ни велика моя вина, но она неумышленна.

— Вон! — закричала Наталья Павловна, приходя в беспредельное неистовство».

Впоследствии в такое же неистовство приходила старуха Головлева от тягучих и нудных бесед Иудушки; то, что здесь дано в стилистическом намеке, двадцатью годами позднее стало не только стилистическим приемом, но и глубоко выраженным характером, — одним из самых глубоких не только у Салтыкова, но и в русской литературе XIX века¹.

Были ли задуманы Салтыковым еще какие-либо очерки и рассказы для «Книги об умирающих» — мы не знаем, но знаем зато, что уже к исходу 1859 года он отказался от мысли об этой книге; по крайней мере явно относящуюся к ней сцену «Погребенные за-живо» он напечатал уже без этого общего заглавия. В дальнейших его очерках было еще несколько таких, которые как бы напрашивались быть включенными в «Книгу об умирающих», — таков, например, очерк «Деревенская тишь» (1863 г.), рассказывающий о медленном и бессмысленном духовном умирании помещика-крепостника после освобождения крестьян. Но к этому времени Салтыков давно уже отказался от мысли об этой своей книге, план которой так и остался погребенным на журнальных страницах и известен лишь исследователям салтыковского творчества.

План этот в течение 1858—1859 гг. претерпевал немалые изменения, как это можно судить из анализа рукописного и журнального текста дошедших до нас очерков. Мы видели, что «Книгу

¹ Прием этот до «Господ Головлевых» был подробно развит Салтыковым после «Яшеньки» в очерке «Семейное счастье» (1863 г.), о котором см. ниже в гл. X.

об умирающих» Салтыков собирался открыть «Смертью Живновского»; однако один из сохранившихся автографов дает нам и новое, первое заглавие «Книги об умирающих», и иное расположение очерков. Под общим заглавием «Отходящие» черновой и белой автографы сохранили нам другой план: первым очерком был «Гегемониев», вторым — «Смерть Живновского». Еще один автограф под общим заглавием «Из книги об умирающих» дает первым очерком «Генерала Зубатова» (беловая копия с авторскими поправками), а вторым — «Гегемониева» (черновик, начало очерка). Это расположение подтверждает и другой сохранившийся без начала и конца черновой автограф этого очерка. Еще один, по счету четвертый автограф, озаглавленный «Отходящие» и с эпиграфом «Старость не радость: и пришибить некому, и умирать не хочется» — дает опять новое распределение очерков: первым идет «Гегемониев», вторым — «Смерть Живновского», третьим — «Генерал Зубатов» и четвертым — «Из неизданной переписки»; последнее по позднему плану являлось заключением всей книги и, как таковое, было напечатано, как нам известно, в мартовском номере «Русского Вестника» за 1858 год. Наконец, автограф «Госпожи Падейковой» дает нам этот рассказ в черновой редакции как третий очерк «Книги об умирающих», а в белой — как первый очерк этого же цикла, с неизданным до сих пор вариантом окончания. Мы видели, что рассказ этот и появился, как первый очерк «Книги об умирающих» на страницах «Русской Беседы» 1859 года.

Все это изучение авторской «кухни» показывает нам, что план «Книги об умирающих» был у Салтыкова еще в зародыше; он не успел еще в течение 1858—1859 гг. развить свой план, как уже вообще отказался от продолжения и окончания этой книги, разместив впоследствии (в 1863 году) часть напечатанных очерков в сборниках «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы». К изучению произведений, входящих в эти два сборника, мы и должны теперь перейти, чтобы завершить этим знакомство с творчеством Салтыкова эпохи после «Губернских очерков», когда он, уже прославленный писатель, мучительно искал новых форм для своего творчества. В старые меха нельзя было влить новое вино. Поиски эти затянулись, однако, еще на целое десятилетие.

Глава VIII

ГЛУПОВСКИЙ ЦИКЛ «САТИРЫ В ПРОЗЕ» И «НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ»

I

«... Когда я буду совершенно свободен от служебных отношений, когда не будет беспрестанно подниматься во мне вся желчь, тогда увидим, способен ли я сделать фигурный пирог. А теперь и некогда, и нет охоты. Пора мне расстаться с добрыми мальми провинции, которые на языке порядочных людей называются бездельниками и мерзавцами»¹.

Так писал Салтыков из Рязани Анненкову в январе 1860 года, и слова эти являются рубежом между литературной деятельностью Салтыкова, как автора крутогорского цикла и связанных с ним произведений, и тем новым направлением, которое приняла его литературная деятельность с января 1860 года, когда на страницах «Современника» появился первый острый фельетон его «Скрежет зубовный». Салтыков почувствовал, что не только в жизни, но и в творчестве пора ему расстаться «с добрыми малыми провинции», которых до сих пор изображал он в своих губернских очерках крутогорского цикла и в связанной с ними «Книге об умирающих». Вся желчь его, накопленная годами провинциальной жизни, должна была вылиться в других произведениях, для которых прежние беллетристические формы были узки. В поисках новых форм

¹ «Письма», т. I, № 13.

Салтыков обратился к сатирическому фельетону, как раз в эти годы распутившемуся пыльным цветом на страницах «Искры», в которой и сам Салтыков принял случайное участие; справедливо указывали на несомненную связь сатирического фельетона Салтыкова с графическими карикатурами «Искры» и других сатирических журналов начала шестидесятых годов. Новые формы, которых искал Салтыков, не могли даваться ему в руки сразу, и еще целое десятилетие он искал их, переходя от сатирического фельетона и чистой публицистики снова к беллетристическим очеркам, постепенно вырабатывая новую манеру письма и новые формы своих произведений. «Фигурный пирог» удалось ему испечь не сразу; лишь «История одного города», написанная на рубеже между шестидесятыми и семидесятыми годами, была тем произведением, которое показало, на какие достижения способен Салтыков, преодолевший и форму беллетристических очерков, и форму сатирического фельетона.

Но в 1860 году ему было еще далеко до такого мастерства, и новая форма не была еще найдена им. Тем не менее, сатирические фельетоны начала шестидесятых годов представляют собою весьма замечательное явление и в истории творчества Салтыкова, и в истории русской литературы той эпохи. Время было бурное и сложное, борьба новых сил с явными крепостниками, а также и с крепостниками под маской либерализма, звала Салтыкова от очерков кругогорского цикла к более резким и боевым формам сатиры. Чисто-публицистическая жилка всегда билась в художественном творчестве Салтыкова; не найдя новых форм сочетания острой публицистики с художественными образами, Салтыков не мог еще испечь «фигурный пирог», дать цельное художественное произведение, хотя бы и пронизанное сатирическими мотивами. А между тем по роду своего творчества он не мог не откликаться на многочисленные злобы дня, всегда составлявшие канву для его сатиры. Пыпин, хорошо знавший Салтыкова, в своей книге о нем верно указал, что в Салтыкове с одинаковой силой проявлялся и художник, и публицист. «Трудно сказать, что больше и чаще возбуждало его писательскую деятельность — потребность художественного воспроизведения образов, создаваемых богатой фантазией, или чисто-публицистическая потребность отозваться на волнения своего времени и карать те бессмысленные явления, которые возму-

щали в нем гражданское чувство»¹. Впоследствии Салтыков научился и гражданское свое чувство воплощать в художественных образах; но теперь, в начале шестидесятых годов, он мог проявлять его лишь в сатирических фельетонах, к которым перешел с начала 1860 года очерком «Скрежет зубовный». Занятый службой в Твери, он не мог в течение двух ближайших лет отдаться литературной деятельности, а потому напечатал за эти два года лишь немного произведений, составивших позднее основную часть сборника «Сатиры в прозе». Приступая к их изучению, прежде всего перечислим эти сатирические фельетоны, которыми ограничилась деятельность Салтыкова в течение 1860—1862 гг., прибавив к ним лишь те очерки, которые Салтыков предназначал для мартовской книжки «Современника» 1860 года и апрельской книжки 1862 года, но которые были тогда запрещены цензурой и впервые увидели свет лишь полу столетием позднее. Вот все эти очерки начала шестидесятых годов в хронологическом порядке:

1. Скрежет зубовный.
«Современник» 1860 г., № 1.
2. Еще скрежет зубовный.
(Запрещено цензурой в марте 1860 г.).
3. Наш дружеский хлам.
«Современник» 1860 г., № 8.
4. Характеры.
«Искра» 1860 г., №№ 25 и 28 (июль).
5. Литераторы-обыватели.
«Современник» 1861 г., № 2.
6. Клевета.
«Современник» 1861 г., № 10.
7. Наши глуповские дела.
«Современник» 1861 г., № 11.
8. К читателю.
«Современник» 1862 г., № 2.
9. Глуповское распутство.
10. Каплуны.
11. Глупов и глуповцы.
(Запрещены цензурой в апреле 1862 г.).
12. Наш губернский день.
«Время» 1862 г., № 9.
13. После обеда в гостях.
«Современник» 1863 г., № 3.

¹ А. Н. Пыпин, «М. Е. Салтыков» (Спб. 1899 г.), стр. 21.

Последний очерк 1863 года должен быть присоединен ко всему этому циклу, во-первых, в виду того, что по содержанию составляет лишь продолжение предыдущего очерка «Наш губернский день»; во-вторых же, здесь приходится следовать за Салтыковым, присоединившим этот очерк к тому циклу, который в 1863 году был объединен им под заглавием «Сатиры в прозе» и «Невинных рассказов».

Самое беглое знакомство с приведенным выше списком все же позволяет прийти к некоторым выводам общего значения. Первый и главный — почти исключительное сотрудничество Салтыкова в «Современнике» этих годов. Случайный очерк в «Искре» был слишком незначителен и даже не был включен Салтыковым в указанные выше его сборники; к тому же «Искра» этой эпохи была идейно близка «Современнику» и считалась в литературных кругах лишь расширенным «Свистком» этого журнала. Что же касается до сотрудничества Салтыкова во «Времени», журнале М. Достоевского, то оно было случайным и объяснялось главным образом тем, что в 1862 году «Современник» был приостановлен правительством с майской книжки журнала до конца года. Впрочем еще в апреле этого года Салтыков напечатал во «Времени» свои «Недавние комедии», не предвидя той ожесточенной борьбы, которая произойдет в 1863—1864 гг. между ним и Ф. Достоевским или, общее говоря, между «Современником» и «Временем».

Это ближайшее сотрудничество Салтыкова в «Современнике» шестидесятых годов не было случайным. Выше приходилось уже указывать, что в полемике Герцена с Добролюбовым и Чернышевским по поводу обличительной литературы Салтыков прикинул не к Герцену, защищавшему эту литературу, а к «Современнику», нападавшему на нее. Ироническое отношение к общественному либерализму и к результатам правительственных реформ шестидесятых годов тоже сближало Салтыкова с «Современником». Правда, в самом начале 1860 года Салтыков подумывал о постоянном сотрудничестве своем в другом журнале, а именно в «Библиотеке для Чтения» редакции Дружинина; но, во-первых, журнал этот тогда еще не приобрел того однозного характера, каким стал он отличаться двумя годами позднее вследствие реакционной публицистики Писемского; во-вторых же, предложение Салтыкова о своем сотрудничестве в этом журнале главным образом объявлялось еще натянутыми тогда отношениями его с Некрасовым, издателем «Со-

временника». «Я писал к Некрасову и предлагал свои услуги,— сообщал Салтыков Анненкову в письме из Рязани от 27 января 1860 г.: — но с Некрасовым тяжело иметь дело, а потому позвольте мне и на сей раз затруднить вас покорнейшею просьбою. Не согласится ли Дружинин употребить меня в качестве кого-либо или даже чего-либо в Библи. для Чтения? Я знаю, что у него уж есть на шее Писемский, но я не буду сидеть на шее, и даже в качестве постоянного сотрудника могу принести пользу...»¹.

Эта мысль Салтыкова оказалась случайной и не осуществилась. Салтыков не мог не видеть, что по направлению своему он более всего солидарен именно с «Современником» и что именно идейные руководители этого журнала являются властителями дум современности. Не прошло и месяца после цитированного выше письма к Анненкову, как Салтыков писал самому редактору «Библиотеки для Чтения», Дружинину: «Неужели Библиотекой все-таки будут владеть люди, посторонние литературе?.. Скажу вам здесь кстати о расположении умов в провинциях относительно журналов. Всего более в ходу Современник; Добролюбов и Чернышевский производят фурор, и о «честной деятельности» Современника говорят даже на актах в гимназиях. Провинция любит, чтоб ей говорили *son fait* прямо и резко»². Именно так, прямо и резко, говорил всегда с провинцией и о провинции Салтыков; но независимо от этого способа выражения, с журналом Некрасова, Чернышевского и Добролюбова его об'единяло нечто большее: общность направления, радикальный демократизм, «народничество» и начинающаяся борьба с либерализмом.

Впрочем, обо всем этом мы будем говорить, влакомаясь с сатирическими фельетонами Салтыкова 1860—1862 гг.; теперь же надо обратить внимание на другое важное обстоятельство, вытекающее уже из беглого ознакомления с приведенным выше списком этих статей Салтыкова. Дело в том, что с ними мы вступаем в новый цикл произведений, идущий на смену прежнему крутогорскому циклу и его продолжению в предполагавшемся четвертом томе «Губернских очерков» и в «Книге об умирающих». Этими сатирическими фельетонами начала шестидесятых годов Салтыков

¹ «Письма», т. I, № 14.

² Там же, № 15.

переходил к новому и по темам, и по стилю ряду произведений, который может быть назван «глуповским циклом». В очерке начала 1861 года «Литераторы-обыватели» впервые появляются на сцену город Глупов и его обитатели глуповцы; мы еще увидим, что сперва Глупов является лишь прозрачным псевдонимом Твери, но очень скоро расширяет свое значение и становится синонимом всей России. Все последующие очерки 1861—1862 гг. уже всецело посвящены Глупову, представляя в совокупности совершенно ясный глуповский цикл, пришедший на смену крутогорскому. Там мы имели лишь провинциальные очерки, положившие основание обличительной литературе шестидесятых годов; здесь перед нами уже не бытовые «обличительные» очерки, а первые попытки социальной сатиры, которым лишь десятилетием позднее суждено было достичь у Салтыкова вершин своего развития в «Истории одного города»,— и именно истории города Глупова. Чтобы познакомиться с ней, надо сперва внимательно проследить за развитием сатирических фельетонов Салтыкова 1860—1862 гг., имея в виду, что этот глуповский цикл является первой попыткой Салтыкова на пути поисков новых форм, в которые предстояло вложить и новое содержание.

II

«Скрежет зубовный» появился в январской книжке «Современника» за 1860 год и был первым опытом Салтыкова в области сатирического фельетона. Первым — и блестящим, так как уже в нем Салтыкову удалось наметить те пути злободневной сатиры, на которых впоследствии он достиг непревзойденного мастерства. Темой очерка был обыватель, растерянно стоящий перед свалившейся на него «гласностью», но скоро приспособляющийся к новому для него положению вещей. Таким образом тема «власти» и «народа», поставленная еще в «Губернских очерках», осложнилась теперь введением третьей действующей силы, сатирическое изображение которой стало главным содержанием начинавшегося «глуповского цикла». Правда, и в «Губернских очерках» теме «обывателя» было посвящено некоторое внимание, но лишь в эпоху «эмансипации» шестидесятых годов обыватель подал голос и стал превращаться в «общество», стал образовывать «партии». Начиналась эпоха «глу-

повского возрождения» — и сам Салтыков подчеркнул, что оно является основной темой всех его очерков 1860—1862 гг.

На провинциального обывателя как снег на голову свалилась «гласность», и бывший герой «Губернских очерков», Порфирий Петрович, выступает в «Скрежете зубовном», чтобы поздравить своих сограждан с этим внутренне проклинаяемым ими даром эмансипации: «вот и мы, наконец, воспользовались двумя первейшими благами жизни: устностью и гласностью... тэ-э-кс!..». Глупова еще нет, перед нами попрежнему «добрые жители Крутогорска, еще не освоенные с безвредным значением этих слов»; тут и генерал Змеищев, и Размановский, и другие герои «Губернских очерков», протягивающие нить от крутогорского цикла к глуповскому. Но основная тема уже совсем новая: Крутогорск, попавший в волну эмансипации, скоро обобщится у Салтыкова до Глупова, ибо Крутогорск — это только Вятка, а Глупов — уже вся Россия.

Тема «гласности» и растерянности перед нею былых дореформенных героев, наиболее ярко поставлена была в русской литературе той эпохи именно Салтыковым. Однако это не значит, чтобы он был Колумбом этой Америки; наоборот, можно указать на ряд произведений той эпохи, в которых тема эта намечалась уже и до Салтыкова. Особенно подчеркну напечатанную в ноябрьской книжке «Современника» за 1859 год «Задушевную исповедь» Н. П. Макарова, которая и открывается словами: «Гласность, гласность и гласность! Вот современная и модная тема в России, тема, которую распевают на разные тоны и различными голосами, то громкими, светлыми и очень верными, то хрипылыми и фальшивыми, — тема, на которую сочиняют множество вариаций и фантазий, то дельных и доказательных, то нелепых и пошлых». Именно тема, очерченная этими словами, и легла в основу «Скрежета зубовного»; но сходство идет и дальше этой общей темы. Дело в том, что «Задушевная исповедь» Макарова была не чем иным, как яростным памфлетом против знаменитого тогда откупщика, либерала и публициста Кокорева, выводившегося в этом памфлете под фамилией Стукарева. В «Скрежете зубовном» тот же Кокорев выводится под именем «его сивушества князя Полугарова» и произносит длинную речь в защиту гласности, откупов и «постепенности». Последнее слово вскрывает собою главное острие этой сатиры Салтыкова, направленное против ненавистного ему лозунга «постепенности и нето-

ропливости», выставявшегося тогда не только крепостниками, желавшими затормозить проведение реформ, но и либералами-постепеновцами, которых так трудно было отличить от либералов-крепостников. Недаром в этом сатирическом фельетоне Салтыков мечет стрелы одновременно и против тогда еще либерального «Русского Вестника», и против былых своих персонажей из «Губернских очерков», Порфирия Петровича, князя Чебылкина и других, и против откупщика Кокорева, и против шумевшего тогда либерального маркиза Траверсе, выведенного в «Скрежете зубовном» под именем маркиза де-Шассе-Крузе. Мы еще остановимся ниже на этой борьбе Салтыкова с либерализмом под разными его обличиями, которая десятилетием позднее достигла своих вершин в знаменитом цикле «Дневник провинциала в Петербурге»; теперь же укажу на тот основной положительный вывод, который Салтыков противопоставляет всей этой внешней шумихе по поводу благих даров эмансипации. Этот положительный вывод дан в эпилоге «Скрежета зубовного», в знаменитом «Сне», раскрывающем основную мысль всего этого очерка.

«Относительно «Скрежета» позвольте мне одну просьбу, — писал Салтыков Анненкову из Рязани 16 января 1860 г. — Может быть, цензура затруднится пропустить его, имея в виду «Сон», который, в сущности, и заключает в себе всю мысль этой статьи. В таком случае можно было бы сон выпустить, но таким образом, чтобы читатель догадывался, что есть нечто». И Салтыков предлагает в таком случае закончить статью заголовком «Сон» со строкой точек под ним. «Это единственная уступка, которую я могу сделать, а иначе статья утратит весь свой запах». Однако цензура пропустила «Сон», и Салтыков удивлялся: «странно, что «С'езд» не пропускают, а «Скрежет зубовный» пропустили, хотя последняя вещь гораздо сильнее и резче»¹.

Итак, «Сон» заключает в себе «всю мысль этой статьи», посвященной сатирическому описанию обывательщины и части общества в их борьбе с гласностью и с реформами шестидесятых годов. «Сон» дает ответ на вопрос, каким путем провести эти реформы и на кого опереться в проведении их: надо призвать к управлению «Иванушку», народ. Здесь Салтыков воспользовался темой, ставшей

¹ «Письма», т. I, №№ 13 и 15.

перед ним еще в самом начале эпохи реформ, когда он собирался воспользоваться темой П. В. Павлова о призвании варягов и написать «Историческую догадку» на этот счет¹. В pendant к этому,— писал Салтыков Павлову 23 августа 1857 года,— будет у меня история о том, как Иванушку-дурака за стол посадили, как он сначала думает, что его надувают и т. д. Выйдет недурно, только как бы тово... не посекали». Только через два с половиной года осуществил Салтыков этот свой план, написав «Сон»—в сущности первую из своих сказок, к которым он вплотную подошел лишь четвертью века позднее. В своем месте мы увидим, что написанная через двадцать пять лет после этого сказка «Богатырь» повторяла собою тему «Сна»: и богатырь, и Иванушка олицетворяли собой народ, который надо призвать к управлению. Мы увидим также, что написанный в эпоху мрачной реакции восьмидесятых годов «Богатырь» заканчивался мрачной и безнадежной нотой; наоборот, «Сон» заканчивается оптимистическим описанием того, как Иванушка усаживается за стол «судить да рядить». Салтыков в это время верил, что Иванушка сумеет одолеть «варягов», под которыми он, следуя шутливой «исторической догадке» Павлова, подразумевал бюрократию. Интересно, что эта тема «варягов» повторяется и в «Скрежете зубовном», где иронически говорится о том, как автор «был твердо уверен, что варяги были какие-нибудь благодетельные гении, в роде бывшего в то время в нашем городе городничего», и лишь впоследствии узнал из исторических книг, «что эти варяги только и делали, что жгли и грабили русскую землю». Здесь в цензурной форме поставлен все же совершенно ясный знак равенства между варягами и бюрократией.

Мы видим: в «Скрежете зубовном» вполне ясно намечена основная тема всего предстоящего глумовского цикла в сатирических фельетонах 1860—1862 гг.: здесь и глумовское возрождение (происходящее еще в Крутогорске), и тема обывателя, и тема власти, и тема народа. В последующих очерках Салтыков продолжал развитие этих своих мыслей, сосредоточив главное внимание на теме «обывателей», ставших «обществом». Развитая красочно и язвительно, тема эта впервые была намечена Салтыковым именно в «Скрежете зубовном»².

¹ См. об этом в предыдущей главе.

² Автограф «Скрежета зубовного» на 22 листах сохранился в архиве М. Стасюлевича и находится теперь в Бумагах Пушкинского дома. В

Следующим очерком этого цикла был «Наш дружеский хлам», появившийся лишь к концу того же 1860 года; заваленный служебной работой, Салтыков не имел возможности отдаваться литературному творчеству. За этот промежуток времени им была написана лишь одна статья, по заглавию тесно связанная со «Скрежетом зубовным», а в действительности являющаяся типичной публицистической статьей, к тому же и подписанной не обычным псевдонимом Салтыкова (Н. Щедрин), а полной его фамилией.— Речь идет о статье «Еще скрежет зубовный», посланной Салтыковым в «Современник» в феврале 1860 года, но увидевшей свет лишь полу столетием позднее.

История этой статьи такова. В февральском номере журнала «Вестник Промышленности» за 1860 год, издававшегося представителями либеральной буржуазии, была напечатана статья некоего «Проезжего» под заглавием «Косвенные налоги на фабрики», с подзаголовком «Рассказ проезжего» и с эпиграфом «Не бойся суда, а бойся судьбы». Статья эта в беллетристической форме описывала дорожные встречи автора и его беседу с городничим Нововласьевска, подвергшимся опале и переведенным в другой уезд; потом автор попадал и в самый Нововласьевск, еще подробнее узнавая в нем о причинах опалы городничего. Причина заключалась в том, что некие добродетельные фабриканты этого города со своим управляющим англичанином решили облагодетельствовать местных крестьян и взяли к себе на фабрику рабочими крестьян и девок ряда помещиков, которые для этого дали этим своим крепостным волю. Но губернская бюрократия злонамеренно вмешалась в это дело и стала преследовать как фабрикантов, так и местные власти Нововласьевска, арестовывая ни в чем не повинных людей. В юмористическом виде был обрисован и губернатор, погруженный в семейные радости и заботы, и вице-губернатор, пляшущий под дудку своих подчиненных.

Вице-губернатор этот — Салтыков, потому что в этой статье «Проезжего» нетрудно узнать уже известное нам дело фабрикантов

рукописи к статье присоединен отдельный очерк «Смерть», с новой пагинацией и с эпиграфом «Pallida mors». Потом заглавие и эпиграф были зачеркнуты, и очерк этот вошел составной частью «Скрежета зубовного» непосредственно перед «Сном», который, к сожалению, не сохранился.

Хлудовых из города Егорьевска Рязанской губернии, дело в своеобразном освещении и с явной целью обелить всех виновников этого преступления. Салтыков не мог не отозваться на столь лживую статью, представлявшую собою злобный «скрежет зубовный» против действий рязанских губернских властей, решившихся дать этому делу ход и привлечь к ответственности виновных. В статье «Еще скрежет зубовный», подписанной «М. Салтыков», последний пересказывает статью «Проезжего» и подробно излагает все это дело «фабрики братьев Х.» (т.-е. Хлудовых), приводя подробный и убедительный цифровой материал. Из ряда сообщаемых им конкретных фактов для нас особенно интересны те, которые отразились в уже известных нам художественных произведениях той эпохи и прежде всего в пьесе «Соглашение» («С'езд»), которую он, как мы знаем, написал еще осенью 1859 года. Пьеска эта открывается словами помещика Мощиньского, которые неоднократно повторяются в ней: «Мне девки выгоднее! Мне девки больше дохода приносят!». А в статье «Еще скрежет зубовный» Салтыков рассказывает про одного помещика, причастного к этому делу братьев Хлудовых, что он «просил директора фабрики прислать ему денег, обещая выслать за это на фабрику еще девок, «от которых для него больше выгод, нежели от мужчин». Мы уже видели, что вся пьеса «Соглашение» построена на мотивах этого хлудовского дела; приведенная только что цитата является лишним доказательством этого факта.

Статью свою Салтыков заканчивает несколькими словами о роли «вице-губернатора» во всем этом деле; кстати заметить, что в статье он не вскрывал места действия и всюду употреблял псевдонимные названия лиц и городов, следуя в этом за очерком «Проезжего». Но в конце он явно указывает, о какой губернии и каких лицах идет речь. «Я кончил,— говорит Салтыков,— но не могу не прибавить нескольких слов в защиту вице-губернатора, который выставлен Проезжим чем-то в роде шута, из которого делает всё, что хочет, мифический младший секретарь губернского правления («Такой и должности-то нет»,— иронически заметил Салтыков в другом месте статьи). Вице-губернатор этот мне очень близок, и я смею уверить Проезжего, что не только младший секретарь, но и весь губернский синклит не заставит его сделать что-либо против его убеждений». Через несколько строк шла подпись Салтыкова с датировкой «23 февраля 1860. Рязань», ясно

вскрывающая, о ком и о чем идет речь и в статье «Проезжего», и в ответе Салтыкова.

Интересна судьба этого ответа. Посланный Салтыковым немедленно в редакцию «Современника», очерк «Еще скрежет зубовный» не был напечатан в журнале; на автографе имелись карандашные пометки: «неудобно» и «не одобряется». Первая могла быть выражением мнения редакции, а вторая — несомненно выражением цензорского мнения. Так или иначе, но рукопись была возвращена Салтыкову и никогда не была им напечатана. Только в 1909 году она была найдена Стасюлевичем в своих бумагах, но напечатана еще шестью годами позднее в сентябрьской книжке «Вестника Европы» за 1915 год¹. Для нас теперь статья эта имеет значение как характеристика административной деятельности Салтыкова в эпоху его рязанского вице-губернаторства; к глуповскому циклу и к сатирическим фельетонам начала шестидесятых годов она не имеет большого отношения. Но пройти мимо нее нельзя также и потому, что почти во всех дальнейших очерках глуповского цикла есть места, тесным образом связанные с этой публицистической статьей Салтыкова и остающиеся совершенно непонятными без предварительного знакомства с нею.

Следующий по порядку очерк «Наш дружеский хлам» появился лишь через несколько месяцев, в августовской книжке «Современника» за 1860 год; по содержанию он стоит на рубеже между крутогорским и глуповским циклами. В нем еще встречаются действующие лица из «Губернских очерков» (например, провинциальный Мефистофель Корепанов) и действие происходит все в том же кругу «губернской аристократии», описанию которого была посвящена значительная часть первого салтыковского цикла. Правда, имена главных действующих лиц этого очерка уже иные, — вместо генерала Голубовицкого или князя Чебылкина здесь действуют уже иные люди: генерал Голубчиков, Рылонов, «губернский Сенек» и другие, но эти новые имена не изменили старой сущности. Пересуды, сплетни, интриги, подсиживания, а после них выпивка и картеж — тема этого очерка, примыкающего более к крутогорскому,

¹ См. «Новое Время» 1910 г., № 12155 (от 13 января), статья В. С. Суходрева «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина»; см. также редакционное примечание к очерку «Еще скрежет зубовный» в «Вестнике Европы» 1915 г., № 9.

чем к глуповскому циклу, как по содержанию, так и по форме. Недаром Салтыков не включил этот очерк в глуповский цикл «Сатиры в прозе», а поместил его позднее в том «Невинных рассказов», главным образом состоящий из очерков и рассказов неосуществленного четвертого тома «Губернских очерков» и «Книги об умирающих».

Место действия очерка не названо: это уже не Крутогорск, но еще не Глупов, который появится лишь в следующем очерке, «Литераторах-обывателях»; реальный комментарий позволяет открыть карты сатирика и указать, что действие это происходит в Рязани, недавно покинутой Салтыковым, переехавшим в Тверь. На это определенно указывают воспоминания С. Н. Егорова, вскрывающего псевдонимы ряда лиц этого очерка Салтыкова. «По перемещении Салтыкова в Тверь, — говорится в этих воспоминаниях, — в печати появился его очерк «Мой старый дружеский хлам» (1). В нем можно видеть господ рязанцев того времени: ...«Генерал Голубчиков» — председатель казенной палаты В., «Рылонов» — советник той же палаты, «губернский Сенека» — правитель канцелярии губернатора Д. и т. д.»¹. Автор указывает при этом, что фамилию Рылонова Салтыков употребил по созвучию с действительной фамилией советника казенной палаты. Эти указания позволяют назвать прототипов тех лиц, которые выведены в этом очерке Салтыкова: их помогает раскрыть «Памятная книжка Рязанской губернии», вышедшая в свет как раз в год перехода Салтыкова из Рязани в Тверь. Сводя ее указания с воспоминаниями С. Егорова, мы можем установить, что генерал Голубчиков — председатель Рязанской казенной палаты, действительный статский советник и кавалер Вишнеvский, «губернский Сенека» — правитель канцелярии губернатора Дмитревский, а Рылонов — советник ревизского отделения казенной палаты Леонов². Впрочем, такой реальный комментарий не представляет значительного интереса, за исключением разве того, что окончательно сводит «Наш дружеский хлам» в разряд тех бытовых очерков, которых было так много в крутогорском цикле Салтыкова.

¹ С. Н. Егоров, «Воспоминания о М. Е. Салтыкове», «Сын Отечества» 1900 г., № 135.

² «Памятная книжка Рязанской губернии на 1860 г.» (Рязань 1860 г.).

Этот бытовой очерк старого типа описывает, однако, новые, уже далеко не «крутогорские» времена: в нем речь идет и о крестьянской реформе, завершения которой все эти сановные провинциальные бюрократы ждут с часу на час. Тем радостнее «благоприятные известия», получаемые генералом Голубчиковым, что «опасений никаких иметь не следует» и что реформа отменяется. Новой нотой звучат и возбужденные разговоры чиновников о том, что «Шалимов в трубу вылетел» и что его «сел Забудыгин». Интересно отметить, что и в черновой и в чистой рукописи очерка фраза эта сперва читалась так: «наш вице-губернатор в трубу вылетел», — и лишь потом зачеркнутый «вице-губернатор» заменен «Шалимовым». Однако и в печатном тексте осталось имя и отчество Шалимова тем псевдонимным именем и отчеством «Щедрина», которое известно нам еще из «Губернских очерков»: Николай Иванович. Таким образом в первоначальном тексте речь шла несомненно об интригах против Салтыкова и о чиновничьих надеждах, что он «вылетит в трубу». Но и появившийся в печатном тексте Шалимов скрывает за собой новый намек, являясь псевдонимом А. М. Унковского, который как раз в это время (с февраля 1860 года) был административно выслан в Вятку и находился в ссылке во время появления в свет этого очерка Салтыкова. Но, независимо от всех этих злободневных намеков, очерк «Наш дружеский хлам» ни по форме, ни по теме не входит в глуповский цикл, примыкая в этом отношении скорее к циклу «Губернских очерков»¹.

Теперь следовало бы перейти к очерку, более тесно связанному с глуповским циклом, а именно к «Лигераторам-обывателям», но сперва надо остановиться на небольшом юмористическом произведении, проявившемся в «Искре» еще за месяц до «Нашего дружеского хлама». Скрывшись под псевдонимом «Стыдливый Библиограф», Салтыков напечатал в №№ 25 и 28 этого журнала за 1860 год (июль) две странички под заглавием «Характеры» и с подзаголовком «Подражание Лябрюйеру»². Это небольшие отрывки, числом девят-

¹ Автограф очерка «Наш дружеский хлам» — в Бумагах Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича; черновик (6 листов) — под заглавием «Один из многих»; чистой автограф с вариантами на 18 листах.

² Псевдоним Салтыкова «Стыдливый Библиограф» был вскрыт еще в известном словаре псевдонимов Карцева и Мазаева; в подробном указа-

надцать, каждый в несколько строк, направленные своим острием против двух главных либеральных журналов той эпохи — против «Русского Вестника» Каткова и «Отечественных Записок» Краевского. И стиль отрывков, и мысли — явно выдают авторство Салтыкова; достаточно привести наудачу один отрывок целиком, чтобы без труда убедиться в этом:

«В 1857 году, после долгих и мучительных колебаний, «Русский Вестник» открыл Англию. — «Не открыть ли нам Америку?» шепнул А. А. Краевский г. Дудышкину. — «Ну их! еще что из этого выйдет!» отвечал г. Дудышкин. И вот почему Америка доселе остается неоткрытою».

«Открытие Америки» — излюбленный салтыковский иронический прием, который впоследствии в «Современной идиллии» дополнится еще более ироническим «закрытием Америки», так характерным для сатиры Салтыкова эпохи реакции восьмидесятых годов. Уже по одному этому отрывок этот можно было бы предположительно приписать Салтыкову, если бы у нас не было других, решающих доказательств. Но здесь для нас важнее само направление всех девятнадцати отрывков статьи «Характерь», показывающее, как относился Салтыков к признанному либерализму той эпохи и к главным представителям либералов. Отношение его в это время (1860 г.) к «Русскому Вестнику» и к «Отечественным Запискам» поэтому как нельзя более характерно.

Еще в начале 1859 года Салтыков в письме к Анненкову из Рязани (от 2 января) разразился гневной тирадой против Каткова и его статей в «Русском Вестнике». Ровно годом позднее, в известном нам «Скрежете зубвном», он впервые печатно напал на «Русский Вестник» и его влияние в провинции. «Я вам скажу по секрету, — иронически сообщал там сатирик, — что если бы не «Русский Вестник», то решительно неизвестно, как бы мы вывернулись из наших тесных обстоятельств». Эту целую страницу, направленную против журнала Каткова, Салтыков заключал надеждой, что

теле И. Ф. Масанова к «Искре» псевдоним этот ошибочно отнесен к Курочкину. Принадлежность «Характеров» Салтыкову впервые установил проф. Вас. Гиппиус («Литературное окружение М. Е. Салтыкова», «Русский язык в школе» 1927 г., № 2) и подробно разобрал их в статье «М. Е. Салтыков — сотрудник Искры» («Ученые Записки Пермского Университета» 1929 г., вып. I).

когда-нибудь еще «Русский Вестник» изобретет компас, окончит этим свое земное странствование и со свойственной ему скромностью произнесет: «здесь пределы человеческой мудрости, добрые сограждане!». Ненавистные Салтыкову лозунги либералов «постепенность и неторопливость» были беспощадно осмеяны в этом ядовитом выпаде против «Русского Вестника».

В «Характерах» тема эта развивается с самых разнообразных точек зрения. В первом отрывке автор сообщает, что журнал Каткова «сделался похожим на клетку, в которой некогда обитал драгоценный попугай. Ныне попугай улетел, а клетка сохранила лишь запах его». Статью же о «Русской общине» (статья Каткова) в этом журнале написал не иноземный попугай, а «отечественный скворец». В третьем отрывке иронически сообщается, что журналу Каткова сочувствует «некоторый благонамеренный и желающий добра отечеству землевладелец» (намек на то, что «Русский Вестник» все более и более становился органом дворянской партии). Четвертый отрывок подчеркивает связь либерального откупщика Кокорева с журналом Каткова, а в пятом отрывке рассказывается, что в редакции этого журнала поднят вопрос: «Благоразумно ли было с таким упорством нападать на кн. Черкасского за проект его относительно употребления «детских розог»? Решение последовало такое: неблагоприятно, но делать нечего» (Нам приходилось уже упоминать, что либеральный кн. Черкасский в начале эпохи реформ был «по ошибке» сторонником розги для крестьян, за что и подвергался нападкам еще более либерального Каткова, которому теперь, при новом его курсе, приходилось менять позицию). И еще в ряде отрывков ядовитые выпады Салтыкова против этого либерального журнала, начинавшего понемногу менять свой фронт.

Ошибочно было бы думать однако, что выпады эти направлены против перемены фронта, а не против самого либерализма: нет, Салтыков нападает здесь именно на основу либеральных принципов, вскрывая, что постепенность и ограниченность либерализма часто приводят его к такому пути. Таковы же выпады Салтыкова и против другого оплота либерализма, журнала Краевского «Отечественные Записки», издававшегося тогда под редакцией Степана Дудышкина («Стерва! Дудышкин», как называл его Салтыков в своих письмах). Таковы же стрелы Салтыкова в девятом отрывке против «знаменитого нашего библиографа и гробокопателя М. Н. Лонги-

нова» и — что особенно для нас интересно — против уже знакомого нам по позднейшим статьям Салтыкова, Ржевского, который-де собирается печатать в «Русском Вестнике» свои «новые опыты». Такой же выпад против Ржевского мы находим и в четырнадцатом отрывке. Если иметь в виду, что эти последние выпады происходили еще за год до начала полемики Салтыкова со Ржевским, и что этот весьма незначительный публицист вряд ли заслуживал пока отдельных стрел Салтыкова, то становится очень правдоподобным предположение, что последний знал в Ржевском того самого «Проезжего», с которым только что расправился в статье «Еще скрежет зубовой». Статья не увидела света — и Салтыков отвел душу хотя бы в двух отрывках из «Характеров».

Дальнейшее изучение этой статьи Салтыкова не представляет для нас интереса; в подробных комментариях можно было бы показать, что каждый отрывок расшифровывается ссылкой на явления журналистики той эпохи и, главным образом, на статьи «Русского Вестника». Здесь для нас важнее другое: несомненный факт начала борьбы Салтыкова с либерализмом, которая достигла своего апогея через десять лет, когда Салтыков навсегда обессмертил российский либерализм кличкой «ленкоснимательства» («Дневник провинциала в Петербурге», 1872 г.). Не заходя пока так далеко, мы будем следить здесь за отношением Салтыкова к либерализму в этих его очерках начала шестидесятых годов, составляющих цельный «глуповский цикл»¹.

Город Глупов впервые встречается в следующем же очерке Салтыкова, в «Литераторах-обывателях», появившихся в февральском номере «Современника» за 1861 год, через полгода после «Нашего дружеского хлама»². Но впервые появляющийся «наш родной город Глупов» здесь еще вовсе не имеет позднейшего обобщенного смысла, который выявится лишь в очерках следующего года; в «Литераторах-обывателях» действие происходит в Глупове,

¹ Отмечу здесь между прочим, что статья «Характеры» обратила на себя внимание печати; несомненно знавший про авторство Салтыкова, И. И. Панаев так отозвался об этой статье: «мы до сих пор еще ничего не читали в «Искре» остроумнее заметок подражателя Лябряйера» («Современник» 1860 г., № 8, стр. 326).

² Сохранился автограф «Литераторов-обывателей», неполный текст на 14 листах (Бумаги Пушкинского дома, архив М. Стасюлевича).

как могло бы происходить и в Крутогорске, и в ряде других псевдонимных городов сатиры Салтыкова. Но во всяком случае Глупов уже явился — и скоро определит собою темы произведений Салтыкова не только на ближайший год, но и на ближайшее десятилетие. Пока же темой «Литераторов-обывателей» является та самая «гласность», которая лежала уже в основе «Скрежета зубовного», начавшего собою этот ряд сатирических фельетонов 1860—1862 гг. Здесь Салтыков ставит вопрос об оскудевшей и обмельчавшей «обличительной литературе», родоначальником которой был он сам пятью годами ранее. Спор Герцена с Добролюбовым об этой литературе был еще у всех в памяти, и характерно, что Салтыков в этом своем сатирическом фельетоне всецело становится на сторону Добролюбова, который высказал те же самые мысли в своем «Письме из провинции» еще в апрельской книжке «Современника» за 1859 год. Разменявшаяся на мелочи обличительная литература стала теперь знаменем того самого дешевого либерализма, с которым, как мы знаем, Салтыков повел решительную борьбу во всех этих своих сатирических фельетонах, начиная со «Скрежета зубовного». В этом отношении «Литераторы-обыватели» представляют собою видное звено в борьбе Салтыкова с либерализмом той эпохи.

Следует отметить две интересные подробности, связанные с частными темами и внутренним построением этого очерка. Первая частности — стрелы против «Проезжего», мало понятные тем читателям, которые не могли знать запрещенной цензурой статьи «Еще скрежет зубовный». Тут и город Нововласьевск из статьи «Проезжего», и нововласьевский городничий, и «некоторый фабрикант», который благодетельствует «своим меньшим братьям, деятельно выкупает их на волю», тут и налетающий на него бюрократ, который «как дважды два четыре доказывает, что товаром сим спекулировать воспрещается». Правда, к этому новому изложению дела фабрикантов братьев Хлудовых Салтыков в журнальном тексте сделал примечание, сохранившееся еще и в первом отдельном издании «Сатир в прозе», в котором отсылал читателей к статье Проезжего «Косвенные налоги на фабрике». Но все это понятно теперь только нам, знающим статью Салтыкова «Еще скрежет зубовный», да было понятно тем читателям той эпохи, которые имели в руках мало-распространенный «Вестник Промышленности».

Второе обстоятельство, на которое следует обратить внимание, гораздо значительнее первого. Оно заключается в той злободневности, которая начинается с этой поры пронизывать сатирические очерки Салтыкова. Вот примеры. В начале «Литераторов-обывателей» Салтыков говорит о корреспонденциях в газеты из Рязани и Калуги, говорит о споре между селом Ивановым и Вознесенским посадом, несколько дальше иронически и неоднократно подчеркивает отсутствие разменной монеты в России, ссылаясь на циркуляр в Самаре относительно трезвости и на защиту алкоголизма в Саратове. Все это является не выдумкой сатирика, а своеобразно освещенными событиями, заимствованными из корреспонденций «Московских Ведомостей» редакции Корша (1860 г.).

Вскрыть, откуда Салтыков заимствовал все эти сведения—дело подробных комментариев к его сочинениям; здесь мы остановимся для примера только на двух-трех наудачу взятых фактах. Так, например, рассказ о том, как молодые саврасы в Калуге, придя в театр, стали раздеваться в нем, «неизвестно почему вообразив себе, что пришли в баню» — заимствован из корреспонденции «Московских Ведомостей» в № 207 за 1860 год. «Спор между селом Ивановым и посадом Вознесенским» (вскоре слившихся в город Иваново-Вознесенск) начиная с конца 1859 года сильно шумел в печати; ему посвящены корреспонденции и статьи в №№ 254 и 274 «Московских Ведомостей» этого года, а в январском номере «Вестника Промышленности» за 1860 год появилась целая сводная статья об этом споре под приведенным выше заглавием. Отсутствие разменной мелкой монеты в начале шестидесятых годов было весьма ощутимым неудобством, если даже не бедствием; газеты и журналы тех годов посвящали этому вопросу ряд статей. «Горести от недостатка звонкой монеты; задержки на станциях по недостатку сдачи» — вот примерные заглавия, суммированные позднее в августовском номере «Современника» за 1861 год и в январских номерах «Современной Летописи» за 1862 год.

Примеры эти можно было бы значительно увеличить, но здесь дело не в числе, а в самом факте: Салтыков с этих пор без стеснения брал в свою сатиру самые мелкие злободневные вопросы, еще не рискуя на первых порах доводить их до шаржа, что он так мастерски делал впоследствии. Пока же в «Литераторах-обывателях» эта злободневность носила лишь протокольный характер; прелом-

ленная через шарж, она вскоре стала одним из самых могущественных оружий художественной сатиры Салтыкова¹.

После «Литераторов-обывателей» прошло снова целых восемь месяцев до появления следующей статьи Салтыкова из этого цикла: занятый служебной работой, он не имел возможности отдавать свое время литературе. Лишь с конца 1861 года начинается более деятельное сотрудничество его в «Современнике». Так, в октябрьском номере этого журнала за 1861 год появился сатирический очерк «Клевета», а в ноябрьском — «Наши глуповские дела». Оба эти очерка посвящены варьяциям на тему о «глуповском возрождении», которая является вообще основной темой всего глуповского цикла.

«Что Глупов возрождается, украшается и совершенствуется — это, я полагаю, давно всем известно. Он не имел никаких понятий — явились понятия; он не имел страстей — явились страсти. Глупов задран за живое». Так начинается очерк «Клевета», и уже это начало показывает, что Глупову в дальнейшем будет приписан обобщающий смысл: речь явно идет о всей России. Обобщающее значение имеют и имена, встречающиеся в этом и в других очерках Салтыкова глуповского цикла: Иванушка — это народ, Сидорычи и Трифонычи, впервые выступающие в этом очерке — представители дворянского сословия. Кроме этих обобщающих имен в «Клевете» впервые выступают герои будущих салтыковских произведений; таковы, например, Федя Козелков и Сеня Бирюков, молодые кандидаты в помпадуры, так часто встречающиеся впоследствии. Упоминаются и прежние герои салтыковских произведений, как например, госпожа Падейкова; встречается и Матрена Ивановна, уже знакомая нам по публицистическим статьям Салтыкова этого же 1861 года, но получающая в этих очерках новый облик:

¹ По поводу очерка «Литераторы-обыватели» вскоре появилась на страницах «Северной Пчелы» (1861 г., № 189, от 25 августа) статья А. Пятковского «Провинциальные корреспонденты и г. Щедрин». Посвященная «преемникам г. Щедрина» в области обличительной литературы статья эта содержит в себе, между прочим, верное указание, что тема этого салтыковского очерка была намечена уже в фельетонах «Библиотеки для Чтения» за 1860 год. Действительно, в фельетоне «Петербургские заметки» в мартовской книжке этого журнала есть главка «Обличители-литераторы», предвосхищающая тему и заглавие салтыковских «Литераторов-обывателей».

из петербургской содержанки видного министра она делается местной провинциальной львицей. Встречается, наконец, и Шалимов, с которым мы недавно познакомились в очерке «Наш дружеский хлам», и который, как я уже указал, является прозрачным псевдонимом А. М. Унковского. В очерке «Клевета» целый ряд намеков о Шалимове слишком явно целит в тверские события, связанные с именем и деятельностью Унковского. Так, например, пущенная про Шалимова клевета о взяточничестве несомненно имеет своим истоком знаменитую историю аналогичного обвинения Унковского крепостническим дворянством на заседании губернского Тверского дворянского собрания 8 декабря 1859 года, историю, закончившуюся весьма печально для обвинителей Унковского¹.

Все это объясняет то отношение, какое встретила «Клевета» Салтыкова в реакционной части тверского общества, принявшего весь этот очерк Салтыкова за пасквиль против тверских Трифоновичей и Сидорычей, между тем как у Салтыкова вопрос был поставлен гораздо шире и тверские эпизоды были только случайно влетены в общую канву глуповского цикла. В письме к Анненкову из Твери от 3 декабря 1861 года Салтыков высказывается о переживаемой эпохе вообще и о глуповском возрождении в частности; сообщив, что смерть Добролюбова потрясла его до глубины души, Салтыков продолжает: «Да, это истинная правда, что жить трудно, почти невозможно. Бывают же такие эпохи. Моя «Клевета» взбудоражила все тверское общество и возбудила беспримерную в летописях Глупова ненависть против меня. Заметьте, что я не имел в виду Твери, но Глупов все-таки успел подпыхать себя в статье. Рылокошения и спиноотворачивания во всем ходу. То есть не то, чтобы настоящие спиноотворачивания, а те, которые искони господствовали в лакейских. Шушукают и хихикают, пока барина нет, а вошел барин — вдруг молчание, все смешались и глупо краснеют: мы-дескать только что сию минуту тебя обгладывали»².

Так встретил глуповский обыватель эпохи «возрождения» «Клевету» Салтыкова, основная мысль которой была в том, что немногим

¹ Г. А. Джаншиев, «А. М. Унковский и освобождение крестьян» (М. 1894 г.), стр. 137—141. Несколько ниже в этой книге указывается, и вполне справедливо, что «в лице выведенного Салтыковым оклеветанного Шалимова встречается не одна черта, напоминающая судьбу А. М. Унковского» (стр. 148).

² «Письма», т. I, № 19.

Шалимовым надо суметь стать выше общества обывателей, выше провинциального болота: «Сбрось с себя эту дрянь! покончи с Глуповым и делай свое дело, иди своего дорогой! Стань в стороне от Глупова и верь, что грязь его не забрызжет тебя!». Несмотря на все намеки на тверские события, слишком явно, что речь здесь идет не о Твери, и что отныне Глупов получает у Салтыкова широкое и обобщающее значение. Начало такого понимания Глупова впервые дано было именно в «Клевете»¹.

Следующий очерк «Наши глуповские дела», появившийся немедленно вслед за «Клеветой», уже окончательно рисует Глупов таким, каким отныне он входит в дальнейшее творчество Салтыкова. Правда, начало этого очерка явно намекает на Тверь, и не случайно в нем возвращение автора в Глупов характеризуется, как возвращение в родную Тверскую губернию («детство! родина! вы ли это?»); не случайно и река Глуповица связана с Тверцой, при впадении которой в Волгу стоит Тверь. Но это только мелкие детали; вся дальнейшая топография и история Глупова уже совершенно фантастичны и делают этот очерк ближайшим предвестником позднейшей «Истории одного города». Впрочем, Салтыков был еще далек от мысли о такой истории и, наоборот, категорически заявлял, что «истории Глупова нет как нет, потому что ее с'ели крысы»; вместо истории он видит лишь собрание анекдотов. Однако именно эти три-четыре страницы, посвященные фантастической истории Глупова (когда он еще назывался Умновым), рассказывающие о приезде в этот город громовержца Юпитера и Минервы-богини, а потом переходящие к описанию смены разных глуповских губернаторов — и являются той основой, из которой в конце шестидесятых годов выросла «История одного города». Здесь уже не Тверь и не Вятка (хотя один из глуповских губернаторов, Фютяев, и является простой анаграммой пресловутого в Вятке во времена Герцена губернатора Тюфяева), а тот обобщенный Глупов, с которым мы отныне только и будем встречаться в дальнейших очерках Салтыкова.

Впрочем, все это еще не значит, чтобы «Наши глуповские дела» были совершенно отрезаны от произведений Салтыкова более раннего периода. В этом очерке мы еще раз встретим не только

¹ Сохранился в автографе полный текст на 6 листах этого очерка (Бумаги Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича).

Козелкова, Бирюкова и Матрену Ивановну, но даже и воспоминание о подпоручике Живновском, даже рассказ о губернаторе Зубатове, который не сошел с ума (как это с ним по воле автора случилось в отрывках из «Книги об умирающих») и не умер, а сохранил свое губернаторское место в Глулове и процветает, хотя и будучи совершенно не в состоянии осмыслить эпоху: «это возрождение — чорт его знает, что это такое!». Старые формы побеждают дух новых реформ — вот вывод, к которому должен прийти читатель этого салтыковского очерка.

Очерк этот заканчивается двумя эпизодами, сперва составлявшими отдельные этюды, но включенными Салтыковым в «Наши глуповские дела». В рукописях Салтыкова сохранились два автографа: один, еще ненапечатанный, озаглавлен «Хорошие люди», а другой, напечатанный не так давно, носит название «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека»¹. Но дело в том, что оба эти отрывка вошли составной частью в заключение очерка «Наши глуповские дела». Хорошие люди — это все те же самые либералы, которым Салтыков уже посвятил так много страниц и которых он теперь не оставит в покое до самого конца своей литературной деятельности. Что же касается «современного человека», предчувствия, гадания и заботы которого Салтыков выражает в форме дневника помещика Ржаницева на последних страницах этого своего очерка, то этот современный человек — озлобленный крепостник, с ненавистью ожидающий неизбежную крестьянскую реформу. «Все сие совершилось», — пишет он в своем дневнике от 20 ноября 1858 года; здесь можно вспомнить, что обстоятельство, перевернувшее жизнь госпожи Падейковой, случилось тоже «двадцатого ноября, в самый день преподобного Григория Декаполита». Читатель того времени помнил, что 20 ноября 1857 года началось дело крестьянской реформы знаменитыми рескриптами Назимову.

«Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» являются в рукописи более полной редакцией дневника Ржаницева, чем в печатном тексте, при чем в рукописном тексте

¹ В архиве Стасюлевича (Бумаги Пушкинского дома) сохранился автограф «Хороших людей» и «Предчувствий, гаданий, помыслов и забот современного человека»; последний был дважды напечатан: отрывочно — в «Ниве» 1914 г., № 17, и полностью — в «Звезде» 1926 г., № 2.

гораздо более, чем в печатном, подробностей всё о том же так хорошо известном нам деле фабрикантов братьев Хлудовых. Впрочем, и в печатном тексте дневника от 11 ноября 1858 года сохранилась фраза: «приезжал англичанин с фабрики; спрашивал, не соглашусь ли отпустить в работу девок, и цену за сие давал изрядную»... Явно целя в известную нам статью «Проезжего», Салтыков тут же прибавлял от имени автора дневника, «что это совсем не сделка, а просто доброе дело». Так как «Еще скрежет зубовой» не мог появиться в печати, то Салтыков, как видим, постоянно пользовался случаем в дальнейших очерках возвращаться к этому столь задевавшему его делу времен его рязанского вице-губернаторства.

Но все это — мелкие частности; основным содержанием очерка попрежнему является сатирическое описание провинциального общества в эпоху «глуповского возрождения», о котором «нужно же было какому-то, прости господи, кобелю борзому заговорить!». Само сочетание этих двух слов заключало в себе, по мысли сатирика, приговор над вложенным в них понятием. «Возрождение глуповское!.. воля ваша, тут есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовместимое, что мысль самая дерзкая невольно цепенеет перед дремучим величием этой задачи. Да помилуйте! Да осмотритесь же кругом себя!» Этот здравый взгляд не мешал, однако, Салтыкову относиться с верой в грядущие общественные силы; сатирический очерк свой он заканчивает заявлением, что «глуповское миросозерцание, глуповская закваска жизни находятся в агонии — это несомненно. Но агония всегда сопровождается предсмертными корчами, в которых заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы он считал новоглуповцев, которые пришли на смену «древле-глуповскому миросозерцанию» и которые уже не смогут удержаться на старой почве. Символ старого Глупова, пресловутая Матрена Ивановна, думает и надеется, «что глуповцам не будет конца, что за новоглуповцами последуют новейшие глуповцы, а за новейшими — самоновейшие, и так далее, до скончания веков». Но сатирик убежден, что «этого не будет», и что новоглуповец — «последний из глуповцев». Мы увидим, что Салтыкову очень скоро пришлось отказаться от этих розовых надежд и что все последующее тридцатилетие его литературной деятельности прошло в неустанной борьбе с вечно возрождающи-

мися глуповцами, которая продолжается и до сего дня. Матрена Ивановна оказалась права.

В заключение этого разбора очерка* «Наши глуповские дела» следует упомянуть, что сохранившийся автограф его дает очень интересную редакцию текста с рядом еще неизвестных вариантов, а главное позволяет установить хронологию сцены «Погоня за счастьем», о которой приходилось говорить в предыдущей главе. Дело в том, что автограф «Наших глуповских дел» представляет собою сводную редакцию этого очерка с пьесой «Погоня за счастьем»; это обстоятельство является решающим для определения хронологии пьески, которая должна быть отнесена к лету или осени 1861 г., когда был написан очерк «Наши глуповские дела»¹.

Очерком «К читателю» открываются произведения глуповского цикла, напечатанные Салтыковым в 1862 году. Очерк этот появился в февральской книжке «Современника» за 1862 год, хотя, повидимому, был написан не позднее ноября или начала декабря предыдущего года. По крайней мере в письме к Некрасову от 25 декабря 1861 года Салтыков сообщал, что посылает в редакцию корректуру очерка «с сделанными изменениями», и прибавлял к этому: «надеюсь, что цензор пропустит; если же и за тем не пропустит, то лучше совсем не печатать, потому что выйдет бессмыслица»². Неделю позднее Салтыков писал в контору журнала: «покорнейше прошу контору уведомить меня, будет ли помещена в январской книжке «Современника» статья моя «К читателю» в том виде, как она мною исправлена»³. Все это показывает, что статья подверглась искажениям в цензуре и вторично исправлялась Салтыковым; кое-какие указания на это могут дать фрагменты автографической рукописи, сохранившиеся у Салтыкова⁴. Хронологические указания эти являются существенными в виду того, что опровергают мнение, существовавшее до сих пор, будто бы Салтыков в этом своем очерке имел в виду дворянские выступле-

¹ Автограф в Бумагах Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича.

² «Письма», т. II.

³ «Письма», т. I, № 20.

⁴ Фрагменты рукописи «К читателю» (на 16 листах) в Бумагах Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича.

ния конца января 1862 года. Как видим, к этому времени статья Салтыкова в исправленном виде находилась уже в редакции¹.

Какие были эти события и о каких аналогичных событиях говорил Салтыков в этом своем очерке? 23 января 1862 г. московское дворянское собрание подало адрес государю, одновременно ходатайствуя и о либеральных реформах (расширение свободы печати, введение суда присяжных и даже созвание «выборных людей от всех сословий государства в Москву»), и о соблюдении дворянских интересов (правительственное обеспечение полной уплаты оброков и выкупа). Салтыков написал свой очерк месяца за два до этого выступления московских дворян, но ему и не надо было дожидаться такого выступления, потому что все предыдущие действия либеральных помещиков были совершенно такого же рода. Один из самых ярых крепостников, племянник князя Орлова, М. А. Безобразов (которого не надо смешивать ни с крепостником-публицистом Н. А. Безобразовым, ни с либеральным другом Салтыкова В. П. Безобразовым), еще в 1859 году подал государю записку, одновременно проникнутую и крепостническими тенденциями, и требованием самоуправления для дворян и ограничения самодержавия. Такой либерализм на крепостнической основе был хорошо знаком Салтыкову, и ему не раз уже приходилось бороться с ним и в своих публицистических статьях 1861 года (полемика со Ржевским), и в уже известных нам сатирических фельетонах этого же времени. В очерке «К читателю» он лишь подвел итог всем таким выступлениям.

Еще в письме к Анненкову от 27 января 1860 года Салтыков говорил о «либеральном терроризме, который всасывается ныне всюду. Вот отчего я вознамерился бежать из Рязани, что и здесь также намерен этот терроризм воцариться»². Это было написано немедленно вслед за уже известным нам выступлением рязанских крепостников-либералов против петербургской бюрократии; прошло два года — и этот либерализм расцвел уже пышным цветом. «В публичных местах нет отбоя от либералов всевозможных шерстей, и только слишком чуткое и привычное ухо, за шумихою

¹ Мнение о том, что в очерке «К читателю» Салтыков мог иметь в виду выступление московского дворянства в январе 1862 года, высказано В. И. Семевским в его книге «Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М. Е. Салтыкова» (П. 1917 г.), стр. 41.

² «Письма», т. I, № 14.

пустозвонных фраз, может подметить старинную заскорузлость воззрений и какое-то лукавое, чуть сдерживаемое приурочивание вопросов общих, исторических, к пошленьким интересам скотного двора своей собственной жизни», — так ставит Салтыков на первых же страницах очерка «К читателю» основную его тему. Он описывает «либеральный разговор» в вагоне, где француз-путешественник в разговоре с помещиком узнаёт, что идеалом последнего одновременно является и «le système du selfgovernment» и также «la libre initiative des poméschiks», и система самоуправления и «свободная инициатива помещиков». Салтыков издевается над этими либеральными требованиями, заявляя, что и самоуправление, и свободная инициатива помещиков «достаточно проявили свои достоинства в продолжение нескольких столетий», в эпоху крепостного права. Попутно Салтыков пускает ядовитую стрелу «в знаменитого публициста и защитника свободы Ржевского» и в его соратника, пресловутого крепостника-публициста дворянина Юматова, с его англоманством, преклонением перед «английской джентри» и ссылками на Гнейста, явно имея в виду какую-то «статью господина Юматова в одной газете». «И даже, как бы вы думали, — иронически заканчивает Салтыков устами одного из действующих лиц очерка, — даже не в Петербурге и не в Москве писано, а так в каком-то Сердобске — уму непостижимо!» Здесь говорится о статьях Юматова, помеченных Сердобском и печатавшихся в «Современной Летописи» Каткова в 1861—1862 гг.¹; в них мы находим типичное катковское англоманство, постоянные ссылки на Монталамбера, Гнейста и другие авторитеты. «Умрем, но напакостим! — восклицаешь ты, автор золотушных фельетонов-реклам, — ты идол Ноздревых и Чертопхановых!» — говорит Салтыков, направляя эту свою стрелу прямо в Каткова.

Под знаком такого либерализма проходит все глуповское возрождение; все бывшие крепостники стали теперь либералами и отчасти пустили шип по-змеинному, отчасти защелкали по-соловьинному. «И вот отчего, в настоящую минуту, нет того болота на всем пространстве глуповских палестин, в котором не слышалось бы щелкание соловья-либерала». Но все эти «рекламы либерализма»

¹ В виде примера можно указать на статью Юматова «Мировые посредники как адвокаты крестьян» в «Современной Летописи» 1862 г., № 3; см. также статью его в № 1 этой же газеты за тот же год.

Салтыков считает «не больше как прыщами, посредством которых разрешилось долго-сдерживаемое умственное глуповское худосочие»; и Салтыков заявляет, что он положительным образом протестует «против претензии прыщей на право бесконечного господства в жизни». Он иронически замечает, что «как ни привлекательно приволье дней минувших, но оно невозвратно» и что у всех этих соловьев-либералов «жизнь ускользнула промеж пальцев». Этим объясняется озлобленность либералов на эпоху реформ; как ни заливались они соловьями, но в конце концов «пестрая риза ложного либерализма упала сама собою, фраза значительно похудела и утратила свою одутловатость, реклама стушеввалась... Очень приятно!».

Во всем этом тонко подмечен неизбежный переход дворянского либерализма в чистую реакцию; именно начиная с 1862—1863 гг. былой либерализм сбрасывает с себя маску и безвозвратно становится на реакционную почву. Бывший оплот либерализма и англоманства, «Русский Вестник» Каткова становится вместе с перешедшими к последнему в 1863 году «Московскими Ведомостями» главной цитаделью дворянской реакции на целые четверть века. Салтыков оказался блестящим провидцем, предсказывая еще с начала 1860 года неизбежность подобного исхода; в очерке «К читателю» он лишь подвел итоги и окончательно расправился с этим былым крепостничеством под новой маской либерализма.

Очерк этот тесно связан со всем глуповским циклом; последние страницы очерка в этом смысле особенно показательны. Все, что говорилось на предыдущих страницах очерка — говорилось о Глупове, и Глупов этот уже твердо отождествляется со всей Россией. «Я знаю Глупов, и Глупов меня знает», — иронически пародирует Салтыков пресловутую горделивую фразу Н. Полевого («я знаю Русь, и Русь меня знает!»), впоследствии отразившуюся и в «Избранных местах переписки с друзьями» Гоголя, и пародически в «Селе Степанчикове и его обитателях» Достоевского. Здесь вторично и окончательно Салтыков ставит решительный знак равенства между Глуповым и Россией, особенно ясный в том месте, где сатира переходит в лирику: «Глупов! милый Глупов! отчего надрывается сердце, отчего болит душа при одном упоминении твоего имени?.. Отчего же несутся к тебе сердца? Отчего же уста сами собой так складываются, что поют хвалу твою? А оттого, милый Глупов, что мы все, сколько нас ни есть, мы все плоть от

плоти твоей, кость от костей твоих»... Четыре последних страницы очерка, посвященные Глупову, объясняют, почему очерк этот Салтыков годом позднее сделал введением ко всему циклу, собранному им в томе «Сатир в прозе».

В очерке этом еще раз проходят перед нами тесной толпой и почти все герои «Губернских очерков», и Сеня Бирюков с Федей Козелковым, и действующие лица «Литераторов-обывателей», и разные «Проезжие» и «Прохожие» (новая стрела Салтыкова в предполагаемого нами Ржевского), и кн. Черкасский с его розгой, о котором говорилось уже и в «Характерах». Мы имеем здесь как бы итог ряда предыдущих произведений Салтыкова и взгляд на предыдущие очерки глуповского цикла, который будет еще продолжаться.

Продолжение это должно было последовать немедленно же, в весенних номерах «Современника» за 1862 год. Еще 21 февраля этого года Салтыков писал Некрасову: «посылаю вам... еще две статьи, которые я просил бы вас напечатать в мартовской книжке, разумеется, если это возможно»; к этому Салтыков прибавлял, что, по его подсчету, в высылаемых им статьях «материалу около 3 листов»¹. В мартовскую книгу статьи эти, однако, не попали; в письме к Чернышевскому от 14 апреля 1862 г. Салтыков говорил уже о трех своих рассказах, находящихся в редакции «Современника», которая «предполагает находящиеся в ее распоряжении три моих рассказа разделить на два номера, т.е. напечатать их в апрельской и майской книжках» в том предположении, что «рассказы займут много места». «Но я убежден,— продолжал Салтыков,— что все рассказы вместе взятые не займут более 3½ печатных листов, и если это только возможно, то просил бы вас убедительнейше пустить их все в апрельской книжке»². Какие это были рассказы — пока по письмам остается неизвестным; впрочем, в позднейшем письме к Некрасову от конца того же года Салтыков просит Некрасова похлопотать у председателя петербургского цензурного комитета В. А. Цез «за мою статью «Глуповское распутство», которая тоже у него киснет»³.

¹ «Письма», т. I, № 21.

² «Былое» 1906 г., № 2, стр. 250—251.

³ «Письма», т. I, № 25 (от 29 декабря 1862 г.).

Судьба этих статей между тем была такова. Во второй половине апреля 1862 г. две из них поступили к цензору, который «перемарал в них **Очень** многое»; тогда Чернышевский явился к Цез для переговоров, в результате которых последний согласился ограничиться изъятием из первой статьи лишь «места о генерале Зубатове» (такое место находится именно в очерке «Глуповское распутство»). Министр народного просвещения Головин сперва подтвердил такое решение, но в то же время послал эти статьи на просмотр к влиятельному придворному, графу С. Г. Строганову. Отзыв последнего был настолько неблагоприятен, что Головин, получив его, воспретил обе статьи, выразив председателю цензурного комитета благодарность за задержание их¹.

Какие были эти статьи — в настоящее время установлено с достаточной убедительностью: это были «Глуповское распутство», «Каплуны» и «Глулов и глуловцы»². Общй их размер как раз и составляет немного более трех с половиною печатных листов, о которых говорил Салтыков в своем письме к Чернышевскому. Все три очерка так и не увидели света при жизни Салтыкова и были напечатаны лишь много позднее: «Глуловское распутство» и «Каплуны» — в 1910 году, а «Глулов и глуловцы» — только в 1926 году, в годовщину столетия рождения Салтыкова³.

Принадлежность всех трех очерков к глуловскому циклу несомненна уже и по заглавиям двух из них; она становится совершенно несомненной при изучении их содержания. Основной темой «Глуловского распутства», самого большого из трех очерков, является прежний вопрос о народе (попрежнему именуемом «Иванушки») и об умирающем поместном дворянстве, которому пришла пора «откровенно окунуться в реку забвенья». На смену дворянским недорослям «Митрофанам» (первый мотив предисловия «Гос-

¹ «Исторический Вестник» 1911 г., № 8, стр. 528.

² Н. В. Яковлеву, опубликовавшему последний из этих очерков, принадлежит и мысль о вхождении в ту же серию и двух первых очерков. См. «Письма», т. I, стр. 29, и «Красная Новь» 1926 г., № 5, комментарий Н. Яковлева к статье «Глулов и глуловцы».

³ «Глуловское распутство» — «Нива» 1910 г., № 9; «Каплуны» — «Нива» 1910 г., № 13; «Глулов и глуловцы» — «Красная Новь» 1926 г., № 5. Все три очерка сохранились в автографических рукописях (Бумаги Пушкинского дома, из архива М. Стасюлевича).

под ташкентцев») идут здоровые духом и телом «Иваны»; отмирающее дворянство, ожидая гибели, может только распутствовать и прожигать жизнь. Дворянство это, как и в предыдущих и в последующих очерках этого цикла, символизируется под именами Сидорычей и Трифонычей, при чем в «Глуповском распутстве» между ними впервые производится различие: Сидорычи — это ретрограды, а Трифонычи — либералы, при чем обе эти группы друг друга стóят. В следующем очерке глуповского цикла «Наш губернский день» Салтыков еще вернется к Сидорычам и Трифонычам и к их характеристике. Таким образом «Глуповское распутство» и по теме (конец дворянства), и по частным мотивам самым тесным образом связано со всем глуповским циклом в его целом.

Но в то же время «Глуповское распутство» по целому ряду мотивов является уже несомненным преддверием к будущей «Истории одного города». Вскользь намеченное сравнение Глупова с Римом дало впоследствии тему для обращения к читателю архивариуса-летописца в предисловии к «Истории одного города»; ряд мест о губернаторе Глупова Зубатове (мест, показавшихся особенно неприемлемыми для цензуры) перешел потом в «Историю одного города» при описании подвигов глуповских градоначальников. Один только пример. В «Глуповском распутстве» автор вопрошает и отвечает: «кто предводительствовал нами в то время, когда мы войной шли на «Дурацкое городище» (помните, та самая война, которая из-за гряды, засаженной капустой, загорелась, и во время которой глуповцы, на удивление целой России, успели выставить целый вооруженный вилами батальон)? — Зубатов». Этот шарж почти со всеми его подробностями перейдет через несколько лет в «Историю одного города», в знаменитые войны за просвещение, которые велись глуповскими градоначальниками, — и число таких примеров можно было бы значительно увеличить. Можно было бы указать еще и на связь «Глуповского распутства» с рядом других позднейших произведений Салтыкова; здесь ограничусь тоже одним из примеров на выбор. Знамя, которое местные глуповские дамы расширяют шелками, как знамя борьбы, ровно через десять лет снова появилось в очерке Салтыкова «Помпадур борьбы» (1873 г., из цикла «Помпадуры и помпадурши»), в котором дамы города Навозного подносят местному помпадуру «белое атласное знамя с вышитыми на нем словами: борьба». Таким образом «Глуповское

распутство» переполнено целым рядом мотивов шаржа, которые лишь в позднейших произведениях Салтыкова достигли полного расцвета. Укажу заодно на связь «Глуповского распутства» и с предыдущими очерками глуповского цикла. В первом из них, в очерке «Скрежет зубовный», знаменитый эпилог его, «Сон», кончается тем, что «Иванушка», призванный судить да рядить, сперва прятался от страха под стол, а потом «не только сел на месте, но даже ноги на стол вскинул». В «Глуповском распутстве» повторяется тот же мотив: глуповцам велено пропустить Иванушек вперед и очистить для них место, а Иванушки обсуждают: «не пора ли им класть ноги на стол».

Вся эта связь с предыдущими и последующими произведениями Салтыкова делает «Глуповское распутство» одним из центральных очерков глуповского цикла; остается только пожалеть, что по цензурным причинам очерк этот в свое время не мог увидеть света. Мы видели, что Салтыков уже в самом конце 1862 года делал попытки вторично провести этот очерк через цензуру, прося Некрасова «похлопотать у Цеэ» за него; и позднее он не совсем отказался от надежды увидеть этот очерк в печати, как это можно судить по сохранившемуся автографу рукописи¹. Но в те годы цензорский запрет оставался нерушимым; позднее же, когда цензурные условия и могли позволить Салтыкову напечатать «Глуповское распутство», тема его для Салтыкова уже устарела, так как от глуповского цикла он перешел к ряду других осуществлявшихся им замыслов.

То же самое можно повторить и о «Каплунах», тема которых также встречается и в предыдущих, и в последующих произведениях Салтыкова, связанных с глуповским циклом. Впервые мы находим ее в «Литераторах-обывателях», где каплуны приводятся в качестве примера «горьких последствий самоуслаждения» какой-нибудь маленькой одной идейкой; вскоре после этого мы встречаем каплунов и еще раз в «Клевете». Впоследствии, в 1868 году, в очерке «Легковесные», Салтыков вспоминал о каплунах, как уже о прошлом

¹ Кроме автографического полного белого текста «Глуповского распутства» (на 13 листах) сохранилось еще и начало этого очерка, написанное на бланке председателя Пензенской казенной палаты, а в должности этой Салтыков был в 1865—1866 гг., когда, очевидно, и задумал новую переделку этого своего очерка.

русского общества. «Было время, — говорит он там, — когда в нашем обществе большую роль играли так называемые каплуны мысли. Эти люди, раз ухватившись за идейку, усаживались на ней вплотную, переворачивали на все стороны, жевали, разжевывали и пережевывали, делались рьяными защитниками ее внешней и внутренней неприкосновенности и, обеспечивши ее раз-на-всегда от всякого дальнейшего развития, тихо и мелодично курлыкали». В дальнейшем Салтыков говорит, что таким курлыканьем именно «ознаменовалась эпоха нашего возрождения», и в виде примера такого курлыканья приводит обличительную литературу начала шестидесятых годов («Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели?»). Но это только один частный пример; вообще же «каплуны» для Салтыкова — понятие более общее, самым характерным определением которого является «преданность одной идейке» всяческое идейное сектантство независимо от его направления. Вот почему в очерке «Каплуны» сатирик одинаково иронически относится и к «каплунам настоящего» — консерваторам, и к «каплунам будущего» — либералам, ибо обе эти породы птиц характеризуются одинаковым самоуслаждением и самоудовлетворением, одинаково являются пернатыми города Глупова. А между тем — и в этом тема очерка «Капуны» — пока каплуны настоящего и будущего самоуслаждаются, «жизнь вызывает к деятельности», «насилие не упразднено, а идеалы далеко», «массы сами желают устроить свою жизнь». Как видим, все это уже знакомые нам темы глуповского цикла, к которому теснейшим образом примыкает и этот очерк Салтыкова.

Интересна судьба этого очерка, которая помогает нам выяснить одно противоречие, быть может уже замеченное читателями на предыдущих страницах. Дело в том, что в письмах к Некрасову и Чернышевскому Салтыков говорил о трех очерках, предназначенных им для апрельской или майской книжки «Современника» за 1862 год, а между тем министр Головин запретил только два из них. Почему же Салтыков не напечатал третий, и какой именно был этот третий очерк? Вопрос решается письмом Салтыкова к А. Н. Пылину от 6 апреля 1871 года, в котором он говорит об идее очерка «Капуны». «Идею эту я развивал впоследствии неоднократно, и заключается она в том, что следует из тесных рамок сектантства выйти на почву практической деятельности. Может быть, идея эта спорная, но во всяком случае в ней нет ничего

недостойного. Н. Г. (Чернышевский), который тогда уже писал ко мне по этому случаю, оспаривал меня и убедил взять очерк назад»¹. Причины возражения Чернышевского и согласие с ним Салтыкова — понятны: направление самого «Современника» было отчасти тоже «сектаторским», и читатели того времени могли подумать, что сатирик, говоря о каплунах, высмеивает вовсе не консерваторов и либералов, а бросает камни в свой же огород. Салтыков предпочел не плодить недоразумений и отказался от мысли напечатать этот очерк, как ни тесна была его связь с глуповским циклом.

Еще теснее она в третьем из этих очерков весны 1862 года — в очерке «Глулов и глуловцы», опубликованном только в наши дни. Очерк этот не только центральный для всего цикла, но вероятнее всего, что по нему и весь цикл должен был получить свое заглавие, а самый очерк предназначался быть вступлением к нему. По крайней мере, именно в этом очерке намечается введение к теме «глуповское возрождение», которая развивается с такой подробностью во всех других очерках этого цикла. Попутно ставится вопрос — «что есть Глулов?» и разрешается в том смысле, что Глулов реально не связан ни с одним из городов, но связан со всеми с ними вместе. Отсюда — иронически продолжает сатирик — может возникнуть мысль, что Глулов есть «нечто обширнейшее»; но, явно издеваясь над цензурой, сатирик ставит на вид читателям, что «такое предположение меня огорчает»... Что Глулов есть Россия — было ясно для читателей; а для цензуры Салтыков сообщал: «Глулов есть Глулов: это большое населенное место, которого аборигены именуются глуловцами»... Далее в столь же иронических тонах описывалась география и топография Глулова, при чем по-прежнему (как и в очерке «Наши глуловские дела») утверждалось, что «истории у Глулова нет». Но тут же вскрывалось тождество между Глуловым и Россией фразой — «глуловцы некогда имели торговые сношения с Византией», фразой, перешедшей впоследствии в «Историю одного города». Население Глулова, рассказывается дальше в этом очерке, состоит из уже знакомых нам Сидорычей и Иванушек; о Сидорычах и повествуется в дальнейшем изложении очерка. Так как он не увидел в 1862 году света, то

¹ «Письма», т. II.

Салтыков в следующем году перенес ряд мест из него (о Сидорычах за границей) в очерк «Русские «гулящие люди» за границей», позднее вошедшем в цикл «Признаков времени» (1869 г.). Приходится только сожалеть, что Салтыков в свое время не мог напечатать очерк «Глулов и глуповцы» и назвать его именем весь стройный по мысли и цельный по выполнению глуповский цикл, который ему пришлось годом позднее разбить на две отдельные книги «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов».

Остается сказать о двух последних очерках этого цикла — об очерке «Наш губернский день», напечатанном в сентябрьской книжке «Времени» за 1862 год, и очерке «После обеда в гостях», появившемся уже в 1863 году, в мартовской книжке «Современника». В одной из следующих глав еще будет указано, что в мае 1862 г. «Современник» был приостановлен правительством на восемь месяцев за вредное направление; Салтыкову пришлось поэтому напечатать один из очерков глуповского цикла в журнале Достоевского «Время». Глуповский цикл заканчивался автором в 1862 году, и хотя последний из этих очерков, как мы только что видели, был напечатан Салтыковым уже весной 1863 года, но написан был значительно раньше и тесным образом связан с предыдущим очерком, напечатанным во «Времени». В этом убеждает нас сохранившийся автограф «Нашего губернского дня», представляющий собою на 14 листах расширенную редакцию текста, со включением в него и очерка «После обеда в гостях»¹. Таким образом оба эти очерка были написаны еще летом 1862 года и представляют единое целое, заканчивающее собою весь глуповский цикл.

Оба очерка посвящены одной и той же теме — растерянности провинциальных властей перед новыми реформами, ставшими неизбежными после освобождения крестьян. «Откупа трещат», — слышим мы испуганные возгласы действующих лиц первого очерка, — вводятся «независимые учреждения», открывается «гласное судопроизводство»: и действительно, 1862 год был годом кануна последних реформ этой «эпохи возрождения». Сидорычи и Трифоньчи,

¹ Бумаги Пушкинского дома, из архива Стасюлевича. Очерк «После обеда в гостях» является здесь третьей главкой рассказа «Наш губернский день» и носит заглавие «Перед вечером». Главка эта, очевидно, не была разрешена цензурой в виду того, что там в ироническом тоне выведен «наш глуповский штаб-офицер», жандармский полковник.

либералы и ретрограды, взволновались настолько, что трудно стало уловить разницу между ними. «Чего хотят ретрограды, чего добиваются либералы — понять очень трудно. С одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляют оппозицию; с другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорят и действуют так, как бы состояли на жалованьи. Повторяю: понять очень трудно... Скажу одно: если гнаться за определениями, то первую партию всего приличнее было бы назвать ретроградную либералией, а вторую — либеральной ретроградией». Неудивительно, что при подобном отношении к провинциальным политическим группировкам, Салтыков в первом очерке сцену примирения их представил в виде пародии на примирение гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Сатирик полагает, что обывателям волноваться совершенно не из-за чего, ибо все реформы сведутся в конце концов лишь к перемене местами обеих группировок. «Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей — вот, благодарение богу, все перевороты, возможные в нашем любезном отечестве. Если такая перетасовка карт может назваться переворотом, то, конечно, нельзя не согласиться, что он совершается и на наших глазах. Пожалуй, можно сказать даже, что в настоящее время он совершается сугубо, потому что на место старых и простых Трифонычей поступили Трифонычи молодые, сугубые, махровые». Такое положение дел приводит сатирика к вопросу, следует ли из этой перетасовки заключать, «что на том месте, где ныне стоит любезное отечество, будет завтра дыра?..».

Все это как нельзя более типично для характеристики отношения Салтыкова к этой «эпохе великих реформ». Впоследствии, и даже очень скоро, когда восторжествовала реакция, ему приходилось иной раз вспоминать о шестидесятых годах, как о светлом времени надежд, хотя бы и не осуществившихся; но самые эти годы он переживал как путаную эпоху «глуповского распутства», не сулившую в будущем ничего кроме «дыры». В конце очерка «Наш губернский день» он характеризует эти реформы, как безобидную смену Ивана Петровича Петром Ивановичем, подчеркивая, что смена лиц не является сменой систем. В этом месте сатирик несомненно имел в виду ту чехарду министров, которая происходила как раз в 1861—1862 гг.: в апреле 1861 года на место Ланского министром внутренних дел был назначен Валуев, в декабре на место гр. Пу-

тятина министром народного просвещения был назначен Головин, в январе 1862 г. на место Княжевича министром финансов был назначен Рейтерн. Смена этих лиц, разумеется, ни в чем не изменяла системы управления, так что и Сидорычи и Трифонычи напрасно боялись реформ и напрасно провинциальная бюрократия стояла в растерянности перед ними. Такова тема первого из этих двух заключительных очерков глуповского цикла.

Последний очерк, «После обеда в гостях», посвящен той же теме в более частном ее освещении. Автор приходит в гости к «доброму и милому приятелю, Семену Михайлычу Булановскому», под именем которого несомненно скрывается тверской жандармский подполковник Симановский (донесение его о Салтыкове мы прочли в одной из предыдущих глав). Явно для читателей, но прикровенно для цензуры, в очерке этом жандармы называются «масонами»; Булановский сообщает о проекте новой реформы — упразднения этих «масонов», к которому, однако, он относится вполне философски: «Мы возродимся — это верно. Потому, ненатурально!». Слухи об упразднении жандармских отделений не оправдались — реформы шестидесятых годов не шли так далеко; но характерно, что последний очерк глуповского цикла посвящен именно этим российским «масонам», на которых зиждилась вся глуповская система управления¹.

Механически разделенные, два последние очерка остались связанными между собой не только концом генерала Голубчикова, который и тут и там сходит с ума в ожидании уничтожения откупов (повторяя этим конец «Генерала Зубатова»), но и основной темой — бессилия всяких реформ на глуповской почве. Этим был завершен глуповский цикл, начатый двумя годами ранее «Скрежетом зубовным».

Цикл этот представляет для Салтыкова громадный шаг вперед после «Губернских очерков»; но интересно, что восторги читающей публики перед новым появившимся талантом значительно постыли, и очерки нового цикла были встречены довольно равнодушно.

¹ В рукописи (см. предыдущее примечание) везде стояло: «наш глуповский штаб-офицер», «наш штаб-офицер» и «полковник»; в печатном тексте Салтыков иронически всюду стал говорить: «наш добрый и милый приятель». Только с таким изменением очерк этот мог пройти через цензуру.

И причины этого, и развитие Салтыкова на новом пути хорошо вскрыл еще в 1861 г. один из второстепенных публицистов той эпохи, Аполлон Головачев (которого не надо смешивать с «тверским либералом» Алексеем Головачевым) в своей статье 1861 года «Об обличительной литературе». Головачев противопоставляет громадный успех «Губернских очерков», толпу подражателей, восторги публики — раздающемуся теперь (1861 г.) вопросу: «не довольно ли?». Да, «довольно» — но почему? Потому, что старая художественная форма рассказа, повести, комедии — не отвечает задачам сатиры. Охлаждение публики к обличительной литературе объясняется разочарованием ее в действительности борьбы со злом такими путями, как рассказы или комедии, которые к тому же у последователей Салтыкова были не художественны. Но теперь намечается новый путь сатиры — в новых произведениях Щедрина, который, «создав обличительную литературу, выходит и теперь на новую дорогу». Если иметь в виду, что Головачев напечатал эту статью еще до появления «Клеветы», лишь в самом начале развертывавшегося глуповского цикла, то нельзя не отдать справедливости его верному взгляду на новые пути творчества Салтыкова.

Столь же верна и вторая половина этой критической статьи, в которой Головачев подчеркивает, что понять Щедрина можно, лишь читая его произведения не в разбивку, «но в полном их составе и почти в той же самой последовательности, в какой они появились в печати», ибо только тогда «вполне можно уяснить себе их истинный смысл и значение». Тогда читатель увидит, что Щедрин, обрисовав чиновничество, обращается теперь «к современному нечиновному обществу и рассматривает составные, ныне действующие элементы его». От обличительных очерков Щедрин переходит теперь к подлинной сатире, которая является путем обличения самого общества; Щедрин «кладет предел обличению и, переходя к сатире общественных нравов, тем самым дает литературе, которую он создал, иное направление»¹. Все это верно от слова и до слова, и удивительно, что лишь немногие в то время так поняли и оценили значение этого нового пути в творчестве Салтыкова. То, что было понятно Головачеву, осталось книгой за семью печатями для Писарева, который в своей статье 1864 года о Салты-

¹ «Русский Инвалид» 1861 г., № 200 (от 14 сентября).

кове (о ней у нас будет речь ниже) показал, что не только рядовые читатели того времени, но и сам он, не понимали разницы между крутогорским и глуповским циклами. А между тем, разница эта очень существенна. В «Губернских очерках» мы имеем начало лишь «обличительной литературы»; глуповским циклом Салтыков впервые вступил на путь сатиры.

Широким фоном для этой сатиры послужило пресловутое «глуповское возрождение» эпохи либеральных реформ, а основной темой сатиры была борьба Салтыкова против всяческого либерализма, — темой, варьяции на которую с этих пор прошли до конца творчества Салтыкова. Сам он ясно осознал, что именно этими своими очерками 1860—1862 гг. вступил он на путь подлинной сатиры; недаром значительную часть этих очерков он собрал в том, озаглавленный именно «Сатиры в прозе».

III

Отказавшись в свое время от мысли дополнить «Губернские очерки» четвертым томом, отказавшись позднее от намерения издать отдельно «Книгу об умирающих», Салтыков в конце 1862 года собрал лучшие из произведений этих двух циклов, присоединив к ним почти все известные теперь нам сатирические фельетоны начала шестидесятых годов. Так составилась том «Сатир в прозе», вышедший в январе 1863 года (цензурное разрешение от 9 января). После этого у Салтыкова осталось из старого запаса четвертого тома «Губернских очерков» и неосуществленной «Книги об умирающих» еще несколько очерков, не включенных им в том «Сатир в прозе». Он собрал их, прибавил к ним три очерка, напечатанные под заглавием «Невинные рассказы» в № 1—2 «Современника» за 1863 год, присоединил к этому очерк «После обеда в гостях», напечатанный в мартовской книжке «Современника» за тот же год, воскресил «Запутанное дело», когда-то послужившее причиной его вятской ссылки — и составил из всего этого сборный том «Невинных рассказов», вышедший в свет в августе 1863 года (цензурное разрешение от 23 июля). Чтобы иметь понятие о составе этих двух сборников, надо привести содержание их по окончательному тексту третьих изданий обоих этих сборников, вышедших в последний раз при жизни Салтыкова в 1885 году (вто-

рые издания их вышли тоже одновременно в 1881 году). Вот содержание сборника «Сатир в прозе»:

14. К читателю.
7. Госпожа Падейкова.
15. Недавние комедии.
 - 1) Соглашение.
 - 2) Погоня за счастьем.
8. Недовольные.
9. Скрежет зубовный.
16. Наш губернский день.
11. Литераторы-обыватели.
12. Клевета.
13. Наши глуповские дела.

Тут же приведу и содержание сборника «Невинных рассказов», который вместе с «Сатирами в прозе» составляет почти полную совокудность напечатанного Салтыковым в 1857—1862 гг.:

6. Гегемониев.
4. Зубатов.
1. Приезд ревизора.
3. Утро у Хрептюгина.
18. Для детского возраста.
19. Миша и Ваня.
10. Наш дружеский хлам.
17. Деревенская тишь.
2. Святочный рассказ.
5. Развеселое житье.
20. После обеда в гостях.
- Запутанное дело.

Насколько Салтыков перетасовал порядок своих произведений—показывают цифры, поставленные выше в этих списках и отмечающие хронологический порядок напечатания этих произведений. Сравнение этого общего списка с теми двумя, которые были приведены выше в начале VII и настоящей главы, показывает, как причудливо расположились в этих двух сборниках 1863 года три салтыковские цикла предыдущих годов: продолжение «Губернских очерков», «Книга об умирающих» и глуповский цикл. Неудивительно поэтому, что по пестрому составу и «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» оказались одними из наиболее неудачных сборников Салтыкова. Для понимания и оценки этих произведений читателям совершенно необходимо было производить ту работу, ко-

торая была проделана на предыдущих страницах: необходимо было разделить эти пестрые произведения хронологически на три разные цикла и изучить каждый из них в отдельности. Только при таком изучении становится ясным и развитие идей, и эволюция формы произведений Салтыкова этого пятилетия. В том же виде, в каком они даны Салтыковым в двух сборниках 1863 года, очерки эти представляют лишь *membra disjecta* сложного целого, делающегося совершенно непонятным в этой своей разорванности и разбросанности.

Наиболее цельным все же сохранился глуповский цикл, достаточно полно представленный во второй половине сборника «Сатир в прозе». Правда, «Наш дружеский хлам» был намеренно перенесен автором из этого цикла в сборник «Невинных рассказов» в виду того, что очерк этот по форме, быть может, более подходит к крутогорскому, чем к глуповскому циклу; правда, очерк «После обеда в гостях» тоже попал в «Невинные рассказы» — но уже по внешней причине: в виду того, что был напечатан уже после выхода в свет «Сатир в прозе». За этими двумя исключениями сборник «Сатир в прозе» во второй своей половине достаточно полно представляет глуповский цикл, хотя и с перетасованным порядком очерков, так затрудняющим всегда позднейшее понимание развития авторских идей. Остается еще раз пожалеть, что Салтыков по неведомой нам причине (быть может цензурного порядка) не выполнил несомненно имевшийся у него план — объединить под общим заглавием (вероятнее всего — «Глупов и глуповцы») все очерки глуповского цикла. Тогда сборник «Невинных рассказов» мог бы состояться из всех остальных очерков 1857—1862 гг. — за исключением, разумеется, тех, которые Салтыков считал слишком слабыми для печати и которые уже известны нам из предыдущей главы.

В заключение — несколько замечаний чисто-внешнего порядка. В первом издании «Сатир в прозе» сцена «Недовольные» называлась еще, как и в журнальном тексте, «Погребенные за-живо» и входила третьим номером в «Недавние комедии»; заглавие «Недовольные» она получила лишь во втором издании «Сатир в прозе» (1881 г.) и тогда же была выделена из общей рубрики «Недавних комедий». Что же касается сборника «Невинные рассказы», то те три рассказа начала 1863 г., по которым этот сборник получил свое на-

звание («Деревенская тишь», «Для детского возраста» и «Миша и Ваня»), еще будут разобраны нами в одной из следующих глав (гл. X), когда речь будет идти о работе Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг. Наконец, последнее замечание: поместив в конце «Невинных рассказов» свою юношескую повесть «Запутанное дело», сыгравшую такую видную роль в его жизни, Салтыков не счел возможным переделывать это свое произведение 1848 года. Он ограничился тем, что в разных местах повести вычеркнул 170 строк журнального текста (около 4 журнальных страниц из общего числа 70), почти совершенно не коснувшись во всем остальном текста этого своего столь юного во всех отношениях произведения. Вряд ли сам автор придавал ему литературное значение; но оно было дорого ему не столько по литературным, сколько по весьма острым житейским переживаниям. К тому же, вероятно, соблазняла мысль показать современному читателю, за какое произведение можно было попасть в долголетнюю ссылку пятнадцатью годами ранее.

Издав «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы», Салтыков подвел этим итоги своей литературной деятельности за целое пятилетие после «Губернских очерков». Мы уже знаем, каковы были эти итоги, и можем еще раз выразить их короткой формулой, перебрасывающей мост от прошлых «Губернских очерков» к будущей «Истории одного города»: от бытовых обличительных очерков Салтыков перешел к социальной сатире. Путь этот он несомненно осознал — и собирался идти по нему и в дальнейшей своей литературной деятельности, тесно связанной с журналистикой. Недаром Салтыков, выйдя в отставку весной 1862 года, задумал приступить к изданию собственного журнала.

Глава IX

ЖУРНАЛ САЛТЫКОВА «РУССКАЯ ПРАВДА». ПЬЕСА «ТЕНИ» И ПОВЕСТЬ «ТИХОЕ ПРИСТАНИЩЕ»

I

Можно считать несомненным, что, выходя в отставку (февраль 1862 года), Салтыков твердо наметил два основных направления своей дальнейшей деятельности: во-первых, он будет издавать большой литературно-политический журнал, во-вторых — будет хозяйничать на основе «вольного труда» в только что приобретенном им подмосковном имении «Витенево». Оба эти плана не осуществились: журнал не был разрешен правительством, а попытка хозяйничать на земле очень скоро закончилась совершенной неудачей. Не прошло и года, как Салтыкову пришлось вернуться к постоянному сотрудничеству в «Современнике», близко подойти к этому журналу и стать одним из трех его редакторов.

Нас интересуют, конечно, журнальные планы Салтыкова, а не его агрономические начинания; поэтому о последних скажем лишь несколько слов, да и то лишь в виду того, что начинания эти впоследствии отразились на ряде художественных произведений Салтыкова (особенно на «Убежище Монрепо»). Несколько выше (в конце гл. VI) было уже упомянуто, что небольшое подмосковное имение Витенево (около станции Пушкино Ярославский железной дороги) Салтыков купил как раз около времени своего выхода в отставку. Вся история этой покупки известна нам из позднейших воспоминаний тверского друга Салтыкова, А. М. Унковского, кото-

рый рассказывает, как Салтыков купил это имение на занятые деньги «с целью заняться хозяйством» и как эта затея принесла ему большой убыток. «Он приехал покупать имение зимою и осмотрел его à vol d'oiseau, не справляясь с планами. Покупка была сделана им в расчете на особую ценность большого строевого леса и громадных запасов сена, от которых, повидимому, ломились большие сараи. Между тем, немедленно после совершения купчей и вручения денег продавцу, показанный ему лес оказался принадлежащим к соседней даче графа Панина, а сена оказалось не более нескольких пудов, которыми были заделаны ворота сараев. Одним словом, имение, за которое он заплатил 35 000 р., могло давать дохода не более 600 р. Он принялся было за хозяйство, но и тут его постоянно обкрадывали... Возня с имением продолжалась до середины семидесятых годов и поставила Салтыкова в крайне затруднительное положение, особенно в виду больших сделанных для покупки имения денежных займов. «Все эти операции,— продолжает Унковский,— заставили Салтыкова изменить самый образ его жизни. С половины шестидесятых годов он по необходимости сделался крайне расчетливым, не пускался уже ни в какие операции, платил долги и боялся больше всего сельского хозяйства»¹. Все это, вплоть до курьезных мелочей, отразилось впоследствии в «Благонамеренных речах» и в «Убежище Монрепо», где встречаются и ворота сеного сарая, замаскированные несколькими пудами сена, и строевой лес, принадлежащий другому имению, и вообще рассказ Салтыкова о неудачных попытках своих хозяйничать на земле в начале шестидесятых годов.

Но все это лишь между прочим; переходим теперь к другой, столь же неудачной попытке Салтыкова стать в 1862 году издателем и редактором большого журнала; впрочем, на этот раз неудача попытки была вызвана совсем другими обстоятельствами—цензурными препонами и недоверием правительства к «благонамеренности» отставного вице-губернатора Салтыкова и его сотрудников по предполагаемому журналу, известных уже нам «тверских либералов». На этом эпизоде следует остановиться довольно подробно, особенно в виду того, что в нем решается вопрос,

¹ Воспоминания Унковского о Салтыкове—в «Русских Ведомостях» 1894 г., № 115.

насколько в те годы Салтыков, неустанно боровшийся с либерализмом, сам примыкал к левым либералам той эпохи, и насколько это взаимное сотрудничество их было случайным или не случайным.

Небольшое отступление: дадим здесь портрет Салтыкова той эпохи, каким он запечатлелся от одной случайной встречи в памяти одного из революционеров той эпохи (впоследствии видного генерала) В. Обручева, попавшего на каторгу за распространение прокламации «Великоросса» и незадолго до того встретившего Салтыкова в конце 1861 или в начале 1862 года у Чернышевского. Полувеком позднее вот как обрисовывал В. Обручев этот навсегда запомнившийся ему облик Салтыкова: «молодой человек в аккуратном виц-мундире министерства внутренних дел, ... рубашка со стоячим воротом, узенький галстук, всё такое, как редко приходилось видеть в наших сферах. Волосы тёмные, довольно длинные, лицо млаожавое, бритое, немного мальчишеское, скорее незначительное, кроме большого открытого лба и упорного взгляда»... Обручев вспоминает, с каким радостным оживлением Чернышевский назвал ему имя Салтыкова,— и уже это одно может служить некоторым введением к вопросу о том, насколько серьёзно можно говорить о либерализме Салтыкова той эпохи. Близость его с Чернышевским была не случайна — особенно если иметь в виду то обстоятельство, что в сотрудники предполагавшегося журнала Салтыков в первую очередь привлек именно Чернышевского¹.

Итак — перехожу к рассказу об этой попытке Салтыкова создать свой собственный литературно-общественный большой журнал. Первый и ещё туманный намек об этом замысле мы находим в письме Салтыкова к Анненкову из Твери от 3 декабря 1861 года. «Не поедете ли вы как-нибудь в Москву? — говорил Салтыков в этом письме. — Вы меня истинно облагодетельствовали бы,

¹ Нарисованный В. Обручевым портрет Салтыкова находится в его воспоминаниях «Из пережитого» («Вестник Европы» 1907 г., № 5, стр. 133). Дополнить его можно следующим отрывком из неизданного письма А. Н. Плещеева к Достоевскому из Петербурга от 10 апреля 1859 года (подлинник в бумагах Пушкинского Дома): «Был здесь недавно Щедрин (Салтыков), раза два заходил ко мне (он в Рязани вице-губернатором), все так же самолюбив; но сделался как-то общественнее, менее резок и в обществе удивительно петешен. У него есть свой особенный юмор, ядроватый и цинический — но который невольно заставляет хохотать».

если бы заехали в Тверь. Есть одно обстоятельство, которое мне хотелось бы передать вам, обстоятельство очень важное, но которое не желаю передать бумаге». Можно предполагать с достаточной долей вероятности, что «обстоятельством» этим было намерение Салтыкова выйти в отставку и всецело предаться журнальной деятельности: замысел о журнале, реализовавшийся весной 1862 года, очевидно задолго до этого должен был созреть в мыслях Салтыкова и его тверских друзей и служить предметом многочисленных обсуждений и соображений. В это время Салтыков очень повышенно относился к журнальной деятельности и считал, что русская журналистика выходит теперь на широкую дорогу. Еще за два года до этого он писал Дружинину 13 февраля 1860 г. из Рязани: «Журналы русские ждет самая блестящая будущность, ибо число читающих постоянно увеличивается. Но надобно больше современности, больше полемики, и это очень понятно, потому что публика живет не отдаленными, а ежедневными, насущными интересами»¹. Уже отсюда можно заключить, в каком приблизительно направлении собирался Салтыков вести свой журнал, к мысли о котором он подошел года через полтора после этого своего письма к Дружинину.

В одном из неизданных до сих пор писем А. Н. Плещеева к Достоевскому из Москвы от 19 марта 1862 года встречается упоминание о первых шагах для разрешения задуманного Салтыковым журнала. «Здесь тоже затевается орган,— писал Плещеев,— журнал двумя книжками в месяц. Может с сентября, может с января. На Святой пойдут хлопотать о разрешении. Кружок сгруппировался очень хороших людей — и совершенно враждебных московскому доктринерству... Редактором будет Салтыков (Щедрин). Но до времени — прошу тебя держать это в тайне»². Кружок очень хороших людей — это, кроме Салтыкова и Плещеева, уже известная нам группа «тверских либералов», Унковского, Головачева и Европеуса. Предположение, что всем этим лицам, из числа которых было три петрашевца (Еuropeус, Плещеев и Салтыков), разрешат издавать литературно-политический журнал — бы-

¹ «Письма», т. I, №№ 19 и 15.

² Бумаги Пушкинского Дома, письма А. Н. Плещеева к Ф. М. Достоевскому.

ло, конечно, очень наивным, особенно если иметь в виду те уже известные нам кары, каким еще так недавно подверглись Унковский и Европеус. Но если даже оставить в стороне эти кары, то совершенно ясным предзнаменованием судьбы ходатайства о разрешении журнала могло служить хотя бы то обстоятельство, что еще в начале 1860 года последовал отказ на ходатайства Унковского, Головачева и Европеуса об учреждении тверского общества сельского хозяйства и садоводства. Отказ в утверждении устава этого общества министр внутренних дел Ланской мотивировал тогда «неблагонадежностью» учредителей его; последние подали в Сенат жалобу на Ланского за оскорбление. Министр в своем объяснении Сенату заявил, что в этом своем отзыве имел в виду не всех учредителей, а только Унковского, Европеуса и Головачева — т. е. еще более усугубил «оскорбление», если таковое было ¹. Наивно было думать поэтому, что, запретив этим лицам в 1860 году учредить общество сельского хозяйства и садоводства, министерство разрешит им же в 1862 году издавать литературный и политический журнал. Просьба о разрешении журнала была таким образом заранее обречена на неудачу.

Дальнейшая судьба этого ходатайства была такова. В апреле 1862 года Салтыков подал в цензурный комитет (ошибочно помеченное мартом) прошение о разрешении ему, Унковскому и Головачеву издавать в Москве журнал «Русскую Правду», имеющий выходить дважды в месяц книжками до 12 печатных листов каждая, заключающими в себе отделы словесности, наук, критики, современного обозрения и смеси. Это прошение Салтыков сопровождал намеренно краткой программой журнала, сохранившейся, вместе с прошением, в делах цензурного комитета; более подробная программа, предназначавшаяся для печатных объявлений о выходе в свет «Русской Правды», сохранилась в бумагах Салтыкова и недавно опубликована в первом томе его писем. Дело об этом журнале было разрешено с чрезвычайной быстротой. Первая регистрационная дата цензурного комитета на прошении Салтыкова — 21 апреля 1862 года; прошению дан был ход 27 апреля, а уже 4 мая заведенное «дело» было закончено ответом министра

¹ Вся эта история подробно рассказана в «Материалах для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России» (Берлин 1861 г., т. II, стр. 348).

народного просвещения Головнина, который сообщил, что «не признает возможным... разрешить издания журнала Русская Правда», под предлогом «пересмотра в высочайше учрежденной комиссии постановлений по делам книгопечатания». Таким образом «Русская Правда» не могла появиться на свет, и планы Салтыкова с его тверскими друзьями о возможности издания собственного журнала рухнули¹.

Предлог, выбранный министром для неразрешения журнала, был, конечно, шит белыми нитками; действительной причиной была, разумеется, «неблагонадежность» всех учредителей журнала, включая в их число и Салтыкова. Неизвестно, не оказало ли влияния на отрицательный ответ министерства и то обстоятельство, что по странному случаю как раз в это время, в марте и апреле 1862 года, в Петербурге были выпущены две печатные противоправительственные прокламации от имени тайного общества «Русская Правда»²; Петербургские прокламации «Русской Правды» не имели, конечно, никакой связи с «Русской Правдой» Салтыкова, но в правительственных кругах одно это совпадение заглавий могло оставить весьма неблагоприятное для Салтыкова впечатление.

Если эта причина и могла быть одной из существующих, то во всяком случае не главной: главной была несомненно «неблагонадежность» всех учредителей журнала. Так или иначе, но журнал не был разрешен — и надо думать, что к счастью для Салтыкова. Не успел министр наложить запрет на ходатайство о разрешении этого журнала, как в Петербурге начались знаменитые майские пожары 1862 года, послужившие поводом резкой правительственной реакции, которая в первую же очередь отразилась на журналистике. После выхода майской книжки 1862 года «Современнику» был приостановлен на восемь месяцев; 7 июля был

¹ Цензурное дело о журнале Салтыкова напечатано Ю. Оксманом в статье «Несостоявшийся журнал М. Е. Салтыкова-Щедрина Русская Правда» («Красный Архив» 1923 г., т. IV).

² Прокламации «Русской Правды» напечатаны в книге М. К. Лемке «Очерки освободительного движения шестидесятых годов» (Спб. 1908 г.), стр. 441. Автор сообщает там об этом тайном обществе: «Что это за общество, какова была его организация, планы, задачи и тактика — неизвестно. Нигде мне не пришлось встретить указаний на это: ни в литературе, ни в архивах».

арестован и заключен в Петропавловскую крепость Чернышевский — один из предполагавшихся Салтыковым сотрудников «Русской Правды». Начинать при таких условиях новый журнал было бы делом безнадежным, если бы даже он и был разрешен. Не делая поэтому новых попыток создать новый журнал, Салтыков вошел в редакцию «Современника» и стал одним из деятельнейших его сотрудников, лишь только закончился восьмимесячный срок кары, наложенной на этот журнал июньским постановлением правительства. Одним из редакторов и деятельнейших сотрудников «Современника» Салтыков оставался в течение целых двух лет (1863 — 1864 гг.); как нельзя более характерна эта близость его к опальному журналу, показывающая, что к проблематическому «либерализму» Салтыкова в предполагавшейся «Русской Правде» нужно относиться с большой осторожностью.

Впрочем, обо всем этом речь еще впереди; здесь же закончу рассказ о попытке Салтыкова создать собственный журнал его же собственными словами. Во второй половине 1862 года он написал записку под заглавием «Замечания на проект устава о книгопечатании», сохранившуюся в его бумагах и впоследствии подробно изложенную в «Материалах» К. Арсеньева. Проект устава о книгопечатании составила в это время особая комиссия при министерстве народного просвещения; пересмотренный впоследствии другой комиссией министерства внутренних дел, проект этот послужил основанием известного закона о печати от 6 апреля 1865 года. В своих интереснейших замечаниях на первоначальный план проекта Салтыков отстаивает свободу печати, возражая против зависимости ее от администрации. Между прочим возражает он и против той статьи проекта, согласно которой от администрации зависит разрешение или неразрешение новых периодических изданий. Он указывает, что отказы в разрешении часто будут неосновательны, а между тем каждый такой отказ равносителен сопричислению просителя к разряду людей неблагонамеренных. В виде примера Салтыков приводит свою собственную попытку издавать журнал; этими его словами мы и закончим наше знакомство с историей неуспевшейся «Русской Правды».

«Пишущий эти строки, — говорит Салтыков, — на себе испытал неудобство такого порядка вещей. В апреле настоящего года он просил, через Московский цензурный комитет, разрешения на

издание в Москве двухнедельного журнала, но г. министр народного просвещения не счел нужным дать просимое разрешение на том основании, что так как рассматриваются новые законоположения о книгопечатании, то и принято за правило до окончания этого дела не разрешать новых журналов. Законоположения эти до сих пор не рассмотрены, а между тем с тех пор разрешено не мало-таки новых журналов. Что означает этот факт? Не то ли, что просто-на-просто хотели отказать в издании журнала именно Салтыкову; но почему же Салтыкову, который четырнадцать лет служил по министерству внутренних дел, и из них четыре года был вице-губернатором? Салтыков мог, на общем законном основании, принести жалобу Сенату; почему же он не воспользовался этим правом? А потому просто, что в то время, когда вышел отказ, он думал, что и в самом деле существует какое-то правило о временном неразрешении журналов; когда же он впоследствии убедился, что такого правила нет, или что оно нарушается, то срок на подачу жалобы прошел».

II

Каково же должно было быть направление журнала «Русская Правда»? Смешно говорить о направлении несостоявшегося журнала, но представляет значительный интерес для характеристики взглядов Салтыкова того времени — выяснение тех основных положений и взглядов, с которыми собирался выступить он в качестве редактора журнала. Здесь предстоит поставить и решить, в сущности говоря, только один основной вопрос: действительно ли журнал «Русская Правда», часть редакции которого принадлежала к «тверским либералам», судя по программе своей собирался быть органом земского либерализма? А если это так, то насколько сам Салтыков, всегда боровшийся с либерализмом, на этот раз выступал в качестве его идеолога?

За решением этого вопроса напрасно было бы обращаться к сохранившимся воспоминаниям самих «тверских либералов», как например Унковского. К слову сказать, знакомство Салтыкова с Унковским началось еще в лицее (Унковский поступил в лицей, когда Салтыков находился уже в последнем классе) и возобновилось в начале 1857 года в Петербурге, когда оба они, по сви-

детельству Унковского, «сошлись весьма близко». Позднее они часто виделись и в Твери, и в Москве, и в Витене. Ошибаясь на один год, Унковский вспоминает: «В конце 1862 г. было у нас с ним намерение издавать вместе ежемесячный журнал под названием «Русская Правда». Мы подавали об этом прошение, но разрешения не получили»¹. Вот и все, что сохранилось в памяти Унковского через тридцать лет после описываемого события; по крайней мере в воспоминаниях его нет больше ни слова о журнале «Русская Правда».

Ответы на поставленные вопросы надо искать в двух сохранившихся программах журнала (краткой и подробной) и в случайно уцелевших письмах Салтыкова об этом журнале к Н. Г. Чернышевскому и Б. И. Утину. Особенный интерес представляют, конечно, обе программы, заслуживающие самого серьезного внимания, — особенно вторая из них. Впрочем и в первой программе, составленной специально для цензуры, есть ряд мест, ясно намечающих то, что более подробно высказано во второй программе, предназначенной для широких кругов читающей публики. Уже в программе, представленной в цензуру, заявлялось, что журнал будет изучать жизненные явления, «устраняясь, насколько это возможно, от области отвлеченных теорий», и «будет иметь направление более практическое, нежели теоретическое». Салтыков заявлял в этой программе, «что существующие теории общественного устройства, выведенные из явлений, чуждых нашей жизни, совершенно неприложимы к разрешению насущных вопросов, возникающих в среде русского народа, которого быт еще не определился окончательно и представляет много новых элементов, непредвиденных господствующими политическими теориями».

О чем здесь идет речь, о каких «существующих теориях» и господствующих политических партиях? Эти стрелы могли быть направлены только в два лагеря, каждый из которых имел в то время свои теории общественного устройства: с одной стороны — лагерь катковского «Русского Вестника», в то время стоявшего еще на позициях либерализма и преклонения перед английскими государственными и общественными формами, а с другой сторо-

¹ «М. Е. Салтыков в посмертных воспоминаниях друга», записки А. М. Унковского («Русские Ведомости» 1894 г., № 115).

ны — лагерь социалистического и революционного «Современника», главным идеологом которого был в то время Чернышевский. Но к последнему совершенно не подходит тот выпад программы «Русской Правды», острие которого направлено против теорий, выведенных из явлений, чуждых нашей жизни и «совершенно неприемлемых к разрешению насущных вопросов, возникающих в среде русского народа»: теория и практика Чернышевского, его борьба с либерализмом за общину — выводились как раз из явлений русской народной жизни, под которые подводился глубокий теоретический фундамент научного социализма. Салтыков не стал бы приглашать Чернышевского к участию в «Русской Правде», если бы направлял свои стрелы против «существующих теорий общественного устройства» на теоретические и практические твердыни, с таким блеском защищавшиеся Чернышевским. С последним Салтыков расходился лишь в частностях и, как увидим, достаточно ясно выразил это расхождение во второй, более подробной программе своего предполагавшегося журнала.

Итак, повидимому, стрелы Салтыкова были направлены против Каткова, его «Русского Вестника» и либерального англоманства «московских доктринеров», с которым сражался в те же годы (1858—1862 гг.) и Герцен в своем «Колоколе». Это подтверждается и уже известной нам борьбой Салтыкова с «Русским Вестником» Каткова в известном нам глуповском цикле, и приведенным выше письмом Плещеева к Достоевскому о «Русской Правде». Говоря о редакции этого журнала, Плещеев сообщал: «кружок сгруппировался очень хороших людей — и совершенно враждебных московскому доктринерству». Это решает вопрос о той позиции, которую должна была занять «Русская Правда» относительно «отвлеченных теорий», не связанных с русской жизнью: главным врагом в этом случае был «Русский Вестник» с его англоманствующим либерализмом.

Этот фронт против Каткова определяется и во второй, подробной программе журнала, хотя и без упоминаний каких бы то ни было имен собственных. Но, исходя из сказанного выше, мы можем с уверенностью заключить, что именно против Каткова и «Русского Вестника» был направлен ряд мест этой программы, в которых говорилось об отвлеченных теориях, идеалах общественного устройства и общественных форм. Салтыков подчеркивал,

что журнал его не навязывает народной жизни «никаких иных форм, кроме тех, которые для нее самой в данную минуту желательны», и что «принять какое-либо другое основание для общественной деятельности, значило бы, по нашему крайнему разумению, принять основание призрачное, значило бы преднамеренно вводить народ в заблуждение относительно его интересов». В этих словах мы видим объявленный поход нового журнала против «московских доктринеров» с их требованиями дворянского самоуправления, двухпалатной системы и пересадки на русскую почву английских образцов; впрочем, очень скоро — именно с мая 1862 года и петербургских пожаров, а еще более после начала польского восстания 1863 года — эти либеральные доктринеры скатились в низины самой темной реакции, представителями которой с этих пор и были «Русский Вестник» и «Московские Ведомости» Каткова, Борьбу с этими представителями уже не либерализма, а дворянской реакции, Салтыков продолжал до конца своей литературной деятельности. Место Каткова скоро заняли представители уже не дворянского, а буржуазного либерализма семидесятых годов — и мы еще увидим, как непримиримо относился Салтыков и к этим новым глашатаям либерализма, получившим бессмертие в салтыковской сатире под именем «пенкоснимателей».

Выше было отмечено, что, направляя главные удары против Каткова и «московских доктринеров», Салтыков в своей подробной программе журнала подчеркивал и частные свои расхождения с Чернышевским; они относились, главным образом, к непримиримости последнего в его борьбе с идейными противниками. Салтыков думал — и думал ошибочно, — что «великая партия прогресса» может объединять людей самых разнообразных оттенков мыслей. «Положим, — говорил он, — что А. материалист, но разве это может мешать ему уважать идеалиста Б., в смысле полезного политического деятеля, разве он дает ему право не признавать в идеализме силы, которая с несомненным успехом может бороться против общего врага. Другой пример. А. социалист, а Б. экономист — расстояние между ними, конечно, огромное, но разве это мешает им подать друг другу руку в бесчисленных пунктах ближайшей практической деятельности. Нет, и тысячу раз нет». Здесь мы видим слишком явный намек на деятельность социалиста и материалиста Чернышевского в его борьбе с такими идеалистами, как Юркевич,

и с такими экономистами, как профессор Вернадский. Борьба эта касалась не частных вопросов, но доходила до самых основ мировоззрения и до основных проблем построения новых форм народной жизни в России эпохи реформ. Салтыков напрасно думал, что могут подать друг другу руки сторонник поземельной общины на социалистической основе Чернышевский и глашатай прав частной земельной собственности Вернадский. В этом случае Салтыков задавался целью примирить непримиримое; но характерно уже и то, что в сотрудники своего журнала он приглашал именно Чернышевского, а не Вернадского. В письме к Чернышевскому от 14 апреля 1862 г. он высказывал надежду, что «хотя по отношениям своим к «Современнику» вы и не можете принять деятельного участия в нашем журнале, но не откажете нам в сотрудничестве, которое для нас особенно важно, как доказательство вашей симпатии к задуманному нами делу»¹. Салтыков не мог бы приглашать Чернышевского сотрудником и ожидать его симпатий к новому журналу, если бы выпады программы против доктринерства и сектантства направлялись на «Современник», а не на «Русский Вестник».

Здесь надо подчеркнуть, что в выпадах этих Салтыков только повторял те мысли, которые были высказаны им в это же самое время в очерке «Каплуны»; не увидевшем света по желанию и совету именно Чернышевского, как мы это уже знаем из предыдущей главы. Там мы видели, что под «каплунами будущего» Салтыков имел в виду именно самоуслаждающихся и самоудовлетворенных либералов, против которых он направлял мысль, «что следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности». Мы знаем, что Чернышевский спорил с этой мыслью и убедил Салтыкова не печатать очерк «Каплуны». Происходило это как раз в то самое время, когда те же самые мысли Салтыков выражал и в подробной программе «Русской Правды».

К слову сказать, программа эта связана и с другим салтыковским очерком глуповского цикла, а именно с очерком «Наши глуповские дела», в котором сатирик, иронизируя над «глуповским возрождением», все же оптимистично заявлял, что глуповское мирозерцание находится в агонии и что на смену «древле-

¹ «Былое» 1906 г., № 2, стр. 250.

глуповскому мирозерцанию» пришли уже «новоглуповцы», являющиеся, по мысли сатирика, «последними из глуповцев». В программе журнала Салтыков высказывает столь же твердое убеждение, что не следует придавать «особенного значения еще проявляющимся по временам попыткам возвратиться к отжившим формам жизни»; он иронизирует над «современным человеком», коренные и задушевные убеждения которого «враждебны прогрессу». Последняя фраза вызвала недоумение Б. И. Утина в его ответном письме Салтыкову по поводу сообщенной ему программы «Русской Правды»; он, очевидно, не знал, какой смысл вкладывал Салтыков в ироническое понятие «современного человека» и как издевался над ним в своем глуповском цикле.

Продолжая оптимистическую линию заключения очерка «Наши глуповские дела», Салтыков утверждал в своей журнальной программе, что теперь «и между слугами произвола завелась своего рода стыдливость» (мы еще увидим, какое большое значение получит этот «стыд» в дальнейших произведениях Салтыкова) и что будущее прогресса можно считать обеспеченным, а преткновения — «временными и отнюдь не серьезными». По иронии судьбы мысли эти высказывались Салтыковым как раз накануне петербургских пожаров, послуживших для правительства предлогом для самой необузданной реакции, которую десятилетием позднее Салтыков так красочно изобразил в своих «Господах ташкентцах». В этом случае оптимизм Салтыкова оказался и мимолетным, и не оправдавшимся в суровой действительности.

Знакомство с программой журнала остается заключить изложением не отрицательных суждений о либерализме и доктринерстве, а положительных утверждений возникающего журнала, основной его точки зрения. Хотя программа неоднократно подчеркивала, что самый существенный интерес минуты «заключается не в отыскании более или менее отдаленных идеалов общественного устройства», не в «общих более или менее отдаленных принципах», а прежде всего в «практических результатах» деятельности, и что журнал «будет преследовать не столько единство принципов, сколько единство действия», — однако тут же заявлялось, что на основании всего этого читатель не должен обвинять редакцию журнала «в индифферентизме к высшим жизненным интересам». Практические цели не мешают редакции иметь в виду «те отда-

ленные идеалы, к которым неудержимо стремится жизнь человечества» и которые «помогут нам, освещая и оплодотворяя наши разыскания». Раскрыть эти идеалы более подробно не представлялось возможным по цензурным условиям; некоторый намек на них может дать то внешнее обстоятельство, что ближайшими сотрудниками «Русской Правды» должны были оказаться четыре петрашевца, или, по крайней мере, четыре лица, замешанные в деле петрашевцев: Салтыков, Европеус, Плещеев и Утин. Если прибавить к ним еще и Чернышевского, на симпатии и сотрудничество которого надеялся Салтыков, то остаются лишь два ближайших участника журнала, Унковский и Головачев, как представители ядра «тверских либералов». Говорить поэтому о «Русской Правде», как органе зарождающегося земского либерализма — отнюдь не приходится, особенно если иметь в виду позднейшее отношение Салтыкова к последнему в статьях «Отечественных Записок» 1868 года.

Был, однако, один пункт в программе, позволявший вскрыть ту основу, на которой должна была строиться идеология нового журнала. Пункт этот — народ и его интересы — дает возможность протянуть нити от прежних взглядов Салтыкова до его будущего социалистического народничества эпохи «Отечественных Записок». Главную цель нового журнала программа считала «утверждение в народе деятельной веры в его нравственное достоинство и деятельного же сознания естественно проистекающих отсюда прав»; эта цель, по мнению Салтыкова, не только главная, но и «единственно жизненная, единственно возможная для предприятия, имеющего общественный характер». Мысль эта проходит через всю программу от начала до конца и является основным ее стержнем. Салтыков подчеркивает, что задача журнала — «иметь постоянно в виду своем народ и его потребности», что журнал будет «всеми силами своими служить делу его самостоятельности», что ближайшим девизом партии, голосом которой явится журнал, будет борьба за интересы народа. Все это, конечно, довольно общие выражения, которые не позволяют еще говорить о «народничестве» журнала, но несомненно, что именно эта линия намечалась в программе и что она близко примыкает к той позднейшей линии, которая окончательно выявилась в «Отечественных Записках».

Вот то небольшое, что выясняется из дошедших до нас программ журнала «Русская Правда», но и этого немногого доста-

точно, чтобы иметь право на некоторые выводы общего порядка. Журнал этот не предполагал быть органом российского либерализма, но, наоборот, собирался вести борьбу с главным представителем либерализма той эпохи, «Русским Вестником» и его идеологами, «московскими доктринерами». Начало этой борьбы мы видели еще в самых первых очерках глуповского цикла, а вершину ее — в очерке «Каплуны», написанном почти одновременно с программой журнала, но не увидевшем тогда света. Считать «Русскую Правду» органом «тверских либералов» мы не имеем достаточных оснований: наоборот, все соображения приводят к выводу, что журнал этот должен был явиться радикальным органом русской журналистики, стоящим на рубеже между революционным народничеством «Современника» и крайним левым флангом либералов того времени. Если считать таким флангом «тверскую оппозицию», то журнал Салтыкова мог отчасти быть выразителем и ее мнений; при этом надо, однако, иметь в виду, что среди ближайших участников журнала эти «тверские либералы» не составляли большинства. Правда, редакция была намечена из Салтыкова, Унковского и Головачева при секретаре редакции Европеусе, но даже и из этих четырех лиц мы имеем двух «петрашевцев», подвергшихся влиянию социалистических идей сороковых годов. Влияние это не могло не отразиться и на том, что во главу угла программы журнала была поставлена идея народа и его интересов. Все это делало «Русскую Правду», если бы она осуществилась, органом наиболее близким к «Современнику» — и неудивительно поэтому, что Салтыков, после крушения планов о собственном журнале, всецело примкнул к «Современнику» и в течение двух ближайших лет был одним из редакторов и в то же время главным сотрудником этого журнала¹.

Так закончилась попытка Салтыкова издавать собственный журнал. Ознакомившись с вероятным направлением этого неосуществившегося органа, надо познакомиться теперь и с теми литературными произведениями, которые Салтыков несомненно начал собирать и готовить для первых книжек журнала. До нас не дошло сведений, кого именно из представителей художествен-

¹ Из более новых статей о политических взглядах Салтыкова — см. статьи Н. В. Яковлева в журналах «Звезда» 1924 г., № 3, и «Борьба Классов» 1924 г., № 1.

ной литературы привлек он к участию в своем журнале и получил ли от них какие-либо произведения или по крайней мере обещания дать их; но мы имеем возможность догадываться, какие свои произведения готовил он для своего журнала, потому что как раз к этой эпохе относятся два больших произведения Салтыкова, так и не увидевших света при его жизни. Они не датированы, но по самому содержанию можно доказать, что окончательная обработка их относится именно к 1862 году. Это — пьеса «Тени» и повесть «Тихое пристанище». Нам представляется правильным сказать об этих произведениях именно в той главе, в которой идет речь о неосуществившемся журнале Салтыкова. Как нельзя более вероятно, что эти его большие и незаконченные произведения должны были попасть в задуманный журнал, и если бы осуществился он, то были бы закончены и они¹.

III

Драматическая сатира Салтыкова «Тени» впервые стала известна лишь через двадцать пять лет после его смерти, в 1914 г.² Сохранившийся черновик не закончен, и надо думать, что затерялся последний листок с окончанием четвертого действия и всей пьесы, что несколько не мешает всей пьесе быть законченной по существу. Сперва Салтыков назвал свою пьесу «комедией», но затем зачеркнул это слово и надписал над ним: «драматическая сатира в действиях», оставив пробел для цифры. Можно предположить, что пробел этот должен быть заполнен цифрой 4 и что до нас лишь случайно не дошел последний листок с окончанием последней сцены четвертого действия. Во всяком случае перед нами вполне цельное большое произведение Салтыкова, вторая

¹ В рукописях Салтыкова сохранилось и еще несколько неизданных отрывков (ныне находящихся в бумагах Пушкинского Дома), относящихся, по видимому, к самому началу шестидесятых годов, к эпохе предположенной «Русской Правды». Таков, например, отрывок «О русской литературе», частично напечатанный Вл. Кр ан и х ф е л ь д о м в статье «Литераторы и читатели» («Утро Юга» 1914 г., № 97). Возможно, что и этот отрывок и некоторые другие, еще неопубликованные, предназначались Салтыковым для предположенного им журнала.

² «Заветы» 1914 г., № 4. Подлинная рукопись Салтыкова, черновик с вариантами и часть IV действия в белой редакции хранятся ныне в бумагах Пушкинского Дома

попытка его, после «Смерти Пазухина», написать большое драматическое сочинение.

Когда же оно было им написано? И имеем ли мы право относить его хотя бы приблизительно ко времени «Русской Правды», т.е. к 1862 году? Ответ на этот вопрос можно найти в самой пьесе, и притом ответ, несомненно показывающий, что пьесу эту Салтыков писал и обрабатывал в течение целого ряда лет, повидимому с 1859 по 1862 год. Начать с того, что в I действии дважды говорится от имени либерального бюрократа: «года три тому назад, кто мог бы сказать, что мы будем иметь вес, будем занимать видные места в администрации?». Эти «года три тому назад» могут относиться только к 1855 или 1856 году, когда действительно дореформенная бюрократия Николаевского режима еще твердо сидела на своих местах и не думала, что ей придется уступить дорогу молодой бюрократии начала нового царствования. В следующей же сцене этого действия речь идет об «этой эмансипации», о том, что «мы накануне революции», что «мужики совсем оброка не платят», о том, что подана умоляющая докладная записка, «чтоб ничего этого не было», — «ничего этого», т.е. освобождения крестьян. Из всего этого ясно, что первое действие написано до 19 февраля 1861 года, но вероятнее всего в 1858—1859 гг.

Идем далее: в первой и второй сценах II действия дважды упоминается о балете «Дочь Фараона», на который собираются ехать действующие лица пьесы: но так как балет этот впервые был поставлен 18 января 1862 года, то ясно, что второе действие писалось (или во всяком случае дополнялось) не раньше этого времени. В III действии героиня этой драматической сатиры «даже не понимает, чего хотят эти студентки»; это тоже ставит хронологические грани пьесы, так как в петербургском университете «студентки» впервые появились в 1859 году и были упразднены в 1863 году. Наконец, в том же III действии говорится о газете «Северная Почта»; а так как газета эта начала выходить лишь в 1862 году, то и это обстоятельство подводит нас все к той же эпохе, уже выяснившейся из анализа всех предыдущих хронологических указаний пьесы.

Таким образом можно считать установленным, что «Тени» писались Салтыковым в 1859—1862 гг., и вероятнее всего, что они были закончены именно в этом последнем году. А если это так,

то становится очень правдоподобным предположение, что Салтыков предназначал эту пьесу для первых же номеров неосуществившегося своего журнала. Впрочем, последнее обстоятельство не представляет большого значения; гораздо интереснее то, что Салтыков уже в 1863 году, когда принимал ближайшее участие в «Современнике», не напечатал пьесы в этом журнале. Не мог, или не хотел? И то и другое одинаково правдоподобно, так как если с одной стороны несомненно, что «Тени» — вещь довольно слабая, которую Салтыков мог намеренно не пустить в свет, то, с другой стороны, вещь эта в достаточной степени для своего времени «цензурная», так как в ней речь идет уже не о круготорских чиновниках, не о провинциальных губернаторах, а о высших представителях петербургской бюрократии. Ибо «тени» эти — и есть именно бюрократия, и таким образом Салтыков в этой своей пьесе еще раз возвращается к вопросу, который не один раз затрагивался им с самых разных точек зрения и в период «Губернских очерков», и в публицистических статьях 1861 г., и в очерках глуповского цикла. Здесь к этой теме Салтыков возвращается еще раз и выносит смертный приговор уже не провинциальной бюрократии, но высшей столичной администрации, министрам и князьям, возглавляющим правительство.

Всемогущий чиновник князь Тараканов, повидимому министр, глупый и сластолюбивый старик, решает дела по желанию дамы своего сердца, и в то же время дамы «вольного поведения», Клары Федоровны, которая берет взятки десятками тысяч. Директор департамента Клаверов, прежде «либерал», а теперь молодой генерал, вышедший в люди благодаря этой даме вольного поведения, играет роль сводника при князе Тараканове и поставляет ему в любовницы жену своего товарища и подчиненного Бобырева, свою любовницу. Этот Бобырев, сперва смутно подозревающий, а затем и ясно знающий в чем дело, — в конце концов мирится со всем происшедшим, лишь бы сохранить полученное благодаря жене место у Клаверова и князя. Вот в немногих словах остов этой «драматической сатиры», ясно вскрывающей отношение автора к высшей петербургской бюрократии, а быть может вместе с тем и причины невозможности появления этой пьесы в печати.

С князем Таракановым и Klarой Федоровной мы уже встре-

чались в произведениях Салтыкова этой же эпохи, где Клара Федоровна, впрочем, носила имя Матрены Ивановны; мы уже видели, что Салтыков метил здесь в живое лицо — в скандально шумевшую тогда содержанку всемогущего министра двора, графа Адлерберга, пресловутую Мину Ивановну, которую Герцен в «Колоколе» называл «Сюаса Махима современных гадостей». Интересно отметить, что когда «Тени» при появлении их в печати в 1914 году были поставлены на сцене в спектакле Литературного Фонда, то черносотенная печать резко запротестовала против постановки этой пьесы в Мариинском театре в виду того, что в ней выведен гр. Адлерберг с его фавориткой и таким образом оскорблены ближайšie к царю лица — хотя прошло уже пятьдесят лет после написания этой пьесы Салтыковым¹.

Что же противопоставляет Салтыков этому темному миру «Теней», осужденному на гибель? — Того самого Шалимова, которого мы уже встречали в последних очерках 1861—1862 гг. глуповского цикла и прототипом которого являлся, как мы знаем, А. М. Унковский. Либеральный бюрократ Клаверов заявляет, что время бюрократии проходит и что наступает время Шалимовых. «Мы и либеральничали, и отрицали, и были настолько же искренни и в том и в другом случае, насколько искренни и все эти Шалимовы. Вся штука в том, что Шалимовы пошли несколько дальше, и что в пользу их уже не старцы, а мы должны будем расчистить ряды свои». Вся работа петербургских канцелярий, все занятия Таракановых и Клаверовых — «тление и дрянь»; идея «просвещенной и добродетельной бюрократии» в конце концов приводит к сознанию, «что все мы... немножко подлецы!». А отсюда — ненависть против самых высших представителей бюрократии, кипящая в груди их подчиненных, сознавших свое положение, свою измену бывшему либерализму и свою подлость. «О, господа либералы, — говорит Клаверов в одном из монологов, — вам нечем хвалиться в этом отношении перед нами, бюрократами! Мы не только сходимся с вами, но даже далеко вас превосходим!.. Вы подумайте только, что ведь мы сплелись с этими людьми (он говорит о князьях Таракановых и им подобных

¹ Статья К. И. Ф — на в газете союза русского народа «Колокол» от 13 апреля 1914 года под заглавием «Мстят мертвым...». Между прочим, в статье этой говорится о Салтыкове, как о «раздutom еврейскими перьями в первоклассную знаменитость»...

представителях высшей власти), что вся наша жизнь в их руках, что мы можем дышать только под условием совершенной безгласности, что мы сами приняли это положение, что мы ни на минуту не можем выйти из него. Ведь это самая чудовищная барщина, какую только может придумать воображение самое развращенное! Сколько тут есть причин для злобы, каких вам и не снилось, вам, поглядывающим на этот гнусный мир из вашего прекрасного далека!» И Клаверов доходит до того, что считает возможным говорить не только о чувстве ненависти и злобы к этим представителям высшей бюрократии, но и о том, что когда-нибудь эта «жажда мести будет удовлетворена». Здесь либеральный чиновник доходит почти до революционных мотивов.

Конечно, Клаверов — пустой человек, устами которого не стал бы говорить Салтыков о самых заветных своих мыслях и чаяниях; но несомненно, что в словах его слышатся и отзвуки мнений самого Салтыкова о высшей бюрократии. Другой чиновник, Бобырев, приезжающий из Пензы (которая тут же именуется Семиозерском) и служащий под началом Клаверова — конечно, тоже не отрицает в своих словах мнений Салтыкова; однако является несомненным, что будущий биограф Салтыкова найдет, быть может, немало автобиографического в большом монологе Бобырева, открывающем III действие. Вопрос этот должен остаться открытым, пока нам так мало известна личная и семейная жизнь Салтыкова в эти годы его провинциальной и московской жизни. Но каково бы ни было возможное хотя бы в частностях автобиографическое значение «Теней», быть может еще и спорное, — во всяком случае совершенно бесспорно их решающее значение для взглядов Салтыкова на бюрократию и ее роль в русской жизни. Противоречия с его публицистическими статьями и полемикой против Ржевского в 1861 году здесь нет, так как там Салтыков говорил о бюрократии провинциальной, которая в то время вела борьбу с дворянами крепостниками, а в «Тенях» речь идет о правительственных вершинах и клоаке петербургских канцелярий. Впрочем, вывод один: вся система прогнила сверху донизу и нужны новые силы и новые люди, чтобы обновить ее.

«Тени», неудачный опыт драматического произведения, представляют для нас интерес со стороны не столько литературной, сколько биографической: они объясняют нам, почему Салтыков в

1862 году не считал более возможным оставаться в рядах правящей бюрократии, почему вышел в отставку и решил отдаться деятельности литератора и журналиста.

IV

Повесть «Тихое пристанище», написанная несомненно одновременно с пьесой «Тени», подобно последней оставалась ненапечатанной при жизни Салтыкова и появилась на свет лишь через двадцать лет после его смерти¹. Впрочем, первая глава этой повести, озаглавленная «Город», была напечатана самим Салтыковым в одном литературном сборнике 1874 года². Повесть осталась незаконченной, или, быть может, конец ее утерян; во всяком случае дошедшие до нас первые семь глав этого произведения показывают, что Салтыковым была задумана большая вещь, которую сам он в своих письмах называл то повестью, то романом. Мы полагаем, что именно об этом произведении впервые упоминает Салтыков в своем письме к С. Т. Аксакову от января или февраля 1858 года. В ответ на просьбу Аксакова дать что-нибудь для «Русской Беседы» (в которой годом позднее и был напечатан очерк Салтыкова «Госпожа Падейкова»), Салтыков отвечает: «Я уже распорядился теми вещами, которые были у меня готовы, отослав их частью в «Русский Вестник», частью в «Атеней». Да и их печатанием я буду вынужден, вероятно, приостановиться на время, потому что вскоре после отъезда Ивана Сергеевича (сына С. Т. Аксакова) получил обязательное предостережение — быть осторожным. Поэтому, хотя я и не отказываюсь от участия в «Русской Беседе», но едва ли буду иметь возможность прислать что-нибудь в скором

¹ «Вестник Европы» 1910 г., №№ 3—4. В редакционном примечании приведено письмо М. Стасюлевича, рассказывающего о том, как была найдена эта повесть в бумагах Салтыкова. См. также «Новое Время» 1910 г., № 12155 (статья «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина»), и «Донскую Жизнь» 1910 г., № 116. Сохранилась рукопись, ныне в бумагах Пушкинского Дома, с поправками и дополнениями Салтыкова; сохранился и автографический набросок под заглавием «Мастерица», представляющий собою первый эскиз «Тихого пристанища».

² «Складчина». Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии» (СПб, 1874 г.).

времени, тем более, что я начал большой роман, который также уже обещан мною «Русскому Вестнику»¹.

Есть все основания предполагать, что этот «большой роман», начатый уже в конце 1857 или начале 1858 года и был «Тихим пристанищем», хронологические указания разных мест которого как раз приводят к 1858 году, как вероятному времени начала этого произведения. Интересно отметить кстати, что в объявлении об издании «Современника» на 1859 год была, между прочим, обещана «повесть М. Е. Салтыкова (Щедрина)», и такое же обещание было повторено в объявлении «Современника» на 1860 год, где тоже говорилось о предстоящем в этом году напечатании повести Щедрина, М. Г. (1) Салтыкова.

Таким образом, есть возможность предполагать, что Салтыков начал эту единственно известную нам свою повесть около 1858 года и продолжал работать над нею ряд последующих лет. Обратимся теперь к самой повести «Тихое пристанище» и посмотрим, совпадут ли с этими предположениями те хронологические указания, которые можно извлечь из содержания самой повести.

Таких указаний очень много. Начать с того, что действие повести самим автором отнесено «к концу мая 1857 года», когда в городе «Срывном» поселился герой повести, «молодой человек по фамилии Веригин», приехавший из Петербурга. Напомним кстати, что город Срывной уже встречался нам в одном из произведений Салтыкова, а именно в его «Святочном рассказе», напечатанном как раз в 1858 году (см. выше, гл. VII). Второе хронологическое указание: в самом начале повести, там же, где говорится о городе Срывном, рассказано и о посещении его генералом Зубатовым, впервые появляющимся в произведениях Салтыкова в начале 1859 года. Впрочем, Зубатов проходит через очерки Салтыкова вплоть до 1862 года, что во всяком случае ставит некоторые границы времени для «Тихого пристанища». Далее, в самом начале повести не один раз говорится об акционерных компаниях, пышно расцветающих не только на столичной, но и на провинциальной почве. Богатый откупщик Муров, явно списанный Салтыковым с Кокорева, «всецело бросился в акционерные компании», дела которых пошли отлично, потому что «акционерная лихорадка держалась более года и дала неслыханные барыши

¹ «Современник» 1913 г., № 2, стр. 227.

поборникам ажиотажа, впервые еще появившегося в это время на нашей бирже». Все это относится к 1856 году, который и был годом наиболее бурной «акционерной лихорадки»: достаточно сказать, что за это время середины пятидесятых годов акционерных обществ в России было учреждено свыше ста, с капиталом свыше 300 миллионов рублей. Но уже в 1857—1859 гг. последовал кризис и упадок акционерных обществ, продолжавшийся до 1865 года, когда началось усиленное акционерное строительство железных дорог. Мы еще вернемся к последнему обстоятельству, говоря о салтыковском цикле 1872 года «Дневник провинциала в Петербурге»; пока же достаточно указать, что и время «акционерной лихорадки» подводит нас ко времени действия «Тихого пристанища», как к 1856—1857 гг.

Но это время действия не обязательно должно совпадать со временем написания повести, процесс которого затянулся к тому же на целый ряд лет. И действительно, в том же самом месте, где автор относит время действия «Тихого пристанища» к маю 1857 года, указывается, что «акционерная лихорадка» началась в России «лет пять тому назад», — что ясно указывает на 1862 год, как на год если и не написания, то во всяком случае обработки этого места повести. Таким образом, повесть, начатая в 1858 году и, быть может, уже вчерне набросанная, продолжала разрабатываться Салтыковым в течение всех последующих лет и была приведена им в более или менее законченный вид к тому самому 1862 году, когда возник и план издания «Русской Правды». Но отсюда не следует, что Салтыков, отказавшись от мысли напечатать эту повесть, бросил работать над нею в том же году; наоборот, в самой повести есть ясные указания, что отдельные места ее были написаны и позднее, вплоть до 1865 года.

Вот все остальные хронологические указания, которые можно извлечь из текста «Тихого пристанища». Герой повести, до своего появления в Срывном, живет в Петербурге; автор ведет его на представление оперы «Гугеноты», повторяя этим сцену из «Запутанного дела», герой которого попадает на «Вильгельма Телля»; «Гугеноты» же шли на петербургской сцене в сезоны 1862—1863 гг.¹ В конце третьей главы повести описывается откупщик

¹ А. И. Вольф, «Хроника петербургских театров с конца 1855 до начала 1881 года», стр. 116.

Муров, произносящий напыщенные либеральные речи и выражающийся, например, таким образом: «вы первые глазомером наблюдательности подметили эту повсюдную уступаемость и, проведя ее сквозь ростила прозорливости, пред'явили на всеобщее позорище!». Здесь мы имеем явный и несомненно злободневный намек на прошумевшую речь Кокорева, который на обеде в зале Московского купеческого собрания 28 декабря 1857 г. восторженно приветствовал Александра II за начало освобождения крестьян и заявил, что «государь вложил в ростила общедумия первое и главное зерно нашего обновления»... Вряд ли в шестидесятых годах Салтыков мог еще помнить об этой прошумевшей, но и давно забытой фразе Кокорева; надо думать поэтому, что пародия на нее была написана под свежим впечатлением, в том же сезоне 1857/58 года.

Но с другой стороны, еще во второй главе повести есть место, сравнивающее «направление нынешнего молодого поколения и того, которое жило, надеялось и мечтало лет двадцать тому назад», при чем под последним подразумевается молодое поколение сороковых годов, к которому принадлежал и Салтыков, а под «нынешним» — молодежь шестидесятых годов; к этим годам, очевидно, и относится время написания этого места «Тихого пристанища». Страницею ниже Салтыков еще определеннее говорит о неприязненном отношении общества к этой современной молодежи, об ее «суровых, нередко носящих характер исключительности и нетерпимости отношениях к действительности», о перекорах идеалистов с материалистами, «которых мы были свидетелями в недавнее время», об обвинениях в «мальчишестве»: все это место несомненно относится уже к значительно более позднему времени, вероятнее всего к 1863—1865 гг., потому что о «мальчишестве» и вообще о молодом поколении шестидесятых годов Салтыков говорил именно в своих статьях «Современника» 1863—1864 гг.

К тем же годам несомненно относится и то место из шестой главы «Тихого пристанища», где речь идет о славянофилах и где отношение к ним настолько неприязненное, каким оно не могло быть у Салтыкова конца пятидесятых годов. Про славянофилов говорится здесь, «что у них только и света в окошке, что Москва», а про одного провинциального славянофила, который «в поддевке ходит и бородку отпустил», один из положительных типов повести отзывается так: «как себя-то, баринок, ты исковеркал, так

и землю-то русскую исковеркать мнишь!». Это снова приводит нас к 1863—1864 гг., когда подобные отзывы Салтыкова о славянофилах можно было не один раз встретить на страницах его статей в «Современнике».

Наконец, последнее место: попав в город Срывной, Веригин отправляется с визитами к местным властям и в том числе к предводителю дворянства, который «с благоговением, хотя и не без робости отозвался о тверском благородном дворянстве (увы, это было в ту пору, когда и т. д.)». Тут у Салтыкова хронология спутана: визиты Веригина властям относятся к середине 1857 года, когда «тверское благородное дворянство» еще ничем себя не проявило и когда еще не была в ходу ироническая фраза Добролюбова, которую пересказывает Салтыков — «в настоящее время, когда...». Мы знаем, что тверское дворянство впервые проявило свою оппозиционность в декабре 1859 года и продолжало свою линию до февраля 1862 года, когда и последовал правительственный разгром тверской оппозиции. Говоря о действиях «тверского благородного дворянства» в прошедшем времени, Салтыков делал это, разумеется, никак не раньше 1861—1862 гг., к которым, таким образом, и сам приурочил время написания «Тихого пристанища».

Все эти многочисленные, хотя и косвенные, хронологические указания позволяют прийти к вполне определенному выводу: повесть «Тихое пристанище» была начата в конце 1857 или начале 1858 г.—быть может, как продолжение тем, намеченных в «Губернских очерках»; Салтыков продолжал писать и обрабатывать ее в 1858—1862 гг., к последнему из которых относится главная часть окончательной обработки дошедшего до нас текста; но и позднее, в 1863—1865 гг., он возвращался к этой повести, дополняя ее целым рядом мест, которые явно не могли быть написаны ранее. Мы полагаем, что именно о «Тихом пристанище» говорил Салтыков в письме к Некрасову из Пензы от 8 апреля 1865 г., обещая приехать осенью в Петербург и подчеркивая: «в Петербург я, наверное, привезу повесть»¹. Но повесть эта, над которой Салтыков работал почти десять лет, так и не появилась в печати; строгий судья своих произведений, Салтыков увидел всю слабость этой своей последней попытки в области «психо-

¹ «Письма», т. I, № 35. К этому надо прибавить, что в объявлении «Современника» на 1865 год был обещан «роман Н. Щедрина».

логической беллетристики» — попытки уже не первой, но всегда кончавшейся для него неудачей. Создав новый род литературы, он напрасно пробовал состязаться с Тургеневым в старом типе психологических повестей, к которым с этих пор уже никогда не возвращался.

Неудачная по литературному выполнению повесть «Тихое пристанище» представляет, однако, значительный интерес при изучении последовательного развития всего творчества Салтыкова. Начатая непосредственно вслед за окончанием «Губернских очерков», повесть эта была тесно связана с ними и по описываемому быту, и по теме. Мы уже не один раз говорили о ней, исследуя отношение Салтыкова к расколу и раскольникам, — сперва как судебного следователя в Вятской губернии, а потом и как автора рассказов из раскольничьего быта в «Губернских очерках» (см. выше, гл. IV и V). «Тихое пристанище» самым тесным образом связано и с этим бытом, и с этими темами. Герой повести, Веригин, попадая в глухой провинциальный город Срывной, являющийся центром раскола, становится невольным действующим лицом в эпизодах, связанных с правительственным гонением на раскол. Он оказывает главарю местного раскола, старику купцу Ключеву, значительную «услугу» (так, между прочим, и названа шестая глава), предупреждая его о готовящемся ночном обыске, подробному описанию которого и посвящена следующая глава. Услуга эта должна была, повидимому, стать узлом дальнейшего фабульного развития повести, но как раз на ней и обрывается дошедшая до нас часть рукописи (если предположить, что повесть была закончена Салтыковым). Отношение к расколу здесь уже совсем не то, каким оно было еще в «Губернских очерках», не говоря уже о следовательских «рапортах» Салтыкова в 1854—1855 гг.; городничий и следователь, производящие ночной обыск, нарисованы в самых темных тонах — и нет сомнения, что Салтыков вспоминал о собственных своих подобных подвигах, когда писал эти страницы.

Уделив так много внимания хронологии повести, скажу теперь кстати несколько слов и о «географии» этого произведения, действие которого происходит в городе Срывном университетской К — ой губернии. Несмотря, однако, на такое ясное указание на Казанскую губернию, Салтыков под Срывным несомненно имеет

в виду город столь близкой ему Вятской губернии. Характеристика города Срывного изобилует подробностями: стоит он «на высоком и обрывистом берегу судоходной реки», сразу от него начинается «неисходный лес, который... тянется отсюда вплоть до Ледовитого океана»; это — «богатый промышленный город» и в нем «десять тысяч жителей». Все эти подробности завершаются «самой характеристической особенностью города», которая «заключается в том, что он стоит на углу, где сходятся рубежи трех губерний, и вместе с тем представляет центр, в который стекаются все безвестные, неофициальные пути, ведущие из-за Урала в великую Россию». Это уже вполне ясно вскрывает псевдоним города Срывного: говоря о рассказе «Старец» из «Губернских очерков» мы уже подчеркнули (см. гл. V), что сам Салтыков отнес место его действия к «углу, где сходятся границы трех обширнейших в русском царстве губерний: Вологодской, Вятской и Пермской». Угол этот представляет собою северный уезд Вятской губернии с главным городом Слободским, составлявшим один из центров следовательской деятельности Салтыкова по делам о расколе. Город Срывной и есть несомненно город Слободской, к которому вполне подходят все указанные выше характеристические особенности, так подробно и не случайно описанные в «Тихом пристанище».

Итак, город Срывной — есть тот самый город Слободской, в котором Салтыкову в свое время пришлось бывать, производя следствие по раскольничьим делам; кстати упомянуть, что почти с таким же правом Срывной может дешифроваться и как Сарапуль, к которому в равной мере подходят указания текста. Но все это — мало существенные мелочи; главным здесь является лишь утверждение, что речь идет о Вятской губернии и личных впечатлениях Салтыкова. Интересное подтверждение первому обстоятельству дает изучение черновиков рукописи, первые строки которой относят действие рассказа к «городу С***»), над которым потом вписано: «Срывной, Крутогорской губернии». Таким образом черновая рукопись явно открывает, что речь идет о Крутогорске — т.е. Вятке.

Впрочем изучение рукописи этого произведения Салтыкова приводит и к другим, еще более интересным выводам. Скажу сперва об одном из них. Беловая рукопись «Тихого пристанища» начинается сразу со второй главы фразой: «В таком-то городе

появился в 1857 году молодой человек, по фамилии Веригин». В рукописи сперва стоял 1858 год, а потом вместо 8 поставлено 7. Это показывает, что рукопись относится не ранее, чем к 1858 году. В цитированной выше фразе — «Известно, что у нас лет пять тому назад», речь шла, как мы знаем, о биржевой горячке в 1857 году, что относит время написания этой фразы к 1862 году; но в рукописи вместо нее сперва стояло — «года три или четыре тому назад», а это показывает, что Салтыков года через два после написания последних слов, переправил их, приводя рукопись в окончательный вид.

Но и это все — сравнительно мелочи, лишь подтверждающие те выводы, к которым мы пришли выше, устанавливая хронологию «Тихого пристанища». Зато громадный интерес представляет изучение черновиков повести «Мастерица», являющейся первой редакцией «Тихого пристанища». Как первая редакция, она начата была в конце 1857 или в начале 1858 года, и в ней мы находим глубоко интересное для нас резкое и определенное отношение Салтыкова к вопросу о расколе. В начале первой главки этой первой редакции находится замечательное место о расколе, уже не включенное Салтыковым в «Тихое пристанище». Из этого места видно, что Салтыков отрицательно относится к расколу не по причинам религиозным, не по соображениям политическим, а только по «гражданским» побуждениям. Раскольники, по мнению Салтыкова, представляют собою аристократическую касту, отлучающую от себя всякого, не принадлежащего к ней. Фанатичность раскольников, их пристрастие к «букве» и отвращение их ко всем инаковерующим Салтыков считает заслуживающими «полнейшего омерзения». Этим он отвечает на сомнения читателей, для которых «обнаружение так называемых тайн расколов может показаться неприличным и несвоевременным». Из этой фразы можно заключить, что повесть «Мастерица» и должна была заключать в себе такое «обнаружение».

Такое же отношение к расколу продолжается в чистовом, тоже автографическом списке рукописи этой повести; при описании летнего, пришлого населения города Срывного говорится про «изуверов раскола, под видом смирения и страннического подвига всюду рассеивающих коснение, невежество и какое-то бессердечное хладнокровное ожесточение». Интересно отметить, что фраза эта потом была зачеркнута Салтыковым.

Вообще же повесть «Мастерица» должна была, повидимому, явиться памфлетом против раскола, совершенно расходясь в этом отношении с позднейшей своей редакцией, повестью «Тихое пристанище». По бумаге и почерку видно, что «Мастерица» писалась почти одновременно с последними рассказами из «Губернских очерков»; резкое отношение к расколу характерно для Салтыкова, еще не ставшего на ту новую точку зрения, с которой он относится к этому явлению в «Тихом пристанище».

Когда Салтыков подверг окончательной обработке эту свою повесть (а я считаю достаточно установленным, что центр такой обработки падает на 1862 год), то для него весь этот быт провинции, раскола и следственных дел был уже, поистине, «делами давно минувших дней», на которые можно было бросить беспристрастный взгляд. Из памфлета против раскола, повести «Мастерица», появилась апология раскола и памфлет против административных мер борьбы с ним — повесть «Тихое пристанище». Оба эти варианта одной повести чрезвычайно интересны, говоря нам о переломе во взглядах Салтыкова на этот вопрос. Перелом этот можно приблизительно отнести к 1858 году, когда в «Святочном рассказе» он выразился уже с достаточной определенностью.

Но если дела раскола были для Салтыкова «делами давно минувших дней», то в «Тихом пристанище» есть и другие, еще более «минувшие» дела, которые Салтыков воскрешает в жизнеописании молодого Веригина. Речь идет о подпольном кружке молодежи конца сороковых годов, об утопии, чуть ли не о революции — и мы уже не один раз ссылались на «Тихое пристанище», когда речь шла о годах юности Салтыкова и о кружке петрашевцев (см. гл. III). Отсылаю читателей к этому рассказу о Салтыкове-петрашевце, а здесь укажу только еще раз, что довольно невинную деятельность середины сороковых годов Салтыков беллетристически отобразил теперь, двадцатью годами позднее, в преувеличенно «революционном» виде. В Петербурге действует подпольный кружок молодежи, во главе которого стоит приятель Веригина, Крестников; кружок рассылает своих эмиссаров в провинцию, считая, что «настоящее дело — не здесь, а там, в глубине, и что там необходимо иметь людей»... Одним из таких молодых людей, посылаемых кружком в провинцию, является и Веригин. Многим может показаться смешной такая деятельность кружка, — говорит Крест-

ников,— такое «мальчишество», собирающееся перевернуть весь мир, но в действительности — «нет, это не смешно! Тут не комедией отзывается! Знаете ли, как кончают самонадеянные мальчишки, подобные нам? Они кончают или самоубийством, или...». Многообразие, прерывающее эти слова Крестникова, расшифровывается очень легко: «или виселицей» (а быть может — «или революцией») — хочет сказать он. Это не характерно для Салтыкова сороковых годов, но очень характерно для Салтыкова годов шестидесятых, когда дописывалось «Тихое пристанище». Столь же характерна и страница, восхваляющая «утопию» и считающая ее основанием человеческой деятельности. С таким взглядом Салтыкова на утопию мы еще будем встречаться в целом ряде его произведений и семидесятых, и восьмидесятых годов.

Таковы два неизвестные до сих пор большинству читателей произведения Салтыкова, основную обработку которых считаю возможным отнести к 1862 году, т.е. как раз к году задуманного, но не осуществленного им своего журнала. Произведения эти тоже оказались «неосуществленными» — не были напечатаны при жизни Салтыкова и дошли до нас в незаконченном виде. Значение их в истории художественного творчества Салтыкова — невелико, но является вовсе не столь маловажным в истории развития его идей. Ненависть к высшей бюрократии, оформленная в «Тенях», заставила Салтыкова бросить блестящую административную карьеру и выйти в отставку; революционные ноты, не случайно звучащие в «Тихом пристанище» — объясняют, с другой стороны, тесную связь Салтыкова с революционным «Современником», когда «Русская Правда» так и осталась нерожденной на свет. Это может служить лишним доказательством того обстоятельства, что ошибочно было бы видеть в «Русской Правде» орган либерализма, а Салтыкова — считать чуть ли не идеологом «тверских либералов». Литературный и общественный путь Салтыкова был уже достаточно ясно намечен в глуповском цикле 1860—1862 гг., и с внутренней логикой привел его к ближайшему участию в «Современнике», которому он отдал два последующие года напряженнейшей литературной и общественной работы.

Глава X

САЛТЫКОВ В «СОВРЕМЕННОМ»

I

Крестьянская реформа и Положение 19 февраля 1861 года явились водоразделом между первой, либеральной, и второй, реакционной половиной шестидесятых годов. Положение было опубликовано в марте 1861 года, а уже в апреле министром внутренних дел был назначен Валуев, программой которого было: всячески идти навстречу интересам и желаниям помещиков и жестоко подавлять малейшие признаки крестьянского недовольства. Но — так или иначе — освобождение крестьян стало совершившимся фактом, и повернуть назад колесо истории было уже не под силу никаким министрам, никакому правительству. Эту отмену крепостного права Салтыков считал единственным великим результатом всей либеральной шумихи шестидесятых годов, — великим потому, что действующим лицом здесь явился сам народ. Мысль эту он неоднократно высказывал в своих статьях.

Правительственные реформы не были, однако, закончены освобождением крестьян; несмотря на реакцию второй половины шестидесятых годов, реформы государственного строя диктовались насущной финансовой необходимостью, как это уже достаточно подробно выяснено историческим изучением той эпохи. Большие и малые реформы постепенно вводились еще в течение целого ряда лет. Так, например, законоположением от 4 июля 1861 года были уничтожены откупа (мы помним, как ядовито отзывался на

это Салтыков в своем глуповском цикле), а 1 января 1862 года был введен акциз на водку. Началось спаивание крестьян правительством, дававшее казне не одну сотню миллионов рублей ежегодно. 25 декабря 1862 года была произведена анекдотическая полицейская реформа; более серьезное значение имела реформа университетская — университетский устав, введенный 18 июня 1863 года. Несмотря на всю свою реакционность, устав этот оказался слишком либеральным двадцатилетием позднее, в эпоху реакции восьмидесятых годов. Наибольшее значение либералы придавали земской реформе, дававшей крайне урезанное самоуправление губерниям Европейской России; положение о земских учреждениях введенное 1 января 1864 года, казалось либералам единственным путем дальнейшего общественного развития. И эта реформа впоследствии было сильно урезана, но и в первоначальном своем виде она не давала земству никаких широких возможностей. К тому же году относится и судебная реформа, вводившая суд присяжных и гласное судопроизводство, с изъятием однако из него целого ряда самых существенных для общества дел. Весь этот ряд реформ был завершен, наконец, реформой печати — введением временных правил от 4 апреля 1865 года, настолько ухудшивших положение печати, что деятелям ее иной раз с сожалением приходилось вспоминать о дореформенных временах. Всем этим реформам и результатам их Салтыков посвятил много внимания в своих произведениях шестидесятых годов.

Еще больше внимания отдавал он общественному расслоению, бывшему неизбежным следствием и всех этих действий правительства, и ряда внешних обстоятельств в роде петербургских пожаров 1862 года и польского восстания 1863 года. Русское общество распалось к этому времени на три основные группы или партии, каждая из которых в свою очередь имела различные оттенки и разветвления. Прежде всего надо назвать группу реакционеров и консерваторов, все более и более усиливавшуюся к концу шестидесятых годов. Крайний правый фланг этой группы занимала «Домашняя Беседа» Аскоченского (орган дикого обскурантизма) и крепостническая «Весть» Скарятина, Юматова и Ржевского, начавшая издаваться в 1863 году. Наиболее влиятельными органами реакции и консерватизма были «Русский Вестник» и «Московские Ведомости» Каткова; последняя газета перешла в его

руки тоже с 1863 года. Именно с этого года Катков, занявший воинственно-патриотическую позицию в польском вопросе, стал главной опорой реакции, добровольцем сыска и крупнейшей общественной силой, с которой Салтыкову пришлось вести неустанную борьбу до самого конца своей литературной деятельности.

Среднюю позицию, как водится, занимали многочисленные представители либерализма той эпохи, имевшие в своих руках целый ряд газет и журналов. В 1863 году был основан «Голос» Краевского, получившего на это субсидию от министра народного просвещения Головнина; газета эта стала на ближайшее двадцатилетие главным органом либерализма. Таким же органом в мире журнальном были «Отечественные Записки» того же Краевского, в которых неутомимо подвизался в эти годы С. Громека, бывший жандарм и будущий губернатор, а в середине между этими двумя деятельностями — красноречивый либеральный публицист. Видной либеральной газетой были и «С.-Петербургские Ведомости», с 1863 года выходившие под редакцией В. Корша, бывшего редактора «Московских Ведомостей» (в последних, как мы знаем, сотрудничал Салтыков двумя годами ранее); с этим новым либеральным органом Салтыкову пришлось скрестить оружие уже много позднее, в начале следующего десятилетия.

Между либералами и социалистами стояли два органа старого славянофильства и нового «почвенничества» — еженедельная газета «День» И. С. Аксакова и журнал братьев Достоевских «Время». Оба эти органа были однако настроены весьма патриотически и резко боролись с революционным направлением русской общественности и литературы; это не помешало им, впрочем, подвергаться правительственным карам за борьбу с бюрократизмом («День») и за недостаточно четкое отношение к польскому вопросу («Время»). Газета Аксакова, типичный орган эпигонов славянофильства, была закрыта на несколько месяцев вместе с «Современником» и «Русским Словом» в середине 1862 года; журнал Достоевских был закрыт навсегда в апреле 1863 года, и лишь с начала следующего года М. Достоевскому разрешено было издавать новый журнал, «Эпоху», вскоре, впрочем, закрывшуюся за недостатком подписчиков. Со всеми этими органами Салтыкову, как увидим, пришлось выдержать ожесточенную борьбу.

Наконец, крайний левый фланг русской журналистики занимали

«Современник» и «Русское Слово», подвергшиеся временной приостановке в 1862 году и навсегда закрытые в 1866 году, после выстрела Каракозова. Между собой эти журналы, особенно начиная с 1864 года находились в жестокой борьбе, ибо первый из них, «Современник», был представителем революционно-социалистической мысли, а второй, идеологом которого был гремевший тогда Писарев, являлся проводником радикальных и индивидуалистических тенденций. Впрочем, об этой борьбе придется говорить ниже; здесь же достаточно указать, что, несмотря на взаимную борьбу, и «Современник», и «Русское Слово» занимали общий фронт против всех других перечисленных выше органов и направлений русской мысли и подвергались одинаковой травле дружного союза реакционеров, консерваторов, славянофилов, «почвенников» и либералов.

Эта страничка из истории русской журналистики необходима нам для понимания публицистической деятельности Салтыкова в 1863—1864 гг.

II

В подцензурной журналистике лишь крайне бледно могли отражаться общественные движения; не случайно я пропустил в перечне русских журналов и газет радикальный «Колокол» Герцена, орган вольного русского слова, имевший возможность в Лондоне подробно говорить о всем том, о чем нельзя было сказать в Петербурге и Москве. Нельзя было сказать в подцензурной печати о растущих революционных настроениях среди молодежи и тех левых общественных кругов, которые изверились в правительственных реформах. Круги эти возглавлялись Чернышевским и Добролюбовым; последний, впрочем, скоро выбыл из строя (скончался в ноябре 1861 года) — и Салтыков писал об этом Анненкову еще из Твери 3 декабря: «смерть Добролюбова меня потрясла до глубины души...»¹. Через полгода выбыл из строя и арестованный за революционную деятельность Чернышевский, уже с конца 1859 года ясно осознавший неизбежность революционного пути. В начале 1860 года было напечатано в «Колоколе» его «Письмо из провинции», подписанное «Русский человек», — письмо, заключающее в себе об'явление войны и либералам, и правительству,

¹ «Письма», т. I, № 19.

и призывавшее к революционным действиям: «только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!». О причинах революционного настроения в обществе Чернышевский подробно рассказал в «Письмах без адреса», непропущенных цензурой в 1862 году и увидевших свет лишь десятилетием позднее в зарубежном журнале «Вперед» (1873 г., т. I). Эти письма якобы «без адреса» имели явного адресата — Александра II и говорили о том, что половинчатость реформ и неудовлетворительное проведение их не могли не вызвать роста в обществе революционных настроений.

Настроения эти особенно резко стали проявляться с середины 1861 года, тотчас же после опубликования Положения 19 февраля. Летом этого года вышла первая революционная прокламация «Великоросс» и привела правительство в паническое состояние; вскоре появились прокламации «К молодому поколению» Михайлова и «К солдатам» Шелгунова; годом позднее на шумела наиболее резкая из прокламаций, «Молодая Россия», вышедшая из кружка первого и замечательного русского якобинца Заичневского. В это же самое время организовалось первое подпольное общество «Земля и Воля», действовавшее до 1864 года и тоже выпустившее ряд прокламаций. Правительство ответило на эти революционные призывы арестами и террором. По делу «Великоросса» был арестован и сослан на каторгу Обручев (отрывок из воспоминаний которого о Салтыкове был приведен выше); Михайлов и Шелгунов были арестованы в 1861 году, и первый из них сослан на каторгу; Обручев и Михайлов подверглись «гражданской казни» — стояли на площади у «позорного столба». 7 июля 1862 года были арестованы Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич по обвинению в сношении с Герценом; Чернышевский сверх того вскоре был обвинен в составлении прокламации «К барским крестьянам». Дальнейшая судьба его известна — «гражданская казнь», многолетняя каторга и ссылка. На каторге погиб Н. Серно-Соловьевич. Интересно отметить, что во время ведения дела последнего (с июля 1862 по декабрь 1864 года) вышли в свет «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» Салтыкова, на обложке которых значилось: «издание книжного магазина Серно-Соловьевича». Почти одновременно с Чернышевским и Серно-Соловьевичем был арестован и Писарев по обвинению в участии в подпольной типографии; несколько раньше арестован был Заич-

невский, сосланный на каторгу; Писарев отделался четырьмя годами Петропавловской крепости. В процессах Заичневского, Михайлова и Чернышевского замешан был и А. Н. Плещеев, против которого, однако, не было собрано достаточных улик. Так или иначе, но все эти аресты и процессы косвенно задевали и Салтыкова: Чернышевский и Плещеев были намечены им как сотрудники «Русской Правды» (Плещеев, повидимому, близкий к редакции), а Серно-Соловьевич был издателем двух его сборников 1863 года.

Революционная деятельность не только таилась в подполье, но выходила и на площади, и в залы собраний. С конца 1861 года в Петербурге и Москве начались студенческие волнения, результатом которых было закрытие университетов и выработка нового университетского устава. На вечере Литературного Фонда 2 марта 1862 года приятель Салтыкова, профессор П. В. Павлов, произнес речь о тысячелетии России, за которую немедленно же был сослан в Ветлугу. Нелепый праздник «тысячелетия России» был официально назначен на 8 сентября 1862 года; но еще за несколько месяцев до него тысячелетие это было ознаменовано страшными петербургскими пожарами мая месяца. Кто производил поджоги — осталось невыясненным; есть данные, что их производили крайние реакционеры, желая этим запугать правительство и поставить его на путь репрессий против революционеров, а также и сорвать предполагаемые реформы. Но консерваторы и либералы пустили другой слух, будто поджоги эти производит революционная молодежь, «нигилисты» и «мальчишки». Последний термин принадлежал Каткову, громившему «мальчишек» на страницах «Русского Вестника»; мы скоро увидим, как Салтыков в «Современнике» 1863 года боролся с Катковым, защищая «мальчишек». Что же касается «нигилистов», то термин этот, встречавшийся и ранее, получил права гражданства, как известно, после романа Тургенева «Отцы и дети», появившегося в февральском номере «Русского Вестника» за 1862 год. Как бы то ни было, но петербургские пожары 1862 года и польское восстание 1863 года явились поворотными пунктами не только в действиях правительства, но и в настроении громадного большинства «либерального общества», быстро растерявшего бывшие свои либеральные убеждения. Характерным признаком этого явилось почти полное падение авторитета могущественного доселе «Колокола», падение к 1865 году подписки

на «Современник» вдвое и втрое по сравнению с недавними годами и постепенно укрепившееся могущество Каткова, который с этих пор мог уже третировать и цензуру, и министра внутренних дел.

Петербургские пожары немедленно отразились на судьбе «Современника» и «Русского Слова»: уже в мае 1862 года учреждена была особая следственная комиссия под председательством реакционного кн. А. Ф. Голицына для исследования дел о пожарах, а в июне и «Современник» и «Русское Слово» были приостановлены на восемь месяцев, до февраля 1863 года. Видную роль в этой судьбе двух передовых журналов сыграл либеральный профессор Никитенко, составивший озлобленную докладную записку о вредном влиянии этих журналов на молодое поколение. И как нельзя более характерно, что именно в это время Салтыков решительно примкнул к «Современнику», сделавшись не только его ближайшим сотрудником, каким он был и в предшествующие два года, но и членом редакционной коллегии и одним из главных публицистов этого журнала, возобновившего свою деятельность с февраля 1863 года.

В настоящей главе мы подробно познакомимся с этой деятельностью Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг.; теперь же закончим краткий обзор событий второй половины шестидесятых годов упоминанием о громадном впечатлении, произведенном на молодежь романом Чернышевского «Что делать?», появившемся на страницах «Современника» начала 1863 года. Организация артелей, кружков и мастерских на коммунистических началах, бывшая следствием этого романа, не могла, конечно, сыграть большой практической роли, — вскоре все они были разгромлены правительством; но уже в них можно видеть те первые шаги сближения с «народом», которые проявились и раньше в организации воскресных школ (1860—1862 гг.), тоже разгромленных правительством после петербургских пожаров, и позднее — в том «хождении в народ», которое начало собою семидесятые годы. Роман Чернышевского быть может сыграл не малую роль в суровом приговоре Сената, потому что вызвал против себя всеобщее озлобление и консервативной, и «либеральной» части общества. Замечу кстати, что провокатор и предатель Всеволод Костомаров, погубивший Чернышевского своими показаниями и поддельными письмами, в своей записке «Разбор литературной деятельности Чернышевского», представленной в июле 1863 года

шефу жандармов, много внимания уделил и доносам на глуповский цикл Салтыкова, посвятив ему XI главу этой своей записки.

Все эти преследования и административные кары не понизили духа «Современника» за те два года, когда в редакции его находился Салтыков. Мы увидим, что уже первые номера журнала по его возобновлении были проникнуты боевым духом — поскольку, конечно, он мог выразиться в цензурных формах. Несмотря на реакцию правительства и общества, революционное настроение питалось надеждою на взрыв крестьянского недовольства, который должен был произойти в середине 1863 года, по миновании двухлетнего обусловленного Положением 19 февраля срока «временно обязанных» служить помещику крестьян. Такую революцию предсказывал и Чернышевский на последних страницах романа «Что делать?», отдавая, впрочем, срок ее еще на два года. Надежда обманула, и правительственная реакция продолжала свое дело, пробавляясь в то же время последними реформами, о которых было уже сказано выше. Но реакция эта еще не дошла тогда до своего предела; предел этот был воочию показан русскому обществу после неудачного выстрела Каракозова 4 апреля 1866 года в Александра II. Прославленный палач поляков Муравьев-Виленский был доставлен во главе комиссии, исследовавшей «заговор Каракозова»; доброволец сыска Катков обвинял Муравьева в «слишком мягких действиях» этой комиссии, — а действия эти доходили до пытки Каракозова. Что творилось тогда в Петербурге — об этом Салтыков красочно рассказал впоследствии в «Господах ташкентцах». 15 мая 1866 года был дан рескрипт на имя председателя комитета министров кн. Гагарина, в котором общество приглашалось даже в своем домашнем быту бороться с тлетворными идеями, направленными против религии, собственности и коренных начал общественного порядка. На место «либерального» Головнина министром народного просвещения был назначен реакционный гр. Д. А. Толстой, однокашник Салтыкова по лицу; этому министру Салтыков посвятил много едких страниц в дальнейших своих произведениях. Наконец, правительственным сообщением от 1 июня 1866 года «Современник» и «Русское Слово» были закрыты навсегда, вследствие «доказанного с давнего времени вредного их направления». Дикий разгул реакции продолжался в течение целых двух лет.

В это время Салтыков уже не был членом редакции «Современ-

ника», не был даже и сотрудником его, снова поступив на службу с конца 1864 года и совершенно отказавшись на целые три года от всякой литературной деятельности. Но это уже приводит нас к концу шестидесятых годов, общая линия развития которых намечена на предыдущих страницах; теперь же надо вернуться к работе Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг., работе почти совершенно неизвестной широким кругам читающей публики. Эти два года были годами необычайной по напряжению публицистической деятельности Салтыкова; именно в эти годы окончательно выковал он свой стиль, нашел свой собственный путь, по которому после трехлетнего перерыва с новыми силами пошел вперед к вершине своей литературной деятельности семидесятых и восьмидесятых годов¹.

III

Хотя первый после приостановки номер «Современника» должен был выйти лишь в феврале 1863 года, но редакторство Салтыкова в этом журнале началось еще с осени предыдущего года. Надо было заблаговременно подобрать материал для первой двойной (январь—февраль) книги журнала, написать целый ряд руководящих публицистических статей, улаживать дела с цензурой, читать типографские корректуры. В воспоминаниях П. Боборыкина есть рассказ о том, как осенью 1861 года (Боборыкин ошибся годом — это могло происходить лишь в 1862 году) Писемский передавал Боборыкину: «Сейчас засылал ко мне Некрасов Салтыкова приторговать мою новую вещь». И далее Боборыкин рассказывает: «А какая это была «новая вещь»? Роман «Взбаламученное море»... Конечно, если б Некрасов познакомился предварительно со всем

¹ Литература об эпохе шестидесятых годов огромна; большое количество ссылок на нее можно найти в популярном исследовании А. А. Корнилова «Общественное движение при Александре II» (Москва 1909 г.). Подробное изложение по архивным документам революционного движения шестидесятых годов можно найти в двух книгах М. К. Лемке «Очерки освободительного движения шестидесятых годов» (Спб. 1908 г.) и «Политические процессы в России 1860-х годов» (Москва 1923 г.). Недавно издан сохранившийся в архивах стенографический отчет по делу Каракозова (Москва 1928 г.). Богатейший материал находится в «Колоколе», целиком вошедший в «Полное собрание сочинений и писем» А. И. Герцена, под редакцией М. К. Лемке (тт. VIII—XI и XV—XXI).

содержанием романа, вряд ли бы он попросил Салтыкова поехать к Писемскому позондировать почву... К нему за слали, и за слали кого? Самого Михаила Евграфовича, тогда уже временно — между двумя вице-губернаторствами — состоявшего в редакции «Современника»¹. Боборыкин ошибся не только в годе, но и в ядовито подчеркнутой им фразе «между двумя вице-губернаторствами», так как в редакцию «Современника» Салтыков вошел уже по выходе в отставку и никогда больше не возвращался на административный пост вице-губернатора; но здесь для нас интересен самый факт участия Салтыкова в работах редакции «Современника» уже с осени 1862 года.

К последним месяцам этого года работа Салтыкова становилась все более и более разнообразной; так между прочим, в письме от 27 ноября Некрасов просил управляющего III отделением Потапова «выдать под расписку товарищу моему по редакции «Современника» Михаилу Евграфовичу Салтыкову» рукописи Чернышевского, сидевшего тогда в Петропавловской крепости². Сохранилось большое письмо Салтыкова к Некрасову от 29 декабря 1862 года, в котором идет речь о целом ряде цензурных и типографских хлопот, связанных с выходом в феврале первого двойного номера «Современника» за 1863 год³.

Номер этот появился в середине февраля и представлял собою огромный том в тысячу с лишним страниц; в апрельском «Свистке» (о нем еще будет сказано ниже) в сатирическом стихотворении В. Монументова (В. Буренин) иронически описывался завистливый разговор издателей и публицистов других журналов, Краевского, Достоевского и Громеки об этом номере «Современника»:

— Появился!— Вот он!— Эка
Толщина-то, толщина!

Из тысячи журнальных страниц Салтыкову в этом двойном номере принадлежало целых двести — и беллетристики, подписанной обычным псевдонимом «Н. Щедрин», и псевдонимных статей, и не подписанных рецензий, и тоже не подписанного отдела «Наша

¹ П. Боборыкин, «За полвека», «Минувшие Годы» 1908 г., № 4.

² М. Лемке, «Политические процессы в России 1860-х гг.», стр. 235.

³ «Письма», т. I, № 25.

общественная жизнь», который с этих пор Салтыков вел в течение целого года. Соредактору Салтыкова по «Современнику», А. Н. Пыпину, мы обязаны подробным перечислением почти всего, напечатанного Салтыковым за эти два года на страницах журнала, с подробным изложением этих совершенно неизвестных читателям собрания сочинений Салтыкова статей¹; однако надо обратиться к изучению самого журнала, чтобы получить полное представление о громадности совершенной Салтыковым за эти два года художественной и публицистической работы. Что касается ее размеров, то достаточно сказать, что за один 1863 год Салтыков напечатал в «Современнике» свыше 40 печатных листов художественных произведений, очерков, статей и рецензий. Почти полный список их приложен к указанной выше книге Пыпина и дан в хронологическом порядке; здесь нам придется расчленить этот список и сказать сперва о художественных произведениях Салтыкова, потом об его публицистике и критических статьях и, наконец, о мелких его сатирических и полемических произведениях, почти заполнивших собою единственный номер «Свистка» за 1863 год, приложенный к апрельской книжке «Современника».

За эти два года Салтыков напечатал на страницах «Современника» девять художественных произведений; вот перечисление их в хронологическом порядке:

1—3. Невинные рассказы:

I. Деревенская тишь.

II. Для детского возраста.

III. Миша и Ваня.

1863 г., № 1—2.

4. После обеда в гостях.

1863 г., № 3.

5. Как кому угодно.

1863 г., № 8.

6. «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!»

1863 г., № 9.

¹ А. Н. Пыпин, «М. Е. Салтыков» (Спб. 1899 г.); список статей Салтыкова см. на стр. 235—238. Дополнение к этому списку—в книге В. Е. Евгеньева-Максимова «В тисках реакции» (М. 1926 г.), стр. 133.

7. «Здравствуй, милая, хорошая моя!»
1864 г., № 1.
8. «На заре ты ее не буди».
1864 г., № 3.
9. «Она еще едва умеет летать».
1864 г., № 8.

Первые три рассказа, давшие своим общим заглавием название сборнику Салтыкова, вышедшему в середине 1863 года, нам уже известны по разбору этого сборника «Невинных рассказов» (см. гл. VIII); здесь остается сказать еще несколько слов о каждом из трех этих рассказов в отдельности. «Деревенская тишь», по содержанию своему явно примыкающая к давно брошенному Салтыковым циклу «Книги об умирающих», описывает гнетущую тоску крепостника-помещика, оставшегося не у дел после освобождения крестьян. Этот красочный очерк надо соединить, однако, не со старыми и заброшенными планами Салтыкова, а с будущими его произведениями, темы которых здесь намечены уже совершенно ясно. Мечтания помещика Кондратия Трифоныча о том, как вдруг «будущим летом во всех окрестных имениях засуха, а у него у одного все дожди, все дожди», как «окрестные помещики не соберут и на семена, а он все сам-десять, все сам-десять», как в его имени на месте паршивого кустарника «в одну минуту вырастает высокий и частый лес» — мечтания, которым Салтыков отводит целую страницу, через много лет отразились в знаменитых и совершенно тождественных по форме мечтаниях Иудушки Головлева («Господа Головлевы»), психологически неизмеримо более углубленных. Эта же нить протягивается от «Деревенской тиши» и к сказке Салтыкова «Дикий помещик» (1869 г.), с которой «Деревенскую тишь» связывает еще и сон Кондратия Трифоныча (он «сделался медведем»): в сказке «Дикий помещик» этот сон превращается в фантастическую явь. Небольшая частности: в «Деревенской тиши» действующим лицом выводится какой-то «батюшкин брат», в беседе с которым Кондратий Трифоныч пытается разогнать щемящую скуку; этот «батюшкин брат» — несомненно произведение цензуры, а не Салтыкова, так как в одном месте рассерженный Кондратий Трифоныч обращается к «батюшкиному брату» с угрозой: «Ну, и ступай! ну, и пропадай! Только ты у меня смотри: ни всенощных, ни молебнов... ни-ни!». Это показывает, что первоначально в тексте

рассказа действовал не «батюшкин брат», а сам «батюшка», сельский священник, не пропущенный в таком виде цензурой.

Рассказ «Для детского возраста» — один из слабых очерков Салтыкова, который, повидимому, и сам сознавал это, так как, посылая его Некрасову, просил «печатать только в таком случае, если он не слишком уж слаб»¹. Этот рассказ вполне мог бы войти в серию прежних салтыковских «Губернских очерков», и сам Салтыков подчеркивает его «провинциальность» автобиографической фразой о том, как он «благоденствовал в Вятке и процветал в Перми, жуировал жизнью в Рязани и наслаждался душевным спокойствием в Твери». Заслуживает, однако, упоминания одна, казалось бы, шуточная фраза, с которой автор обращается к детям, играющим вокруг елки: «Коля, мой друг! не отплясывай так бойко казачка, ибо ты не будешь советником питейного отделения! Скоро придет бука и всех советников оставит без пирожного!.. Митя не будет вице-губернатором! Скоро придет бука и всех вице-губернаторов упразднит за ненужностью!». Если в первом обращении речь может идти об уже известном нам уничтожении откупов, то во втором имеется в виду, конечно, более решительное изменение судеб российской бюрократии. Нам уже известно всеобщее ожидание крестьянского восстания к лету 1863 года, и почти несомненно, что в приведенной шутливой фразе Салтыков совсем не шуточно под «букою» понимал восставший народ.

Третий рассказ, «Миша и Ваня», сопровождается подзаголовком «Забытая история» и возвращает нас к уже известному нам эпизоду из времен пребывания Салтыкова вице-губернатором в Рязани. В своем месте (гл. VI) мы подробно ознакомились с делом рязанской помещицы Кислинской, истязавшей своих крепостных, доведшей до самоубийства крепостную девушку Ольгу Михайлову и до попытки самоубийства двух мальчиков, Ивана и Гаврилу, которые зарезались столовым ножом, доведенные до отчаяния истязаниями помещицы. Все это мы находим теперь в рассказе «Миша и Ваня», написанном через четыре года после этой «забытой истории». Мрачный рассказ этот вызвал очень резкий отзыв цензора Пржецлавского, заявившего по начальству, что рассказ этот «описывает возмутительные черты жестокости и разврата бывших по-

¹ «Письма», т. I, № 24.

мещиков в их отношении к бывшим крепостным людям». Цензор полагал, что «очень неуместно и даже вредно разжигать страсти, и в освобожденном от гнета населении возбуждать чувства ненависти и мщениия за невозвратное прошедшее»... По мнению цензора, «журнал истинно-патриотический должен был бы понимать это и воздерживаться от помещения подобных статей»¹. Быть может, имея в виду именно подобные отзывы цензуры, Салтыков попытался заранее обезвредить их в самом тексте рассказа, где о крепостном праве находится следующее место: «Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продолжиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?». Быть может, впрочем, место это вызвано и не одними цензурными условиями, так как крестьянскую реформу Салтыков считал, несмотря на все ее темные стороны, единственным светлым пятном во всей эпохе преобразования шестидесятых годов. К тому же еще одно подобное место находится и в публицистических статьях Салтыкова, напечатанных в том же номере «Современника». Революционером Салтыков не был, несмотря на близкую свою связь с целым рядом радикально настроенных деятелей той эпохи и на свое участие в «Современнике» Чернышевского².

¹ Архив председателя Спб. цензурного комитета В. А. Цез, № 59 (рукопись в Публичной библиотеке). Докладная записка цензора тайного советника Пржецлавского за № 18 от 24 апреля 1863 г.: «О трех первых книжках «Современника» за 1863 г. См. также «Исторический Вестник» 1911 г., № 9, стр. 980.

² Это верноподданническое место из рассказа «Миша и Ваня» было тогда же с осуждением отмечено радикальной печатью. Годом позднее появление этого рассказа, в острой полемической статье «Глушцы, попавшие в Современник» («Русское Слово» 1864 г., № 2), Варфоломей Занцев, нападая на Салтыкова, писал: «Зачем сами вы, почтенный муж, представлялись недвольным и делали вид, что чего-то желаете?.. Ваше недовольство было будированием, да и не мне одному это известно, а всякому, кто со вниманием прочел, например, рассказ «Ваня и Миша», им ющий солидарность с вашим фельетонами; но спрашиваю я вас, из-за чего же вы представлялись чающим и стучащимся?». — Об этой статье В. Зайцева еще будет упомянуто ниже (гл. XI).

Следует отметить еще одно, хотя и мелкое, но характерное обстоятельство, связанное с позднейшими изменениями текста этого рассказа. В журнальной редакции и в первом отдельном издании «Невинных рассказов» очерк этот заканчивался патетическими обращениями автора к злодейке-помещице и к «матери-земле», когда самоубийство Миши и Вани уже совершилось: «Земля-мать! Если бы ты знала, какое страшное дело совершается в этом овраге, ты застонала бы, ты всколыхалась бы всеми твоими морями, ты заговорила бы всеми твоими реками, ты закипела бы всеми твоими ручьями, ты зашумела бы всеми твоими лесами, ты задрожала бы всеми твоими горами!». В знаменитой статье «Цветы невинного юмора», посвященной творчеству Салтыкова вообще и «Невинным рассказам» в частности, Писарев зло вышутит эту неудачную и вообще несвойственную Салтыкову реторику: «Ах, мои батюшки! Страсти какие! Не жирно ли будет, если земля-мать станет производить все предписанные ей эволюции по поводу каждого страшного дела, совершающегося в овраге! Ведь ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своем веку всякие виды»... Пристрастная критика Писарева, главного сотрудника враждебного «Современнику» «Русского Слова», вообще говоря не затронула Салтыкова; но в этом случае он признал справедливость слов своего критика, признал неудачный патетизм и риторичность такого окончания рассказа «Миша и Ваня» — и вычеркнул это место из всех последующих изданий «Невинных рассказов». Салтыков мог доходить и доходил до глубокого пафоса, но выражал его не в обычных риторических формах — и только тогда он ему удавался и производил огромное впечатление своей внутренней силой, а не внешними стилистическими украшениями.

В следующем номере «Современника» (№ 3) появился очерк Салтыкова «После обеда в гостях», тоже вошедший через полгода в сборник «Невинных рассказов», но, в сущности, составляющий заключительный очерк глуповского цикла, как это уже было выяснено выше (гл. VIII). Не возвращаясь поэтому к разбору этого очерка, укажу только в дополнение к сказанному о нем при рассмотрении глуповского цикла, что заглавие этого очерка Салтыков пародически заимствовал из напечатанной в «Русском Вестнике» повести Кохановской «После обеда в гостях». Всю язвительность пародии может оценить только тот, кто прочтет эту

знаменитую когда-то повесть писательницы, очень ценившейся Салтыковым, как мы это скоро узнаем из его рецензий. Цена ее художественный талант, Салтыков, однако, совершенно отрицательно относился к основам ее мировоззрения.

Уехав на лето 1863 года в Витедьбу, Салтыков напечатал гам кроме интересной публицистической статьи «В деревне», еще и большое полухудожественное, полупублицистическое произведение, задуманное как начало большого цикла. Озаглавил он его «Как кому угодно», с подзаголовком «Рассказы, сцены, размышления и афоризмы» и с обычной под его художественными произведениями подписью «Н. Щедрин». Подзаголовок совершенно ясно говорит о том, что задумана была целая серия рассказов; об этом же говорит и следующее примечание к заглавию: «Сочинению этому должны предшествовать два письма, которые, быть может, и появятся впоследствии». Они не появились, как не появились и другие рассказы и сцены из этой задуманной серии.

Произведение это состоит из трех частей, первой из которых является «Слово к читателю». В этом слове сатирик ставит тему о «долге», об «алтарях» и о «краеугольных камнях» общества. «Всякое общество имеет свои алтари, свои краеугольные камни, около которых группируются, на которые устремляют свои взоры», — говорит сатирик, и в виде примера такого краеугольного камня берет семью. Рассказу об этом «алтаре» общества и посвящен второй очерк, носящий заглавие «Семейное счастье». В очерке этом мы уже имеем первый черновой набросок к будущим «Господам Головлевым» и к их семейной истории; Марья Петровна Воловитинова этого очерка совершенно совпадает с Ариной Петровной Головлевой, три сына ее — соответствуют трем молодым Головлевым, при чем даже черты будущего «Иудушки» уже явно намечены в Сеничке, хотя последний и отличается от Иудушки своей неудачливостью в достижении маменькиной любви. В своем месте, говоря о «Господах Головлевых», мы еще будем иметь случай убедиться в автобиографичности ряда описаний Салтыковым этой семьи своей матери; здесь укажу только, что именно в это время середины шестидесятых годов у Салтыкова с матерью были особенно обострены отношения. В начале 1865 года он, например, писал Анненкову, что снова поступил на службу, «потому что милая моя родительница засекустрровала все доходы с моего имения, и я реши-

тельно оставлен теперь на произвол судьбы и министерства финансов»¹. Автобиографичность рисунка семьи в «Семейном счастье» Салтыков постарался затушевать тем обстоятельством, что нелюбимому сыну Сеничке, почти генералу и вице-губернатору (т.-е. самому себе), он придал черты будущего Иудушки Головлева, основой для портрета которого послужил брат Салтыкова Дмитрий. Так или иначе, но темой рассказа был распад семьи; тема эта легла впоследствии в основу громадного цикла «Благонамеренных речей», — и неудивительно поэтому, что Салтыков включил «Семейное счастье» в отдельное издание именно этого своего цикла (1876 г.), не перепечатывая никогда очерка «Как кому угодно» целиком.

Третья часть этого очерка озаглавлена «Размышления» и подводит итоги рассказу «Семейное счастье». В рассказе этом перед читателем прошел глубокий распад семьи, признание долга в теории, забвение его на практике. Марья Петровна — недостойная мать, — говорит Салтыков, — Сеничка, Митенька, Феденька — недостойные сыновья; «а между тем спросите у Марьи Петровны или у самого Сенички: что такое союз семейственный?.. Сеничка скажет: семейственный союз — это зерно союза гражданского, это алтарь, это краеугольный камень... Но если алтарь, так и служи же ему! Если это краеугольный камень, так и наблюдай же за его неприкосновенностью! Ясно ли?». И сатирик еще больше поясняет это положение рассказами про три «семейные союза», заключающими весь очерк и иллюстрирующими на резких примерах разложение семьи.

Ко всем этим темам Салтыков вплотную подошел лишь десятилетием позднее, в цикле «Благонамеренных речей»; но уже здесь перед нами ясно и твердо поставлен вопрос, означающий собой первый подход Салтыкова к темам глубокого социального значения. До этого времени он писал картины губернских очерков, был родоначальником обличительной литературы, рисовал типы умирающих в эпоху реформы людей, боролся с враждебными общественными течениями, обобщал свои выводы в широко задуманном, но цельно неосуществленном глуповском цикле; здесь впервые он подошел к одному из трех китов социального устройства — и устройства не только дореформенного. Тремя китами современного ему

¹ «Письма», т. I, № 34.

общества Салтыков считал семью, собственность и государство; когда-то они были прогрессивными явлениями и «идеалами», но теперь пришли к разложению и к распаду. Мысль эту Салтыков ясно осознал лишь десятилетием позднее и выразил ее в «Благонамеренных речах»; первый подход к ней мы имеем именно в этом очерке «Как кому угодно» и в центральном его рассказе «Семейном счастье». Впервые здесь речь идет не о тех или иных недостатках общественного строя, а о том, что самые основания его прогнили. В таком выводе заключается самая большая внутренняя революционность, которой Салтыков обладал постольку же, поскольку был чужд революционности внешней. В дальнейшем мы будем следить за этими тяжелыми ударами, которые сатира Салтыкова наносила «краеугольным камням», вскрывая их расшатанность и распад в современном ему обществе¹.

В заключение перехожу к четырем очеркам, тесно связанным между собою и по темам, и по заглавиям. Это — рассказы «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» (1863 г., № 9), «Здравствуй, милая, хорошая моя!» (1864 г., № 1), в подзаголовках которых стояло «Провинциальный романс в действии», — и затем «На заре ты ее не буди» (1864 г., № 3) и «Она еще едва умеет лепетать» (1864 г., № 8), в подзаголовке помеченных просто как «Романс». Из одного этого видно, что Салтыков задумал тогда целую серию таких «романсов», о чем, впрочем, и сам он подробно говорит в заключении второго из них. Все эти романсы в то время были очень популярны; как известно, «Здравствуй, милая, хорошая моя!» — народная песня, «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» — популярный романс начала XIX века, «На заре ты ее не буди» и «Она еще едва умеет лепетать» — романсы на слова Фета и Майкова (1842

¹ Сохранившиеся в собственноручном автографе Салтыкова две первые части «Как кому угодно» (Бумаги Пушкинского Дома, из архива М. Стасюлевича) показывают, что сперва Салтыков не задумывал обширного цикла «рассказов, сцен, размышлений, афоризмов», так как вместо этого подзаголовок из журнального текста в рукописи стоит подзаголовком «Сцены семейного счастья», ограничивающий весь этот очерк второй его частью, впоследствии выделенной в особый рассказ. Первая часть, «Слово к читателю», в рукописи сперва носило заглавие «Вместо введения». — Ниже (гл. XI) мы еще увидим, что враждебная Салтыкову критика тогда же обвинила его за этот рассказ в ф у р ь е р и з м е, и что Салтыков не оспаривал такого «обвинения», а до известной степени согласился с ним.

и 1857 г.). Таких «романсов» Салтыков собирался написать целый цикл, посвятив их деяниям послереформенных провинциальных губернаторов, которых он лишь через несколько лет окрестил помпадурями. Первый рассказ посвящен увольнению старого губернатора еще дореформенного типа; три остальных — деяниям нового губернатора, Феденьки Кротикова, в окончательном тексте переименованного в Козелкова; о причинах такой замены еще будет сказано при разборе цикла «Помпадуров и помпадурш», так как все эти четыре «романса» и послужили первой основой этого знаменитого впоследствии цикла.

Второй из этих «романсов» Салтыков закончил кратким послесловием, в котором говорил о плане всего задуманного цикла этих «романсов». Это послесловие в две страницы представляет большой интерес, особенно если иметь в виду, что Салтыков изъел его из текста отдельного издания «Помпадуров и помпадурш» и что оно поэтому остается совершенно неизвестным читателям его собрания сочинений. На этих заключительных страницах Салтыков объясняет читателям, почему он задумал этот «романсный» цикл и какие цели он преследует. Иронически сообщает он, что в былые времена (т.е. во времена «Губернских очерков») он имел покушения «на создание какой-то художественной картины... но, увидев тщету их, тотчас же отложил попечение», обратившись к более скромной, хотя и довольно полезной роли этнографа и монографиста, и не пытаясь соперничать с Тургеневым, Писемским, Гончаровым, Авдеевым и Григоровичем. Достаточно знать ироническое отношение Салтыкова к беллетристике Григоровича и Авдеева, чтобы оценить всю ядовитость этих скромных признаний сатирика. Он заявляет, что «просто хотел написать для начинающих администраторов несколько кратких наглядных руководств, которые могли бы послужить руководящею нитью для их неопытности», выбрав на первый раз два момента (в двух первых «романсах») — «прощание и вступление на скользкий административный путь». «Это для меня рамка, которую я впоследствии обязываюсь наполнить», — прибавлял сатирик, сообщая читателям «по секрету», что у него «уже готово еще одно подобное же руководство», под названием: «Я все еще его, безумная, люблю!», и что этот рассказ он непременно напечатает в журнале «при самой первой возможности». Мы увидим впоследствии,

что возможность эта представилась только через четыре года, когда на страницах уже не «Современника», а «Отечественных Записок» Салтыков напечатал свой знаменитый очерк «Старая помпадурша». Замечу кстати, что в очерке «Она еще едва умеет лепетать» имеется намек еще на один «романс», в котором должна была излагаться дальнейшая судьба губернатора Кротикова; романс этот должен был носить название:

Уж он ходом, ходом, ходом,
Ходом на-ходу пошел...

Это ироническое обещание находится тоже лишь в журнальном тексте, и быть может об этом своем обещании Салтыков вспомнил через десять лет, когда написал на эту тему о том же герое один из последних своих очерков помпадурского цикла — «Помпадур борьбы, или проказы будущего». Пока же он заключает послесловие к очерку «Здравствуй, милая, хорошая моя!» обещанием продолжать эти свои руководительные «романсы» для губернаторов и выпустить их отдельной книжкой под названием «Тезей в гостях у Минотавра, или спасительница Ариадна». Трудно считать серьезным проект такого наименования цикла, но несомненно, что цикл был задуман и впоследствии обратился в знаменитых «Помпадуров и помпадурш». Говоря о них, мы еще будем иметь случай вернуться к этим первым четырем «романсам» 1863—1864 гг.

Перечисленными выше произведениями ограничивается художественная работа Салтыкова в «Современнике» этих двух лет. Впрочем и публицистические его статьи пересыпаны художественными страницами — по той новой манере письма, которую Салтыков выработал еще в глуповском цикле. Обратимся теперь к этой своеобразной его публицистике двух лет напряженной работы в «Современнике».

IV

Перечень публицистических работ Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг. дан в указанной выше книге о Салтыкове А. Н. Пыпина; вот это перечисление в более полном виде:

1. Наша общественная жизнь

1863 г., №№ 1—2, 3, 4, 5, 9, 11, 12;

1864 г., №№ 1, 2, 3.

2. Московские письма, I и II.
1863 г., №№ 1—2, 3.
3. Петербургские театры, I и II.
1863 г., №№ 1—2, 11.
4. Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского Вестника» за 1862 год.
1863 г., № 1—2.
5. Драматурги-паразиты во Франции.
1863 г., № 1—2.
6. Известие из Полтавской губернии.
1863 г., № 1—2.
7. Дополнение к известию из Полтавской губ.
1863 г., № 3.
8. Еще по поводу заметки из Полтавской губ.
1863 г., № 5.
9. Несколько полемических предположений.
1863 г., № 3.
10. В деревне.
1863 г., № 8.

Из всех этих статей только «Московские письма» были подписаны новым для Салтыкова псевдонимом «К. Гурин» и «Несколько слов по поводу Заметки» были подписаны буквами «Т-н» (несомненно — «Тверянин»); все остальные статьи были анонимны, что не мешало, однако, читателям легко узнавать Салтыкова *ex ungue leonem*. Самое поверхностное ознакомление с этим перечнем показывает, что почти вся публицистическая работа Салтыкова в «Современнике» падает на 1863 год; в одной только двойной первой книжке журнала за этот год публицистические статьи Салтыкова занимают около двухсот страниц. Подробнейшее изложение их уже сделано А. Н. Пыпиным в его книге «М. Е. Салтыков»; ограничусь поэтому лишь самым существенным и — главным образом — серией статей «Наша общественная жизнь», которые в будущем полном собрании сочинений Салтыкова должны составить отдельный и глубоко замечательный том. Но сперва — несколько слов о других публицистических произведениях Салтыкова из приведенного выше списка.

Оставляя в стороне три заметки, касающиеся «известия из Полтавской губернии», в которых речь идет о столкновениях поме-

щиков с мировыми посредниками,— обратимся к статье «Несколько слов по поводу Заметки», заключающей в себе оценку нового проекта законов о печати. Для этой статьи Салтыков использовал уже известные нам «Замечания на проект устава о книгопечатании» (см. гл. IX), так как сравнение этих его «Замечаний», приведенных в «Материалах» К. Арсеньева, со статьей в «Современнике» показывает, что Салтыков в обеих этих заметках не только проводит одни и те же мысли, но и пользуется одинаковыми выражениями. Особенный интерес представляет начало журнальной заметки, в котором мы находим отзыв о благотельном правительстве, аналогичный хвалебным словам о царе-освободителе в рассказе «Миша и Ваня». Однако не представляет никакого сомнения, что насколько хвалебные слова в очерке «Миша и Ваня» вовсе не были ироническими, настолько же в этой заметке похвала правительству проникнута тайной иронией. Зная из всего предыдущего подлинное мнение сатирика об эпохе «глуповского возрождения», мы легко вскрываем всю ядовитость похвал, щедрой рукой рассыпанных «Тверянином» в начале своей заметки. Автор указывает, что ряд преобразований, «блистательно начатый отменю крепостного права», не истощается, но продолжается непрерывно, что готовятся земская и судебная реформы, изменения в организации полиции и податной системы и т. д. «Нельзя не быть благодарным правительству за такую очевидную заботливость о благе отечества»,— иронически замечает автор, подчеркивая свою иронию тем доводом, что к участию в этих реформах «и к составлению многочисленных проектов, сюда относящихся» — «призываются особенно назначаемые просвещенные чиновники», беспристрастие которых обеспечено полным отсутствием их своекорыстных интересов в этих реформах... Вся ядовитость этой фразы ускользнула в свое время от цензуры, но совершенно ясна нам, хорошо знающим отношения сатирика и к составлению «многочисленных проектов», и к «просвещенным чиновникам», и к отсутствию у них «своекорыстного интереса».

Несмотря на все эти хвалебные слова, цензура все же не прошла мимо этой статьи безыменного автора. Цензор, тайный советник Пржецлавский, составивший для председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ уже цитировавшуюся нами докладную записку о направлении первых трех книжек «Современника» за 1863 год, обратил особенное внимание на эту заметку

и на критику в ней проекта устава о книгопечатании. Цензор указывал, что в заметке этой «осуждается передача цензуры в ведение министерства внутренних дел», и находил, что такое суждение и осуждение «противно III-му § Временных Ценсурных Правил». «Надобно прибавить,— заключал цензор,— что протест этот не имеет характера искренности; автор сознательно смешивает понятие обыкновенной, так сказать, уличной полиции с понятием о высшей полиции, о полиции слова... Ошибочными выводами своими автор увлекается до того, что в одном месте (стр. 9) говорит: «Положительно можно сказать, что направление (периодических изданий) есть плод предупредительной цензуры». Из этого следовало бы, что там, где такой цензуры нет (например, в Англии), газеты не имеют никакого направления (!)». Подчеркивание слов и восклицательный знак принадлежат самому цензору, за нелепость вывода которого Салтыков, однако, несколько не ответственен. Особенно опасным показалось цензору то место, в котором автор заметки говорит: «Что мы, русские, не имели до сих пор свободных учреждений и не пользовались парламентарными прениями,— тут, конечно, хорошего мало». Цензор указывал, что такого рода рассуждения воспрещены как временными цензурными правилами, так и в особенности «известным высочайшим повелением, объявленным собраниям дворянства»¹. Как видим, эта небольшая заметка Салтыкова привлекла к себе более чем достаточное внимание рачительного цензора. В его отзыве для нас интереснее всего то место, в котором цензор довольно проникательно усмотрел в прикровенных словах автора отсутствие «характера искренности»... Как видим, Салтыкову не удалось утаить и от цензуры иронический характер ряда своих рассуждений и выражений в этой заметке.

Более значительны если не по темам, то по размеру «Московские письма», начатые Салтыковым (под псевдонимом К. Гури н) в первых двух книжках журнала, но потом не имевшие продолжения. В первом из этих писем говорится о московском Малом театре и о премьере пьесы «Пасынок», содержание которой излагается подробнейшим образом, с выводом: «глупые пьесы следует играть

¹ Рукописи Публичной Библиотеки, архив В. А. Цез, № 59; докладная записка цензора Пржецлавского за № 18.

как можно сквернее». Второе московское письмо имеет своей темой полемику на злободневные темы с московскими публицистами «Русского Вестника», «Нашего Времени» и «Дня». Письмо заканчивается 18-ю небольшими отрывками, «слухами» — точно такого типа, как отрывки из «Характеров», напечатанных Салтыковым тремя годами ранее в «Искре» (см. гл. VIII). Как и там, почти все выпады направлены здесь против Каткова и Лонгинова, если не считать нескольких безобидных стрел против знаменитого тогда в Москве и в Малом театре М. С. Щепкина. В одном из этих «слухов» (десятом) мы находим курьезное заимствование, столь редкое у Салтыкова. Сообщается, что июньская книжка «Русского Вестника» выйдет в октябре, и что «от этого один из подписчиков, получив книжку в октябре, подумает, что на дворе еще июнь и пойдет купаться. Искушавшись, схватит горячку и умрет». Подробный рассказ о таком фантастическом событии находится в «Альбоме Ипохондрика» Н. Щербины, полностью напечатанного лишь недавно, но ходившего в многочисленных списках по рукам с конца пятидесятых годов; там в «Отрывках из анекдотической истории русской литературы» рассказывается о подписчике журнала «Москвитянин», с которым произошел совершенно такой же случай, с той лишь только разницей, что июльский номер этого журнала вышел в декабре (как это с ним бывало в действительности). Заимствование это, в котором трудно предположить совпадение, можно отметить лишь как курьез¹.

Непосредственно связанными по теме с «Московскими письмами, и именно с первым из них, являются статьи Салтыкова «Петербургские театры», появившиеся без всякой подписи в первой и предпоследней книжках «Современника» за 1863 год. В первой из этих статей рассказывается о новых постановках в петербургском Александринском театре и особенно о ничтожной пьесе некоего Ф. Устрялова «Слово и дело». На пьесе этой Салтыков остановился так подробно потому, что видел в ней бездарное и вредное продолжение темы о нигилизме, намеченной год тому назад Тургеневым в «Отцах и детях». Здесь представляет интерес лишь мнение Салтыкова об этом романе, в котором он видел только «повесть на тему о том, как некоторый хвастунишка и болтунишка,

¹ Н. Ф. Щ е р б и н а, «Альбом Ипохондрика» (Госиздат, 1929 г.), стр. 102.

да вдобавок еще из проходимцев, вздумал приударить за важною барыней, и что из этого произошло». Другого смысла в романе Тургенева Салтыков не видел,— и этим бросил перчатку Писареву, который в своих статьях в «Русском Слове» дал восторженный отзыв о типе Базарова, как о положительном типе молодого поколения. Годом позднее из-за этого загорелась непримиримая война между «Русским Словом» и «Современником», в которой, как увидим, принял участие и Салтыков.

Особенный интерес представляет для нас вторая половина первой статьи о «Петербургских театрах»; в ней Салтыков под видом письма «от одного из провинциальных знакомцев» описывает впечатление от оперы Россини «Вильгельм Телль», которая и в это время середины шестидесятых годов все еще шла под цензурным названием «Карла Смелого». Автор письма подробно рассказывает об этом спектакле «с точки зрения общественного благоустройства» и возмущается «нигилистами», бурно приветствовавшими все революционные места этой оперы. Почти десять страниц этого ядовитейшего письма написаны Салтыковым явно под впечатлением тех мест из юношеской его повести «Запутанное дело», в которых герой повести Мичулин присутствует на представлении «Вильгельма Телля» и выносит из него то же самое революционное впечатление, как и «нигилисты» этого письма шестидесятых годов. Именно в это время Салтыков готовил к печати том «Невинных рассказов», в который включил и «Запутанное дело», напомнившее ему время середины сороковых годов; недаром письмо его «провинциального знакомца» об этой опере Россини заканчивается словами: «я вспомнил 1844, 1845 и 1846 годы... вспомнил горячие споры об искусстве, вспомнил теплые слезы, которые мы проливали... Эта статья Салтыкова о «Петербургских театрах» является лучшим комментарием к известным нам страницам «Запутанного дела»; независимо от этого, письмо «провинциального знакомца» является одним из блестящих образцов салтыковской сатиры и когда-нибудь займет почетное место в полном собрании его сочинений.

Вторая статья «Петербургские театры», появившаяся без подписи в ноябрьской книжке «Современника» за 1863 год, говорит о постановке на сцене драмы Писемского «Горькая судьбина». В статье этой представляет интерес верный отзыв и об этой драме, и о самом Писемском, в котором Салтыков видит при крупном

художественном даровании «необыкновенную ограниченность взгляда, крайнюю неспособность мысли к обобщению и замечательную неразвитость». Писемский для Салтыкова — как бы российский Рубенс, рисующий, однако, не столько живые тела, сколько мертвые души: «он выкладывает перед читателем груды человеческих тел и говорит: вот тела, которые можно было бы назвать мертвыми, если б в них не проявлялось некоторых низшего сорта движений, свойственных, между прочим, и человеческим организмам». Из изучения такой манеры письма Салтыков приходит к выводам о задаче писателя и задачах реализма. Что касается первой, то «общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение?) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и иные неурядицы, чтоб освежить всякого рода духоты веянием идеала». А потому каков бы ни был художественный талант писателя, но если сердце его «не переболело всеми болями того общества, в котором он действует», то такой писатель вряд ли может претендовать в литературе «на значение выше посредственного и очень скоро преходящего». Таков взгляд Салтыкова на роль и задачу писателя, — взгляд крайне характерный и приложимый к его собственному творчеству, насквозь пронизанному «всеми болями того общества, в котором он действовал». Что же касается до реализма, то он, по мнению Салтыкова, вовсе не сводится к умению писать окружающую действительность. «Приступая к воспроизведению какого-либо факта, реализм не имеет права ни обойти молчанием его прошлое, ни отказаться от исследования (быть может, и гадательного, но тем не менее вполне естественного и необходимого) будущих судеб его», — говорит Салтыков, подчеркивая, что и это прошлое, и это будущее «совершенно настолько же реальны, как и настоящее». Таким образом «идеал» и «утопия» неизбежно привходят, по мысли Салтыкова, в подлинный реализм, а лишенный их Писемский «является реалистом весьма сомнительным». Все эти глубоко замечательные мысли на много опередили собою взгляды современников Салтыкова на искусство; лишь значительно позднее стали различать реализм от натурализма в том понимании последнего, в каком он явился в произведениях Зола и Гонкуров. Кстати упомянуть, что об этих писателях Салтыков впоследствии отзывался весьма отрицательно.

Раз уж зашла речь о французских писателях, то кстати будет упомянуть про анонимную статью Салтыкова «Драматурги-паразиты во Франции» (1863 г., № 1—2). В статье этой, впрочем, пишется «Франция», а читается «Россия», так как лишь таким путем Салтыков мог избежать цензурных рифов. Он описывает здесь гонения, которые испытывает человеческая мысль в борьбе за свободу, и те фазисы, через которые проходит эта борьба. Начать с того, что мысль встречается «с простым и несложным гнетом грубой силы», которая, будучи в руках государства, вооружена «целым арсеналом карательных мер». В этих тяжелых моментах истории Салтыков видит, по крайней мере, какую-то мрачную логику. «Мысль преследуется гуртом, без различия оттенков ее; принимается за исходный пункт, что мысль, какова бы она ни была, заключает в себе яд. Конечно, такой взгляд на мысль безотраден, но, по крайней мере, он имеет за себя достоинство определенности»; к тому же — «как ни силен, как ни всемогущ кажется гнет грубой силы, а и он не может быть вечным». Мысль в конце концов побеждает, но вместе с победой приходит и разделение мысли на группировки, а людей — на партии; среди этих партий есть и утрачивающие чистоту и безразличность и становящиеся доступными государственному подкупу. «Как ни горек столь быстрый переход от полного безмолвия к полному разврату, но он не необъясним», — говорит Салтыков; явно говоря о современности, он заявляет, что «растление дошло до крайних пределов» и что «какое-то нравственное и умственное каплуновство тяготеет над страной». Вспоминая недавнюю свою так и не увидевшую света статью «Каплуны», Салтыков говорит про «каплуновство, выражающееся то в томных и заискивающих, то в злобных и остервенелых дифирамбах полному, безапелляционному довольству существующими формами жизни... Чувство каплуновского удовлетворения проникло все классы общества, все возрасты. Даже молодежь, которая всего менее способна удовлетворяться, даже и та подписала свое удовольствие, не только без борьбы, но даже и без возражения»... Этому духовному растлению раньше или позже должен притти конец — и тогда «наступает третий период развития мысли», освобожденной от оков первого и второго периода.

Когда Салтыков писал эти слова, он считал, что русская мысль, начиная с 1862 года, находится во втором из этих фазисов развития.

Делая вид, что речь идет о французских «драматургах-паразитах» Сарду и Ожье, и о французском политическом деятеле и публицисте Грангильо, Салтыков, в сущности, говорит о русских «наемных публицистах», имея в виду одинаково и Каткова с его патриотическими «Московскими Ведомостями», и Краевского с его «либеральным», но в то же время правительственно субсидированным «Голосом». В виде примера такой «наемной публицистики» Салтыков приводит несуществующие в действительности статьи Грангильо об Австрии, «утомленной непрерывными попытками Венецианской территории к освобождению из-под чужеземной власти»; для читателя тех времен было совершенно ясно, что речь здесь идет не об Австрии и Венеции, а о России и Польше. Отмечу заодно, что и в разобранной выше первой статье Салтыкова «Петербургские театры», там, где описывалось представление «Вильгельма Телля» и борьба швейцарцев с австрийцами, приводящая в восторг всех «нигилистов» партера и райка — тоже явно говорилось о борьбе поляков с русскими и только что начинавшемся тогда польском восстании. Высказав таким образом вполне недвусмысленно свое сочувственное отношение к начавшейся борьбе за освобождение Польши, Салтыков мог иронически сообщить в тех же первых номерах «Современника» за 1863 год, что читатели напрасно будут ждать от него суждения по польскому вопросу, который-де не входит в программу его публицистических статей. Как видим, суждение это Салтыков высказал вполне определенно, и хотя под скрытой формой, но вполне понятно для всех читателей того времени.

Чтобы покончить со всеми сравнительно мелкими публицистическими статьями Салтыкова и перейти к его хронике «Наша общественная жизнь», остается упомянуть только о двух анонимных его статьях: первая, под видом «письма в редакцию», носит заглавие «Несколько полемических предположений» (1863 г., № 3), вторая, с подзаголовком «Летний фельетон», озаглавлена «В деревне» (1863 г., № 8). Впрочем, о второй из этих статей уместнее будет упомянуть в связи с февральской хроникой Салтыкова за 1864 год; что же касается первой, то в ней мы находим юмористическое и вполне «салтыковское» предложение придумывать при полемике с журналами и газетами «псевдонимные» названия их, чтобы не создавать этим органам лишней рекламы своей полемикой. Еще в письме к Дружинину от 13 февраля 1860 года (оно цитиро-

валось выше) Салтыков требовал для журналов «больше современности, больше полемики»; теперь, войдя в редакцию «Современника», он сильно оживил полемический тон этого журнала, вскоре доведенный его соредактором, М. А. Антоновичем, до излишества и грубости в статьях «Постороннего Сатирика», о которых придется еще говорить. В статье «Несколько полемических предположений» Салтыков в согласии со своими мыслями из письма к Дружинину заявляет, что «журнальная полемика — вещь не только хорошая, но и очень полезная» — только вести ее надо умеючи. «Есть, например, в Петербурге газетка, которая, между прочим, собирается между строками в других газетах и журналах читать и вместе с тем предупреждает, что она не остановится даже и перед доносом. Газетка эта самая плохая; имеет она всего девять подписчиков. Разумеется, ей хочется, чтобы хоть кто-нибудь об ней побеседовал». Как же быть, чтобы, «не прекращая действия полемики», в то же время не создавать рекламы для газетки? «По моему мнению, это довольно легко. Для достижения такого благоприятного результата следует только окрестить вредные и ненужные журналы какими-нибудь псевдонимами... Объясню это примером той же убогой газетки, о которой я уже говорил выше. Пусть она так и будет называться **Убогим Листком**». Здесь Салтыков говорит о действительно убогом «Русском Листке», издававшемся в Петербурге в 1862—1863 гг., а в 1863 году преобразованном в орган дворянской реакции «Весть», издававшийся до конца шестидесятых годов при ближайшем участии уже известных нам Скарятин, Юматова и Ржевского.

К подобным «псевдонимным» наименованиям Салтыков с этих пор стал прибегать все чаще и чаще. В первых же статьях 1863 г. газету «Голос» он окрестил именем «Куриное Эхо». Журнал братьев Достоевских «Время» он переименовал в «Сладкое Бремя», а их же журнал «Эпоху», начавший выходить в 1864 году после закрытия «Времени», назвал «Возобновленным Сатурном». Не все эти названия были одинаково удачны и не все сохранились в памяти позднейших читателей, но некоторые впоследствии получили бессмертие, как, например, газета «Чего изволите?», под которой в конце семидесятых годов и в восьмидесятых все читатели сразу узнавали суворинское «Новое Время». Конечно, не Салтыков является изобретателем этого известного приема, но он ввел его в систему своих полемиче-

ских статей до самого конца своей литературной деятельности и создал целый ряд чрезвычайно метких и удачных газетных и журнальных «псевдонимов».

Мы видим, как разнообразны были темы и как многочисленны были публицистические статьи Салтыкова в возобновленном «Современнике»; однако все перечисленное выше является лишь сравнительно случайным журнальным материалом, статьями, писавшимися как бы между дел. Главные публицистические статьи Салтыкова за эти годы были объединены общим заглавием хроники «Наша общественная жизнь», и с февраля 1863 по март 1864 года таких статей на страницах «Современника» появилось десять. Кратким знакомством с ними мы закончим речь о публицистической деятельности Салтыкова в «Современнике» этих годов, откладывая до следующей главы разбор наиболее интересного для истории литературы материала — знаменитой журнальной полемики Салтыкова с Достоевским.

V

В двойном первом номере «Современника» за 1863 год Салтыков начал «Нашу общественную жизнь» указанием, что в этой хронике занимать его будет не петербургская жизнь «с ее огорчениями и увеселениями, с ее мероприятиями и мероизъятиями» (какими были общественные хроники его предшественника, И. И. Панаева, скончавшегося годом ранее); не без иронии Салтыков сообщал, что интересоваться его будет «общий характер русской общественной жизни в ее постепенном и неторопливом стремлении к идеалу». Он указывал, что всякий обыватель сам является участником этого неторопливого стремления, «и только не всегда может объяснить себе, почему мы стремимся именно к идеалу, а не от идеала». Салтыков бесподобно объясняет это наивному обывателю. «Иногда ему кажется, что было бы гораздо легче бежать под гору, нежели взбираться, бог весть с какими усилиями, на крутизну, которая, в довершение всего, носит название «Дураковой Плещи». Мое дело растолковать ему, что и как. Мое дело сказать ему: любезный провинциал! если ты побежишь под гору, то уткнешься в «Дураково Болото», тогда как, если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в «Дуракову Плещь»! Пойми. Услы-

шав это, провинциал поймет и станет карабкаться; я же буду взирать на его усилия и проливать слезы умиления».

Это маленькое введение не только достаточно определяет характер и направление хроники, — как это иронически отмечает Салтыков, — но и еще раз с достаточной определенностью подчеркивает отношение сатирика к эпохе реформ и «глуповского возрождения». Кстати напомнить, что и «Дуракова Плешь» и «Дураково Болото» знакомы нам уже по аналогичным местам глуповского цикла; названиями этими воспользовался журнал Достоевского в своей полемике двух ближайших лет с «Современником» вообще и с Салтыковым в особенности¹.

Почти вся первая хроника посвящена теме «благонамеренности», являясь в этом отношении одним из первых очерков будущих «Благонамеренных речей». По объяснению сатирика благонамеренность есть «хороший образ мыслей», а последний в свою очередь характеризуется душевной невинностью. «Невинность же, с своей стороны, есть отчасти отсутствие всякого образа мысли, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла». Впрочем, эта невинность и благонамеренность не исключают и «некоторого остервенения», особенно усилившегося с 1862 года, переломного года эпохи шестидесятых годов. Особенное остервенение вызывает в благонамеренных людях молодежь, которую одни (Тургенев) клеймят именем «нигилистов», а другие (Катков) остервенело ругают «мальчишками». Говоря об этих кличках, Салтыков попутно рисует художественный образ доброго малого Сенички, который, изредка попадая в родную семью, невольно делался среди молодых членов этой провинциальной семьи распространителем зловредного «яда» вольнодумства. Это знаменитое место Салтыков впоследствии ввел особой главой «Сеничкин яд» в цикл «Признаков времени», о котором еще придется говорить. Здесь он приводит этот художественный отрывок лишь для выяснения всей невинности вольнодумного «яда» и для указания на полную бессмысленность презрительной клички «маль-

¹ См., например, «Время» 1863 г., № 3, статья Игдewa (И. Г. Долгомстьева) «Сказание о Дураковой Плещи», направленная против «Современника». Выражение «дуракова плешь» сыграло большую роль в бранчивой полемике «Постороннего Сатирика» (Антоновича) с «Эпохой»; о полемике этой — см. в следующей главе.

чишки». Он указывает, что в молодежи — все будущее, что только она «держит общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, что не для чего просить для «мальчишек» ни сожаления, ни снисхождения, что «мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие», что еще недавно «мальчишеством» называлось всяческое «карбонарство» и «вольтеррианство», которое теперь признано добром и проходит в жизнь. Вывод таков: «нельзя ли отсюда притти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими, более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром?»

Вот основная тема этой первой хроники; следует отметить еще, что начиналась она ядовитым вопросом — очистился ли «Современник» постом и покаянием восьмимесячного вынужденного безмолвия? «Что пост был — это достоверно, — иронизирует Салтыков: — в этом, в особенности, убедилась сама редакция «Современника». Не то, чтобы идея поста была совершенно противна «Современнику», но, конечно, было бы желательно, чтобы сроки воздержания были назначаемы несколько менее щедрою рукой. Это тем более желательно, что было бы вполне согласно и с подлежащими постановлениями, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев». Сатирик надеялся, что это случилось «нечаянно» и что с обнародованием новых законов о печати «будут изысканы иные, более приятные и не менее полезные мероприятия»... Эта ироническая выходка совершенно вывела из себя уже знакомого нам тайного советника Пржецлавского, который в своей докладной записке о первых книжках «Современника» за 1863 год и, в частности, о салтыковском обзоре «Наша общественная жизнь» писал с явным негодованием: «В нем упоминается о приостановлении «Современника», и мере этой, мимоходом, дается характеристика чистого произвола. С этого как бы вступления вся статья принимает как бы насмешливый тон и предметом этой насмешки и всякого рода острот избирается (кто бы мог подумать) — благонамеренный и хороший образ мыслей»¹. Все это цензор естественно находил совершенно неблагонамеренным и обращал на эти вредные мысли внимание начальства.

¹ Рукописи Публичной Библиотеки, архив В. А. Цезя, № 59; см. также «Исторический Вестник» 1911 г., № 9, стр. 980.

А Салтыков и во втором обзоре «Нашей общественной жизни» продолжал развивать подобные же «неблагонамеренные» мысли и вести такие же «неблагонамеренные речи». Этот второй обзор (1863 г., № 3) является одним из остроумнейших фельетонов Салтыкова, посвященных теме картонных речей, картонных чувств, картонной литературы и картонной жизни. Картонная литература эта вся построена на «благородстве чувств», которое грозит затопить всю русскую словесность, подобно тому, как с другой стороны затопляет ее «благонамеренность». Пародируя эту литературу шаблона и стертых пятаков, Салтыков пишет три прелестных пародии-повести «Маша — дырявое рубище», «Полуобразованность и жадность — родные сестры» и «Сын откупщика», целя и в великосветские повести «Русского Вестника», и в народные очерки Н. Успенского. Четвертый пример, приводимый Салтыковым — комедия «Бедная племянница», — является не пародией, а комедией в двух действиях, действительно представленной на сцене Александринского театра 3 января 1863 года. Излагая содержание ее, Салтыков показывает, что пародии его не могут перещеголять действительной жизни и что эта «Бедная племянница» сама является невольной пародией, произведением, сплошь пересыщенным благородством чувств. Но благородство это является лишь «картонным благородством», совершенно тождественным с «благонамеренностью» первой хроники, — это лишь «куриное благородство». Оно способно «проповедывать только истины в роде того, что куриный мир красив, что куриное солнце светло и что куриный навоз благоуханен. Доказательств подобного куриного благородства не занимать стать. В Петербурге существует даже целая газета, которая поставила себе за правило служить проводником куриного благородства. Назовем эту газету: хоть Куриное Эхо».

«Куриным Эхо», как мы уже знаем, Салтыков называл либеральный «Голос» Краевского, и в борьбе с этим органом он лишь продолжал прежнюю свою линию борьбы с либерализмом. Газета «Куриное Эхо» была для него типичным представителем голоса тех либералов, которые и после 1862 года находили возможным идти с правительством и восхищаться прогрессом этой эпохи либеральных реформ. «От первой строки до последней она все умиляется, все поет: «Красен куриный мир!», «тепло греет куриное солнышко!»; от первой строки до последней все докладывает, какие сделались рос-

сияне умные, как у них все это идет, всякие эти новые штучки». Сатирик не стал здесь подробно распространяться об этой либеральной газете; десятилетием позднее в цикле «Дневник провинциала в Петербурге» (1872 г.) он подробно развил эту тему, остановившись на характеристике либеральной газеты «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница». Впрочем, там он говорил уже не о «Голосе» Краевского, а о «С.-Петербургских Ведомостях» Корша, ни в чем не уступавших «Голосу» по своему либерализму и «благородству чувств».

И этот фельетон Салтыкова тайный советник Пржецлавский считал столь же неблагонамеренным, как и первый, и с негодованием писал: «Вся статья, кроме небольшой выходки против «Времени», есть одна язвительная нападка — на что именно? — на благородство чувств. Это pendant к филиппике 1-го тома на благонамеренность. Все, что уже сказано об этой последней, относится, и в высшей степени, к этой статье»¹.

Третий обзор «Нашей общественной жизни» (1863 г., № 4) посвящен ядовитой полемике с на шумевшей тогда статьей Фета «Из деревни», напечатанной в январском номере «Русского Вестника» за 1863 год. Вполне вероятно, что отраженным ответом, вплоть до заглавия, именно на эту статью была появившаяся через несколько месяцев в «Современнике» статья Салтыкова «В деревне», о которой еще будет сказано ниже. Фет, удалившийся писать лирические стихи в свое имение, оказался весьма прижимистым помещиком; в статье он жаловался на потраву своей пшеницы крестьянскими гусями и на злонамеренного работника Василия, за которым у Фета чуть-чуть не пропало 11 рублей. Эти гуси и эти рубли дорого обошлись Фету: их припоминали ему в печати даже и в семидесятых годах, лет через 10—15 после этой юмористически прошумевшей его статьи. Разбору жалоб помещика Фета на крестьян и посвящен этот очерк Салтыкова, приходящий и к общим выводам о продолжающемся неравноправии крестьян и помещиков в деревне.

К еще более общим выводам приходит Салтыков во второй части своей хроники, где он полемизирует с «Днем» И. С. Акса-

¹ Рукописи Публичной Библиотеки, архив В. А. Цее, № 59; см. также «Исторический Вестник» 1911 г., № 9, стр. 981.

кова и с его обвинениями, что образованные слои русского общества оторвались от почвы (любимое выражение Аксакова). «Все-то выходит у него какое-то величественное дерево, которое верхушкой упирается в небо, а корнями высасывает из земли соки. Дерево это прообразует общество, верхушка — вероятно, разную этакую устроительную выпренность (земский собор), сосущие корни — вероятно, прозорливость, а земля... земля-то что означает?» — спрашивает сатирик, явно намекая на «народ», из которого и высасывают соки. Парламентаризм типа либерального земского собора его не прельщал. «Признаюсь, я видал на своем веку довольно таких деревьев, но они меня очень мало соблазняли. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что они берут из земли соки за тем только, чтобы, напивавшись вдоволь, вести с небом разговор о разных душевспасительных материях... При этом разговоре, заявляет Салтыков, совершенно забывают однако «о земле-кормилице». Но пусть даже либеральные мечтания осуществляются, пусть у нас будет «дерево-общество, которое вершиной упирается в небо, а корнями в землю», — что тогда выйдет из этого? «Боюсь сказать, но думаю, — отвечает Салтыков, — что из этого выйдет новый манер питания соками земли — и ничего больше... А если поверить обвинителям русского дерева-общества, что оно «беспочвенно», что оно «корнями своими не упирается в землю, что корни эти находятся где-то на воздухе... гм... да ведь это, право, было бы еще не так дурно! ведь это просто означало бы, что общество живет и ничего лишнего не берет! Похвально». К таким общим выводам приходил Салтыков от частного вопроса о потраве крестьянскими гусями пшеницы Фета; в выводах этих мы видим дальнейшее развитие народнической точки зрения с ее отрицанием либерального парламентаризма и вообще политических реформ, точки зрения, нашедшей свое окончательное завершение уже десятилетием позднее в народничестве семидесятых годов. Лишь зарождение «Народной Воли» ознаменовало собою грань, после которой этот взгляд старого народничества был признан ошибочным самими же народниками.

Последней до летнего перерыва явилась четвертая хроника «Нашей общественной жизни» (1863 г., № 5), продолжающая развитие тем об эпохе реформ и о народе; этим темам посвящена главная часть всей статьи. Сатирик ставит вопрос — в чем за-

ключалось глуповское возрождение, которое он здесь называет просто «молодым возрождением»? Ответ дается такой. «Как оказалось впоследствии, это было движение мелочей и подробностей, но кто же знает? быть может именно этот мелочной характер обновления и составлял тайную причину нашей радости... На первых порах всякий самый маленький смертный спешил заявить, что и у него имеется на примете маленький вопросец, который, в числе прочих маленьких вопросцев, с своим разрешением весь этот вертоград утвердить и изукрасить может»... Но прошло лишь несколько лет — «и вдруг мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сделалась ровною и гладкою, как зеркало»... Что это значит? Значит ли это, что общество шесть лет тому назад жило, а теперь лишь прозябает? «Нет, — отвечает Салтыков, — это просто значит, что шесть лет тому назад, точно так же, как и теперь, наше общество относительно жизни пребывало совершенно в одинаковом положении, что оно не имеет даже права сказать, что жизнь остановилась, потому что ее в строгом смысле и не было». Мы уже знаем, что так именно относился Салтыков к эпохе либеральных реформ еще со времени своего «глуповского цикла». Но это не значит, чтобы, по его мнению, в русской жизни не было положительной силы. «Да, эта сила есть; но как наименовать ее таким образом, чтобы читатель не ошестился, не назвал меня вольтерьянцем или другим бранным именем и не заподозрил в утопизме? Успокойся, читатель! я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года. Надеюсь, что это не утопизм». В словах этих — не восхваление правительственной реформы, а признание единственной настоящей, не «картонной» силы — народа и его внутренней истории; «что эта внутренняя, бытовая история существует, в том опять-таки служит порукой недавняя крестьянская реформа». В народе и только в народе таятся ключи жизни и будущего развития общества. «Поэтому мы, которые думаем, что родник жизни иссяк, что творческая сила ее прекратилась, мы думаем и судим поверхностно. Мы принимаем за жизнь, то, что собственно заключает в себе лишь призрак жизни, и забываем, что есть жизнь иная, которая одна в силах искупить наше бессилие, которая одна может спасти нас». И сила эта — сила органической народной жизни,

До сих пор обращали слишком мало внимания на все эти замечательные и вполне определенные высказывания Салтыкова о народе; считалось, что он примкнул к народничеству «Отечественных Записок» семидесятых годов, как к сложившемуся уже течению, основы которого были заложены сперва Герценом и Чернышевским, а потом Лавровым и Михайловским. Если речь идет о теоретическом, социально-экономическом и философском фундаменте народничества, то такое мнение является неоспоримым; если же говорить о народничестве, как общем мировоззрении, то Салтыков, как мы это видим теперь, должен считаться одним из его основоположников, работавшим на этой почве как раз между Герценом и Чернышевским с одной стороны и Лавровым и Михайловским — с другой. Это выяснилось уже из «глуповского цикла»; изучение статей Салтыкова 1863—1864 гг. позволяет лишь еще более утвердить такое положение.

По сравнению с этой первой частью статьи, меньший интерес представляют две остальные ее части, в которых Салтыков занимается злободневной полемикой с хроникером «Отечественных Записок», либеральным Громекой, и разбирает «Подвиги русских гулящих людей за границей», полемизируя с Аксаковым, писавшим под псевдонимом Касьянова об этих «подвигах» в корреспонденции из Парижа. Однако и последняя часть статьи Салтыкова представляет значительный интерес, так как эта тема «гулящих людей» за границей впоследствии была развита им в циклах «Благонамеренные речи», «За рубежом» — и в особенности в блестяще задуманном, но не законченном произведении «Культурные люди». Здесь мы имеем лишь первый набросок этой темы, но настолько интересный, что Салтыков включил эту часть своей статьи под заглавием «Русские «гулящие люди» за границей» в цикл «Признаков времени» уже через семь лет после появления этой статьи на страницах «Современника». Кстати упомянуть, что для этой статьи он использовал часть, ненапечатанного материала из уже известного нам очерка «Глупов и глуповцы».

В летних номерах «Современника» за 1863 год Салтыков не напечатал ничего, кроме одной небольшой рецензии; лишь в августовской книжке кроме очерка «Как кому угодно» он поместил и «летний фельетон» под заглавием «В деревне», о котором нам еще придется упомянуть. В сентябрьском номере журнала он снова

вернулся к своей хронике и снова поставил перед читателями тему о людях, занимающихся разными мелкими вопросами. «Я сам не раз склонен был признать призрачную ту крохотную и произвольную хлопотню, которой предавалась наша литература за последние семь лет, но теперь, видя на деле, какие выползают на место ее из нор чудовища, я готов принести искреннее раскаяние»... Раскаяние — в былых иллюзиях, которые, впрочем, особенно сильными у Салтыкова никогда не были. Но если и раньше он готов был считать либеральные подвиги литературы лишь призрачной хлопотней, то теперь в особенности приходил он к этому настроению, — и это особенно ясно выразилось в дальнейшем содержании сентябрьской хроники, где речь идет о летних подвигах газеты «День», о ее борьбе за старую «Русь» против якобы онемеченной «Руслияндии» (Салтыков замечает, что в действительности нет ни той, ни другой, а есть просто Россия), о начетническом различении «жизни духа» от «духа жизни» и т. п. Обзор заключается злободневной полемикой с «Московскими Ведомостями», в которой особый интерес для нас представляет лишь снова попадающееся место о «каплунах».

Пропустив следующий месяц, Салтыков продолжал «Нашу общественную жизнь» в ноябрьском номере «Современника» за 1863 год, — в том самом номере, где была напечатана уже известная нам вторая его статья о «Петербургских театрах», о драме Писемского и о реализме в искусстве. Здесь он продолжает последнюю тему, обращаясь к шумевшей тогда картине Ге «Тайная вечеря»; впрочем от темы о реализме он переходит к некоторым моральным выводам, тесно связанным с злободневными событиями той эпохи вообще и жизни «Современника» в частности. Говоря о том, что «Тайная вечеря» является вечным символом геройства с одной стороны и предательства — с другой, Салтыков несомненно имеет в виду — и это хорошо понимали его читатели — историю сидевшего тогда в Петропавловской крепости Чернышевского и погубившего его предателя Всеволода Костомарова. — В дальнейшей части этого очерка Салтыков ставит вопрос о молодом поколении и о готовящейся смене; полемизируя с «Днем», он рисует тип «шалунов», в которых набрасывает первые черты будущих своих «ташкентцев». десятилетием позднее ставших основной темой целого салтыковского цикла. Впрочем, через несколько месяцев Салтыков уже

дал четкий рисунок этого типа в одной из последних своих хроник начала 1864 года.

В декабрьской книжке «Современника» «Наша общественная жизнь» обратилась к теме об оскудении русской художественной литературы. Нам странно слышать теперь подобные жалобы, раздававшиеся из уст не одного Салтыкова в эпоху расцвета русской литературы; но подобная история повторялась неоднократно именно в эпохи наибольшего литературного под'ема: современникам всегда трудно оценить значение окружающих их явлений. В жалобах Салтыкова на оскудение литературы есть, впрочем, одна очень существенная мысль, характерная и для дальнейшего понимания Салтыковым путей русской художественной литературы: он восстает против психологического «любовного романа» (направляя эту стрелу одинаково и против Тургенева, и против беллетристов «Русского Вестника») и считает, что времена такого романа прошли. На очереди должно стоять создание социального романа — и Салтыков уже в семидесятых годах считал себя собирателем материалов для такого романа, создать который должно было, по его мнению, лишь будущее. Продолжая развивать эту тему, Салтыков переходит к вопросу об «идеале» вообще и о разрушении его действительностью, выявляя попутно первый набросок народнической теории о том, что мыслящее меньшинство образованного общества должно отстаивать не мнения, а интересы народа — в тех случаях, «когда массы самым странным и грубым образом ошибаются на счет своих собственных интересов». Характерной иллюстрацией последнего является для Салтыкова описанное тогда в газетах (особенно в «Дне» Аксакова) чествование дворянами и крестьянами одного из уездов Тверской губернии мирового посредника Головина. Подробному описанию этого чествования с ядовитыми комментариями Салтыкова отведена значительная часть этого его фельетона.

Заключением его является рассказ о полемике между Аксаковым и Чичериным на тему — «что лучше — гласность или молчание»... Poleмика эта и самая ее тема вызывали изумление сатирика: «До чего, наконец, мы договорились?.. — Славно». При возможности таких тем в русском обществе Салтыкова не приводил в восторг слух «об упразднении цензуры», ибо дело, конечно, не в цензуре, а в общественном настроении. К тому же сатирик

приводил и еще один иронический довод, не позволявший ему приходиться в восторг от подобного слуха. «Слух этот скорее смущает, нежели радует меня. Во-первых, я привык к цензуре и под влиянием ее приобрел известную манеру писать; следовательно, на первый раз употребление настоящих, а не подставных слов для выражения моих мыслей будет для меня делом чрезвычайно трудным»... Однако, когда органы Каткова приняли эти слова сатирика за чистую монету, то Салтыков в январской хронике ответил им вполне определенно: «Конечно, мне и обиняками очень удобно говорить о науке, утверждающей, что земля стоит на трех рыбах, но уверяю, что я отнюдь не сконфужусь, если и прямо придется высказать, что это та самая наука, которой представителями служат г. В. Ржевский с его прямыми последователями, гг. Катковым и Леонтьевым, и даже назвать эту науку ее надлежащим именем. Поверьте, что я при первом удобном случае исполню это с полною ясностью и вразумительностью, и что вы останетесь мною довольны».

Мы уже перешли таким образом к первой хронике Салтыкова за 1864 год, напечатанной в январском номере «Современника». Темой этого новогоднего фельетона явились размышления о минувшем годе и об основном его признаке, который Салтыков обозначает именем «понижения тона». Юмористически описывает он, как старался выяснить смысл этих двух слов в беседах со своим другом Антропом, потом с «опытным литератором» Михаилом Лонгиновичем (под которым легко было узнать Михаила Лонгинова) и, наконец, с первым попавшимся чиновником, который и разъясняет недоумение сатирика. Каковы бы ни были определения «понижения тона», но смысл их для Салтыкова сводился к тому факту, что 1863 год окончательно определил собою поворот не только правительства, но и общества в сторону реакции, поворот, определившийся уже после петербургских пожаров 1862 г.

Из целого ряда частных, заслуживающих внимания в этом очерке, надо особенно подчеркнуть эпизодически выводимый тип «бывшего ополченца», пропившегося и разорившегося, едущего доживать свои дни в деревню к родным. Через много лет развитие этой темы дано было Салтыковым в типе Степана Головлева; мы уже не первый раз видим, как тесно связаны между собою по темам произведения Салтыкова, часто разделенные десятками лет.

В февральской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 год Салтыков дал картину подмосковной деревни и жизни в ней крестьян и помещиков; при этом сам он сослался на свой очерк «В деревне», напечатанный в «Современнике» летом 1863 г. (№ 8) и теснейшим образом связанный с настоящим февральским фельетоном. В очерке «В деревне» Салтыков, по его же словам, «старался обратить внимание своих читателей на некоторые подробности мужицкого быта. Картина выходила далеко неудовлетворительная, но то было лето, когда сама природа все-таки представляет условия, облегчающие трудовое существование, зимой же, при отсутствии даже этих скудных даровых условий, жизнь делается еще более трудною и рискованною». Крестьянин и крестьянский труд летом и зимой — главная тема этих двух тесно связанных между собой очерков Салтыкова.

Очерк «В деревне», несомненно описывающий хозяйство Салтыкова в Витеневе летом 1863 года, послужил наброском будущей первой главы «Убежища Монрепо»; отдельные частности очерка дали начало и другим, менее известным, произведениям Салтыкова. Так, например, очерк «В деревне» рисует нам в саркастических тонах конституцию либерального землевладельца; подробно она была развита сатириком через семь лет в недавно открытой статье его «Похвала легкомыслию», напечатанной в «Искре» 1870 года. Но все это частности; основной же темой и очерка «В деревне», и февральского фельетона «Нашей общественной жизни» за 1864 год является крестьянская жизнь и крестьянский летний и зимний труд. С точнейшими вычислениями, вскрывающими и каторжность этого труда, и нищенскую оплату его, подходит Салтыков к этой крестьянской жизни, приходя к выводу, что вынести такую жизнь могут помочь или великое мужество, или же полное и трудно постигаемое равнодушие. «Я с своей стороны думаю, что в настоящем случае исключительно присутствует то великое и нижем еще достаточно не оцененное мужество, которое одно может дать человеку и силу, и присутствие духа, необходимые, чтобы удержать его на краю вечно зияющей бездны». Но именно это великое мужество делает то, что тяжелая жизнь русского крестьянина «не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний», примеры которых из современной литературы Салтыков приводит на тех

же страницах. В этих явно народнических очерках Салтыкова можно найти превосхищение тем и мыслей, впоследствии красочно развитых Глебом Успенским и особенно ярко выразившихся в его замечательных очерках «Крестьянин и крестьянский труд».

Часть, посвященная не крестьянам, а помещикам в этих двух деревенских очерках Салтыкова 1863—1864 гг., не менее замечательна: в ней впервые и в упор поставлен и разрешен вопрос о неминуемом разложении и гибели помещичьего землевладения в пореформенной России. Салтыков горьким опытом, хозяйствуя в Витенёве, убедился, насколько были неправы разные «утописты вольнонаемного труда, утописты плодопеременных хозяйств»; он увидел, что доходов у помещиков нет, капиталы свои (выкупные свидетельства) они проедают, и что помещичьи имения представляют собою лишь громадные пространства никому ненужной земли, громадные усадьбы с парками, с проточными прудами и со щегольскими дорожками. «Как заглохнут со временем эти старинные усадьбы, в которых так легко и привольно жилось когда-то! Как зазеленеют и заплесневеют эти проточные великолепные пруды, как зарастут эти дорожки! Чем это кончится?» И на вопрос этот Салтыков тут же давал ясный ответ: «Отставные откупщики, отставные менялы, отставные предприниматели различных *maisons de tolerance* весело потирают себе руки и ждут не дождутся, когда ветхая плотина, кой-как еще поддерживаемая остатками хвороста, окончательно прорвется, и река неудержимым потоком ринется вперед, унося в своем беспорядочном течении всю зазевавшуюся старину. Но успокойтесь, милые кровопийцы! вы тоже немного наколобродите на свой пай!». Здесь предсказано и ближайшее пришествие буржуазии в семидесятых годах, и даже будущая революция. Этому пришествию буржуазии Салтыков посвятил в семидесятых годах немало замечательных страниц в «Благонамеренных речах» и в «Убежище Монрепо»; выражение «чумазый пришел» стало тогда для Салтыкова определяющим в его понимании дальнейших судеб дворянского землевладения. Как видим, это понимание было высказано им в совершенно ясных словах уже в 1864 году, лишь через три года после осуществления крестьянской реформы.

Наконец, в мартовском номере «Современника» за 1864 год появилась и последняя статья из этого цикла «Нашей обще-

ственной жизни», статья опять-таки тесно связанная с будущими произведениями Салтыкова. В ней речь идет о «мальчиках» — благонаправленных «мальчишках», которых сатирик ядовито противопоставляет ненавистным для реакционеров «мальчишкам». Он дает «примерную биографию» одного из таких благонамеренных юных героев, Васи Чубикова, рисуя его учение в привилегированном учебном заведении, полное отсутствие мыслей в его голове и блестящую его чиновническую карьеру. 1862 год является переломным в судьбе Васи, который бросает выгодное до сих пор либеральничанье и твердо переходит к теории «ежовых рукавиц», сулящей ему великие и богатые милости на его дальнейшем чиновничьем пути. Этот Вася не единичная личность, а целый тип; сатирик говорит о целой народившейся «касте мальчиков», главной и руководящей идеей которой является именно то, что никаких идей иметь и не следует, а следует иметь лишь дисциплину. «К этим чертам я могу еще возвратиться впоследствии, — говорит сатирик, — потому что подвиги моего Васи не только не прекратились, но, напротив того, обещают литься как река». К этому обещанию сатирик вернулся через несколько лет, когда нарисовал целый ряд подобных «мальчиков», назвав их «ташкентцами пригготовительного класса». Художественная характеристика Васи Чубикова несомненно послужила вступлением к «Господам ташкентцам» и могла бы войти в них отдельным художественным очерком.

Один из эпизодов характеристики этого будущего «ташкентца» заслуживает особенного внимания. Вася Чубиков глубокомысленно рассказывает автору, что занят в настоящее время составлением проекта:

«Вот изволишь видеть, mon cher: теперь у нас везде какая-то разладица. Принципов нет, bureaucratie с земством ни то ни се... я предпринял всё это привести в известность!

— Однако это, брат, штука!

— Ничего! с божиею помощью, как-нибудь уладим! Главное, mon cher, надобно доказать, что bureaucratie и земство — одно и то же... ты меня понимаешь?

— Да это само собой разумеется, это нечего и доказывать!»

Когда Салтыков писал в начале 1864 года этот юмористический диалог, он очевидно вспоминал свои статьи 1861 года в «Современной Летописи» и в «Московских Ведомостях», свою по-

лемику с В. Ржевским на те же самые темы. Но интересно, что мысль Васи Чубикова, хотя и не в такой наивно-оголенной форме, высказывал тогда он, сам Салтыков, заявляя, что бюрократия и земство — две стороны одной и той же медали. Мы еще увидим, как Салтыков четырьмя годами позднее вернулся к новой постановке этого вопроса и какое он дал тогда его решение.

Вторая половина статьи этой мартовской хроники посвящена Салтыковым полемике с «вислоухими и юродствующими», как он называл деятелей «Русского Слова», и особенно Писарева и Зайцева, выводя их под фамилиями Бенескриптова и Кроличкова. Расхождение между «Современником» и «Русским Словом» уже было отмечено выше, так же как и причины его, заключающиеся в социальных и демократических настроениях «Современника» и в индивидуалистических и радикальных тенденциях «Русского Слова». Эти общие причины осложнялись целым рядом частных разногласий между обоими журналами, особенно начиная с 1862 года, когда «Русское Слово» в лице Писарева восторженно встретило появление в русской литературе Базарова, как яркого и верного представителя «нигилизма», а «Современник» в лице главного своего критика, М. А. Антоновича, признал роман Тургенева и тип Базарова пасквилем на молодое поколение. Спор разгорался, приняв особенно острые формы после того, как «Русское Слово» заявило себя последователем и выразителем мировоззрения, выраженного на страницах «Современника» в 1863 году в романе Чернышевского «Что делать?», и стало доказывать, что редакция «Современника» после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского состоит из эпигонов, которые не в силах ни понять, ни достойно поддерживать учение своих великих учителей. Особенно острые формы спор этот принял в 1865 году, уже после ухода Салтыкова из редакции «Современника», когда «Посторонний Сатирик» (псевдоним Антоновича) обрушился на «Русское Слово» с целым рядом грубых обвинений, а Писарев столь же запальчиво отвечал статьями «Посмотрим!» и «Прогулка по садам российской словесности».

В начале 1864 года полемика эта еще только начиналась; однако «Русское Слово» уже успело несколько раз задеть Салтыкова, который мимоходом отвечал этому журналу еще в январском номере «Современника». Он восставал там против тех выводов «нигилизма», которые доводят до абсурда верные основные

положения главных идей «эмансипации», издевался над «зайцевской хлыстовщиной» (над статьями сотрудника «Русского Слова» Зайцева), которая представляет идеал будущей женской эмансипации в таком виде, что-де «милые нигилистки будут бесстрашною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила»; к этому месту Салтыков язвительно прибавлял, что со временем, «как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет». «Русское Слово» усмотрело в этом издевательство над романом Чернышевского «Что делать?», в котором обрисовано идеальное общество будущего и фаланстеры, где всякая работа сопровождается пляской и пением¹.

Салтыкову пришлось отвечать на это обвинение, что он и сделал, полемизируя с «вислоухими и юродствующими» в своей последней мартовской хронике. Очень резкая полемика эта представляет для нас особенный интерес в том ее месте, где Салтыков говорит о романе Чернышевского и о своем отношении к этому роману. Салтыков указывал, что роман «Что делать?» — «роман серьезный, проводящий мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывающий на эти основы». Автор романа так страстно относился к этой мысли, что, представляя ее себе живую и воплощенную, он «не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных». Мы еще увидим, как несколькими месяцами позднее Салтыков повторил эту же самую мысль в своей статье (не увидевшей, впрочем, света) «Гг. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха»; пока же надо подчеркнуть, что мысль эта теснейшим образом связана со всем уже известным нам отношением Салтыкова к утопическому социализму сороковых годов, к признанию в нем верными основных положений о «теории страстей» и «всеобщей гармонии» и в то же время отрицательному отношению ко всем заранее регламентированным частностям новой жизни и нового быта. Этот взгляд на «утопию» Салтыков не устал высказывать до самого конца своей литературной деятельности.

¹ О полемических статьях «Русского Слова» — подробнее см. в следующей главе.

Мартовской хроникой 1864 года закончился этот отдел Салтыкова в «Современнике», как и вообще подходило к концу деятельное сотрудничество его в этом журнале. В летние месяцы 1864 года он не писал почти ничего, да и в остальных книжках дал только сравнительно немного рецензий. Особняком стоит замечательная статья его «Литературные мелочи» (1864 г., № 5), с которой мы скоро познакомимся, говоря о полемике Салтыкова с Достоевским и его журналами; за исключением этой сравнительно большой статьи Салтыков не дал больше ничего крупного «Современнику» 1864 года. Отдел «Нашей общественной жизни» он прекратил писать с третьей книжки журнала за этот год и никогда не собрал в отдельный сборник всю эту глубоко замечательную хронику, ограничившись лишь перепечаткой двух отрывков из нее в свой позднейший цикл «Признаки времени». Так и остались десять очерков этой хроники погребенными на страницах «Современника» 1863—1864 гг. и неизвестными читателям собрания сочинений Салтыкова. Об этом приходится только пожалеть, так как в этой острой хронике Салтыков окончательно нашел уже нащупанный в «глуховском цикле» свой собственный стиль и свою форму письма. Все очерки этой хроники были анонимны, но это не мешало читателям сразу узнавать руку Салтыкова, как не мешало и журналистам (например, Достоевскому) вести полемику не с безымянным автором хроники, а через его голову с всем известным «Н. Щедриным».

VI

Анонимными были и все многочисленные рецензии Салтыкова, напечатанные на страницах «Современника» 1863—1864 гг., но если бы даже рецензии эти и не были в значительной своей части перечислены впоследствии соредактором Салтыкова по журналу, А. Н. Пыпиным, то всё же большинство их удалось бы установить по одним стилистическим признакам: так писать, как Салтыков, не умел никто. Почти все рецензии эти глубоко характерны, вскрывая взгляды Салтыкова на наиболее значительные литературные явления того времени и общие его литературные воззрения той эпохи; мимо рецензий этих пройти нельзя. Вот перечень их за все два года редакторской работы Салтыкова в «Современнике»:

1. Немного лет назад. Роман в четырех частях. Соч. И. Лажечникова. Москва. 1863 г., № 1—2.
2. Кремуций Корд. Соч. Н. Костомарова. Спб. 1862 г. 1863 г., № 1—2.
3. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Воспитанница Сара. А. Вельтмана Москва. 1863 г., № 1—2.
4. Стихи Вс. Крестовского. 2 тома. Спб. 1862 г. 1863 г., № 1—2.
5. Гражданские мотивы. Сборник современных стихотворений, изданный под редакцию А. П. Пятковского. Спб. 1863 г. Песни скорбного поэта. Спб. 1863 г. 1863 г., № 1—2.
6. О старом и новом порядке и об устроенном труде (*travail organisé*) в применении к нашим поместным отношениям. Членом Вольного Экономического Общества Н. А. Безобразовым. Спб. 1863 г. 1863 г., № 1—2.
7. Анафема, или торжество православия. Составил А. А. Быстротоков. Спб. 1863 г. 1863 г., № 3.
8. Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге. Соч. М. Беницкого. Спб. 1862 г. Заметки и отзывы. «Русский Вестник». 1863 г. № 1. 1863 г., № 4.
9. Князь Серебряный. Повесть. Соч. гр. А. К. Толстого. Спб. 1863 г. 1863 г., № 4.
10. Стихотворения К. Павловой. Москва. 1863 г. 1863 г., № 6.
11. Повести Кохановской. Москва 1863 г. 2 тома. 1863 г., № 9.
12. Стихотворения А. А. Фета. 2 части. Москва. 1863 г. 1863 г., № 9.
13. Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал, и что она происходила. Князя В. В. Львова (Посмертное издание). Спб. 1863 г. 1863 г., № 10.

14. Современные движения в расколе. Соч. И. С — на. Москва. 1863 г.
1863 г., № 11.
15. Воля. Два романа из быта беглых. А. Скавронского. Спб. 1864 г.
1863 г., № 12.
16. Полное собрание сочинений Г. Гейне. В русском переводе под ред. Ф. Н. Берга. Спб. 1863 г.
1863 г., № 12.
17. Новые стихотворения А. Плещеева (Дополнение к изд. в 1861 году). Москва. 1863 г.
1864 г., № 1.
18. Наши безобразники. Сцены Н. А. Потехина. Спб. 1864 г.
1864 г., № 1.
19. Сказки Марко Вовчка. Спб. 1864 г.
1864 г., № 1.
20. Новые стихотворения А. Н. Майкова. (Приложение к «Русскому Вестнику» 1864 года).
1864 г., № 2.
21. Воздушное путешествие через Африку. Юлий Верн. Перевод с французского. Издание Алексея Головачева. Москва. 1864 г.
1864 г., № 2.
22. Записки и письма М. С. Щепкина. Москва. 1864 г.
1864 г., № 4.
23. Моя судьба. М. Камской. Москва. 1863 г.
1864 г., № 4.
24. Рассказы из записок старинного писемоводителя. Александра Высоты. Спб. 1864 г.
1864 г., № 4.
25. Сборник из истории старообрядства. Издание Н. И. Попова. Москва. 1864 г.
1864 г., № 4.
26. Чужая вина. Комедия в 5 действиях Ф. Н. Устрялова. Спб. 1864 г.
1864 г., № 5.
27. Ролла. Поэма Альфреда Мюссе. Перевод Н. П. Грекова. Москва. 1864 г.
1864 г., № 8.
28. В своем краю. Роман в двух частях. К. Н. Леонтьева. Спб. 1864 г.
1864 г., № 10.

Не все из этих рецензий представляют одинаковое значение и одинаковый интерес, но даже самые ничтожные из них так или иначе характерны для литературных взглядов Салтыкова того времени. Мы только мельком коснемся рецензий второстепенного значения, чтобы несколько подробнее остановиться на тех, которые до сих пор сохранили свой интерес. Во всяком случае уже в первом двойном номере «Современника» за 1863 год Салтыков в своих рецензиях (а все рецензии этого номера принадлежали ему) коснулся всех возможных критических тем, дав рецензии и на беллетристику, и на поэзию, и на публицистику. Ироническая рецензия о романе устарелого Лажечникова стоит рядом с отзывом об историко-беллетристическом произведении Н. Костомарова; в последней рецензии проводится явная аналогия между эпохой тирании римских императоров I века и эпохой реакции шестидесятых годов. Тут же рядом иронический отзыв о новом романе Вельмана, насквозь пронизанном «старческой болтливостью», и рецензия на два тома стихов В. Крестовского, в которых Салтыков справедливо видит «пленной мысли раздраженье» и рабское подражание ранее бывшим образцам. Наконец — последняя рецензия, помещенная в этом первом номере и посвященная брошюре известного крепостника Н. А. Безобразова, блестяще вскрывает, что мечты Безобразова «об устроенном труде» являются не чем иным, как мечтами о новых формах того же крепостного права.

Столь же разнообразны рецензии Салтыкова и во всех следующих книжках «Современника» за два года. Мы находим тут и очень ядовитую рецензию на брошюру «Анафема, или торжество православия», — весь яд которой, впрочем, заключается в простом изложении двенадцати пунктов, где перечисляются те, кои подлежали ежегодному анафематствованию в церквах в первое воскресенье великого поста (1863 г., № 3). В следующем же номере журнала (1863 г., № 4) находим острую заметку о ничтожной самой по себе брошюре Беницкого, но рецензию эту Салтыков заостряет против «Русского Вестника». Разбирая реакционную брошюру параллельно со статьями либерального «Русского Вестника», Салтыков убедительно показывает, что между ними нет никаких разногласий, что оба друг друга стоят и что, следовательно, эпоха «либерализма» катковского журнала закончилась вместе с петербургскими пожарами и с началом польского восстания.

В следующих книжках идет ряд рецензий на темы художественной литературы; ряд этот начинается еще в № 4 остроумнейшей рецензией на только что появившуюся повесть гр. А. К. Толстого «Князь Серебряный», встреченную всеобщими читательскими восторгами. Салтыков верно почувствовал олеографический лубок в этой прославленной повести. Его рецензию якобы пишет «отставной учитель, некогда преподававший российскую словесность в одном из кадетских корпусов»; этот старозаветный критик восторгается «Князем Серебряным» и сравнивает его с «Юрием Милославским» Загоскина. Вся рецензия тонко выдержана по стилю; страница о лютых, градоначальниках, насылаемых для «очищения от грехов» городов и целых стран, впоследствии отразилась во вступительном очерке к «Истории одного города»: стиль рассказа архиваруса-летописца взят именно из этой рецензии 1863 года.

Рецензия на стихи Каролины Павловой отражает то пренебрежительное отношение к этой талантливой поэтессе, которое Салтыков разделял со всей критикой шестидесятых годов, когда лирика К. Павловой была так не ко двору. Для Салтыкова К. Павлова — «чуть ли не единственная в настоящее время представительница так называемой мотыльковой поэзии»; в ее стихах Салтыков видит лишь «мотыльково-чижиковую поэзию» и «лепет галантерейной души». Все это очень характерно и для шестидесятых годов вообще, и для взглядов Салтыкова на поэзию в частности. «Целые литературные поколения, — говорит Салтыков, — бесплодно погибали и продолжают погибать в непрерывном самообольщении насчет того, что действительное блаженство заключается в бестелесности и что истинный *сomme il faut* состоит в том, чтобы питаться эфиром, запивать эту пищу росой и испускать из себя амбре. Где источник этого сплошного лганья? С какой целью допускается такое тунеедное празднословие?.. Это явление странное, но оно не необъяснимо. Это продукт целого строя понятий, того самого строя, который в философии порождает Юркевичей, в драматическом искусстве дает балет, в политической сфере отзывается славнофилами, в воспитании — институтками... Тут нет ни одного живого места, тут все фраза, все призрак... Это характернейшее место как нельзя более показательное для взглядов Салтыкова шестидесятых и не только шестидесятых годов: их сохранил он до самого конца своей литературной деятельности.

Не надо думать однако, что партийные симпатии мешали Салтыкову признавать талант в мало симпатичных ему по направлению писателях. Это показывают следующие же рецензии, напечатанные в «Современнике» после летнего перерыва работы Салтыкова — о повестях Кохановской и стихотворениях Фета. Славянофильские идеалы Кохановской не могли быть симпатичны Салтыкову, что не мешало ему признавать в ее повестях наличие крупного таланта. Указывая, что «идеалы г-жи Кохановской не широки: это просто смирение, возведенное на степень деятельной силы, и прощение, как единственный путь к примирению жизненных противоречий», — Салтыков тут же давал почти восторженный отзыв о ряде лирических мест в повестях Кохановской. Точно также и в отзыве о стихах Фета, с которым он так недавно полемизировал на публицистической почве, Салтыков находит беспристрастие сказать, что «в семье второстепенных русских поэтов г. Фету, бесспорно, принадлежит одно из первых мест», и что многие стихи его «дышат самой искреннею свежестью»; причины, мешающие Фету при таких данных выдвинуться из второстепенного, хотя бы и первого, места Салтыков объясняет однообразием и ограниченностью воспроизводимого Фетом мира.

В последних номерах «Современника» за 1863 год мы находим немного салтыковских рецензий, из которых лишь одна является действительно рецензией, а не маленькой заметкой в несколько строк. Таковы отзывы о книжке кн. Львова «Сказание», являющейся популярной историей России для мужичков — для тех «пейзаж», какими этот князь представлял себе народ, — и о собрании сочинений Гейне в русском переводе, где Салтыков попутно высказывает свой взгляд на Гейне, «единой крупницы которого достаточно, чтобы напитать целую стаю русских чирикающих воробьев». Несколько большей по размеру и по своему значению для характеристики взглядов Салтыкова является рецензия его на книгу «Современные движения в расколе», особенно после того, когда нам теперь известно многообразное и сложное отношение Салтыкова к расколу в течение сороковых и пятидесятых годов. Рецензируя эту книгу, Салтыков высказывает отрицательный взгляд на мнение «большинства публики о расколе, как о чем-то мертвом, вращающемся исключительно в сфере сугубой аллилуйи и перстосложения»; он справедливо указывает, что раскол «далеко не

исчерпывается одними обрядовыми, формальными разногласиями. Салтыков подчеркивает «живучесть» раскола, «замечательную силу прозелитизма и «чрезвычайную солидарность» раскольников между собой; одного этого, по мнению Салтыкова, достаточно, «чтобы опровергнуть слишком поверхностные и опрометчивые суждения об этом замечательном явлении». С удовлетворением указывает он на значительные облегчения, полученные раскольниками, которые могут теперь «устраиваться у себя дома с некоторою уверенностью, не опасаясь беспрестанного и не всегда полезного вмешательства местных административных властей во внутренний распорядок домашних дел»...

Большим и очень ядовитым разбором двух романов Г. Данилевского (писавшего под псевдонимом Скавронского) заканчивается ряд рецензий Салтыкова в «Современнике» 1863 года; следующий год начался рецензиями на стихотворения А. Н. Плещеева и на повести знаменитого тогда Марко Вовчка (Марии Маркович). Старая и близкая дружба с Плещеевым не помешала Салтыкову объективно отнестись к «скромной музе» его приятеля и повторить о поэзии этого «гуманитарного лирика» то самое, что почти двадцатилетием раньше высказал о ней общий их приятель Валерьян Майков. Отзыв о сказках Марко Вовчка тоже делает честь литературному вкусу Салтыкова, так как он, после хвалебной статьи Добролюбова, создавшей славу Марко Вовчку в 1860 году, сумел поставить эту второстепенную писательницу на надлежащее место. Большая и не слишком беспристрастная рецензия Салтыкова в следующем же номере «Современника» (1864 г., № 2) на новые стихотворения Майкова, заканчивается однако очень верной и меткой критикой на знаменитое стихотворение Майкова «Картинка» («Посмотри: в избе, мерцаая, светит огонек»): в этом стихотворении, входившем когда-то во все хрестоматии, Салтыков справедливо видит лишь «балетный обман» и негодует, что «г. Майков сумел соорудить водевильно-грациозную картинку даже из такого дела, которое всего менее терпит водевильную грациозность».

Рецензия на стихотворения Майкова была последним большим отзывом Салтыкова в «Современнике» 1864 года; все остальное напечатанное им здесь до конца года — либо мелкие заметки, вызванные случайными обстоятельствами (как, например, издание романа Жюль Верна тверским соратником Салтыкова, Головачевым),

либо отзывы на мало значительные беллетристические произведения. Исключение составляет лишь рецензия на роман знаменитого впоследствии К. Леонтьева «В своем краю» — рецензия очень отрицательная и справедливо считающая роман Леонтьева совершенно подражательным: роман этот Салтыков называет «повествовательной хрестоматией». Значительный интерес представляет также и отзыв Салтыкова о поэме Альфреда Мюссе «Ролла», — отзыв, в котором мы снова найдем характерные мнения о поэзии вообще и о маленьких «поэтцах», служителях «чистого искусства».

Заполнив своими рецензиями первую двойную книжку «Современника» за 1863 год, Салтыков чем дальше, тем меньше занимался этим родом критической деятельности, сошедшей для него почти на-нет к концу 1864 года (впрочем, к этому времени почти сошло на-нет и вообще сотрудничество Салтыкова в журнале). Из трех десятков рецензий его, появившихся на страницах «Современника», большинство потеряло всякое значение, но некоторые сохраняют большой интерес для характеристики его литературных взглядов той эпохи. Мы еще увидим, что Салтыков вернулся к рецензиям в первые годы своей работы в «Отечественных Записках», и что в течение первых четырех лет своей работы в этом журнале он снова дал целый ряд литературных рецензий, значительная часть которых до сих пор остается совершенно неизвестной. Мы еще обратимся к ним в свое время. Теперь же нам остается познакомиться с сатирическими и полемическими произведениями Салтыкова этих двух лет его журнальной работы, чтобы завершить изучение его журнальной деятельности этого времени во всем ее объеме.

Если же подвести в заключение итоги напряженной публицистической деятельности Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг., то надо будет сказать, что значение этой деятельности было для Салтыкова огромно во всех отношениях и с внутренней и с внешней стороны. Только работа этих лет объясняет, каким образом автор «Губернских очерков» и даже глуповского цикла обратился в автора «Истории одного города» и всех дальнейших классических циклов. Но с другой стороны — только в эти годы Салтыков окончательно выяснил себе свое социальное мировоззрение. Начатая уже в глуповском цикле борьба с либерализмом здесь окрепла и заострилась, чтобы найти впоследствии свое конечное завершение

в «Дневнике провинциала в Петербурге»; вопрос о почве и беспочвенности вплотную подвел к вопросу о народе и его внутренней жизни, как единственной движущей силе истории. Мы сейчас увидим, как резко полемизировал Салтыков с журналами Достоевского и с его «почвенничеством»; но надо заранее сказать, что в вопросе отношения к народу Салтыков, конечно, был гораздо ближе к идеалам Достоевского (несмотря на всю их туманность), чем ко взглядам совершенно враждебных и чуждых ему представителей либерализма. Впоследствии, через много лет, это сказалось отраженным образом тем обстоятельством, что Достоевский в знаменитом послесловии к своей еще более знаменитой «Пушкинской речи» (1880 г.), резко отмежевываясь от либералов, находил возможным договориться именно с социалистами, представленными тогда «Отечественными Записками» Салтыкова.

В статьях и очерках 1863—1864 гг. Салтыков — и мы это видели — заложил темы целого ряда будущих своих циклов; литературная деятельность его в эти годы настолько существенна для исследователя и для читателя произведений Салтыкова, что без тщательного изучения ее нет возможности литературно и идеологически связать творчество Салтыкова предыдущего и последующего десятилетий.

Подробная речь обо всем этом еще впереди; теперь же нам надо вернуться к 1863—1864 гг. и познакомиться с острой полемической деятельностью Салтыкова в эти знаменательные для его литературной работы годы.

Глава XI

САЛТЫКОВ В «СВИСТКЕ». ПОЛЕМИКА С ДОСТОЕВСКИМ СЛУЖБА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТСТАВКА

I

Сатирические и полемические произведения Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг. были направлены, главным образом, против двух лиц и журналов: против Каткова с его «Русским Вестником» и против Достоевского с его «Временем» (позднее — «Эпохой»). Конечно, произведения эти нельзя отделить резкой гранью от всей прочей публицистики Салтыкова этих годов, но есть в них и определенное различие: в публицистике Салтыков полемизировал серьезно и с горечью, в этих же мелких своих полемических произведениях он давал волю легкому юмору, не останавливаясь даже перед стихотворными эпиграммами (несмотря на заявление позднейшей автобиографии, что после лицейского периода он «ни одного стиха не написал»). Таких произведений было немного; и прежде всего надо остановиться на том номере «Свистка», который был приложен к апрельской книжке «Современника» за 1863 год и был составлен на три четверти из прозаических и стихотворных сатир Салтыкова. Это был девятый и последний номер «Свистка», рожденного в бурные годы начала «эпохи великих реформ» Некрасовым и Добролюбовым, и составлявшего такую видную часть «Современника», что до введения в обиход слова «нигилисты» (а это было в начале 1862 года), сотрудников и единомышленников «Современника» вражеский лагерь называл «свистунами». Но попытка возобновить «Свисток» в этом 1863 году была заранее обречена на неудачу: время было уже не то, реакция сказывалась все

сильнее и сильнее, и притом реакция не только правительственная, но и общественная. Попробовав выпустить этот девятый номер «Свистка», Некрасов и Салтыков больше уже не возвращались к этой мысли, так что девятый номер оказался и последним.

Салтыкову в этом номере «Свистка» принадлежит почти две трети всего прозаического и стихотворного материала; полный список его, составленный А. Н. Пыпиным, говорит о принадлежности Салтыкову следующих произведений¹:

1. Цензор в попыхах (Лесть в виде грубости).
Михаил Змиев-Младенцев.
2. Письма отца к сыну.
(Без подписи).
3. Московские песни об искушениях и невинности.
 - I. «Не искушай ты меня».
 - II. «Гимн публицистов».
 - III. «Элегия».
 - IV. «В голове все страх да бредни»,
Мих. Змиев-Младенцев.
4. Неблаговонный анекдот о г. Юркевиче, или искание розы без шипов.
(Без подписи).
5. Секретное занятие. Комедия в 4-х сценах.
(Без подписи).
6. Песнь московского дервиша.
Мих. Змиев-Младенцев.
7. «Сопелковцы».
(Без подписи).
8. (Программа следующих №№ «Свистка»).
(Без подписи).

К этим произведениям, помещенным Салтыковым псевдонимно и анонимно в «Свистке», надо прибавить еще четыре острые полемические статьи, тесно связанные с возгоревшейся и продолжавшейся в течение целых двух лет войной Салтыкова с Достоевским

¹ Можно приписать Салтыкову кроме указанных А. Н. Пыпиным и еще некоторые произведения в этом номере «Свистка»; но без достоверных оснований не стоит отягощать и без того довольно обширный список салтыковских «dubia».

и его журналами; одна из этих статей входила составной частью в мартовскую хронику 1863 года, хотя и составляет совершенно отдельное и законченное произведение; другая статья появилась уже в середине 1864 года. Вот все эти анонимные статьи:

1. Литературная подпись.
1863 г., № 1-2.
2. Тревоги «Времени».
1863 г., № 3.
3. Литературные мелочи. Стрижи.
1864 г., № 5.
4. Гг. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха».
(Не было напечатано).

Оставляя пока в стороне полемику Салтыкова с Достоевским и «Временем», обратимся сперва к произведениям, вошедшим в «Свисток». Почти все они посвящены полемике с «Русским Вестником» и Катковым, если не считать первого ядовитого наброска — «Цензор впопыхах», в котором представлен цензор за работой: он выправляет фразу журнальной статьи, придавая ей цензурный вид, совершенно противоположный первоначальному смыслу фразы. Прием этот особенно интересен потому, что десятилетием позднее Салтыков развил его в целой главе из цикла «В среде умеренности и аккуратности», посвященной рассказу о том, как редактор газеты «Чего изволите?», Молчалин 2-й, правит авторские статьи, придавая им цензурный вид («Отечественные Записки» 1876 г., № 9).

Очень растянутые «Письма отца к сыну» и «Неблаговоновый анекдот о г. Юркевиче» посвящены полемике с этим философом, начатой в «Современнике» еще Чернышевским; так как Юркевич был сотрудником «Русского Вестника», то сатирические стрелы летят и в Каткова. Во втором из «Писем отца к сыну» — насмешки над Аксаковым и «Днем», с его требованиями руссификации поляков и остзейских немцев.

«Московские песни» заключают в себе четыре стихотворения, показывающие, что в своей известной автобиографической записке 1878 года Салтыков ошибочно утверждал, что, выйдя из лица, не написал больше ни одного стиха. Впрочем он говорил, вероятно, о «серьезных» стихотворениях лирического порядка, а не о шуточных пародиях и сатирах, какие он писал, как мы это скоро увидим,

не только в «Свистке». Первая из «Московских песен» («Не искушай ты меня») по форме является пародией на известные стихи Фета, а по существу направлена, как и все остальные три, против Каткова, Леонтьева, «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей» с их казенными субсидиями (казенные объявления) на газету. Во втором из этих стихотворений, «Гимне публицистов», имеются, между прочим, такие две строфы:

Мы говорили: так позвольте
Нам предварительно пропеть,
И если скверно, так увольте:
Мы все готовы претерпеть!

Нам говорили: ну, извольте!
Все разом! Громче! не сопеть!
Мальчишкам наглым не мирвольте:
Сопеть—еще не значит петь!

«Русский Вестник» и «Московские Ведомости» называли сотрудников «Современника» мальчишками и «свистунами»; Салтыков именует сотрудников «Русского Вестника»—«сопелковцами», посвящая им кроме этих строф еще и особый набросок «Сопелковцы». Против Каткова направлена и «Песнь московского дервиша», к которой автор («Михаил Змиев-Младенцев») сделал примечание, что дервиши в экстазе «говорят всякий злобный вздор», и что «в последнее время эта секта проявилась в Москве, и преимущественно нашла себе убежище в секте так называемых «сопелковцев»,... которые так называют себя в противоположность и в пику свистунам». Это стихотворение стоит привести, как самое удачное из вообще мало удачных стихотворных сатирических произведений Салтыкова.

Песнь московского дервиша.

(Начинает робко, тихим голосом).

Уж я русскому народу
Показал бы воеводу,
Только дали бы мне ходу!
Ходу! ходу! ходу! ходу!

(Постепенно разгорячается.)

Покатался б! наигрался б!
Наломался б! наплясался б!
Наругался б! насосался б!
Насосался б! насосался б!

(Разгорячается окончательно и, видя, что никто ему не возражает, из условной формы переходит в утвердительную).

Я российскую реформу,
Как негодную платформу,
Вылью в пряничную форму!
Форму! форму! форму! форму!

Нигилистов строй разрушу,
Уязвлю им всладце душу,
Поощрили б лишь—не струшу!
Нет, не струшу! нет, не струшу!

(В исступлении, думает, что все сие совершилось.)

Я цензуру приумножил,
Нигилистов уничтожил!
Землю русскую стреножил!

(Закатывается и не понимает сам, что говорит:)

Ножил! ножил! ножил! ножил!

Несмотря на грубость, в этой «Песне» есть хоть несколько остроумных черточек, чего нельзя сказать про остальные стихотворные сатиры Салтыкова; исключением являются, впрочем, его пародии на стихотворения «Времени», с которыми мы скоро познакомимся. Пока же закончу обзор произведений «Свистка» указанием на довольно остроумную «комедию в 4-х сценах» (и на четырех страничках) под заглавием «Секретное занятие»; в ней нарисованы Катков, Леонтьев и Н. Ф. Павлов (издатель реакционной газеты «Наше Время»), тайно друг от друга зачитывающиеся «Современником». Что же касается юмористической программы следующих (так и не вышедших) номеров «Свистка», то почти вся она направлена против Достоевского и его журнала, как мы это сейчас увидим. Вообще же надо сказать, что этот последний номер «Свистка» был не из очень удачных, и что именно Салтыкову принадлежат наименее удачные из вошедших в него произведений; особенно подробно останавливаться на них не представляет поэтому интереса. Совсем другое дело полемика с Достоевским и его журналами, в которой Салтыков достиг пределов язвительности и дал ряд ядовитых сатирических очерков, до сих пор погребенных на журнальных страницах и не входивших в собрания сочинений Салтыкова. На них надо остановиться несколько подробнее.

Сыр-бор загорелся из-за небольшой анонимной заметки Салтыкова, помещенной в отделе библиографии первого двойного номера «Современника» за 1863 год. Заметка с язвительной подробностью была озаглавлена — «Литературная подпись. Соч. А. Скавронского («Время» за 1862 г., № 12). I стр.» и говорила вовсе не о «сочинении» Скавронского (псевдоним Г. Данилевского), а об его письме в редакцию «Времени», в котором он заявлял, что появившийся в Москве писатель Н. Скавронский не имеет ничего общего с ним, А. Скавронским; при этом он указывал, какие именно его произведения были до этого напечатаны и во «Времени», и в «Современнике». Редакция последнего журнала захотела отмежеваться от этого своего бывшего и случайного сотрудника; Салтыков в анонимной своей заметке, иронически излагавшей волнения А. Скавронского, подчеркнул, что сотрудничество в «Современнике» не является достаточной рекомендацией: «журнальное дело в России — плохое и трудное дело: журналов много, а деятелей мало — вот почему журналы иногда помещают повести и рассказы в роде повестей и рассказов А. Скавронского». В заявлении последнего Салтыков видел «хлестаковщину» и удивлялся, что «почтенная редакция» журнала «Время» напечатала письмо Скавронского. Извиняясь перед читающей публикой за эту мелочную полемику, Салтыков оправдывал ее тем обстоятельством, что необходимо бороться с литературным самохвалством, которое с некоторого времени «сделалось какою-то эпидемическою болезнью» между русскими литераторами. «Поверит ли, например, кто-нибудь, что один литератор вдруг ни с того, ни с сего объявил недавно в «Северной Пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор?».

Быть может, вся анонимная заметка была написана для последней фразы, в которой был намек на оглашенное тогда Тургеневым содержание письма к нему Некрасова, написанного в те недавние годы, когда этих писателей соединяли дружеские отношения. В письме этом Некрасов, между прочим, говорил, что, взволнованный начавшимся расхождением «Современника» с Тургеневым, он даже видит последнего во сне¹. Оглашение этой части письма

¹ Письмо Тургенева в редакцию «Северной Пчелы» (1862 г., № 334).

Тургеневым было теперь своеобразным полемическим выпадом его против Некрасова; история эта подробно изложена биографами обоих этих писателей.

Но «Время» обиделось и за своего сотрудника, Г. Данилевского, и за себя. Еще недавно, в апрельской и сентябрьской книжках «Времени» за 1862 год были напечатаны произведения Н. Щедрина (в последней из этих книжек — в виду временного закрытия «Современника»), еще недавно редактор «Времени», М. Достоевский, обращался к Салтыкову с просьбой о сотрудничестве, подчеркивая в своем письме, насколько это сотрудничество ценно для «Времени». Теперь же, в ответ на анонимную заметку «Литературная подпись», Ф. Достоевский выступил во «Времени» тоже с анонимной статьей против Салтыкова: заметка, направленная против Салтыкова в разделе «Журнальные заметки» и озаглавленная «Молодое перо» («Время» 1863 г., № 2) — несомненно принадлежит перу Ф. Достоевского. Последний сразу же узнал Салтыкова в авторе анонимной «Литературной заметки» и довольно зло выступил против него, называя его «молодым пером» и явно намекая на принадлежность этой заметки Салтыкову.

Задетый Салтыков ответил «Времени» в своей мартовской хронике «Наша общественная жизнь» 1863 года. В этом своем ответе он иронически говорит о неопределенности «почвенничества», проповедывавшегося «Временем», и проводит аналогию между этим журналом и «Русским Вестником», отдавая предпочтение журналу Каткова, с которым все-таки приятнее иметь дело. «По крайней мере, не обманываешься: войдешь в «Русский Вестник», ну, и знаешь, что вошел в лес, а в вас войдешь — не можешь даже определить, во что попал». Poleмику «Времени» с Катковым он считает совершенно ненужной, и иронически спрашивает: «И что вы так пристали к Каткову? Или вы получили от него разрешение? Смотрите, ведь он когда-нибудь и сам на вас замахнется — и не пикнет!». Предсказание это исполнилось через месяц, когда после громовой статьи «Московских Ведомостей» против «Времени» журнал этот был навсегда закрыт правительством.

Но главная ядовитость статьи Салтыкова — не в этой полемике, а в заключающей мартовскую его хронику отдельной статейке «Тревоги Времени», якобы присланной в редакцию каким-то «другом-нигилистом». Статейка начинается цитатой из напечатан-

ного в № 1 «Времени» за 1863 год стихотворения Ф. Берга, в котором были такие строки:

Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали.
— Эх, беда теперь нам, птицам смирным,
Птицам смирным, утицам залетным...

Салтыков удивлялся неосторожности редакции «Времени», поместившей эти стихи и, повидимому, не подозревавшей, что речь в них идет именно о редакции «Времени» и о сотрудниках этого журнала... Подобных стихов Салтыков вызывался написать хоть пять листов, и продолжал стихотворение Берга следующим образом:

Так и Достоевских пара и с Косицей
Цыркают: беда нам! ах, беда нам, птицам!
Мы ли, птицы-птицы, смирно не живали,
Смирно не живали, в роще толковали;
В роще толковали, смирно не живали,
Смирно не живали, в роще толковали;
Плавали в затишьях, да в озерах тихих,
Страховых плодили, да Косицят серых,
Косицяток серых, Достоевских белых,
Смирно поживали, в роще толковали,
В роще толковали, смирно поживали,
Смирно поживали, в роще толковали...

«Подобно этим бедным птицам,— продолжает Салтыков,— «Время» почему-то встревожилось. Все ему кажется, что его кто-то притесняет... Кто тебя, душенька? кто тебя ушиб? топни, душенька, топни ножкой!»

Ф. Достоевский ответил на это разъяренной статьей в следующей же книжке своего журнала («Время» 1863 г., № 3); несомненно, что статья «Ответ на статью «Современника» «Тревоги Времени» (Современник, март, № 3)» — принадлежит перу Ф. Достоевского. В ней он уже совершенно прозрачно намекает на авторство Салтыкова и на принадлежность ему статьи «Тревоги Времени», обрушиваясь на сатирика целым градом ядовитых обвинений и намеков. «Столько времени подвизался на прихотливом поприще российского юмора, столько лет повременные издания похваливали,... и вдруг — ругань! да еще какая: называют «молодым пером»...

Говорят, наконец, будто ваши критические статьи — одно искусство для искусства, цветы удовольствия... В сатире Салтыкова Достоевский видит только «дешевенькую литературную игривость», а потому — «ваше творчество не сатира, а зубоскальство», «вы зубоскалили, как будто играя в зубоскальство», «все ваши обличения поражают своим мелководием». В таком тоне написана вся статья Достоевского, основными мыслями которой через год воспользовался Писарев в своей направленной против Салтыкова статье «Цветы невинного юмора»; он повторил в ней не только мысли, но и некоторые выражения Достоевского. Последний в пику пародическим стихам Салтыкова против «Времени» дал в конце статьи и свое четверостишие, направленное против Салтыкова:

Ро-ро-ро, ро-ро, ро-ро
Молодое перо.
Усь-усь, усь-усь-усь,
Ах, какой же это гусь.

Все это не особенно блистало остроумием, и Салтыков счел излишним снова отвечать Достоевскому и «Времени» отдельной статьей; он удовлетворился тем, что в отделе «Свистка» апрельского номера «Современника» за 1863 год направил ряд мелких стрел и в Достоевского, и в его журнал. В юмористической программе будущих номеров «Свистка» значился целый ряд статей и стихотворений, так или иначе направленных против «Времени» и Достоевского. Редакция «Свистка», — сообщал Салтыков, — имеет в виду для следующих номеров, между прочим, статью «Прогулка в роще, или Птицы без перьев», — «ученое исследование, написанное для журнала «Время», но редакцией его отвергнутое»: смысл этой стрелы понятен нам, после знакомства с пародийным стихотворением Салтыкова о птицах в роще. Далее обещалась статья «Опыты сравнительной этимологии, или Мертвый дом, по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева» («Мертвый дом» Достоевского был только что напечатан тогда на страницах «Времени», и Салтыков, очевидно, имел в виду связь этого произведения с французскими источниками — быть может с «Отверженными» Виктора Гюго). Затем обещалась для следующего номера «Свистка» детская сказка в стихах, которая «обширностью своею превосходит все доньше

написанное»; начало этой сказки, направленной против Ф. Достоевского и озаглавленной «Самонадеянный Федя», Салтыков тут же приводил:

Федя богу не молился,
«Ладно», мнил, «и так!»
Все ленился и ленился...
И попал в просак.
Раз, беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл —
И обычной канителью
Время наполнял...

В последней строке слово время нарочно для каламбура поставлено без кавычек. Наконец, Салтыков приводит начало стихотворной элегии на кончину «Времени»:

Здесь Достоевских прах, и, вместо мавзолея,
Косица меж гробов, от страха цепenea,
Стоит...

Косица — был псевдонимом Н. Н. Страхова, за статью которого «Роковой вопрос» (о польском восстании, подписанную псевдонимом «Русский») журнал братьев Достоевских был закрыт по газетному доносу «Московских Ведомостей» (статья Петерсона). Можно было бы думать, что этими намеками Салтыков говорит именно о правительственном закрытии журнала «Время» в апреле 1863 года, как ни мало вероятно было бы такое добивание лежачего врага, и как ни мало было бы это в нравах русской радикальной журналистики. Недоумение рассеивается, если обратить внимание на то обстоятельство, что цензурное разрешение «Свистка» было дано 20 апреля, а гибель «Времени» произошла неделей позднее. Таким образом и в этом случае Салтыков оказался только пророком, как и в том, когда он предупреждал «Время» не слишком «приставать» к Каткову: «ведь он когда-нибудь и сам на вас замахнется — и не пикнет!».

Насильственной смертью «Времени» оборвалась полемика между Салтыковым и этим журналом Достоевского; возобновилась она годом позднее, когда М. Достоевскому было разрешено издавать вместо «Времени» (закрытого по недоразумению, ибо статья Страхова была вполне патриотической, но неверно понятой) журнал «Эпоху», начавший выходить с января 1864 года. На вышедшие с большим

опозданием первые две книжки этого журнала Салтыков отозвался (1864 г., № 5) статьей «Литературные мелочи», которая завершалась ядовитейшим драматическим произведением «Стрижки», направленным против «Эпохи». Впрочем, в статье «Литературные мелочи» говорилось не только об этом журнале братьев Достоевских,— в ней была полемика и с «Днем», и с «Московскими Ведомостями». В полемике с последними Салтыков иронизировал над тем, что после польского восстания Каткову чудится сепаратизм чуть не во всех областях России; даже в казачестве войска донского «Московскими Ведомостями» был усмотрен «донской сепаратизм». Иронизируя над этим, Салтыков попутно высказывает свое отношение и к украинскому движению, тем более характерное для исследователя взглядов Салтыкова, что по этому вопросу Салтыков ни раньше, ни позднее не высказывался с достаточной обстоятельностью. «Донцы-молодцы! куда же вы стремитесь? — иронически спрашивает Салтыков.— И где тот Кулиш, который будет для вас сочинять буквари? где тот Костомаров, который будет издавать их? И на каком языке будут сочиняться эти буквари? Кому известен язык Земли Войска Донского? Есть ли в нем слова: «хиба», «вже» и проч., совершенно необходимые для образования сильного и самостоятельного языка? Обладает ли донская литература песенкой, подобной той, которую некогда сочинил И. С. Тургенев для малороссиян:

Грае, грае, воропае!
Го! Го!

Все это покрыто мраком неизвестности». Иронизируя над призраком «сепаратизма», который мерещился Каткову, Салтыков высказывается здесь более чем определенно и по украинскому вопросу, отношение к которому в либеральных и даже радикальных кругах того времени почти всегда, за немногими исключениями, было такое же, как и высказанное в этих мимолетных строках Салтыкова.

Но все это можно отметить только мимоходом, так как статья «Литературные мелочи» заострена, главным образом, против журнала Достоевских, и на этом выпаде Салтыкова следует остановиться тем подробнее, что он вызвал яростную полемику, продолжавшуюся до конца 1864 года. Начал ее Салтыков в очень

добродушном тоне и не принимал, как сейчас будет доказано, никакого участия в той грубой полемике, которая разразилась в дальнейших вспышках «Эпохи» и «Современника» и главными виновниками которой были с одной стороны Ф. Достоевский, а с другой — М. Антонович.

«Передо мною две книги «Эпохи», — начал Салтыков на страницах своих майских «Литературных мелочей»: — и хотя я один в комнате, но очень явственно слышу, что вокруг меня раздаются какие-то рыдания. И чем дальше я углубляюсь в журнал, тем слышнее и явственнее становятся эти рыдания, точно сто Громек разом ворвалось в мое скромное убежище... Но нет, это рыдают не Громеки, это рыдает «Эпоха» устами всех своих редакторов и сотрудников. Рыдает Косица, рыдает Аполлон Григорьев, рыдает Федор Достоевский, рыдает Горский, рыдает Страхов. Один главный редактор, г. Михаил Достоевский, молчит, но это и понятно: он вдоволь нарыдался в об'явлении, и затем рыдания его уже должны подразумеваться во все дни существования «Эпохи». «Не роди ты меня, мать-сыра земля», умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики, и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтобы всех прельстить смиренством да «тихим, кротким поведением». Из всех этих рыданий я понял только рыдания г. Аполлона Григорьева... Но о чем рыдают прочие редакторы и сотрудники «Эпохи», — этого я решительно понять не в состоянии. Вижу, что они изо всех сил друг друга поощряют, чувствую целый ряд усилий и потуг, слышу хор голосов, вопиющих: бодрей! смелей! — и все-таки остаюсь в совершенном недоумении. Что хотят совершить эти ужасные люди? намереваются ли они превзойти «Русский Вестник» или же, подобно Купидоше (см. комедию Островского «В чужом пиру похмелье»), замышляют только удивить мир коварством!..»

Все это было подмечено совершенно верно, так как первые два номера «Эпохи» были действительно проникнуты весьма элегическим настроением; журнал братьев Достоевских чувствовал себя несправедливо обиженным в лице закрытого правительством восемью месяцами раньше «Времени» за невинную и вполне патристическую статью Страхова, по доносу на нее могущественных тогда «Московских Ведомостей» в статье Петерсона. Эту элегичность нового журнала и эту явно сквозившую на его страницах обиду

за нанесенную несправедливость Салтыков остроумно высмеял в приложенной к концу статьи «Литературные мечтания» драматической сценке «Стрижи», в которой описывается собрание редакции возобновляющегося журнала для выработки программы и составления первых номеров. Это драматическое произведение Салтыков преподнес, как плод пера «одного начинающего писателя», предупреждая, что оно, очевидно, имеет иносказательный смысл. «Страшусь сказать, но думаю, что молодой драматург в своем произведении имел в виду едва ли не «Эпоху», журнал, в который, повидимому, перешли все орнитологические тенденции «Времени». Продолжая юмористически называть сотрудников «Времени» (как и в известных нам статьях 1863 года) «птицами», Салтыков и написал теперь «Стрижей», из-за которых загорелся весь сыр-бор. Произведение это настолько ядовито и остроумно и в то же время настолько неизвестно современному читателю, будучи погребено на страницах майской книжки «Современника» за 1864 год, и к тому же оно сыграло столь значительную роль во всей дальнейшей полемике «Современника» с «Эпохой», что на нем следует остановиться подробнее.

III

«Стрижи», с подзаголовком «драматическая быль», по всей вероятности были навеяны Салтыкову двумя строками из стихотворения Фета:

Семьею новой в небеса
Ныряют резвые стрижи.

Стихи Фета Салтыков знал хорошо, написав о них, как мы знаем, подробную рецензию в «Современнике» 1863 года. «Новая семья» стрижей и была редакцией нового журнала «Эпоха», которую в этой своей «драматической были» Салтыков именует редакцией журнала «Возобновленный Сатурн». Действие происходит в запустелом сыром погребе, на дверях которого красуется вывеска редакции этого журнала; по стенам — полки, на одной из которых стоят несколько упраздненных кадучек; на кадучках сидят стрижи; по полу бегают голодные, тощие крысы. Всех стрижей — семь (один из них — «находится в отсутствии»), и для того, чтобы понять сатиру Салтыкова, надо расшифровать, кого

он имеет в виду под этими действующими лицами своей драматической были. «Стриж первый, редактор журнала» — это, конечно, М. Достоевский; «Стриж второй, философ» — присяжный философ и «Времени» и «Эпохи», Н. Страхов; об остальных скажу попутно с ходом действия. Действие это начинается следующей сценой:

Стриж первый. Прежде всего, господа, нам необходимо оглянуться на наше прошедшее. За что они нас обидели?

Все стрижи (вместе). За что они нас обидели?

Стриж первый. Целых восемь месяцев эта идея ни на минуту не покидала меня: за что они нас обидели? В течение двух лет с лишком, все обличало в нас стрижей! Мы собирались, толковали, проводили время ловили мух... Казалось бы, каких еще гарантий надо! И вот, в одну ужасную минуту, Стрижу второму пришла несчастная мысль слетать в злополучный некоторый край...

Стрижи (вместе, кроме второго). «Вдруг вздумал странствовать один из них, лететь»...

Стриж первый. В это время, некто Петерсон, имея достаточно свободных минут... Но за что они нас обидели?

Стриж второй (оправдывается). Я единственный стриж из бесчисленного множества стрижей, который занимался философией, и потому, будучи учеником и последователем Гегеля, я полагал...

Голос сверху. Впредь не полагай! (Стрижи в ужасе.)

Стриж второй (бессознательно продолжает свою речь). Я полагал...

Стриж первый. Довольно. (С горечью.) Очевидно, здесь даже оправдания не допускаются. (Голос сверху: «А ты думал как?»), а потому забудем прошлое. (В сторону: «За что они нас обидели?»), и займемся исключительно настоящим. Прежде всего, я полагаю, нам следует условиться насчет программы. Стриж седьмой! так как вы в настоящее время линяете, то выдерните из себя перо и передайте его Нетопырю первому.

«Стриж седьмой», который в списке действующих лиц обозначен как «стихотворец», является поэтом Ф. Бергом, как мы это скоро увидим; два «Нетопыря» обозначены в этом списке как «служащий при редакции» и «сторож», и, конечно, не нуждаются в расшифровке. Что же касается «Голоса сверху», то это голос Петерсона, доносительная статья которого погубила «Время». Начинается совещание стрижей о программе нового журнала; одни из стрижей хотят предоставить это дело на волю наборщиков типографии, другие возражают, что наборщики в видах сокращения труда могут позволить себе брать буквы не по порядку, а

горстями, третьи предлагают сказать, что «направление нашего журнала достаточно определяется уже тем, что его издают стрижи», что «недалеко то время, когда достаточно будет сказать слово «стрижи», чтобы всякий понял, что оно означает именно стрижей, а не орлов!». На этом Стрижи соглашаются и приступают к обсуждению материала для первых книжек журнала.

Стриж первый. Итак, программа написана. Теперь остается поговорить собственно о статьях. Стриж седьмой! Готово ли у вас приветствие к публике?

Стриж седьмой (скромно). Я назвал свое приветствие: «Снова здорово». Песня эта должна изобразить радость молодого стрижа по случаю весеннего прилета птиц на старые гнезда. (Декламирует):

В темный день!
В светлу ночь!
Собирались стрижи!
Собирались молодцы!
Уж как стрижики сидят-стоят!
Уж как молодцы молчат-говорят!
Чик-чибирики!
Чик-чибирики!
Веселые-мрачные стрижики!

Стриж первый. Достаточно. Я полагаю, господа, что это стихотворение еще больше выяснит направление нашего журнала. Ибо что, в сущности, хотим мы сказать, спрашиваю я вас?

Все (отвечают хором):

Чик-чибирики!
Чик-чибирики!

Стриж первый. Именно. Следовательно, все, что я могу заметить молодому нашему поэту и сострижу, заключается в том, что он без нужды заканчивает каждый свой стих знаком восклицания!

Стриж третий (обращаясь к Стрижу седьмому). Отдавая справедливость вашему «чик-чибирики!», я, в качестве критика орнитологических искусств, не могу не заметить, что мне гораздо более нравится ваш романс, начинающийся стихами:

На-днях летая. Над Фонтанкой?
Я жажду. Утолить желал...

Правда, что знаки препинания расставлены здесь совсем уж не сообразно...

«Стриж седьмой», как уже указано выше, — Ф. Берг, а «Стриж третий», «критик орнитологических искусств» — очевидно, главный

критик и «Времени» и «Эпохи», Аполлон Григорьев. О том, что своим пародическим стихотворением Салтыков метил в Берга, он сказал примечанием: «Хотя это стихотворение есть не что иное, как дурно скрытое подражание г. Ф. Бергу, однако для стрижа оно удовлетворительно». Затем редактор, «Стриж первый», обращается ко второму «стихотворцу», «Стрижу шестому», под которым имеется в виду поэт и переводчик Н. Гербель. «Стриж шестый» развязно читает стихотворение, которое «должно изобразить печаль стрижа средних лет при виде житейских треволнений»:

Давно не катался я в лодке по Мойке...
Страшился... но вдруг пожелал!
И, сладко забывшись, в той лодке, как в койке,
На дне ее смирно лежал!
Взяв щепочку в лапки, я мнил, что сражаюсь,
Что сто океанов шумит подо мной!
Что я даже в лодке готовым являюсь
Сразиться с гнетущей судьбой!
Чуть-чуть не погиб я! как будто морозом
Безвинно побитый цветок!
Собравши остатки, я челн свой исправил,
Замазал, заклеил, как мог!
И к Средней Мещанской я бег свой направил:
Там сказочный некий чертог
У Банкова моста, в огнях весь сияет...¹

Стихотворение это возбуждает сомнение редакции в цензурном отношении: «собравши остатки»...—какие остатки? чего остатки?». «Стриж второй» (Страхов) полагает, что это «какие-нибудь органические остатки», «Стриж третий» (Аполлон Григорьев) думает, что это «остатки прежнего нашего направления». Редактор, «Стриж первый» (М. Достоевский), сомневается, возможно ли печатать такое стихотворение, которое может подать повод к различным толкованиям, но готов был бы напечатать его, «если б меня удостоверил Петерсон, что можно»... Раздается «Голос сверху» (Петерсона) — «Можно!»,—производя общую ра-

¹ «У Банкова моста», на углу Малой Мещанской (впоследствии Казначейская) и Екатерининского канала, помещалась редакция «Эпохи» в доме Пономаревой, как это удалось установить автору настоящих строк (см. Аполлон Григорьев, «Воспоминания», изд. «Academia», Л. 1930 г.; там же впервые дан снимок этого дома).

дость среди стрижей: стихотворение будет напечатано. Между прочим, стихотворение это является пародией на стихи Н. Гербеля, напечатанные в № 1 «Эпохи»:

Давно я не вижу небесной лазури,
Давно я брожу одинок:
На жизненном море жестокие бури
Разбили мой бедный челнок.
А я так надеялся... так порывался
Сразиться с гнетущей судьбой,
Так долго челнок свой направить старался
Навстречу волне роковой.
Собравши остатки, я челн мой исправил —
И снова предался волнам...

Не привожу всего стихотворения Гербеля, так как и этого отрывка достаточно, чтобы с ним можно было сравнить юмористическую пародию Салтыкова. Продолжается обсуждение дальнейших статей журнала, при чем очень язвительно пародируются заглавия ряда статей, напечатанных в первых номерах «Эпохи». Редактор переходит к романам «Стрижа пятого», который прислал их целых десять штук, но все они «оказались подмоченными». Этот «Стриж пятый» по определению списка действующих лиц — «беллетрист веселый» и в настоящее время «находится в отсутствии». Служащий при редакции «Нетопырь первый» оглашает полученное письмо от этого «нашего русского Купера»:

Нетопырь первый (читает). «Был в Полтаве, и облетел всю; написал роман и полетел в Харьков; в Харькове Кулиш устроил для меня танцевальный вечер; были дамочки... Тут только вспомнил: как жаль, что я не успел побывать в Полтаве...».

Стриж первый (в сторону). Ну, за что, за что они нас обидели?!

Стриж второй. Позвольте, однако: ведь он, за две строки перед сим, писал, что облетел всю Полтаву, а теперь жалеет, что не успел быть в ней?

Стриж первый. Ах, Стриж второй! неужели же вы не знаете, что у него такая привычка!

Все эти указания совершенно достаточны для того, чтобы определить, кто такой «Стриж пятый». Во-первых, «русским Купером» называли в печати Г. Данилевского за его напечатанные во «Времени» романы «Беглые в Новороссии» и «Беглые воротились»; из-за этих романов, о которых Салтыков дал сокрушающую

рецензию и из-за псевдонима «А. Скавронский», подписанного под ними, и возгорелась, как мы знаем, первая полемика «Современника» со «Временем». Во-вторых, намек на то, что «Стриж пятый» пѣходя врет, должен был оказаться вполне понятным для прикосновенных к журнальному и литературному миру людей: о Г. Данилевском, как о записном вралѣ, говорит и Н. Щербина в своем «Альбоме Ипюхондрика», и Некрасов в письме к Чернышевскому от 1859 года («глупый враль Данилевский»), и тот же Некрасов в известном нам «Свистке» 1863 года:

Я не охотник до Невского:
Бродит там разный народ,
Встретишь как раз Д[анилев]ского,
Что-нибудь тотчас соврет;
После расскажешь за верное—
Скажут: и сам ты такой!
Дело такое прескверное
Было однажды со мной¹.

Издываясь над Данилевским, Салтыков устами «Стрижа первого» оглашает единственный отрывок, который можно было явственно разобрать во всех подмоченных десяти романах, присланных «Стрижем пятым» в редакцию: «На высокой скале, обмываемой бурными водами тихой Лопани, гордо высится огромный белый замок, со всех сторон окруженный рвом. В этом замке живет старый маркиз де-Шассе-Крузе с дочерью своей, прекрасною Оксаной»... затем можно было с величайшими усилиями угадать еще следующее: «ро... ро... ро... путник в штиблетах... однажды мы с Гербелем, Пригоровичем и Федором Бергом обедали у Тургенева»... и больше ничего!». Читатели вспомнят, что «ро-ро-ро» заимствовано Сал-

¹ Некрасов, Полное собрание стихотворений (Гиз, 1927 г.), стр. 520. См. также письмо Гончарова к Тургеневу из Булони от 30 июля (12 августа) 1866 г.: «В Париже я встретил, любезнейший Иван Сергеевич, всем нам хорошо известного сочинителя Данилевского, который хотя давно исчез с петербургского горизонта и проживает в каком-то патриархальном малороссийском углу, хотя он давно муж и отец семейства, но—к изумлению моему—в нем во всей девственной прелести [сохранились] знакомые нам черты: он так же посвистывает и жлет, как и прежде, так же все перевирает, следовательно, с ним так же надо быть осторожным... И тут его разумеют лгуном» («И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», Петроград 1923 г., стр. 52).

тыковым из направленного против него четверостишия Достоевского еще в мартовском номере «Времени» за 1863 год; что же касается пародической цитаты из романов «Стрижа пятого», то ее надо сравнить с ядовитой рецензией Салтыкова на романы Г. Данилевского (А. Скавронского), помещенной в декабрьской книжке «Современника» предыдущего года. Так или иначе, но редакция «Стрижей» должна отказаться от мысли напечатать романы этого своего сотрудника на страницах журнала; остается надежда на «Стрижа четвертого», про которого в списке действующих лиц сказано: «беллетрист унылый». Редакция надеется, что ее выручит он, «которого произведения читаются с жадностью не только стрижами, но и всем вообще пернатим миром». Следующий монолог стоит привести полностью, потому что «Стриж четвертый», написавший «Записки о бессмертии души» — не кто иной как Федор Достоевский, только что напечатавший в «Эпохе» свои «Записки из подполья». Произведение это, главным образом, было направлено против основных идей романа Чернышевского «Что делать?», и уже одним этим было неприемлемо для Салтыкова, расходившегося с Чернышевским в подробностях, но всецело принимавшего, как мы это еще увидим ниже, основную идею. Кроме того Ф. Достоевский в «Записках из подполья» метнул ироническую стрелу и в Салтыкова. Человек из подполья говорит, что, если б он был бездеятельным только из лени, то уважал бы себя чрезвычайно. «Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, беспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое... Автор написал «как кому угодно»; тотчас же пью за здоровье «кого угодно», потому что люблю все прекрасное и высокое»... Мы сейчас увидим, что именно это место о «дряни» Салтыков положил не только в основу рассуждений «Стрижа четвертого», но и в основу собственных своих соображений о «дряни» в самом начале «Литературных мелочей». Кстати сказать, «Записки из подполья» несомненно послужили причиной и того, что действие «Стрижей» происходит «в погребе». Но это лишь мимолетное замечание; перехожу к монологу «Стрижа четвертого», который следующим образом передает содержание своей повести «Записки о бессмертии души»:

«Новое произведение, которое я написал, носит название «Записки о бессмертии души». Для стрижей это вопрос первой важности, а так как

нам надобно прежде всего показать, что журнал наш есть орган стрижей, что он издается стрижами и для стрижей, то весьма естественно, что я сообразовался с этим и при выборе сюжета. Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том что он больной и злой, о том, что все на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь, и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно шипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит... (Чихает от волнения и умолкает).

В связи с этим пародическим изложением «Записок из подполья» следует указать, что статья Салтыкова, в которой отдельным этюдом напечатаны «Стрижи» («Литературные мелочи»), начинаются рассуждениями сатирика о том, что такое «дрянь» и что такое «дрянные люди». Совершенно ясно, что Салтыков имеет в виду именно героя «Записок из подполья», когда на этих первых страницах своей статьи дает «дряни» следующее определение: «Есть люди, совершенно подобные тому козлу, о котором сложилась древняя русская поговорка: ни шерсти, ни молока. Это какие-то унылые недоноски, одинаково не способные ни на добро, ни на зло, постоянно колеблющиеся между «да» и «нет», постоянно стремящиеся нечто выразить и никогда ничего не выражающие». Целая страница после этой тирады посвящена характеристике таких людей, при чем от героя «Записок из подполья» Салтыков незаметно переходит к их автору и даже к журналу «Эпоха», нигде не называя их по имени. «Если такие люди соберутся и начнут по душе толковать,— говорит Салтыков,— то разговор их может довести до мысли о самоубийстве, но если они (чего боже сохрани!) к тому же пожелают еще иметь свой литературный орган и начнут посредством его производить над публикой опыты фильтрации чепухи, то такое действие может угрожать даже государственной безопасности. Государство начнет зевать, постепенно прекратит всякую производительность и предается размышлениям о суете и брен-

ности сего мира». Редакция «Эпохи» сразу поняла, что выпад этот направлен против ее журнала, в ближайших номерах которого и ответила Салтыкову сердитой отповедью; но историками литературы весь эпизод этой полемики Салтыкова с «Записками из подполья» до сих пор оставался незамеченным.

Возвращаюсь, однако, к «Стрижам». Редактор, «Стриж первый», просит «Стрижа третьего» (Аполлон Григорьев) высказаться о произведении, только что изложенном «Стрижом четвертым»; «Стриж третий» — в колебании: «Я еще не понимаю... то есть я и понимаю, и боюсь понимать!.. Это... это, так сказать, албинизм мысли... тут что-то седое... да! С одной стороны, потрясающее *furioso*, с другой — сладостное *cantabile*! С одной стороны, демоны увлекают Дон-Жуана в ад; с другой стороны — за сценой раздается «По улице мостовой»... страшно! страшно!». Здесь не без меткости пародически схвачены некоторые подлинные фразы из статей Аполлона Григорьева. Редактор предлагает «Стрижу третьему» изложить все эти его мысли в форме письма к редактору и приготовить для второй книжки журнала (во второй книжке «Эпохи» и была напечатана статья Аполлона Григорьева). Редактор доволен, и «драматическая быль» заканчивается следующими его словами: «Отлично. Итак, господа, мы обеспечены, и я надеюсь, что отныне никто нас никогда не обидит... (В сторону.) И за что они нас обидели? (В слух.) С одной стороны, мы убедим окончательно публику, что мы стрижи, с другой стороны...». Но тут внезапно — «Раздается треск. В погреб сходит М. Н. Катков, освещаемый сальным огарком. Крысы дохнут. Стрижи кричат «виноваты!» и падают в кадушку. Запах. Занавес опускается».

IV

«Стрижи» послужили поводом к началу долгой и крайне грубой полемики между «Современником» и журналом Достоевского. Надо отдать справедливость Салтыкову, что он не принимал в этой полемике ни малейшего участия, в то время как взбешенный «Стрижами» Ф. Достоевский в ближайшей же книжке «Эпохи» разразился не только грубой, но и пасквильной статьей под заглавием «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». Салтыков имел полное основание полугодом позднее ответить ему в статье, которая не была тогда напечатана и о которой речь будет ниже, следующими

спокойными словами: «Я отнесся к вам в художественной форме, я заставил вас говорить самих за себя — и публика поняла в совершенстве, что в известных случаях эта манера есть единственно возможная. И заметьте, я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности... Однако вы оскорбились... Вы выпустили на мой личный счет целую эпопею, под названием «Щедродаров, или Раскол в нигилистах»... Говорю, положив руку на сердце, упражнение это ни мало не оскорбило меня. Прочитавши его, я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему заразу такую массу непристойной лжи, и в то же время мне показалось, что я наступил на что-то очень ехидное и гадкое. Столько лжи, клевет и самых недостойных сплетен, пущенных в упор, в виде ответа на оценку, быть может, и резкую, но все-таки чисто-литературного свойства, — воля ваша, а это уж слишком игриво!». К словам этим Салтыков сделал знаменательное примечание: «Прошу многоуважаемого Ф. М. Достоевского (так как он впоследствии сознался, что статья эта написана им) извинить резкость моих выражений; я полагаю, он сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва»¹. Салтыков был вполне прав в таком своем заявлении, и в этом теперь может убедиться каждый, так как статья Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» перепечатана в 23-томном собрании сочинений Достоевского (изд. «Просвещение»). Не буду поэтому излагать ее подробно, но лишь укажу на главное ее содержание.

Статья Салтыкова была анонимна, но Достоевский сразу же узнал, что она «принадлежит г. Щедрину, хотя и нет подписи»; он заявил, что «мы узнаём в этой статье «Молодое перо», — так уж мы привыкли к его игре»... Он начинает статью с целого ряда слухов о розни между Салтыковым и его товарищами по редакции «Современника» о том, что редакция стесняет его литературную деятельность, что будто бы в нем, наконец, «пробудилось чувство литературного достоинства», что он не хочет стеснять и продавать редакции свое право иметь и выражать свои убеждения, что он оставляет редакцию, что он будто бы рассорился с «Современником», что он соединяется с каким-то «посторонним сатириком» и едет

¹ «Минувшие Годы» 1908 г., № 1, стр. 78.

в Москву издавать там свой собственный сатирический орган, что останова только за тем, где достать направление? А как только достанут они направление, то тотчас же и уедут из Петербурга в Москву... Во всех этих сплетнях кое-что могло и соответствовать действительности: мы знаем, например, из позднейшего письма Салтыкова к Некрасову о жалобах его на «духовную консисторию» редакции «Современника». Но дело не в этих слухах, которые Достоевский приводит лишь между прочим, в виде предисловия, а в том беллетристическом произведении, которое следует за этим предисловием.

Подражая приему Салтыкова, Достоевский сообщает, что редакцией «Эпохи» получено «произведение одного начинающего писателя, очевидно имеющее иносказательный смысл». Произведение это — роман «Щедродаров», несколько глав из которого и являются основным содержанием всей статьи Достоевского. В них описывается, как Щедродарова (конечно — Щедрин) пригласили быть соредактором журнала «Современный», в виду того что в журнале этом произошли беспорядки: «Старые, капитальные сотрудники исчезли: Правдолюбов скончался; остальные не оказались в наличности». Правдолюбов — это, конечно, Добролюбов; не оказался же в наличности — Чернышевский, уже сосланный тогда на каторгу. За этот злорадный намек Достоевскому особенно досталось в последовавшей полемике. Щедродарова приглашают в журнал, как шавку, цена его «шавочные свойства»: «Мы только цыкнем: «усть-усть!», и приобретенная нами шавка должна бросать все, срываться с места, лететь, впиваться в кого ей укажут и теребить до тех пор, пока ей не крикнут: ісі! Разумеется, чем меньше будет у нашей шавки идей — тем лучше. Зато у ней должна быть игра, перо, злость, беспримерное тщеславие»... Всем этим условиям вполне удовлетворяет «известный наш юморист и сатирик Щедродаров», которого поэтому и приглашают в редакцию журнала «Современный». Щедродаров глуп и едва ли не прирожденный идиот, но это, впрочем, и к лучшему: «Если б Щедродаров был поумнее, что ж бы мы с ним тогда стали делать? Он стал бы рассуждать и не слушаться.. А главное, и конец концов, у него, сколько я вижу по его сочинениям, гражданского чувства ни капли. Ему, кроме себя, все равно, а следовательно только польстить его тщеславие, и он на все будет согласен»...

Принимают Щедродарова в редакцию на очень тяжелых условиях, которые Достоевский подробно излагает в особой главе, в ряде пунктов, которые в основном сводятся к тому, что его, как «молодое перо», приглашают в редакцию «Современного» не уместовать, а только «издавать звуки» и кусаться. Щедродарова третируют, но он покорно претерпевает все унижения, довольный тем, что попал в редакцию журнала. Далее подробно излагается его литературная деятельность за два года, рассказывается о том, что так как «у него не было ни малейшего гражданского чувства, то потому он без зазору лаял, глумился и срамил самых честнейших и толковых людей, на ряду с паскуднейшими: была бы только юмористика». В этой фразе—«самые честнейшие и толковые люди»—конечно, редакция и сотрудники «Времени» и «Эпохи». Однако все дело кончается бунтом Щедродарова, который вдруг начинает повторять идеи «Времени» о нигилистах, пишет резкие статьи против «вислоухих и юродствующих», осмеливается напасть даже на роман Чернышевского. Вызванный в редакцию на расправу, он пытается огрызаться и заявляет, что имеет свое собственное мнение. Но, встретив в ответ на это заявление гомерический хохот товарищей по редакции, падает духом и начинает рыдать, как маленькое дитя. На этом обрывается роман «Щедродаров». Достоевский заключает статью несколькими страницами собственных и совершенно таких же рассуждений уже не о Щедродарове, а о Щедрине, полемизирует с теми словами о «дряни», которыми Салтыков, как мы знаем, метил в «Записки из подполья» и заканчивает, пародируя Кольцова, намеком на то, что «Современник» выдал Салтыкова головою «Русскому Слову», не позволив отвечать на нападки последнего:

Без ума без разума
Меня «Слову» выдали,
Золотое перушко
Силой укоротали...

Это грубое, чисто-личное нападение было напечатано Достоевским в майской книжке «Эпохи» за 1864 год; так как журнал этот переживал большие финансовые затруднения и за недостатком подписчиков клонился к концу, то майская книжка эта вышла лишь в середине июля (цензурное разрешение—7 июля). Поэтому лишь в июльской книжке «Современника» вышедшей в августе

1864 года (цензурные разрешения от 16 июля и 18 августа) появился незамедлительный ответ, озаглавленный «Стрижам» и с подзаголовком «Послание обер-стрижу, господину Достоевскому». Статья была подписана «Посторонний Сатирик, автор «Стрижей», а так как автором «Стрижей» был Салтыков, то может показаться что и эта статья принадлежит его перу, и что «Посторонний Сатирик» (слова, заимствованные из приведенных выше тирад Достоевского) является новым его псевдонимом. Известно однако, что следующие статьи, подписанные этим псевдонимом и появлявшиеся на страницах «Современника» уже в 1865 году, принадлежали перу М. Антоновича; поэтому создалось впечатление, что псевдоним этот должен быть разделен между Антоновичем и Салтыковым. В известном словаре псевдонимов Карцева и Мазаева этот псевдоним так именно и расшифровывается: «Посторонний Сатирик — М. А. Антонович и М. Е. Салтыков». Таким образом на Салтыкова в некоторой части падает ответственность за ту крайне грубую и, что гораздо важнее, очень многословную и мало талантливую полемику, которую «Посторонний Сатирик» вел с этих пор на страницах «Современника», воспользовавшись к тому же и заглавием отдела, начатого в майской книжке «Современника» Салтыковым — «Литературные мелочи». Такое мнение и до сих пор является господствующим среди исследователей творчества Салтыкова. Однако оно совершенно не соответствует действительности.

Начать с того, что стилистический анализ писаний «Постороннего Сатирика» сразу вскрывает его тождественность с Антоновичем, но никак не с Салтыковым. Тягучий, многословный, лишенный всяких образов стиль, нагромождение придаточных предложений, отсутствие абзацев — одно это, помимо всего прочего, с головой выдает Антоновича и совершенно освобождает Салтыкова от чести быть хотя бы, в малой степени соавтором всех этих статей. Однако стилистические доказательства — не всегда убедительны, и уж во всяком случае не могут являться решающими. К тому же в начале послания «Стрижам», подписанного, как мы видели, псевдонимом «Посторонний Сатирик, автор «Стрижей», есть место, которое может показаться опровергающим все стилистические доказательства. Указывая, что Достоевский в своем пасквильном романе «Щедродаров», мстил за «Стрижей», приписав их (и совер-

шенно справедливо) Щедрина, автор послания заявлял: «Бедные стрижи! вы сделали жертвою самой смешной мистификации; вас надули, автор «Стрижей» вовсе не г. Щедрин, а я, ваша месть попала не туда, обрушилась на неповинную голову. Итак, оставьте в покое г. Щедрина по делам об изобретении стрижей, а обращайтесь единственно и исключительно ко мне, к настоящему автору и изобретателю «стрижей»; я дорожу своим изобретением и не потерплю, чтобы честь его приписывали другому». Но ведь на основании этих слов можно было бы заключить, совершенно наоборот, что автором «Стрижей» является Антонович, если бы этому не противоречили вполне определенные указания Пыпина, не говоря уже о полной невозможности для художественно неодаренного Антоновича написать такое яркое произведение, как «Стрижи». Поэтому все это заявление является лишь литературным приемом, который ни на один шаг не может приблизить нас к разрешению вопроса — был ли в какой-либо мере Салтыков соавтором статей, появлявшихся в «Современнике» второй половины 1864 года под рубрикой «Литературных мелочей» и подписанных псевдонимом «Посторонний Сатирик».

Но, к счастью, у нас есть, кроме опасных (хотя в данном случае несомненных) стилистических заключений, целых три неопровержимых фактических доказательства того, что после «Стрижей» Салтыков не напечатал вообще ни одной публицистической статьи на страницах «Современника» 1864 года, и что перу его не принадлежит ни одна из статей «Постороннего Сатирика».

Первое доказательство — категорические слова самого же Салтыкова в той его статье, посвященной «Семейству М. М. Достоевского», о которой мы уже упоминали выше, которая предназначалась, повидимому, для январской книжки «Современника» на 1865 год и вообще не была напечатана при жизни Салтыкова. К ней нам скоро придется обратиться, а пока лишь несколько фраз из самого начала ее, бесспорно доказывающих, что Салтыкову принадлежат лишь две статьи против «Времени» и «Эпохи», уже хорошо известные нам. Это, во-первых, «Тревоги Времени» (1863 г., № 3) и, во-вторых, «Стрижи» (1864 г., № 5). Не подлежит ни малейшему сомнению, что это именно о них говорит Салтыков в самом начале своей статьи, написанной в декабре 1864 года, не увидевшей тогда света, но счастливо сохранившейся в рукописи до на-

чала XX века. Вот его слова, направленные против «стрижей» вообще и Ф. Достоевского в частности: «Я всего два раза в течение моей недолговременной журнальной деятельности имел удовольствие беседовать о вас, и, могу сказать смело, обе статьи мои имели «некоторый успех». Я не нападал в них ни на ваши «идеи», ни на ваше «направление» (ни тех, ни другого я и до сего дня усмотреть не могу), но это-то, повидимому, и было причиной успеха моих статей»¹. Дальше идет та тирада против Ф. Достоевского, которая была приведена несколькими страницами выше; но дело теперь не в ней, а в совершенно категорическом указании Салтыкова, что им за эти годы работы его в «Современнике» были написаны только две статьи против журналов Достоевского. А так как категорическое указание это сделано в декабре 1864 года, то, следовательно, все многочисленные и многословные статьи «Постороннего Сатирика» против «Эпохи», появившиеся во второй половине 1864 года в «Современнике», ни в коем случае не могут принадлежать Салтыкову.

Доказательство второе — письмо к Некрасову секретаря редакции «Современника», Аполл. Головачова, от 25 августа 1864 года. В нем сообщается: «Из полученной уже вероятно вами июльской книжки «Современника» вы увидите, что ответ «Эпохе» написан Антоновичем; ему принадлежат статьи «Литературные мелочи» и «Стрижам», — в последней только первая страница взята из статьи, присланной Салтыковым. Не знаю, как эти статьи вам понравятся, — мне они положительно не нравятся... Мне кажется, что в полемических статьях с таким тоном требуется большое остроумие»². Таким образом устанавливается принадлежность Салтыкову только одной страницы в июльских статьях Антоновича против «Эпохи», а также и тот факт, что Салтыков сам написал ответ — не дошедший до нас, ибо не пропущенный Антоновичем на страницы «Современника».

Наконец, последнее доказательство, и на этот раз уже совершенно решающее: уцелели драгоценные конторские книги «Современника» за небольшой ряд лет, и в том числе за 1864 г.³

¹ «Минувшие Годы» 1908 г., № 1, стр. 77.

² «Архив села Карабихи» (М. 1916 г., стр. 96). Редактор этого архива вместо заглавия «Стрижам» поставил в скобках «нрзб.»; это «неразобранное» им слово мы восстанавливаем, хотя и без знакомства с оригиналом письма, но тем не менее с полной достоверностью.

³ Бумаги Пушкинского Дома, архив Ипп. Панаева.

На странице 235 конторской книги этого года мы находим счет М. А. Антоновича, из которого видно, что он получил полностью гонорар за все «Литературные мелочи», начиная с июльского номера журнала, а также и за послание «Стрижам», напечатанное в том же июльском номере. В счете Салтыкова, находящемся на странице 269, выписан гонорар за «Литературные мелочи», напечатанные в майской книжке этого года, а следовательно, и за драматическую сцену «Стрижи», являющуюся частью этой статьи. Это разрешает вопрос окончательно и бесповоротно: показание конторских книг с непрекаемой достоверностью оправдывает все сделанные выше умозаключения.

Но если это так (а это бесспорно так), то мы, к счастью, можем пройти мимо всей дальнейшей грубой, тягучей и бездарной полемики, которая велась против «Эпохи» на страницах «Современника» второй половины 1864 года. Салтыков в это время почти совершенно отошел от журнала, жил, позвидимому, с начала лета и до конца года в Витеневе (что, быть может, позволяет заключить письмо его к Анненкову от 14 декабря 1864 года), и ничем печатно не отзывался на ту бурную полемику между «Современником» и «Эпохой» (а также и «Русским Словом»), невольным виновником которой был он сам. Лишь еще один раз счел он необходимым отозваться на новое и личное нападение «Эпохи», написав короткий и сжатый, подводящий итоги ответ, — ответ, которому опять-таки не пришлось появиться в печати. Рассказом о судьбе этого почти никому неизвестного произведения Салтыкова мы и заключим наше знакомство с его полемической журнальной деятельностью 1863—1864 гг.

V

«Посторонний Сатирик» печатал на страницах «Современника» свои яростные статьи против «Эпохи» и «Стрижей», присвоив себе этот термин Салтыкова; «Эпоха» отвечала целым рядом статей, написанных Ф. Достоевским — иногда подписанных им (как например, «Необходимое заявление», «Эпоха», 1864 г., № 7), иногда же и анонимных, но несомненно принадлежавших его перу (как например, «Чтобы кончить», «Эпоха» 1864 г., № 9). В статьях этих имя Щедрина поминалось неоднократно, так как его продолжали считать автором «Литературных мелочей». Но Салтыков не отзы-

вался. Тогда в октябрьском номере «Эпохи», в отделе «Заметки летописца», который вел Н. Страхов, против Салтыкова была направлена специальная статья «Последние два года в петербургской журналистике», как бы подводящая итоги двухлетней деятельности Салтыкова в «Современнике». Статья эта представляет для нас особенный интерес, так как в ней мы слышим голос современника — пусть и пристрастного — о Салтыкове как журналисте.

«Припомним, достолюбезные читатели, начало 1863 года,— говорит Страхов.— Какое было тогда самое важное явление в петербургском литературном мире? Пусть говорят другие что угодно, а я скажу (и согласится со мною, надеюсь, всякий беспристрастный наблюдатель), что важнейшим тогдашним событием было вступление г. Щедрина в редакцию «Современника». С этим вступлением для «Современника» начинался так сказать новый фазис его существования, для самого же г. Щедрина открывалось обширное поприще деятельности. История литературы, конечно, запишет на своих страницах или скрижалях, что редко какой-нибудь писатель писал так обильно, как г. Щедрин в 1863 г., и что этот год есть плодотворнейший год его авторского поприща. Дело не шуточное, да так и смотрели на него в то время. Как только газеты и объявления разнесли радостную весть о вступлении г. Щедрина в «Современник», на этот журнал обратилось всеобщее внимание»... Все это очень характерно и повидимому вполне соответствует действительности; первенствующее положение Салтыкова в «Современнике» казалось всем настолько очевидным, что редактор «Дня», И. Аксаков, полемизируя в начале 1863 года с одной из статей «Современника», заканчивал свою полемину вопросом: «чего же смотрит в «Современнике» г. Щедрин?».

Продолжая эту журнальную историю недавнего времени, Страхов вскрывает принадлежность Салтыкову ряда анонимных статей, безошибочно основываясь на стиле их. «Два-три печатных листа его регулярно появлялись в «Современнике», напечатанные крупно, под веским заглавием: Наша общественная жизнь. Я без малейшего колебания приписываю эти фельетоны г. Щедрину, ибо он сам ни мало не думал скрываться, да и мудрено было бы ему скрывать при ярких особенностях его слога и манеры... Итак, щедринские фельетоны, имели в тот достопамятный год величайший успех». Беспристрастно установив столь интересные для нас

положения, Страхов переходит к отрицательной характеристике внутренней стороны салтыковских статей, заявляя, что в них была только эквилибристика мыслей, только балансирование суждений, как у канатного плясуна, и что никакой внутренней идеи в статьях этих не было. «Как вдруг (помню живо все ощущения тогдашнего времени), как вдруг я вижу, что у г. Щедрина промелькнула идея... Это было в августовской книжке «Современника». Это была небольшая вариация на теорию страстей, положенную в основание универсальной ассоциации, на ту самую теорию, в пользу которой впоследствии г. Щедрина удалось сказать еще раз несколько слов — слов самых серьезных и важных, какие только нашлись у г. Щедрина». Речь идет здесь, конечно, об очерке Салтыкова «Как кому угодно», — и крайне характерно, что Страхов нашел в нем отражение основной теории Фурье, подчеркнув это в своей фразе. Что же касается «самых серьезных и важных слов», впоследствии высказанных Салтыковым на ту же тему, то здесь Страхов имеет в виду выпад Салтыкова против «вислоухих и юродствующих» и против «зайцевской хлыстовщины»; мы уже знаем насмешки Салтыкова над идеалами будущей женской эмансипации в их понимании Писаревым и Зайцевым: идеалы якобы сводились к тому, что нигилистки будут заниматься анатомией, под плясывая и подлевая «Ни о чем я, Дуня, не тужила», — ибо, «как известно» (прибавлял Салтыков), со временем «никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет». Салтыков прибавил к этому еще несколько язвительных стрел против нигилистов, которые-де вскоре преобразятся в титулярных советников, и против нигилисток, завидующих сидящей в ложе бельэтажа Шарлотте Карловне (все та же известная нам Мина Ивановна). Вот эти-то выпады Салтыкова Страхов и нашел «самыми серьезными и важными словами», сказанными сатириком.

Прерывая на минуту рассказ о статье Страхова, укажу, что именно во всех этих выходках Салтыкова «Русское Слово» и усмотрело издевательство над идеями романа Чернышевского «Что делать?», и вообще над молодым поколением. Выпады Салтыкова появились в январской хронике «Современника» за 1864 год, а уже в февральской книжке того же года «Русское Слово» открыло огонь по сатирику в целых двух статьях. О первой из них приходилось уже упомянуть выше: это — статья Писарева «Цветы

невинного юмора», в основу которой положены высказанные годом раньше мысли Достоевского о Салтыкове, как пустом зубоскале и представителе идей «искусства для искусства». Вторая статья — статья Варфоломея Зайцева «Глуповцы, попавшие в Современник»; в ней мы находим резкую отповедь Салтыкову именно за взгляды его на нигилизм. Критик считает, что «милый фельетонист» совершенно напрасно в течение целого года носил костюм Добролюбова, путаясь в его складках, спотыкаясь и обнаруживая при этом «то светлую пуговицу, то красивое золотое шитье своего сановнического мундира». Теперь, наконец, он появился в собственном своем обличии, и все поняли, кто стоит перед ними: «да, это он, тот самый, который «благоденствовал в Твери и в Рязани», и который с тех пор, в продолжение целого года, представлял собою величественное зрелище будирующего сановника». Этого будирующего сановника разбирает смех по поводу романа «Что делать?», — и это для сановника вполне естественно; но каким образом этот веселый смех его появился на страницах «Современника» — совершенно непонятно. Критик обращал внимание «Современника» на новое направление, «придаваемое этому журналу г. Щедриным». На все это Салтыков, как мы знаем, дал ответ в своей мартовской хронике 1864 года. Эта полемика между двумя радикальными журналами и дала повод Достоевскому озаглавить свой памфлет против Салтыкова «Раскол в нигилистах», а теперь — если вернуться к статье Страхова — дала повод Страхову подхватить обвинения «Русского Слова» и еще раз подчеркнуть расхождение Салтыкова с Чернышевским, а значит и старой редакции «Современника» с новой.

Статью свою Страхов заканчивает рассказом про эпизод со «Стрижами»; указывая, что эту «драматическую быль» написал несомненно Салтыков, Страхов прибавляет: «он написал еще пять статей против «Эпохи», две в июле и по одной в августе, сентябре и октябре». Страхов мельком говорит о многословии этих статей, о целом букете ругательств, который можно набрать из них, и считает, что статьями этими завершается журнальная деятельность Салтыкова, пришедшая в окончательный тупик и свидетельствующая лишь о совершенном отсутствии у сатирика серьезных идей и настоящих интересов.

Эту статью «Эпохи» Салтыков не захотел оставить без от-

вета — и прежде всего потому, что она, как мы только что видели, приписывала ему, Салтыкову, все статьи «Постороннего Сатирика», написанные Антоновичем во второй половине 1864 года. К этому ответу Салтыкова мы сейчас и обратимся; сперва лишь несколько слов об еще одном его ответе, в свое время не напечатанном и дошедшем до нас только в небольшом отрывке. Среди рукописей Салтыкова в архиве М. М. Стасюлевича сохранился лист, помеченный цифрой 5 и начинающийся словами: «Но если уж пошла речь о стихах». Содержание этого листа относится к теме «Стрижей» и к роману «Щедродаров», а нумерация его показывает, что четыре предыдущих листа начала этой статьи не сохранились. Из содержания сохранившегося листа можно заключить, что статья была написана не раньше сентября 1864 года, потому что в ней находится ссылка на статью Антоновича («Постороннего Сатирика») «Стрижам», напечатанную в июльской книжке «Современника» (цензурное разрешение от 16 июля и 18 августа). В своем послании «Стрижам» Антонович заявлял, что автором первых «Стрижей» был не Щедрин, а он, «Посторонний Сатирик»; в этом сохранившемся рукописном отрывке Салтыков однако заявлял: «Современник» вас обманул, стрижи! Статью «Стрижи, драматическое представление» писал действительно я (вставка на полях: хроникер «Современника»), а не «Посторонний Сатирик». Дальше шла острая полемика со «стрижами», частью которой Салтыков воспользовался во втором своем ответе, о котором речь будет ниже, а частью позаимствовался Антонович в очередной своей статье «Литературные мелочи» («Стрижи в западне»). Повидимому, эта большая и недошедшая до нас статья Салтыкова была ответом на уже известное нам «Необходимое заявление» Достоевского, — и в таком случае датировка ее опять-таки может быть отнесена к концу сентября 1864 года.

Вот и все, что нужно установить пока из знакомства с рукописью этой неизвестной статьи Салтыкова; теперь надо перейти еще к одной его ответной статье, тоже оставшейся в свое время ненапечатанной, но дошедшей до нас через сорок лет после ее написания. Эта статья являлась ответом на разобранную выше статью Страхова и была написана, как это сейчас будет показано, в декабре 1864 года, предназначаясь, очевидно, для январской книжки «Современника» за 1865 год. Дело в том, что выход книжек угасав-

шей «Эпохи» происходил с крайним запозданием: майская книжка вышла только в июле, июльская — в сентябре, августовская — в октябре, сентябрьская — в конце ноября. Октябрьская книжка, в которой была напечатана статья Страхова против Салтыкова, была разрешена цензурой на месяц раньше сентябрьской, но вышла в свет в первых числах декабря. На обложке сентябрьской книжки «Эпохи», вышедшей в самом конце ноября, объявлено, что «октябрьская книга «Эпохи» выйдет на-днях». Таким образом, лишь в середине декабря Салтыков, сидя в Витене, мог ознакомиться с направленной против него статьей «Эпохи», и, очевидно, тогда же написал краткий и резкий ответ. Несколько мест из него уже были приведены выше¹.

Все это — о хронологии статьи Салтыкова; теперь — об ее заглавии. Заглавие это гласит: «Гг. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха» — и нуждается в объяснении. Дело в том, что 10 июля 1864 года скончался редактор-издатель «Эпохи», М. Достоевский; издание журнала официально перешло к «сонаследнице прав и обязательств» его, его жене Э. Ф. Достоевской, подавшей прошение в Петербургский цензурный комитет об «утверждении за моим семейством и за мною права продолжать издание журнала»². Разрешение было дано, и в июньском номере журнала «Эпоха» (цензурное разрешение от 20 августа 1864 года) было объявлено от редакции, что «с кончиною Михаила Михайловича Достоевского, издателя и редактора журнала «Эпоха», издание журнала перешло в собственность его семейства, которое будет непосредственно участвовать в издании»; с этой же июньской книжки журнала на обложке стала появляться строка: «журнал, издаваемый семейством М. Достоевского». Это вполне объясняет, почему Салтыков дал такое заглавие своей статье; ироническая фраза «семейство, издающее «Эпоху» встречалась уже и в статье «Постороннего Сатирика», напечатанной в двойной последней книжке «Современника» за 1864 год.

¹ В даты цензурных разрешений «Эпохи» вкрались ошибки, отмеченные впоследствии в «Воспоминаниях» Н. Страхова о Ф. Достоевском; см. «Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского» (СПб. 1883 г.), т. I, стр. 273.

² См. «Достоевский», статьи и материалы под редакцией А. С. Долинина, т. II (изд. «Мысль», Л. 1925 г.), стр. 574.

Перехожу теперь к истории появления, или, вернее, неоявления в свет этой статьи Салтыкова. Напечатана она была только в 1908 году на страницах журнала «Минувшие Годы» со следующим объяснением от редакции. Один из сотрудников старого «Современника» передал в распоряжение редакции «Минувших Годов» подлинную рукопись этой статьи Салтыкова, сообщив, что она у него хранилась свыше сорока лет. Этот сотрудник — несомненно, Антонович (он скончался в 1918 году); то, что он рассказывает дальше об истории ненапечатания в «Современнике» этой несомненно подлинной статьи Салтыкова, возбуждает, однако, величайшее недоумение. По его рассказу, дело заключалось в том, что, прочтя статью Салтыкова, представленную в редакцию, Некрасов нашел ее неудобною для печати вследствие ее резкого тона по отношению к Достоевскому; но, не желая оскорбить Салтыкова отказом поместить ее в журнале, он под разными предложениями откладывал помещение статьи и в конце концов заявил со всякими извинениями, что статью он потерял. Салтыков вспылал, заявив, что копии у него нет, что восстановить статью он не может и что статья должна быть найдена. Но с течением времени инцидент этот Салтыковым был забыт, а статья его, переданная Некрасовым на сохранение «одному из сотрудников» (т. е. Антоновичу), так и пролежала у него с лишним сорок лет, пока не была напечатана в январском номере «Минувших Годов» 1908 года¹.

Все основное в этом рассказе — вполне правдоподобно, да иначе, пожалуй, нельзя было бы и объяснить факт сохранения этой статьи у Антоновича; основным здесь является то, что статья была действительно признана «неудобной для печати» — но, разумеется, признана не Некрасовым, а самим Антоновичем, и по причинам, не имевшим ничего общего с теми, которые Антонович изложил редакции «Минувших Годов». Начать с того, что дело не могло происходить так, как описывает его Антонович, будто бы Некрасов в течение ряда месяцев под разными предложениями откладывал напечатание этой статьи Салтыкова: написана она была в

¹ По наведенным справкам, рукописи статьи Салтыкова в архиве журнала «Минувшие Годы» не сохранилось; где она находится и уцелела ли — неизвестно. Так как с этого времени прошло более двадцати лет, то редактор «Минувших Годов» не может даже вспомнить, кем была передана ему эта рукопись Салтыкова в 1907 году.

середине декабря 1864 года, а в середине января следующего года, через месяц, Салтыков был уже в Пензе и не виделся с Некрасовым до осени 1865 года, когда ни о какой «Эпохе» уже и помину не было (прекратилась на мартовской книжке 1865 года). Затем — поводы, выставляемые якобы Некрасовым для непоещения этой статьи в «Современнике» («резкий тон по отношению к Достоевским») совершенно анекдотичны для всякого, кто сравнит эту статью Салтыкова против Достоевского с аналогичными статьями «Постороннего Сатирика», Антоновича. Статьи последнего против «Эпохи» были не только резки, но часто доходили даже до площадной грубости («ракалии», «шваль», «издыхающая тварь» и т. п.), по сравнению с этими статьями — статья Салтыкова является образцом корректной полемики, и, уж конечно, не за «резкость тона» якобы отказался напечатать ее в своем журнале Некрасов. Все это настолько мало вероятно и так сшито белыми нитками, что всей этой версии нельзя придавать никакого доверия. Верен один только факт, что редакция «Современника» по каким-то причинам не пожелала напечатать эту вовсе не резкую по тону статью Салтыкова.

О причинах этих догадаться не трудно. Самым влиятельным лицом в «Современнике» тех лет, особенно после ухода Салтыкова, был Антонович; он не мог пропустить этой статьи Салтыкова, так как в ней Салтыков категорически заявил (и это заявление уже приведено выше), что является автором только двух статей против журналов Достоевского за все эти два года своей журнальной деятельности. Этим он отвечал на то место статьи Страхова, в котором говорилось, что Салтыков являлся автором всех статей против «Эпохи», подписанных псевдонимом «Посторонний Сатирик». Антоновичу, очевидно, не хотелось, чтобы такое заявление Салтыкова появилось на страницах «Современника» и вскрыло бы полную непричастность Щедрина к писаниям «Постороннего Сатирика»; а между тем Салтыков в этом своем ответе «Семейству М. М. Достоевского» на первых же строках заявлял, что «до сих пор не отвечал ни одним словом на ваши детские упражнения, направленные против моей личности». Этим он категорически отводил от себя сомнительную честь быть автором или хотя бы даже соавтором статей «Постороннего Сатирика»; Антонович же, повидимому, не хотел открывать публике именно этого

обстоятельства, в выяснении которого так был заинтересован Салтыков. Поэтому представляется совершенно несомненным, что вовсе не Некрасов, а именно Антонович воспрепятствовал напечатанию статьи Салтыкова в журнале и сохранил ее в своем портфеле. Несомненно также, что Салтыков знал, кому он обязан фактом непоявления своей статьи на страницах «Современника»; недаром в письме к Некрасову из Пензы от 8 апреля 1865 года (о письме этом уже упоминалось выше и еще будет сказано ниже) с горечью говорил он о той «цензуре вашей духовной консистории», через которую должны были проходить его статьи. Под «духовной консисторией» журнала Некрасова он подразумевал в первую очередь именно Антоновича.

Вот каковы были обстоятельства непоявления этой статьи Салтыкова на страницах «Современника» и появления ее сорока годами позднее. Все это представляет особенный интерес не только потому, что вскрывает существование внутренней редакционной цензуры для статей Салтыкова, но и потому, что окончательно решает вопрос об участии Салтыкова в произведениях «Постороннего Сатирика». До сих пор такое участие считалось несомненным, или, по крайней мере, крайне вероятным; вот почему надо было с особенной подробностью остановиться на изучении этого вопроса, чтобы избавить раз навсегда Салтыкова от сомнительной чести хоть в малой мере считаться автором этих тяжеловесных и безвкусных полемических статей. Полагаю, что теперь это может считаться установленным с совершенной неопровержимостью¹.

¹ История полемики «Современника» с «Временем» и «Эпохой» несколько раз уже излагалась историками литературы, но либо крайне предвзято и с недостаточным запасом фактических сведений, либо исключительно с «достоевской» точки зрения. Так, например, в книге А. Л. Волынского «Русские критики» (СПб. 1896 г.) Салтыкову приписаны все статьи «Постороннего Сатирика», при чем сообщается, что «Щедрин осатанел. Завязалась почти невероятная рукопашная» (стр. 415). В книге И. И. Иванова «История русской критики» (СПб. 1900 г.) вся история полемики изложена сугубо пристрастно и с совершенным незнанием творческого пути Салтыкова и его литературного веса в 1863—1864 гг.; в этом изложении имеется, однако, тот плюс, что статьи «Постороннего Сатирика» приписаны Антоновичу, но за то и тот минус, что ему приписываются уже и все «Литературные мелочи», а значит и «Стрижи». Краткое изложение полемики находим и в 23-м томе «Полного собрания сочинений» Ф. М. Достоевского (изд. «Просвещение»), где редактора ■

Теперь мы можем перейти к самому содержанию этого ответа Салтыкова «семейству М. М. Достоевского». Вступительная часть этого ответа была уже приведена выше; следует остановиться на главных и основных его пунктах. В ответ на обвинение «Эпохи», что в очерке «Как кому угодно» заключается «вариация на теорию страстей, положенная в основание универсальной ассоциации» (а это действительно было «обвинение» — и по тем временам не безопасное — в фурьеризме), — Салтыков отвечает: «шутка сказать!». Ведь «Эпоха» тут же рядом обвиняла Салтыкова и в крайнем легкомыслии, и в полном отсутствии идей — и вдруг оказывается, что в основе его очерка лежит пусть и злобедная, но вовсе не легковесная идея. К тому же Салтыков вовсе и не желает отводить от себя такое обвинение: «не желаю спорить с проницательным критиком, — говорит он, — но утверждаю, что ежели и было подобное намерение, то оно стояло на весьма отдаленном плане». Этим самым решается, однако, и вопрос об отношении Салтыкова к роману Чернышевского «Что делать?», который ведь тоже имел своей идеей фурьеризм, т. е. «теорию страстей, положенную в основание универсальной ассоциации». Поэтому Салтыков и отвечает «Эпохе», что отношение свое к роману Чернышевского может раз'яснить только ссылкой именно на этот свой очерк «Как кому угодно». Оба эти произведения построены на одной и той же идее, как признает и «Эпоха»; все расхождение лишь в практических путях.

В этом положении — центр всего ответа Салтыкова, и положение это, конечно, представляет для нас громадный интерес. От основных идей фурьеризма Салтыков, как видим, не отказывался и в середине шестидесятых годов. Не отказывался он от них и позднее.

VI

Статья «Семейству М. М. Достоевского», не появившаяся на страницах «Современника», была вообще последней статьей, написанной Салтыковым в 1864 г. для этого журнала. Начиная с се-

комментатора этого тома, Л. Гроссмана, интересуется, конечно, лишь выяснение принадлежащих Достоевскому полемических статей этой схватки. См. также статью Ю. Никольского «Сатирическая эпопея Достоевского» («Биржевые Ведомости» № 16092, от 10 февраля 1917 г.).

редины 1864 года он все более и более отходил от журнальной деятельности, почти совершенно остыв к ней. Одной из причин несомненно являлся тот цензурный террор, вследствие которого кромсались и статьи Салтыкова в «Современнике», и другие произведения, предназначенные для этого журнала. Быть может, присоединялась к этой основной причине и иная, состоявшая в расхождении Салтыкова с другими членами редакции, особенно с Антоновичем и Елисеевым, которых Салтыков иронически называл «духовной консисторией», имея в виду их происхождение из духовного звания и их образование в семинарии и духовной академии. Намек на последнюю причину можно найти в письме Салтыкова к Некрасову от 8 апреля 1865 г., когда он уже ушел из редакции «Современника» и служил в Пензе. Говоря в этом письме о намерении приехать в Петербург и написать фельетона два для «Современника», а также привезти с собою в Петербург целую повесть (несомненно — «Тихое пристанище»), — Салтыков прибавлял: «Но все это, и в особенности фельетоны, должно пройти сквозь цензуру вашей духовной консистории. Я и теперь иногда не прочь бы что-нибудь милое написать, да подумаешь-подумаешь и скажешь: чорт возьми да и совсем. Нехорошо писать даром»¹. Из этого видно, что Салтыкову приходилось терпеть не только от правительственной, но и от внутренней редакционной цензуры.

Гонения от цензуры внешней были настолько серьезны, что могли послужить решающей причиной для отказа Салтыкова от журнальной деятельности. Панаева-Головачева в своих воспоминаниях рассказывает об одном таком красочном случае, когда какой-то очерк Салтыкова был запрещен цензурой. «Салтыков явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколеть с голоду: если писатель рассчитывает жить литературным трудом, то он не заработает на прокорм своей старой лошади, на которой приехал; что одни дураки могут посвящать себя литературному труду при таких условиях, когда какой-нибудь вислouxий камергер имеет власть не только исказить, но запретить печатать умственный труд литератора, что чиновничья служба имеет пред литературной хотя то преимущество, что человека не грабят, что он каждое утро отсидит известное

¹ «Письма», т. I, № 35.

число часов на службе и получает каждый месяц жалованье, а вот он теперь и свищи в кулак. Салтыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, заметил, что не верит этому»¹. Однако в двойном ноябрьско-декабрьском номере «Современника» за 1864 год действительно появилось краткое и выразительное письмо Салтыкова на имя Некрасова: «Милостивый государь Николай Алексеевич! Оставляя Петербург, я могу на будущее время быть только сотрудником издаваемого вами журнала, не принимая более участия в трудах по его редакции. Примите уверения и пр. М. Салтыков». Так как цензурное разрешение этой книжки «Современника» помечено еще 23-м ноября, то не позднее этого времени Салтыков уже перестал быть членом редакции журнала. Впрочем, еще 6 ноября того же 1864 года он уже был назначен председателем казенной палаты в Пензе. Проведя конец года в Витгине, Салтыков уехал в Пензу лишь 8 января 1865 года. Журнальная и литературная деятельность его прервалась на три года, — если не считать помещения в «Современнике» 1866 года случайной статьи его «Завещание моим детям», характерной уже по самому своему заглавию.

Расставаясь с Салтыковым-писателем на три года, познакомимся в заключение с газетными и журнальными отзывами о его литературной деятельности тех двух годов, когда он был одним из главных сотрудников «Современника», заполнив сотни страниц журнала художественным, критическим и публицистическим материалом. Значительное большинство этих статей являлось анонимным, что не мешало и читателям, и критикам сразу узнавать Салтыкова по своеобразному стилю его произведений. Кроме того, в начале и середине 1863 года вышли, как мы знаем, два сборника произведений Н. Щедрина, на которые отозвалась и дружеская, и враждебная критика. Последней было больше, в виду обостренных отношений к «Современнику» целого ряда журналов и газет — и радикального, и либерального, и консервативного направления. «Русский Вестник» и «Московские Ведомости» не оставляли Салтыкова своим озлобленным вниманием, но не менее разносительную статью о нем написал в 1864 году и главный критик «Русского Слова», Писарев, положивший в основу этой статьи («Цветы не-

¹ Авдотья Панаева, «Воспоминания» (Л. 1927 г.), стр. 497.

винного юмора») высказанные годом раньше взгляды Достоевского на Салтыкова, как на «зубоскала», «мелководного» сатирика, отличающегося дешевой «литературной игривостью», подносящего читателям «цветы удовольствия» и являющегося представителем невинного и зубоскального «искусства для искусства». С другой стороны, раздавались и восторженные отзывы; провозглашалось, что «сатиры г. Щедрина с удовольствием и с пользою прочтутся не только нашими детьми, но, пожалуй, и внуками»¹. Больно уязвленная Салтыковым газета «Куриное Эхо» («Голос») в большой анонимной статье сравнивала Салтыкова с Гоголем, упрекая первого за отсутствие «любви» и «снисхождения», но все же волей неволей признавая за ним большой талант, который донесет до потомства и типы людей шестидесятых годов, и самый «дух времени» этой эпохи². Обиженный Салтыковым двумя годами ранее сановный крепостник В. Ржевский не упустил случая кольнуть сатирика в своих литературных фельетонах, которые писал под псевдонимом Василия Заочного в официозной «Северной Почте»³.

Таких примеров можно было бы привести еще десятки; оставляя их в стороне, следует все же обратить внимание на ядовитые выпады против Салтыкова, которые мы найдем в газете «Якорь» и в сатирическом приложении к нему, журнальчике «Оса», — и обратить внимание хотя бы потому, что выпады эти принадлежат перу большого писателя, Аполлона Григорьева, и к тому же совершенно неизвестны ни читателям, ни даже исследователям деятельности Салтыкова. Аполлон Григорьев, глава «почвенников» и ближайший сотрудник «Времени» и «Эпохи», редактировал в это время «Якорь» и «Осу», — и, конечно, не мог не отозваться на выступления Салтыкова в «Современнике». Уже в первом номере «Осы» за 1863 год Аполлон Григорьев, скрывшись под псевдонимом «Ненужного Человека», написал большое стихотворение — «Торжественную оду на благополучное возрождение «Свистка», на все-

¹ «По поводу сатир Н. Щедрина», статья Окнерузам (анаграмма Мазуренко) в «Народном Богатстве» 1863 г., №№ 256 и 258.

² «Голос» 1863 г., № 108.

³ Тожество Василия Заочного с В. Ржевским выясняется из февральского «Дневника» Никитенки, бывшего тогда редактором «Северной Почты», и из сравнения этого дневника с номером этой газеты от 28 февраля 1862 г.

радостное появление последнего благовонного очерка г. Помяловского и на другие, не менее великие в русской словесности события», посвятив эту оду «юному, но могучему племени нигилистов». Имея в виду сатиру Салтыкова, автор оды писал:

Настала зрелость мысли, слова ясность,
Ненужен скоро будет и язык..
Писатель русский, брось ты труд сугубый!
К чему писать? Настала дел пора.
Рычи, мычи—да в ухо или в зубы!
Живее в кнутья, братья-кучера!

В следующем же, втором номере «Ось» за 1863 год, в статье «Слухи по поводу вновь появившегося в Современнике Свистка»—приводится следующий разговор «любителя свиста» со «Свистком»:

Любитель свиста (с грустью).

Отчего, Свисток, ты мрачен,
Не остер и бестолков?

Свисток (с грустью).

Ах, свистеть в меня назначен
Н. Щедрин (М. Салтыков)!
(Озлобленно).

И не стал он сам свистать:
Вздумал Змиева послать.
А уж это что за свист?..
Сей недавний нигилист
Увлекается одной
Лишь карманною дырой.
Я, «Свисток», в его руках
Безобразен так, что страх..

В ответ на стихотворение Салтыкова «Самонадеянный Федя», направленное против Достоевского, «Оса» помещает свое восьмистишие, сопровождая его следующими словами: «говорят, что скоро появится в свет некая пиима, зовомая «Аннигилизированный Змиев, или Уязвленное Самолюбие», начинающаяся следующими стихами:

Змиев мнил: «Что лезть мне в князи,
В сильные земли;
Дай наемся лучше грязи,
Окунусь в пыли».
Как-то раз, припомнив —бова,
Он свистком играл,
Острога искавши слова,
Пальцем вдруг попал..

а куда — это объясняется в самой пьесе, имеющей оказаться явным подражанием сказке, задуманной в Свистке Современника». Тут же рядом новый выпад против Салтыкова: «говорят, что г. Змиев по скромности утаил свое первое произведение, но мы по нескромности рискуем его напечатать.— Вот оно:

Нет, не Щедрин я, а другой,
Еще неведомый сатирик:
Глубок, как он, но только лирик
И с нигилистскою душой.
Я начал позже, кончу ране,—
Да и понятно почему:
Ведь мой предмет—дыра в кармане,
Нельзя ж всю жизнь служить ему!

Дважды упоминавшаяся выше «дыра в кармане» говорит о следующих строках Салтыкова из первой его «Московской песни» в «Свистке»:

Брат! Не надуешь дырой!
Хоть и с дырой, а все пой!

Все это появилось только в одном № 2 «Осы»; в следующих номерах Салтыкову уделялось еще больше внимания. Тут и слу-чайные уколы в двух строках:

Скажите мне: как вдруг Щедрин решился
На службу «в нигилисты» поступить?

Тут и целые большие эпиграммы, в роде, например, следующей:

Учитель приказал—будь нигилистом, друг,
Работа легкая—свищи и прыгай с нами—
В «Свистке» иль «хронике»—хоть прозой, хоть стихами...
И пишет, пишет он. А как вторым-то вдруг
Окажется москвич учителем по счету,
Уж он наверное трудней задаст работу.
Не напечатает он и в смеси стихи,
Невинной юности нелепые грехи.
Прикажет позабыть все эти там идеи,
Пера игривого лукавые затеи.

Этот «москвич» — конечно, Катков, в журнал которого мог якобы переметнуться Салтыков. В большом стихотворении «Выспренний Кулерберг», с подзаголовком «Нечто в роде Вальпургиевой ночи, только гораздо грязнее», Мефистофель и Фауст на русском журнальном Брокене встречают ряд писателей; среди них выступает и —

Журнальный Виц-губернатор.

Я журнальный генерал,
Все на свете знаю;
Всех ругая наповал,
Деньги наживаю.

Сатирическая журнальная литература шестидесятых годов почти совсем не изучена (исключение составляют журналы «Искра» и «Весельчак», исчерпывающе описанные И. Ф. Масановым); тем интереснее было остановиться на мало известном журнальчике, руководимом к тому же Аполлоном Григорьевым, и познакомиться, как этот идейный враг Салтыкова расправлялся с ним на страницах своего журнала. Это отношение к Салтыкову очень показательное: не только Аполлон Григорьев, но и другие современные ему журналисты и писатели пребывали в недоумении о причинах связи Салтыкова с «нигилистами». Мы теперь хорошо знаем эти причины, так как видели путь развития Салтыкова в 1860—1862 гг., когда он печатал на страницах «Современника» свой глуповский цикл. «Нигилистом» Салтыков не был, как не был выразителем этого течения и сам «Современник», напротив того, боровшийся с представителями идей нигилизма, писавшими тогда в «Русском Слове». С «Современником» Салтыкова связал не «нигилизм», а соединила общая политическая и социальная платформа. Понятие «народа» недаром было основным и для Салтыкова, и для «Современника»; заложенные Герценом и Чернышевским основы социалистического народничества, получившие окончательное развитие лишь в семидесятых годах, продолжали развиваться в «Современнике» и после насильственного удаления из него Чернышевского. Мы видели, что в своих публицистических статьях Салтыков совершенно определенно примкнул к этой мало-по-малу выявлявшейся тогда точке зрения.

Работа Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг. была громадна не только по количеству написанного им за эти два года, но и по значению этого написанного в общей истории всего литературного творчества Салтыкова. Не говоря уже о том, что за эти годы на страницах «Современника» Салтыков закончил глуповский цикл, дал в очерке «Как кому угодно» первый и ясный набросок темы будущих «Благонамеренных речей», написал первые четыре очерка будущих «Помпадуров и помпадурш», — в это же время им был написан глубоко замечательный цикл статей «Наша общественная жизнь», в которых Салтыков, после глуповского цикла,

окончательно выработал свой стиль, свои темы, способ подхода к ним и свой язык. После трехлетнего вынужденного службой пробела в литературной работе, Салтыков достиг вершин литературного развития уже в самых первых своих произведениях конца шестидесятых и начала семидесятых годов.

VII

«По приказу г. министра финансов от 6 ноября 1864 г. за № 38 назначен председателем Пензенской казенной палаты», — так гласит формуляр Салтыкова и так начался второй и последний период его службы на высших административных должностях в провинции. Служить ему очень не хотелось, и уже назначенный в Пензу он писал в середине декабря Анненкову из Витенева: «Я живу еще в деревне; дела мои до того гадки, что я собственно для того, чтобы не видать их, уезжаю в Пензу 2-го или 3-го будущего месяца. А как туда ехать противно — не можете себе представить»¹. В Пензу он уехал 8 января 1865 года и прослужил в этом городе почти два года, когда «высочайшим приказом по министерству финансов от 11 ноября 1866 г. за № 15» был переведен на ту же должность управляющего казенной палатой в Тулу. Еще через год, 13 октября 1867 года, был переведен на ту же должность в Рязань, где и закончил свою службу — увольнением по прошению в отставку 14 июня 1868 года. За это время службы он был произведен в «действительные статские советники» (2 декабря 1866 г.), над которыми не уставал издеваться почти во всех дальнейших своих произведениях.

Подробный рассказ о служебной деятельности Салтыкова за эти три с половиной года не входит в задачу настоящей монографии; к тому же архивные материалы об этой деятельности, лишь недавно открытые в провинциальных архивах, подлежат еще специальной обработке. Лишь в 1925 году в архивах Пензенской казенной палаты найдены были десять дел, имеющих отношение к служебной деятельности Салтыкова в Пензе и в значительной части написанных его рукой². Сохранились и воспоминания разных лиц об этих годах провинциальной службы Салтыкова; сохранились сведения о резкой ведомственной переписке его с тульским

¹ «Письма», т. I, № 32.

² «Правда» 1926 г., № 23.

губернатором Шидловским, впоследствии ставшим начальником главного управления по делам печати как раз в те годы, когда Салтыков стал одним из редакторов «Отечественных Записок»¹. Сохранился, наконец, и ряд писем Салтыкова за эти годы к Некрасову, Анненкову и другим петербургским и московским знакомым. Все эти материалы позволяют повторить об этой новой служебной деятельности Салтыкова то самое, что было сказано по поводу его вице-губернаторства в Рязани и Твери несколькими годами ранее: величайшая служебная требовательность и добросовестность, борьба со всеми «посторонними влияниями», постоянная неудовлетворенность в чуждой атмосфере и попытки вырваться из нее в область литературы. Последние попытки за все это время оставались неудачными, и за три с половиною года Салтыков напечатал только одну статью «Завещание моим детям» в «Современнике» 1866 года; об этой статье у нас будет речь при разборе цикла «Признаки времени», в который она впоследствии вошла.

Оставляя служебную деятельность Салтыкова за эти годы в стороне, остановимся только на его литературных планах, сведения о которых дошли до нас в его письмах. В самом начале пребывания в Пензе, рассказывая в письме к Анненкову от 2 марта 1865 года о разных административных губернских безобразиях, Салтыков прибавлял: «У меня начинают складываться Очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно скучился этот навоз — просто любо. Ничем не разобьешь»². Из предполагавшихся «Очерков города Брюхова» ничего не вышло, но несомненно, что материал, собранный для них, вошел впоследствии в «Помпадуров и помпадурш» и в «Историю одного города».

Почти в это же самое время (8 апреля 1865 г.) Салтыков писал Некрасову, что посылает ему «нечто» для помещения в «Современнике», и обещал привезти с собой к осени в Петербург повесть, а также написать для «Современника» в Петербурге один-

¹ И. М. Михайлов, «М. Е. Салтыков в Туле» («Исторический Вестник» 1902 г., № 1); см. также «Труды Тульской Губернской Ученой Архивной Комиссии» (Тула 1915 г.), кн. II, стр. 257—262, и «Русский Филологический Вестник» 1916 г., № 1—2, стр. 68.

² «Письма», т. I, № 34.

два фельетона¹. Из всего этого тоже ничего не вышло: «нечто», посланное из Пензы, не было напечатано в «Современнике», и нам неизвестно, что это было такое. «Повесть», которую Салтыков обещал привезти к осени в Петербург — вероятно, «Тихое пристанище», которую Салтыков однако так и не напечатал до конца своей жизни.

Самый интересный вопрос — о тех фельетонах, которые Салтыков собирался написать для осенних номеров «Современника» 1865 года. Тщательное изучение номеров журнала за этот год позволяет остановиться на одной анонимной публицистической статье, и заглавие и стиль которой чрезвычайно напоминают манеру Салтыкова. Это — статья «Скромные упражнения», помещенная в качестве первой главы начинающегося цикла в сентябрьской книжке «Современника» 1865 года. Особенно соблазнительно приписать эту статью Салтыкову в виду той фразы, которую мы встречаем на первой же странице: «Года два тому назад я тоже вот как теперь принялся было писать всякую всячину, предполагал нечто в роде фельетона завести, и бросил на другой же месяц». Если вспомнить, что именно за два года до этого, в августовской книжке «Современника» за 1863 год, Салтыков попытался «завести фельетон», под заглавием «Как кому угодно» и с подзаголовком «Рассказы, сцены, размышления и афоризмы», — т.-е. именно фельетон о «всякой всячине», то естественно возникает мысль, что «Скромные упражнения» принадлежат перу Салтыкова, особенно если иметь в виду несомненное сходство стиля и оборотов. Однако последний признак часто является опасным критерием, а в данном случае решающую роль в отрицательном смысле снова играет сохранившаяся конторская книга «Современника» за 1865 год². На странице 141 этой книги имеется, правда, счет Салтыкова, но из этого счета видно что в 1865 году Салтыков ничего не печатал на страницах журнала, и в счете его отмечен лишь старый долг его в несколько сот рублей «Современнику», увеличенный еще на 150 рублей, взятых взаймы Салтыковым у Некрасова. Таким образом «фельетоном», написанным Салтыковым в Петербурге осенью 1865 года, должен считаться очерк «Завещание моим детям», появившийся в январском номере «Современника» за 1866 год.

¹ «Письма», т. I, № 35.

² Бумаги Пушкинского Дома, из архива Ипп. Панаева.

Этим исчерпывается все известное нам о литературных планах и работах Салтыкова за три года службы его в провинции, до 1868 года. За это время в середине 1866 года, после выстрела Каракозова, был навсегда закрыт «Современник»; полутора годами позднее Некрасову удалось взять в свои руки «Отечественные Записки», редакцию которых он стал организовывать с осени 1867 года, пригласив к ближайшему участию в ней Салтыкова, служившего тогда в Рязани. Началась деятельная работа Салтыкова по редактированию присылавшихся ему Некрасовым рукописей и по подготовке своего материала, публицистического и художественного, для первых же номеров журнала новой редакции.

Но все это — уже новая глава в жизни и творчестве Салтыкова, даже не глава, а новая часть. Службой в Рязани Салтыков завершил круг своей административной деятельности шестидесятых годов: начал он ее вице-губернатором в Рязани в начале 1858 года и закончил управляющим казенной палатой в Рязани же, выйдя в отставку в середине 1868 года, чтобы всецело и навсегда отдаться литературной деятельности. Рязанью началось и кончилось служебное поприще Салтыкова на высоких административных постах; в течение десятилетия круг был завершен.

Существует версия, закрепленная в известных воспоминаниях д-ра Белоголового, по которой и начало и конец служебной деятельности Салтыкова связаны были с личным желанием Александра II. В эпоху своего временного «либерализма», в 1858 году, Александр II считал возможным и желательным назначить вице-губернатором такого «либерального» писателя, каким считался после «Губернских очерков» Салтыков; в годы реакции, в 1868 году, Александр II предписал уволить Салтыкова «по прошению» со службы, считая недопустимым совмещение высокой провинциальной должности с вольнодумной деятельностью в литературе. Версия эта, особенно во второй своей половине, весьма сомнительна: как раз в последние три-четыре года своей службы Салтыков почти совершенно не появлялся в журналах и не мог своими статьями обратить на себя неблагосклонное высочайшее внимание. Отставка его в середине 1868 года объясняется совсем другими причинами — и в первую очередь желанием всецело отдаться той самой литературе, с которой Салтыков «навсегда прощался», уходя из «Современника» в конце 1864 года.

Начинался новый период жизни и творчества Салтыкова, главнейшая часть его жизненного и литературного пути, отмеченная семнадцатилетней работой его во главе «Отечественных Записок». Этому второму и главнейшему периоду творчества Салтыкова посвящена вторая часть настоящей монографии; первую же надо закончить кратким подведением итогов литературной деятельности Салтыкова в шестидесятых годах.

Появление в 1856—1857 гг. «Губернских очерков» встречает восторженный прием; имя Щедрина становится знаменитым; он является главою «обличительной литературы», заполняющей в эти первые годы «эмансипации» чуть ли не все страницы журналов. Но Салтыков, вместе с Добролюбовым и Чернышевским, скоро охладевает к этой измельчавшей литературе и отходит от нее, пытаясь найти новые пути для своего творчества. Попытки продолжить «Губернские очерки» и написать в старых тонах новую «Книгу об умирающих» сам же Салтыков признает неудачными; в поисках новых путей, общественных и литературных, он переходит от обличительных очерков к социальной сатире. Появляется отдельными очерками замечательный «глуповский цикл», к сожалению не сведенный впоследствии в отдельную книгу (вероятнее всего — по цензурным причинам), но и в разбросанном виде показывающий, какой огромный шаг сделал Салтыков, как верно нащупал он свой будущий своеобразный путь в литературе. Журнальная работа в «Современнике» 1863—1864 гг. позволяет Салтыкову еще более осознать найденную им новую форму, особенно в замечательной хронике «Наша общественная жизнь» и в первых очерках будущих «Помпадуров и помпадурш». Затрагиваются новые темы, которые впоследствии будут развиты в целом ряде отдельных циклов; оформляется общественное мировоззрение, обобщающее прежний узкий вопрос о «бюрократии» и «земстве» в широкую проблему «власти» и «народа». В ближайшем же произведении конца шестидесятых и начала семидесятых годов все это заострится — в замечательной «Истории одного города», которая покажет, что Салтыков не только нашел свой путь, но достиг уже в этом произведении и вершин его.

По этому новому пути нам и предстоит теперь пройти с Салтыковым вторую половину его жизни и творчества, до конца его литературной деятельности.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абаза А. А.**— 190.
Абаза Н. С.— 190.
Авдеев М. В., беллетрист — 293.
Адлерберг В. Ф., гр., министр двора—
 182, 263.
Аксаков И. С.— 265, 277, 308, 309,
 311, 313, 331, 357.
Аксаков С. Т.— 132, 265.
Аксаковы — 198.
Алабин, рязанский помещик — 162.
Александр II — 34, 152, 157, 190, 279,
 282, 283, 375.
Александр III — 34.
Александров А.— 89, 90.
Алексей Михайлович, царь — 118.
Алексеев В.— 90.
Андреев, жандармский полковник—56.
Анненков П. В.— 37, 57, 107, 145, 158,
 163, 165, 186, 199, 203, 207, 210, 217,
 228, 247, 278, 290, 356, 372, 373.
Анненков Н. Н.,— генерал-адъютант—
 89.
Антонович М. А.— 22, 303, 305, 318,
 340, 353, 356, 360, 362, 364, 366.
Арсеньев К. К.— 22, 43, 47, 61—63, 66,
 94, 115, 119, 251.
Аскочешский В. И.— 276.
Афанасьев, рязанский помещик — 162.
Афанасьев-Чужбинский А. С., беллетрист-этнограф — 144.
Абаф — 171.
Байрон — 48.
Бакунины — 156.
Барановский, петрашевец — 55, 56.
Бауэр, Бруно — 81.
Безобразов В. П.— 123, 179, 186, 189,
 193, 199, 228.
Безобразов М. А.— 228.
Безобразов Н. А.— 228, 321, 323.
Беккер — 61, 63, 64, 66, 68.
Белинский В. Г.— 27, 43, 51, 59, 66--
 68, 75, 76.
Белоголовый Н. А., др.— 54—56, 75,
 375.
Бенедиктов В. Г.— 47, 48.
Беницкий М.— 321, 323.
Берг Н. В.— 322.
Берг Ф. Н., поэт — 336, 342—344,
 346.
Бернар, Сара — 178.
Бибиков Д. Г., министр внутренних
 дел — 97, 100, 103.
Боборыкин П. Д.— 283, 284.
Б-ов А.— псевдоним А. С. Суворина—
 142.
Болтина Е. А., впоследствии жена
 М. Е. Салтыкова (см. Салтыкова
 Е. А.)— 29, 115, 117.
Боткин В. П.— 76.
Бранд, рязанский помещик — 162.
Буковский, рязанский помещик — 162.
Булгарин Ф. В.— 120.
Бунаков Н. Ф.— 131, 146, 147.
Бурачек С. А.— 26.
Буренин В. П.— 284.
Бутурлин Д. П.— 89.
Быстротсков А. А.— 321.
Валуев П. А., министр внутренних
 дел — 238, 275.
Васильевская А. П., гувернантка Салтыкова — 25.
Вельман А. Ф.— 321, 323.
Веляшев, майор — 160, 161.
Вернадский И. В.— 256.
Верн, Юлий (Жюль Верн)— 321, 326.
Веселкин, рязанский помещик — 162.
Веселовский К. С.— 88.
Вингольд — 60.
Вишневецкий, рязанский чиновник —
 215.

- Волф А. И.— 83, 267.
 Высота А.— 322.
 Вяземский П. А., кн.— 85.
- Гаврила, крепостной мальчик** — 160, 287.
- Гагарин П. П., кн.— 282.
 Гаевский В. П.— 26.
 Гайдуков В. М.— 161.
 Гаферланд, рязанский помещик — 162.
 Ге Н. Н.— 312.
 Гезиод — 23.
 Гейне — 39, 48, 322, 325.
 Генкель В. Е.— 199.
 Георгиевский П. П.— 41, 42.
 Гербель Н. В.— 344, 346.
 Герцен А. И.— 73, 90, 93, 130, 141, 147, 148, 155, 159, 170, 206, 220, 224, 254, 278, 283, 311, 371.
 Гизо — 51, 87.
 Гиппиус Вас. В.— 217.
 Гнейст — 229.
 Гоголь Н. В.— 74, 77, 122, 131, 140, 143, 146, 147, 183, 368.
 Голицын А. Ф., кн.— 281.
 Головачев Алексей А., тверской землец — 155, 164, 240, 248, 249, 258, 259, 322, 326.
 Головачев Апполон Ф., публицист — 240, 355.
 Головин, тверской мировой посредник — 313.
 Головнин А. В., министр народного просвещения — 232, 235, 239, 250, 277, 282.
 Гонкуры, бр.— 300.
 Гончаров И. А.— 195, 293, 346.
 Горлов И. Я.— 42.
 Горский П., беллетрист — 340.
 Грангильо — 302.
 Гребенка Е. П., беллетрист — 74.
 Греков Н. П., поэт — 322.
 Греч Н. И.— 120.
 Григорович Д. В.— 293, 346.
 Григорьев, Апполон — 55, 340, 343, 344, 349, 368—371.
 Гроздов, учитель русского языка — 26.
 Громека С. С., жандарм, публицист — 277, 234, 311, 340.
 Гроссман Л.— 365.
 Грот Я. К.— 85.
 Губер Э. И., поэт — 47, 48.
 Гурин К.— псевдоним Салтыкова — 295, 297.
 Гюго, Виктор — 337.
- Даль В. И.**— 136, 194.
 Данилевский Г. П. (см. также А. Скваронский) — 326, 334, 335, 345—347,
 Данилевский Н. Я.— 55.
 Джаншиев Г. А.— 154, 223.
 Дмитриевский, рязанский чиновник — 215.
 Дмитриев Ф.— 174.
 Добролюбов Н. А.— 136, 137, 141, 143, 144, 147, 148, 206, 207, 220, 223, 278, 318, 326, 329, 351, 359, 376.
 Долгомостьев И. Г. (см. также Игдев) — 305.
 Долинин А. С.— 361.
 Достоевская Э. Ф., жена М. М. Достоевского — 361.
 Достоевский М. М.— 187, 206, 221, 277, 284, 303, 305, 320, 328, 335, 336, 338—340, 342—349, 361.
 Достоевский Ф. М.— 55, 74, 77, 78, 206, 230, 247, 248, 254, 277, 303, 304, 320, 328—331, 333, 335—340, 247—356, 359, 361—364, 368, 369.
 Дризен Н. В., бар.— 161.
 Дрейер, сарапульский городничий — 96, 97, 142.
 Дружинин А. В.— 39, 123, 163, 187, 206, 207, 248, 302, 303.
 Дудышкин С. С.— 217, 218.
- Европеус, петрашевец** — 53, 155, 248, 249, 258, 259.
 Егоров С. Н.— 161, 162, 215.
 Екатерина II — 31.
 Елагин В. Н., беллетрист, подражатель Салтыкова — 144.
 Елисеев Г. З., публицист — 366.
 Ельчугин, Галахтион — вятский помещанин, раскольник — 101, 102.
 Емельянов В.— 90, 116.
 Есаков, петрашевец — 55, 56.
- Жемчужников А. М.**— 21.
 Живицкий, вятский исправник — 143.
 Жорж Занд — 51, 52, 57, 72, 73, 111.
- Забелина** — см. Салтыкова О. М.
 Загоскин М. Н.— 324.
 Заичневский, революционер— 279, 280.
 Зайцев, Варфоломей, публицист — 288, 318, 319, 358, 359.
 Зальц, барон, петербургский комендант — 89.
 Занд, Жорж.— см. Жорж Занд.
 Заочный, Василий — псевдоним В. Ржевского (см.).

- Зиссерман А. Л., генерал — 131.
 Злобин, рязанский помещик — 162.
 Змиев-Младенцев, Михаил — псевдоним Салтыкова — 330, 337, 369, 370.
 Золя — 300.
 Зотов В. Ф. — 26, 53.
 Zubовский Н., проф. могилевской семинарии — 61, 63, 69, 70.
 Иван, крепостной мальчик — 160, 287.
 Иван Васильевич, священник, учитель Салтыкова — 25.
 Иванов И. И. — 364.
 Иванюков И. И. — 157.
 Игдев — повседоним И. Г. Долгомостьева — 305.
 Ижболдин, вятский купец — 143.
 Ионин Н. В., вятский доктор — 135, 142.
 Иабэ — 51.
 Кавалин К. Д. — 141, 157.
 Кайданов И. К., педагог, историк — 42.
 Кайданов, петрашевец — 55, 56.
 Камская М. — псевдоним М. Ф. Каменской-Толстой — 322.
 Капнист В. В. — 141.
 Каракозов, революционер — 278, 282, 283, 375.
 Карцев, библиограф — 216, 353.
 Касьянов — псевдоним И. С. Аксакова — 311.
 Катков М. Н. — 122, 123, 170, 217, 218, 229, 230, 254, 255, 276, 277, 280—282, 298, 302, 305, 314, 329, 331—333, 335, 338, 339, 349, 370.
 Кашкин, петрашевец — 53.
 Кехрибарджи, издатель — 128.
 Кислинская, рязанская помещица — 160, 161, 287.
 Китаев, уральский раскольник — 100.
 Княжевич, А. М., министр финансов — 239.
 Кокорев В. А., откупщик, публицист — 209, 210, 218, 266, 268.
 Колбасин Е. Я. — 145.
 Колчины, вятские купцы, раскольники — 98.
 Кольцов А. В. — 352.
 Кони А. Ф. — 142.
 Консидеран — 53, 57.
 Константин Николаевич, вел. кн. — 150.
 Корнилов А. А. — 283.
 Корш В. Ф. — 169, 221, 277, 308.
 Косица — псевдоним Н. Н. Страхова (см.) — 336, 338, 340.
 Костомаров, Всеволод, провокатор — 281, 312.
 Костомаров Н. И., историк, украинец — 321, 323, 339.
 Кохановская — псевдоним Н. С. Соханской, беллетристка — 289, 290, 321, 325.
 Кошанский Н. Ф. — 25.
 Кошелев А. И., славянофил, рязанский земец — 141, 157, 198.
 Краевский А. А. — 59, 64, 217, 218, 277, 284, 302, 307, 308.
 Кранихфельд В. П. — 113, 138, 260.
 Крестовский, Всеволод — 321, 323.
 Кривенко С. Н. — 79.
 Крылов А., цензор — 85.
 Кудрявцев П. Н., беллетрист — 27, 28, 74, 77, 78, 121.
 Кузнецов, вятский купец — 143.
 Кукольник, Н. В. — 89, 113.
 Кулиш, украинский деятель — 339.
 Курочкин В. С. — 217.
 Куцинский, генерал — 130.
 Кушнерев И. Н., беллетрист, подражатель Салтыкова — 144.
 Лавров П. Л. — 311.
 Ланская М. Н., бывшая жена А. С. Пушкина — 116.
 Ланской П. П., генерал-адъютант — 116.
 Ланской С. С., министр внутренних дел — 238, 249.
 Лажечников И. И. — 321, 323.
 Львов В. В., кн. — 321, 325.
 Лебедев П. С. — 61, 62.
 Левшин А. И. — 157.
 Лемке М. К. — 89, 115, 144, 250, 283, 284.
 Леонов, рязанский чиновник — 215.
 Леонтьев, Константин — 322, 327.
 Леонтьев П. М. — 41, 314, 332.
 Лермонтов М. Ю. — 47, 48.
 Леру, Пьер — 57, 73.
 Лихачев В. — 142.
 Лонгинов М. Н. — 218, 219, 298, 314.
 Луи-Филипп — 51.
 Лябрюйер, автор книги «Les Caractères» (1688 г.) — 216, 219.
 Мазаев, библиограф — 216, 353.
 Майков А. Н. — 47, 48, 292, 322, 326.
 Майков В. Н. — 55, 56, 59, 326.
 Макаров Г. И., вятский чиновник — 142.

- макаров Н. П., лексикограф и беллетрист, — 209.
- Максимов-Евгеньев В. Е. — 285.
- Мальгин, пермский помещик, раскольник — 99.
- Марко-Вовчок — псевдоним М. А. Маркович (см.).
- Маркович М. А. — 322, 326.
- Масанов И. Ф., библиограф — 217, 371.
- Махаев, вятский лесничий — 184.
- Мачтет Г. А., беллетрист — 158.
- Мельгунова, рязанская помещица — 162.
- Мельников-Печерский П. И. — 100, 102, 107, 144, 151.
- Мельхиседек, раскольник — 103.
- Меньшиков А. С., кн. — 88.
- Мехелин А., цензор — 85.
- Миль, Дж.-Ст. — 69, 70.
- Милютин В. А. — 55, 59, 71, 153.
- Милютин Д. А., военный министр — 41.
- Милютин Н. А. — 41, 153, 154.
- Миша Иванова, содержанка гр. Адлерберга (см.) — 182, 263, 358.
- Михайлов И. М. — 373.
- Михайлов М. И., писатель, революционер — 270, 280.
- Михайлова Акулина, раскольница — 101, 102.
- Михайлова Ольга, крепостная портниха — 160, 287.
- Михайловский Н. К. — 148, 311.
- Модерский, петрашевец — 55.
- Мокеева — см. Тарсилла.
- Монументов В., — псевдоним В. П. Буренина — 284.
- Муравьев М. Н., гр. — 282.
- Муравьев Н. М., сын предыдущего, рязанский губернатор — 163.
- Мусин-Пушкин М. Н., гр. — 42.
- Мюссе, Альфред — 322, 327.
- Назимов В. И.,** виленский генерал-губернатор — 152.
- Некрасов Н. А. — 31, 59, 77, 123, 145, 146, 148, 206, 207, 231, 235, 269, 283, 284, 287, 329, 330, 334, 335, 346, 351, 355, 362—364, 366, 367, 373, 375.
- Ненужный Человек — псевдоним Аполлона Григорьева (см.).
- Непанов М. — псевдоним Салтыкова — 71.
- Никитенко А. В. — 173, 281, 368.
- Николай I — 115, 120, 141.
- Никольский Ю. — 365.
- Новоселова, она же «лже-инокия» Павлина — 101, 104.
- Норов А. С., министр народного просвещения — 144.
- Оболенский Д. Д.,** кн. — 160.
- Обручев В. А. — 247, 279.
- Ожье — 302.
- Окнерузам (анаграмма Мазуренко), публицист — 368.
- Оксман Ю. Г. — 250.
- Орлов А. Ф., гр., впоследствии кн., шеф жандармов — 89, 90, 228.
- Орлов-Давыдов В. П., гр. — 154.
- Островский А. Н. — 121, 122, 179, 180, 340.
- Павлова, Каролина** — 321, 324.
- Павлов Н. Ф., публицист — 333.
- Павлов П. В., историк — 132, 181, 193, 195—197, 211, 280.
- Панаева - Головачева, Авдотья — 31, 366.
- Панаев И. И. — 27, 28, 46, 47, 65, 74, 77, 78, 113, 121, 219, 304.
- Панаев, Ипп. — 355, 374.
- Пантелеев Л. Ф. — 60, 123, 145.
- Перовский Л. А., гр., министр внутренних дел — 89.
- Петр I — 118.
- Петровский В., географ — 60.
- Петерсон — 338, 340, 342, 344.
- Петрашевский М. В. — 53, 59, 85.
- Петров, Антон — 170.
- Писарев Д. И. — 66, 67, 240, 278—280, 289, 299, 318, 337, 358, 367.
- Писемский А. Ф. — 121, 206, 207, 283, 284, 293, 299, 300, 312.
- Плетнев П. А. — 27, 85.
- Плещеев А. Н., поэт, петрашевец — 55, 56, 79, 247, 248, 254, 258, 280, 322, 326.
- Повалишин А. — 162.
- Погодин М. П. — 118, 141.
- Полевой Н. А. — 26, 230.
- Попов Н. И., историк раскола — 322.
- Посторонний Сатирик — псевдоним М. А. Антоновича (см.).
- Потапов А. Л., управляющий III Отд. — 284.
- Потехин Н. А. — 322.
- Пржецлавский, цензор — 287, 288, 296, 297, 306, 308.
- Прудон — 57, 76.
- Путятин Е. В., гр., министр народного просвещения — 239.

Пушкин А. С.— 26, 44, 46, 73.
Пыпин А. Н.— 28, 204, 205, 235, 285,
294, 295, 320, 330.
Пятковский А. П.— 222, 321.

Рабле — 32.

Раевский, беллетрист — 142.

Рашкевич, жандармский штабс-капитан — 90

Редкин П., детский писатель — 60, 61.

Рейтерн М. Х., гр., министр финансов — 239.

Ржевский В. П.— 154, 166, 167, 169,
174, 219, 228, 229, 231, 264, 276,
303, 314, 318, 368.

Ришом — 60.

Россини (его опера «Вильгельм Телль») — 82, 83, 299.

Рубенс — 300.

Сакулин П. Н.— 76, 79, 80.

Салмин М. П., — учитель Салтыкова — 25.

Салтыков Евг. Вас., отец М. Е. Салтыкова — 36, 70, 74, 75, 115.

Салтыков Д. Е., — брат М. Е. Салтыкова — 37, 291.

Салтыков К. М., сын М. Е. Салтыкова — 128.

Салтыкова А. П., свояченица М. Е. Салтыкова — 38.

Салтыкова Е. А., жена М. Е. Салтыкова (см. Е. А. Болтина) — 117, 128.

Салтыкова О. М., мать М. Е. Салтыкова — 33, 37, 74, 75, 164, 198, 199,
290.

Самарин Ю. Ф.— 141, 157, 174.

Сарду — 302.

Свечин — 97.

Свифт — 32.

Селиванов И. В., беллетрист, подражатель Салтыкова — 144.

Семевский В. И.— 53, 54, 56, 80,
84, 170, 228.

Семевский М. И.— 110.

Семенов, петрашевец — 55.

Семенов, вятский губернатор — 115,
142.

Семенов Н. П., сенатор — 26, 157.

Сенека — 71, 72.

Сенковский О. И.— 26.

Сен-Симон — 51, 80, 84.

Середа, вятский губернатор — 90, 142.

Серно-Соловьевич Н. А., революционер — 279, 280.

Симановский, тверской жандармский подполковник — 159, 239.

Ситников Ананий он же «лже-инок» Анатолий, уральский расколник — 96, 98, 102—103, 107, 115, 116, 138,
139, 143.

Ситниковы, Леонтий и Герасим, раскольники — 101, 102.

Скабичевский А. И.— 49, 89.

Скавронский А.— псевдоним Г. П. Данилевского (см.) — 322, 326, 334,
346, 347.

Скавронский Н.— 334.

Скарятин В. Д.— 276, 303.

Скребицкий А. И.— 157.

Смагин Тимофей, вятский мещанин, расколник — 96, 97, 102—105, 107.

Смагина, раскольница — 101.

Смирдин А. Ф., издатель — 199.

Смит, Адам — 57.

С-н И.— 322.

Соллогуб В. А., гр.— 136, 185.

Спасская Л. Н.— 116, 135, 142.

Спешнев, петрашевец — 53.

Стасюлевич М. М.— 27, 76, 112, 123,
124, 132, 138, 179, 186, 187, 189,
197, 200, 211, 214, 216, 219, 224,
227, 232, 265, 292.

Страхов Н. Н.— 336, 333, 340, 342,
344, 345, 357—361, 363.

Строганов С. Г., гр.— 232.

Студийский А. Е.— 137.

Стыдливый Библиограф — псевдоним Салтыкова — 216, 217.

Суворин А. С.— 142, 303.

Суходрев Вс.— 214.

Таифа, инокия, раскольница — 98.

Тарсилла или Тарсида, раскольничья «лже-инокия», унтер-офицерская дочь Наталья Леонтьевна Мокеева — 99, 103, 138.

Татаринов, вятский купец, раскольник — 98.

Телицин Иона, вятский купец, раскольник — 100, 101.

Тиблен, издатель — 128.

Тизенгаузен, барон, вятский жандармский генерал — 115.

Тимофеева, рязанская помещица — 162.

Т-н (Тверянин) — псевдоним Салтыкова — 295, 296.

Толстой А. К., гр.— 321, 324.

Толстой Д. А., гр.— министр народного просвещения и внутренних дел — 26, 282.

Толстой Лев — 66, 67, 121, 122.

Толстой Н. С., гр.— 139.

- Траверсе, маркиз — 210.
Тургенев И. С. — 32, 33, 73, 78, 86, 107, 121, 123, 131, 136, 137, 145, 146, 280, 293, 298, 299, 305, 313, 318, 334, 335, 339, 346.
Тюфяев, вятский губернатор — 224.
Тянгинский, вятский чиновник — 185.
- Улитин**, рязанский помещик — 162.
Унковский А. М. — 154—156, 164, 216, 223, 246, 248, 249, 252, 253, 258, 259, 263.
Успенский Глеб — 316.
Успенский Николай — 307.
Устрялов Ф. Н., драматург — 298, 322.
Утин Б. И. — 253, 257, 258.
- Фейербах** — 81.
Фет А. А. — 292, 308, 309, 321, 325, 341.
Фин К. И. — 263.
Фолькер — 60, 62, 66, 67.
Фурман П. Р. — 61, 63.
Фурье — 51, 53, 55, 80.
- Ханьков**, петрашевец — 55.
Хлудовы, братья, рязанские фабриканты — 161, 162, 188, 213, 220, 226.
Хрущов Д. П., сенатор — 157.
- Цез В. А.**, председатель цензурного комитета — 231, 232, 234, 288, 296, 297, 306, 308.
- Черкасский В. А.**, кн. — 154, 218, 231.
Чернышев А. И., кн., военный министр — 27, 89, 113.
Чернышевский Н. Г. — 52, 57, 121, 141, 143—145, 147, 148, 206, 207, 231, 232, 235, 236, 247, 251, 254—256, 278—282, 284, 288, 311, 312, 318, 319, 331, 346, 347, 351, 352, 358, 359, 365, 371, 376.
Чехов А. П. — 35.
Чичерин Б. Н. — 313.
- Шелгунов Н. В.** — 279.
Шелаевский, пермский купец, раскольник — 99, 106.
Шидловский, тульский губернатор — 373.
Шиллинг, вятский прокурор — 142.
Штрандман, петрашевец — 55, 56.
Шумахер А. Д. — 159.
- Щедрин**, Тимофей Тихонов, казанский купец, «раскольничий лжепоп» — 102, 103, 128, 129.
Шепкин М. С. — 298, 322.
Щербина Н. Ф., поэт — 298, 346.
- Эдельсон Е. Н.**, критик — 142.
- Юматов**, публицист — 229, 276, 303.
Юркевич И. Д. философ — 255, 324.
- Яковлев Н. В.** — 24, 187, 232, 259.
Якушкин П., беллетрист-этнограф — 193.
Яхонтов — 58.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие В. А. Десницкого	5
Предисловие автора	21
Глава I. Основные вехи жизни и творчества Салтыкова	25
Глава II. Детство и юность. Школьные годы. Первые попытки творчества	36
Глава III. Салтыков - петрашевец. Рецензии и повести	50
Глава IV. Салтыков в вятской ссылке	87
Глава V. «Губернские очерки»	120
Глава VI. Салтыков в Рязани и Твери. Статьи 1861 года о крестьянской реформе. Отставка	150
Глава VII. Продолжение «Губернских очерков». «Книга об умирающих»	176
Глава VIII. Глуповский цикл. «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы»	203
Глава IX. Журнал Салтыкова «Русская правда». Пьеса «Тени и повесть «Тихое пристанище»	245
Глава X. Салтыков в «Современнике»	275
Глава XI. Салтыков в «Свисшке». Poleмика с Достоевским. Служба Окончательная отставка	329
Указатель имен	377

ЦЕНА 3 р. 80 к.
Переплет 20 коп.

Ком

Handwritten scribbles and a faint stamp.

СКЛАД ИЗДАНИЯ
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР
Москва, Центр, Божьявленский пер., 4, т. 2-65-31 и
5-50-80. Ленинград, Ленотгиз, Пр. 25 Октября, 28.
Телефон 5-34-18.

